

84 Р1
Т-53.

А. ТОЛСТОЙ
ПЕТР ПЕРВЫЙ





«Петр I» — первый
в нашей литературе
настоящий исторический
роман. Книга — надолго.

М. Горький

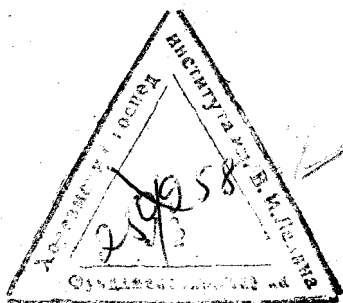


А. ТОЛСТОЙ

ПЕТР ПЕРВЫЙ

Роман
В трех книгах

Книги вторая и третья



013970
МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1989

ББК 84Р7-4
Т52

Послесловие *В. И. Баранова*
Комментарии *Е. М. Кирюхиной*
Оформление художника *И. И. Бабаянца*

Текст печатается по изданию: Толстой А. Н. Петр Первый. — М.:
Московский рабочий, 1986

Для старшего
школьного возраста

Толстой А. Н.

Т52 Петр Первый. Роман. Для ст. шк. возраста. В 3 кн.
Кн. 2 и 3 / Послесл. В. И. Баранова; Коммент. Е. М. Кирю-
хиной. — М.: Просвещение, 1989. — 368 с.
ISBN 5-09-000843-4

Книга содержит вторую и третью части романа А. Н. Толстого
«Петр Первый». Издание адресовано учащимся старших классов средней
школы, снабжено послесловием и комментариями.

Т 4306000000—589
103(03)—89 без объявления (48000000000)

ББК 84Р7-4

Литературно-художественное издание

ТОЛСТОЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПЕТР ПЕРВЫЙ

В трех книгах
КНИГИ ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ

Зав. редакцией *В. П. Журавлев*
Редактор *Е. И. Правоторова*
Художественный редактор *Л. Ф. Малышева*
Технический редактор *Л. В. Хорощук*
Корректор *Л. А. Ермолина*

ИБ № 12724

Сдано в набор 03.12.87. Подписано к печати 07.06.88. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. кн.-журн. отеч.
Гарнит. литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 23,0+0,25 форз. Усл. кр.-отт. 23,69. Уч.-изд. л.
25,20+0,42 форз. Тираж 300 000 экз. Заказ 265. Цена 1 руб. 10 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129846, Москва, 3-й проезд
Марьиной роши, 41

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат Государственного
комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 410004, Саратов,
ул. Чернышевского, 59.

ISBN 5-09-000843-4
ISBN 5-09-000842-6

© Послесловие. Комментарии. Оформление.
Издательство «Просвещение», 1989

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Кричали петухи в мутном рассвете. Неохотно занималось февральское утро. Ночные сторожа, путаясь в полах бараньих тулупов, убирали уличные рогатки. Печной дым стлало к земле, горячим хлебом запахло в кривых переулках. Проезжала конная стража, спрашивали у сторожей — не было ли ночью разбою? «Как не быть разбою, — отвечали сторожа, — кругом шалют...»

Неохотно просыпалась Москва. Звонари лезли на колокольни, забко кряхтя, ждали, когда ударит Иван Великий. Медленно, тяжело плыл над мглистыми улицами великопостный звон. Заскрипели, — открывались церковные двери. Дьячок, слюня пальцы, снимал нагар с неугасимых лампад. Плелись нищие, калеки, уроды, — садиться на паперти. Ругались вполголоса натошак. Крестьясь, махали туловищем в темноту притвора на теплые свечечки.

Босой, вприскокку, бежал юродивый, — вонючий, спина голая, в голове еще с лета — репы. На паперти так и ахнули: в руке у божьего человека — кусище сырого мяса... Опять значит, такое скажет, — по всей Москве пойдет шепот. Перед самым притвором сел, уткнулся рябыми ноздрями в коленки, — ждет, когда народу соберется больше.

Стало видно на улице. Хлопали калитки. Шли гостинодворцы, туго подпоясанные кушаками. Без прежней бойкости отпирали лавки. Носилось воронье под ветренными тучами. За зиму царь накормил птиц сырым мясом, — видимо-невидимо слеталось откуда-то воронья, обгадили все купола. Нищий народ на паперти говорил осторожно: «Быть войне и мору. Три с половиной года, — сказано, — будет мнимое царство длиться...»

В прежние годы в этот час в Китай-городе — шум и крик — тесно. Из Замоскворечья идут, бывало, обозы с хлебом, по ярославской дороге везут живность, дрова, по Можайской дороге — кушсы на тройках. Гляди сейчас, — возишка два расшпилили, торгуют тухлятиной. Лавки — половина заколочены. А в

слободах и за Москвой-рекой — пустыня. На стрелецких дворах и крыши сорваны.

Начинают пустеть и храмы. Много народа стало отвращаться: православные-де попы на пироги прельстились,— заодно с теми, кто зимой на Москве казнил и вешал. На ином церковном дворе поп не начинает обедни, задрав бороду, кричит звонарю: «Вдарь в большой, дура-голова, вдарь громче...» Звони, не звони, народ идет мимо, не хочет креститься щепотью. Раскольники учат: «Щепоть есть кукиш, раздвинь пальцы, большой сунь меж ними. Известно, кто учит кукишем омахиваться».

Народу все-таки подваливало на улицах: боярская челядь, дармоеды, ночные разные шалуны, людишки, бродящие меж двор. Многие толпились у кабака, ожидая, когда отопрут,— нюхали: тянуло чесночком, постными пирогами. Из-за Неглинной шли обозы с порохом, чугунными ядрами, пенькой, железом. Раскатываясь на ухабах, спускались через Москву-реку на воронежскую дорогу. Конные драгуны, в новых нагольных полушубках, в иноземных шляпах,— усатые, будто не русские,— надрывались матерной руганью, замахивались плетями на возчиков. В народе говорили: «Немцы опять нашего-то на войну подбивают. Наш-то в Воронеже, с немками, с немцами вконец оскоромился!» Отперли кабак. На крыльцо вышел всем известный кабатчик-целовальник. Обмерли,— никто не засмеялся, понимали, что — горе: у целовальника лицо — голое,— вчера в земской избе обрили по указу. Поджал губы, будто плача, перекрестился на пять низеньких глав, хмуро сказал: «Заходите...»

Наискосок, на паперти, юродивый запрыгал по-собачьему, тряс зубами мясо. Бежали бабы, мужики,— дивиться... Счастье храму, где прибился юродивый. Но и опасно по нынешнему времени. У Старого Пимена прикармливали так-то юрода, он раз вошел в храм на амвон, пальцами начал рога показывать, да и завопил к народу: «Поклоняйтесь, али меня не узнали?...» Юродивого с попом и дяконом взяли солдаты, свезли в Преображенский приказ к князю-кесарю, Федору Юрьевичу Ромодановскому.

Вдруг закричали: «Пади, пади!» Над толпой запрыгали шляпы с красными перьями, накладные волосы, бритые зверовидные морды,— ездовые на выносных конях. Народ кинулся к заборам, на сугробы. Промчался золоченый, со стеклянными окнами, возок. В нем торчком, как дура неживая, сидела нарумяненная девка,— на взбитых волосах войлочная шапчонка в алмазах, в лентах, руки по локоть засунуты в соболий мешок. Все узнали стерву, кукуйскую царицу Анну Монсову. Прокатила в Гостиные ряды. Там уж купчишки всполошились, выбежали навстречу, потащили в возок шелка, бархаты.

А законную царицу Евдокию Федоровну этой осенью увезли по первопутку в простых санях в Суздаль, в монастырь, навечно — слезы лить...

— Братцы, люди хорошие, поднесите... Ей-ей, томно... Крест вчера пропил...

— Ты кто ж такой?..

— Иконописец, из Палехи, мы — с древности... Такие теперь дела, — разоренье...

— Зовут как?

— Ондрюшка...

На человеке — ни шапки, ни рубахи — дыра на дыре. Глаза горящие, лицо узкое, но — вежливый — человечно подошел к столу, где пили вино. Такому отказать трудно...

— Садись, чего уж...

Налили. Продолжали разговор. Большой хитрости подслеповатый мужик, с тонкой шеей, рассказывал:

— Казнили стрельцов. Ладно. Это — дело царское. (Поднял перед собой кривоватый палец.) Нас не касается... Но...

Мягкий посадский в стрелецком кафтане (многие теперь донашивали стрелецкие кафтаны и колпаки, — стрельчихи с воем, чуть не даром, отдавали рухлядь), посадский этот застучал ногтями по оловянному стаканчику:

— То-та, что — но... Вот — то-та!..

Хитрый мужик, помахивая на него пальцем:

— Мы сидим смирно... Это у вас в Москве чуть что — набат... Значит, было за что стрельцов по стенам вешать, народ пугать... Не о том речь, посадский... Вы, дорогие, удивляетесь, почему к Москве подвозу нет? И не ждите... Хуже будет... Сегодня — и смех и грех... Привез я соленой рыбки бочку... Для себя солил, но провоняла. Стал на базар, — еще, думаю, побьют за эту вонищу, — в час, в два все расхватили... Нет, Москва сейчас — место погиблое...

— Ох, верно! — Иконописец всхлипнул.

Мужик поглядел на него и — деловито:

— Указ: к масленой стрельцов со стен поснимать, вывезти за город. А их тысяч восемь. Хорошо. А где подводы? Значит, опять мужик отдувайся? А посадки на что? Обяжи конной повинностью посады.

Мягкие щеки посадского задрожали. Укоризненно покивал мужику:

— Эх ты, пахарь... Ты бы походил зиму-то мимо стен... Метелью подхватит, начнут качаться... Довольно с нас и этого страха...

— Конечно, их легче бы сразу похоронить, — сказал мужик. — В прошенье воскресенье привезли мы восемнадцать возов; не успели расшпиль — налетают солдаты: «Опоражнивай воза!» — «Как? Зачем?» — «Не разговаривай». Грозят шпагами, переворачивают сани. Грибов мелких привез бочку, — опрокинули, дьяволы. «Ступай, кричат к Варварским воротам...» А у Варварских ворот

навалено стрелыцов сотни три... «Грузи, такой-сякой...» Не евши, не пивши, лошадей не кормили, повозили этих мертвецов до ночи... Вернулись на деревню,— в глаза своим смотреть стыдно.

К столу подошел незнакомый человек. Стукнув доньшком, поставил штоф.

— На дураках воду возят,— сказал. Смело сел. Из штофа налил всем. Подмигнул гулящим глазом: «Бывайте здоровеньки». Не вытирая усов, стал грызть чесночную головку. Лицо дубленое, горячее, сиво-пегая борода в кудряшках.

Подслеповатый мужик осторожно принял от него стаканчик:

— Мужик — дурак, дурак, знаешь,— мужик понимает... (Взвесил в руке стаканчик, выпил, хорошо крякнул.) Нет, дорогие мои... (Потянулся за чесночной головкой.) Утресь — видели — обоз пошел в Воронеж? Третью шкуру с мужика дерут. Оброчные — плати, по кабальным — плати, кормовые боярину — дай, повытошные в казну — плати, мостовые — плати, на базар выехал — плати...

Пегобородый разинул зубастый рот, захохотал. Мужик пресекася,— шмыгнул.

— Ладно... Теперь — лошадей давай под царский обоз. Да еще сухари с нас тянут... Нет, дорогие мои... В деревнях посчитайте,— сколько жилых-то дворов осталось? Остальные где? Ищите... Ныне наготове бежать мало не все. Мужик — дурак, покада сыт. А уж если вы так, из-под задницы последнее тянуть... (Взялся за бородку, поклонился.) — Мужик лапти переобул и па-ашел куда ему надо.

— На север. На озера... В пустыни!... — Иконописец придвинулся к нему, вжегся темными глазами.

Мужик отстранил: «Помолчи!...» Посадский, оглянувшись, навалился грудью на стол:

— Ребята,— зашептал,— действительно, многие пугаются, уходят за Бело-озеро, на Вол-озеро, на Матка-озеро, на Выг-озеро... Там тихо... (Дрогнув вспухшими щеками.) Только те, кто уйдет,— те и живы будут...

У иконописца черные зрачки разлились во весь глаз,— стал оборачиваться то к одному собеседнику, то к другому...

— Он верно говорит... Мы в Палехе к великому посту шестьсот икон написали. По прежним годам это — мало. Нынче ни одной в Москву не продали. Вой стоит в Палехе-та. Отчего? Письмо наше светлое, титл Иисуса с двомя «иже». Рука, благословляющая со щепотью. И крест пишем — крыж — чetyрехконечный. Все по православному чину. Понятно? Те, кто у нас иконы берут,— гостинодворцы Корзинкин, Дьячков, Викулин,— говорят нам: «Так писать бросьте. Доски эти надо сжечь, они прелестные: на них, говорят, лапа...» — «Как лапа?» (Ико-

нописец всхлипнул коротко. Посадский, низко склонясь над столом, застучал зубами.) «А так, говорят, след его лапы... Птичий след на земле видели,— четыре черты?.. И у вас на иконах тот же...» — «Где?» — «А крыж... Понятно? Вы, говорят, этот товар в Москву не возите. Теперь вся Москва поняла, откуда смрадом тянет...»

Мужик мигал веками, не разобрать, верил ли, нет ли... Пегобородый, усмехаясь, грыз чеснок. Посадский кивал, подкивал... и вдруг, оглянувшись, вытянул губы, зашептал:

— А табак? В каких книгах читано — человеку глотать дым? У кого дым-то из пасти? Чаво? За сорок за восемь тысяч рублей все города и Сибирь вся отданы на откуп англичанину Кармартенову — продавать табак. И указ, чтобы эту адскую траву-никотиану курили... Чьих рук это дело? А чай, а кофей? А картовь,— тьфу, будь она проклята! Похоть антихристова,— картовь! Все это зелье — из-за моря, и торгуют им у нас лютеране и католики... Чай кто пьет — отчается... Кто кофей пьет — у того на душе ков... Да — тьфу! — сдохну лучше, чем в лавку себе возьму такое...

— Торгуешь-то чем? — спросил пегобородый.

— Да какая теперь торговля... Немцы торгуют, а мы воем. Овсей Ржова, Константина, брата его, не знавал? Стрельцы Гундертмаркова полка... Вот моя лавка, вот их торговые бани. Таких людей и нет теперь. Обоих на колесе изломали... Говорил Овсей не раз: «Терпим за то, что тогда, в восьмьдесят втором году, в Кремле, старцев не послушали. Нам бы, стрельцам, тогда за старую веру стать дружно... Иноземца ни одного бы в Москве не осталось, и вера бы воссияла, и народ бы сыт был и доволен... А теперь не знаем, как и душу спасти...» Вот какие справедливые люди по стенам всю зиму качались... Нет стрельцов,— бери нас голыми руками... Всем морду обреют, всех заставят пить кофей, увидите...

— Вот хлеб съедем, к весне все разбредемся,— сказал мужик твердо.

— Братцы! — Иконописец с тоской вперился в мокрое окошечко.— Братцы, на севере — прекрасные пустыни, тихое пристанище, безмолвное житие...

В кабаке становилось все шумнее и жарче, бухала обитая рогожей дверь. Спорили пьяные, у стойки качался один, голый по пояс, без креста, молил — в долг чарочку... Одного выволокли за волосы в сени и там, надрываяще вскрикивая, били,— должно быть, за дело...

У стола остановился согнутый, едва не пополам, нищий человек. Опираясь на две клюки, распустился добрыми морщинами. Пегобородый взглянул на него, надвинул брови. Согнутый сказал:

— Откуда залетел, сокол?

— Отсюда не видно. Ты проходи, чего стал...

— Онвад с унод?¹ — в половину голоса быстро спросил согнутый.

— Ступай, — мы здесь явно...

Согнутый, более не спрашивая, выставил редку бороденку и застучал клюками в глубь кабака. Посадский, — испугавшись:

— Это — кто ж такой?

— Путник на сиротской дороге, — строго сказал пегобородый.

— По каковски с тобой говорил-то?

— По-птичьи.

— А ведь он тебя будто признал, парень...

— А ты поменьше спрашивай, умнее будешь... (Отряхнул крошки с бороды, положил на стол большие руки.) Слухай теперь... Мы — с Дону, по торговому делу.

Посадский живо придвинулся, заморгал:

— Чего покупаешь?

— Огневое зелье, — нужно бочек десять. Свинцу пудов полсотни. Сукна доброго на жупаны. Железо подковное, гвозди. Деньги есть.

— Сукна доброго, железа достать можно... Свинец и порох — тяжело: мимо казны нигде не взять.

— То-то, что постараться — мимо казны.

— Есть у меня один подьячий. Нужны подарки.

— Само собой...

Посадский, торопливо царапая крючками по полушубку, сказал, что постарается — сейчас приведет подьячего. Убежал. Мужику хотелось вмешаться в торговое дело. Наморща лоб, показывал:

— Шерсть поярковая, кожи не надо тебе, милок?

— Ну, — скажите, пятьдесят пудов свинца... Воевать, казачки, что ли, собираетесь?

— Перепелов бить...

Пегобородый отвернулся. К нему опять подходил согнутый человек на клюках. Держа шапку с милостыней, сел рядом и — не глядя:

— Здравствуй, Иван...

— Здравствуй, Овдоким, — так же, не глядя, ответил пегобородый.

— Давно не видались, атаман...

— Побираешься?

— От немощи... Летась погулял в лесу легонько, — не те года... Надоело, — помирать надоть...

— Обожди немного...

— А что, — разве хорошее слышно?

Иван, усмехаясь, глядел сквозь чад на пьяных людишек. Глаза охолодели. Тихо — углом рта:

¹ Тарабарский язык, употреблявшийся владимирскими офенями, раскольниками, иногда и разбойниками. Слова говорились навыворот.

— Дон поднимаем.

Овдоким уткнулся в шапку, перебирал полушки.

— Не знаю,— проговорил,— слыхать — донские казаки осмирнели, на хутора садятся, добром обрастают...

— Пришлих много, гультаев. Они начнут, казаки подсобят... А не подсобят,— все равно — либо в Турцию уходить, либо под Москву в холопы, навечно... Тогда помогли царю под Азовом, теперь он на весь Дон лапу наложил. Пришлих велят выдавать. Попов из Москвы нагнали, старую веру искореняют... Конец тихому Дону...

— Для такого дела нужен большой человек,— сказал Овдоким,— не вышло бы, как тогда, при Степане...¹

— Человек у нас есть, не как Степан,— без ума голову свою потерял,— прямой будет вож... Весь раскол за ним встанет...

— Смутил меня, Иван, прельстил, Иван,— а уж я собрался на покой...

— Весной приходи. Нам старые атаманы нужны. Погуляем веселей, чем при Степане...

— Едва ли, едва ли... Много ли нас от той крови осталось? Ты да я, пожалуй...

Запыхавшись, вернулся посадский, подмигивал щекой. За ним шел важно лысый подьячий в буром немецком кафтане с медными пуговицами, в разбитых валенках. На груди в петлю воткнуто гусиное перо. Не здороваясь, брезгливо сел за стол. Лицо — жаждущее, глаза — мутные, антихристовы, в ноздри глубоко видно. Посадский, не садясь, из-за спины, ему на ухо:

— Кузьма Егорыч, вот человек, который...

— Блинов,— мятым голосом проговорил подьячий, не обращая внимания,— блинов с тешкой...

3

Князь Роман, княж Борисов, сын Буйносов, а по-домашнему — Роман Борисович, в одном исподнем сидел на краю постели, кряхтя, почесывался — и грудь и под мышками. По старой привычке лез в бороду, но отдергивал руку: брито, колко, противно... Уа-ха-ха-ха-а... — позевывал, глядя на небольшое оконце. Светало,— мутно и скучно.

В прежние года в этот час Роман Борисович уж вдвевал бы в рукава кунью шубу, с честью надвигал до бровей бровую шапку,— шествовал бы с высокой тростью по скрипучим переходам на крыльцо. Дворни душ полтора, кто у возка — держат коней, кто бежит к воротам. Весело рвали шапки, кланялись поясным махом, а те, кто стоял поближе, лобызали ножки боярину... Под ручки, под бочки, подсаживали в возок... Каж-

¹ То есть при Степане Разине.

дое утро, во всякую погоду, ехал Роман Борисович во дворец — ждать, когда государевы светлые очи (а после — царевнины очи пресветлые) обратятся на него. И не раз того случая дожидался...

Все минуло! Проснешься — батюшки! неужто минуло? Дико и вспомнить: были когда-то покой и честь... Вон висит на тесовой стене — где бы ничему не висеть — голландская, ради адского соблазна писанная, паскудная девка с задранным подолом. Царь велел в опочивальне повесить не то на смех, не то в наказание. Терпи...

Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку: шерстяные, бабы, поперек полосатые чулки, короткие штаны жмут спереди и сзади, зеленый, как из жести, кафтан с галуном. На гвозде — вороной парик, из него палками пыль-то не выколотишь. Зачем все это?

— Мишка! — сердито закричал боярин. (В низенькую, обитую красным сукном дверцу вскочил бойкий паренек в длинной православной рубашке. Махнул поклон, откинул волосы.) — Мишка, умыться подай. (Паренек взял медный таз, налил воды.) Прилично держи лохань-та... Лей на руки...

Роман Борисович больше фыркал в ладони, чем мылся, — противно такое бритое, колючее мыть... Ворча, сел на постель, чтобы надели портки. Мишка подал блюдце с мелом и чистую тряпку.

— Это еще что? — крикнул Роман Борисович.

— Зубы чистить.

— Не буду!

— Воля ваша... Как царь-государь говорил надысь зубы чистить, — боярыня велела каждое утро подавать...

— Кину в морду блюдцем... Разговорчив стал...

— Воля ваша...

Одевшись, Роман Борисович подвигал телом, — жмет, тесно, жестко... Зачем? Но велено строго, — дворянам всем быть на службе в немецком платье, при алонжевом парике... Терпи!.. Снял с гвоздя парик (неизвестно — какой бабы волосы), с отвращением наложил. Мишку (полез было поправить круто завитые космы) ударил по руке. Вышел в сени, где трещала печь. Снизу, из поварни (куда уходила крутая лестница), несло горьким, паленым.

— Мишка, откуда вонища? Опять кофей варят?

— Царь-государь приказал боярыне и боярышням с утра кофей пить, так и варим...

— Знаю... Не скаль зубы...

— Воля ваша...

Мишка открыл обитую сукном дверцу в крестовую палату. Роман Борисович, достойно крестясь, подошел к аналою. На бархате раскрыт закапанный воском часослов. Снял нагар со свечечки. Вдел круглые железные очки. Лизнул палец, перевер-

нул страницу и задумался, глядя в угол, где едва поблескивали оклады на иконах: горел один только зеленый огонек перед Николаем-чудотворцем...

Было отчего задуматься... Ведь так если дальше пойдет,— всем великим родам, княжеским и дворянским, разорение, а про бесчестье и ругательство говорить не приходится. «Ишь ты,— взялись дворянство искоренять! Искорени... При Иване Грозном пробовали так-то — разорять княжеские фамилии... Получилась гиль, смута... И ныне будет гиль... Становой хребет государству — мы... Разори нас,— и государства нет, жить незачем... Холопами, что ли, царь, будешь управлять?.. Чепуха!.. Молод еще, слаб разумом, да и тот, видно, на Кукуе пропил...»

Роман Борисович поправил очки, начал читать — гнусливо, по чину. Но мысли гуляли мимо строчек...

«Дворни пятьдесят душ взяли в солдаты... Пятьсот рублей взяли на воронежский флот... В воронежской вотчине хлеб за гроши взяли в казну,— все амбары вычистили. Пшеницы было за три года урожая,— ждал, когда цену дадут... (От резкой досады горько стало во рту.) Теперь слышно — у монастырей вотчины будут отбирать, все доходы брать в казну... Солонины велено заготовить десять бочек... Ах, боже мой, солонина-то им зачем?..»

Читал: За слюдяным, в свинцовой раме, окошечком зеленело утро. Мишка у двери бил поклоны...

«На масленой бесчестили великие фамилии!.. По триста человек ряженных налетало,— в полночь, а то и позднее. Страх-то какой! Рожи сажей вымазаны. Пьяные. Не разберешь, где тут и царь. Сожрут, напьются, наблюют, дворовым девкам подолы обдерут... Кричат козлами, петухами, птицами».

Роман Борисович переступил с ноги на ногу,— вспомнил, как в последний день его, напоивши вином до изумления, спустив штаны, посадили в лукошко с яйцами... И не смешно вовсе... Жена видела, Мишка видел... «Ох, господи! Зачем? К чему это?»

Роман Борисович с натугой размышлял: в чем же причина бедствию? За грехи, что ли? В Москве шепчут,— в мир-де пришел льстец. Католики и лютеране — его слуги, иноземные товары — все с печатью антихристовою. Настал-де конец света.

Искривясь красноватым лицом на огонек свечечки, Роман Борисович сомневался. «Невероятно... Господь не допустит пропасть русскому дворянству. Обождать да потерпеть. Эх-хе-хе...»

Усердно помолясь, сел под сводом у окна за столик, покрытый ковром. Разогнув немалой толщины тетрадь, где было записано все касательно — кому дано в долг, с кого взыскано, с какой деревеньки взято деньгами, или хлебом, или запасами,— медленно перелистывал страницы, шевелил обритыми губами.

В палату вошел старший приказчик Сенка, взысканный из кабальных холопов за пронырливый ум и великую злость к людям. Чистый был цепной кобель: до последней полушки выколачивал боярское добро. Крал, конечно, хотя — в меру, по совести, и — хоть режь его — никогда в воровстве не сознавался. Роман Борисович не раз, ухватя его за дремучую бороду на толстых жабрах, возил и бил затылком о стену: «Украл, ведь украл, создавайся!» Сенка, не моргая, рыжими глазами глядел на боярина, как на бога. Только, когда оставят его бить, отогнет полу сермяжного кафтана, высморкает мягкий нос, заплачет.

— Напрасно, Роман Борисович, слуг бьешь так-то. Бог тебя простит, я перед тобой ни в чем не виноват...

Сенка влез бочком в чуть приоткрытую дверь, перекрестился на Николая-чудотворца, поклонился боярину и стал на колени.

— Ну, Сенка, что скажешь хорошего?

— Все слава богу, Роман Борисович.

Сенка, стоя на коленях, вздев глаза к потолку, начал докладывать наизусть — с кого сколько было получено за вчерашний день, откуда и что привезено, кто остался должен. Двоих мужиков, злых недоимщиков, Федьку и Коську, привел из селца Иваньково и со вчерашнего вечера поставил на дворе на правёж...¹

Роман Борисович удивился, приоткрыл рот, — неужто не хотят платить? Сунулся в тетрадь: Федька в прошлом году взял шестьдесят рублей, — избу-де новую справить, да сбрую, да лемех новый, да на семена... Коська взял тридцать семь рублей с половиной, тоже, видно, врал, что на хозяйство...

— Ах, сволочи, ах, мошенники! Ты бить-то их велел батогами?

— С вечера бьют, — сказал Сенка, — двое приставлены к каждому — бить без пощады... Что ж, Роман Борисович, батюшка, вам горевать: Федька с Коськой не заплатят, — против их долга у нас кабальные расписки, — возьмем обоих в кабалу лет на десять. Нам рабы нужны...

— Деньги мне нужны, не рабы! — Роман Борисович бросил на стол гусиное перо. — Рабов пои-корми — царь опять в солдаты возьмет...

— Деньги нужны — сделайте, как у Ивана Артемича, у Бровкина: поставил у себя полотняный завод в Замоскворечье, сдает в казну парусное полотно. От денег мощна лопаются...

— Да, слышал... Врешь ты, чай, все.

Бровкинский полотняный завод давно не давал покою Роману Борисовичу. Сенка чуть не каждый день поминал про него: явно, хотел на этом деле уворовать не мало. А вот Нарышкин,

¹ Пытка, которой подвергали должников, покуда не заплатят.

Лев Кириллович (дядя государев), тот поступает вернее: деньги дает в Немецкой слободе одному голландцу, Ван-дер-Фику, и тот посылает их в Амстердам на биржу в рост, и Нарышкину с тех денег на каждый год идет с десяти тысяч шестьсот рублев одного росту. «Шесть сот рублев — не пито, не едено!»

— Жили деды, забот не ведали,— проговорил Роман Борисович.— А государство крепче стояло. (Надел в рукава поданную Сенкой шубу на бараньем меху.) С государем сидели, думу думали,— вот какие были наши заботы... А тут не рад и проснуться...

Роман Борисович пошел по лестницам,— вниз и вверх,— по холодным переходам. По пути отворил забухшую дверь,— оттуда пахло кислым, горячим паром, в глубине едва были видны при горевшей лучине четыре мужика,— босые, в одних рубахах,— валявшие баранью шерсть.

— Ну, ну, работайте, работайте, бога не забывайте,— сказал Роман Борисович. Мужики ничего не ответили. Идя далее, открыл дверь в рукодельную светлицу. Девки и девчонки, душ двадцать, встав от столов и пялец, поклонились в пояс. Боярин закрутил носом.

— Ну, тут у вас и дух, девки... Работайте, работайте, бога не забывайте...

Заглянул Роман Борисович и в швальню и в кожевню, где в чанах кисли и дубились кожи. Угрюмые мужики-кожемяки мяли кожи руками... Сенка, вздув сальную свечу в круглом фонаре с дырочками, снимал тяжелые замки на чуланах и клетях, где хранились запасы. Все было в порядке. Роман Борисович спустился на широкий двор. Было уже светло, облачно. У колодца пойли овец. От ворот до сеновала стояли возы с сеном. Мужики сняли шапки.

— Мужички, маловаты воза-то! — крикнул Роман Борисович...

Повсюду из ветхих изб и клетей, топившихся по-черному, шли дымки, сбиваясь ветром,— застилали двор. Повсюду — кучи золы и навоза. Морозное тряпье хлопало на веревках. Около конюшни, лицом к стене, понуро переминались два мужика без шапок. Из конюшни, заведя на крыльце боярина, торопливо выбежали рослые челядинцы, схватили с земли палки, стараясь, начали бить мужиков по заду и ляжкам...

— Ой, ой, господа, за что?.. — стонали Федька и Коська...

— Так, так, за дело, сыпь еще,— поддакивал с крыльца Роман Борисович.

Федька, длинный, рябой, красный мужик,— обернувшись:

— Милостивец, Роман Борисович, да нет у нас... Ей-богу, хлеб до рождества съели... Скотину, что ли, возьми,— разве можно эдакую муку терпеть...

Сенка сказал Роману Борисовичу:

— Скотина у него мелкая, худая, он врет... А можно взять у него девку, — в пол его долга. А остальное доработает.

Роман Борисович сморщился, отвернулся.

— Подумаю. Вечор потолкуем.

За дымами, за голыми деревьями постно ударил колокол. Над ржавыми главами поднялось воронье. «Ох, грехи тяжкие», — пробормотал Роман Борисович, оглянул еще раз хозяйство и пошел в столовую палату — пить кофей.

.....

Княгиня Авдотья и три княжны сидели в конце стола на голландских складных стульях. Парчовая скатерть в этом месте была отогнута, чтобы не замарать. Княгиня — в русском, темного бархата, просторном летнике, на голове — иноземный чепец. Княжны — в немецких робах со шлёпами¹. Наталья в персиковом, Ольга — в зеленом, полосатом, старшая — Антонида — в робе цвета «незабвенный закат». У всех волосы взбиты, посыпаны мукой, щеки кругло нарумянены, брови подведены, ладони — красные.

Прежде, конечно, и Авдотье и девкам в столовую палату и ходу не было: сидели по светлицам у окошечек за рукодельем, в летнее время — в огороде на качелях качались. Приехал раз царь с пьяной компанией. На пороге оглянул страшными глазами палату: «Где дочери? Посадить за стол...» (Побежали за ними. Страх, суматоха, слезы. Привели трех дур — без памяти.) Царь помял каждую — за подбородок: «Танцевать умеешь?.. (Какое там, — у девок от стыда слезы из глаз прыщут.) Научить... К масленой плясали б минувет, польский и контерданс...» Взял князя Романа за кафтан, не шутя тряхнул: «Сделать в доме политес изрядный, — запомни!..» Девчонок посадили за стол, заставили пить вино... И дивно — пьют, бесстыжие... Недолго погодя смеяться начали, будто им и не в диковину...

Пришлось делать в доме политес. Княгиня Авдотья по глупости только всему удивлялась, но девки сразу стали смелы, дерзки, придирчивы. Подай им того и этого. Вышивать не хотят. Сидят с утра, разодевшись, делают плезир, — пьют чай и кофей.

Роман Борисович вошел в палату. Покопался на дочерей. Те только нагнули головы. Авдотья, встав, поклонилась:

— Здравствуй, батюшка...

Антонида зашипела на мать:

— Сядьте, мутер...

Роману Борисовичу хотелось бы выпить с холоду чарку калганной, закусить чесночком... Водки еще так-сяк, но чесноку не дадут...

— Чего-то кофей не хочу сегодня. Прохватило на крыльце, что ли... Мать, поднеси крепкого.

¹ Шлейф.

— У вас, фатер, один разговор каждое утро — водки,— сказала Антонида,— когда вы только приучитесь...

— Молчи, кобылица,— закричал Роман Борисович,— ай, плетку возьму...

Княжны отвернули носы. Авдотья по-старинному, с поклоном, поднесла чарочку, шепнула:

— Да поешь ты, батюшка, вволю...

Выпил, отдулся. Грыз огурец, какая рассолем на камзол. Ни капусты с брусникой на столе, ни рыжиков соленых рубленых, с лучком. Жуя пирожок маленький,— черт те с чем,— спросил про сына:

— Мишка где?

— Арифметику, батюшка, заучает. Уж не знаю, что с головкой-то его будет...

Рябоватая Ольга, самая дотошная до политеса, проговорила, морща губы:

— Мишка все с мужиками да с мужиками. Вчерась опять в конюшне на балалайке куртаже делал и в карты по носам бился...

— Дитя он малое еще,— простонала Авдотья.

Молчали некоторое время, Наталья, младшая,— смешливая, вертлявая,— нагнулась к оконечку (в оконницы недавно вставили стекла вместо слюды).

— Ах, ах, девы! Гости приехали...

Девы всполохнулись, затрясли поднятыми руками, чтобы кисти рук стали белы. Прибежали сенные девки — убрать грязное со стола, принакрыть скатерть. Мажордом (по-прежнему — дворецкий), старый богомольный слуга, обритый и наряженный, как на святках, стукнул тростью и выкрикнул, что приехала боярыня Волкова. С неохотой Роман Борисович вылез из-за стола — делать галант гостье: трести перед собой шляпой, лягать ногами... А перед кем ломаться-то князю Буйносову! Эту боярыню Волкову семь лет назад Санькой звали, сопли рваным подолом вытирала. Из самого что ни на есть худого мужицкого двора. Отец, Ивашко Бровкин, был кабальным задворным крестьянином. Ей до гроба вокруг черной печки крутиться. Видишь ты,— мажордом о ней докладывает. В золоченой карете приехала! Муж у царя в милости... (Муж ее приходился князю Романову двоюродным племянником.) Отец дьявол помог, вылез в купчины, теперь, говорят, ему отдана вся поставка на войско.

Мажордом раскрыл дверь (по-старинному — низенькую и узкую), зашуршало розово-желтое платье. Ныря голыми плечами, закинув равнодушное красивое лицо, опустив ресницы, вошла боярыня Волкова. Стала посреди палаты. Блеснув перстнями, взялась за пышные юбки, с кружевами, нашитыми розами, выставила ножку,— атласный башмачок с каблуком вершка в два,— присела по всей статье французской, не согнув передней коленки. Направо-налево качнула напудренной головой,

страусовыми перьями. Окончив, подняла синие глаза, улыбнулась, приоткрыв зубы:

— Бонжур, принцес!

Буйносовы девы, заваливаясь на зады в свой черед, так и ели гостью глазами. Роман Борисович взял шляпу, растопыря ноги и руки, помахал ею. Боярыню попросили к столу — откушать кофе. Стали спрашивать про здоровье родных и домашних. Девы разглядывали ее платье и как причесаны волосы.

— Ах, ах, куафа на китовом усе, конечно.

— А нам-то прутья да тряпки подкладывают.

Санька им отвечала:

— С куафер чистое наказание: на всю Москву один. На масляной дамы по неделе дожидались, а которые загодя-то причесанные — так и спали на стуле... Я просила тятеньку привезти куафера из Амстердама.

— Почтенному Ивану Артемичу поклон передайте, — сказал князь. — Как заводик его полотняный? Все собираюсь поглядеть. Дело новое, занятное...

— Тятенька в Воронеже. И Вася в Воронеже, при государе.

— Наслышаны, наслышаны, Александра Ивановна.

— Вася вчера письмо прислал. — Санька запустила два пальца за низко открытый корсаж (Роман Борисович заморгал: вот-вот сейчас женщина заголится), вытащила голубенькое письмо. — Как бы Васю мово не послали в Париж...

— Что пишет? — кашлянув, спросил князь. — Про государя что отписывает?..

Санька долго разворачивала письмо, — лоб наморщился. Щеки, шея залились краской. Шепотом:

— Читать не так давно научилась. Виновата...

Водя пальцем по жирно разбрызганным строкам с титлами и росчерками, стала читать, выговаривая медленно каждое слово:

«Сашенька, здравствуй, свет мой, на множество лет... У нас в Воронеже вот какие дела... Скоро флот будем спускать в Дон, и с тем наше житье здесь окончится... Пугать не стану, а стороной слышал, государь-де хочет послать меня вместе с Андреем Артамоновичем Матвеевым в Гаагу и далее — в Париж. Не знаю, как и думать о сем: далеко, да и страшновато... Мы все, слава богу, здоровы. Герр Питер тебе кланяется, — поминали недавно за ужином. Он по вся дни в трудах. Работает на верфи, как простой. Сам и гвозди и скобы кует, сам и кононатит. И бороду брить недосуг: зело всех торопит, людей загонял. Но флот построили...»

Роман Борисович стучал по столу ногтями:

— Да... Конечно, флот, да... Сам кует, сам конопатит... Сил, значит, девать некуда...

Санька кончила чтение. Тихонько вытерла губы. Сложила письмо и — за корсаж.

— На святой государь вернется — в ноги ему брошусь... Хочу в Париж...

Антонида, Ольга, Наталья всплеснули руками: «Ах, и — ах, и — ах!» Княгиня Авдотья перекрестилась.

— Напугала, матушка, страсть какая, — в Париж... Чай, там поганю!

У Саньки потемнели синие глаза, прижала перстни к груди: — Так я скучаю в Москве!.. Так бы и полетела за границу... У царицы Прасковьи Федоровны живет француз — учит политесу, он и меня учит. Он рассказывает! (Коротко передохнула.) Каждую ночь вижу во сне, будто я в малиновой бостроге танцую минует, танцую лучше всех, голова кружится, кавалеры расступаются, и ко мне подходит король Людовик и подает мне розу... Так стало скушно в Москве. Слава богу, хоть стрельцов убрали, а то я покойников еще боюсь до смерти...

.....

Боярыня Волкова уехала. Роман Борисович, посидев за столом, велел заложить возок — ехать на службу, в приказ Большого дворца. Ныне всем сказано служить. Будто мало на Москве приказного люда. Дворян посадили скрипеть перьями. А сам весь в дегтю, в табачище, топором тюкает, с мужиками сивуху пьет...

— Ох, нехорошо, ох, скушно, — кряхтел князь Роман Борисович, влезая в возок...

4

У Спасских ворот, в глубоком рву, где надо льдом торчали кое-где сгнившие сваи, Роман Борисович увидел десятка два саней, покрытых рогожами. Понуро стояли худые лошаденки. Мужик на откосе лениво выкалывал пешней примерзший труп стрельца. День был серый. Снег — серый. По Красной площади, по названным ухабам, брели сермяжные люди, повесив головы. Часы на башне заскрипели, захрипели (а, бывало, били звонко). Скушно стало Роману Борисовичу.

Возок проехал по ветхому мосту в Спасские ворота. В Кремле, как на базаре, люди ходят в шапках. У изгрызанной лошады коновязи стоят простые сани... Стеснилось сердце у Романа Борисовича. Опустело место сне, пресветлых очей нет, что вон в том окошечке царском теплились, как лампы во славу Третьего Рима. Скушно!

Роман Борисович остановился у приказного крыльца. Никого не было, чтобы вынуть князя из возка. Вылез сам. Пошел, отдуваясь, по наружной крытой лестнице. Ступеньки захожены снегом, наплевано. Сверху, едва не толкнув князя, сбегали какие-то человечки в нагольных полушубках. Задний — пегобородый — нагло царпнул гулящим глазом... Роман Борисович, остановясь на пол-лестнице, негодуя стукнул тростью:

— Шапку! Шапку ломать надо!

Но крикнул на ветер. Такие-то порядки завелись в Кремле.

В приказе, в низких палатах,— угар от печей, вонь, немецкие полы. За длинными столами, локоть к локтю, писцы царапают перьями. Разогнув спину, один скребет нечесаную башку, другой скребет под мышками. За малыми столами — премудрые крючки-подьячие,— от каждого за версту тянет постным пирогом,— листают тетради, ползают пальцами по челобитным. В грязные окошечки — мутный свет. По повиыту, мимо столов, похаживает дьяк-повытчик в очках на рябом носу.

Роман Борисович важно шел по палатам, из повиыта в повиыт. Дѣла в приказе Большого дворца было много, и делá путанные: ведали царскую казну, кладовые, золотую и серебряную посуду, собирали таможенные и казацкие деньги и стрелецкую подать, ямские деньги и оброк с дворцовых сел и городов. Разбирались в этом только приказный дьяк да старые повиытки. Новоназначенные бояре сиживали целый день в небольшой, жарко натопленной палате, страдали в тесном немецком платье, глядели сквозь мутные окошечки на опустевший царский дворец, где, бывало, на постельном крыльце, на боярской площадке, хаживали они в собольих шубах, помахивали шелковыми платочками, судили-рядили о высоких делах.

Много страшных дел прошумело на этой площади. Вон с того ветхого, ныне заколоченного крыльца, по преданию, ушел с опричниками из Кремля в Александровскую слободу царь Иван Грозный, чтобы ярость и лютость обратить на великие боярские роды. Рубил головы, на сковородах жег и на колья сажал. Отбирал вотчины. Но бог не попустил вконец боярского разорения. Поднялись великие роды.

Вон из того деревянного терема с медными петухами на луковичной крыше выкинулся проклятый Гришка Отрепьев — другой разоритель преславного боярства русского. Пустыня осталась от московской земли, пожарища, кости человечки на дорогах, но бог не попустил,— поднялись великие роды.

Ныне опять налезла гроза — по грехам нашим... «Э-хе-хе», — скучливо кряхтели бояре в жаркой палате у окошечек. Видно, не мытьем хотят взять — катаньем... Бороды все обрили, служить всем велели, сынов расписали по полкам, по чужим землям... «Э-хе-хе, не попустит бог и на этот раз...»

Войдя в палату, Роман Борисович увидел, что опять сегодня поднесли чего-то сверху. Старый князь Мартын Лыков тряс бабьими щеками. Думный дворянин Иван Ендогуров и стольник Лаврентий Свинын, запинаясь, читали грамоту. Поднимая головы, только и могли молвить, что: «Ах, ах!»

— Князь Роман, сядь, послушай, — едва не плача, сказал князь Мартын. — Что же буде-та? Теперь каждый и облает и обесчестит... Одна была управа, и ту отнимают.

Ендогуров и Свинын сызнова начали читать по складам

царский указ. В нем говорилось, что ему, царю и великому князю и пр. и пр., много докучают князья и бояре, и думные, и московские дворяне челобитными о бесчестье. Такого-то дня подана ему, царю и пр., челобитная от князя Мартына, княж Григорьева, сына Лыкова, в том, что его на постельном крыльце лаiali и бесчестили, и лаial-де и бесчестил его Преображенского полку поручик Олешка Бровкин... Проходя по крыльцу, кричал ему, князю Мартыну: «Что-де смотришь на меня з в е р о о б р а з н о, я-де тебе ныне не холоп, ты прежде был князь, а ныне ты — н е б ы л и ц а» —

— Мальчишка он, мужицкий сын, страдник, — князь Мартын тряс щеками, — тогда-то сгоряча я запамятовал, он хуже мне кричал...

— А что же он тебе тогда кричал, князь Мартын? — спросил Роман Борисович.

— Ну, чего, чего... Кричал, многие слышали: «Мартынушка-мартышка, плешивый...»

— Ай, ай, ай, обидно, — завертел головой Роман Борисович. — А что, — не сын ли это Ивана Артемича, Олешка?

— А черт его знает, — чей он сын...

— «Царь и великий князь и пр., — читали далее Ендогуров и Свиныин, — чтобы ему не докучали в такое трудное для государства время, за доuku и себе в досаду повелел на челобитчике, князе Мартыне, выправить десять рублей и те деньги раздать нищим и ныне челобитные о бесчестье воспретить...»

Окончив чтение, покрутили носами... Князь Мартын опять всполохнулся:

— Небылица! Потрогай меня, — какая же я небылица? Род наш — от князя Лычко! В тринадцатом веке вышел из Угорской земли Лычко-князь с тремя тысячами копейщиков. И от Лычки — Лыковы пошли и князья Брюхатые, и Таратухины, и Супоневы, и от младшего сына — Буйносовы...

— Врешь! Истинную несешь небылицу, князь Мартын! — Роман Борисович всем телом повернулся на лавке, навесив брови, засверкал взором (эх, не босые бы щеки, кривоватый голый рот, — совсем бы страшен был князь Роман)... — Буйносовы от века сидели выше Лыковых. Мы род свой от стольных черниговских князей считаем поименно. А вы, Лыковы, при Иване Грозном сами в родословец себя вписали... Черт его, князя Лычко, видел, как он вышел из Угорской земли...

У князя Мартына глаза стали вращаться, запрыгали мешки под глазами, задрожало, будто плачем, лицо с большой верхней губой.

— Буйносовы? Не в Тушине ли, в лагере, тушинский вор вам вотчины-то жаловал?

Оба князя поднялись с лавки, стали оглядывать друг друга от ног до головы. И быть бы лаю и шуму великому — не всту-

письм Ендогуров и Свиньин. Усовестили, успокоили. Вытирая платками лбы и шеи, князья сели по разным лавкам.

.....

Скуки ради думный дворянин Ендогуров рассказывал, о чем болтают бояре в государевой Думе, — руками разводят, бедные: царь со своими советчиками в Воронеже одно только и знает, — денег да денег. Подобрал советчиков, — наши да иноземные купцы, да людишки без роду-племени, да плотники, кузнецы, матросы, выюноши такие — только что им ноздри не вырваны палачом. Царь их воровские советы слушает. В Воронеже и есть истинная Дума государева. Жалобы со всех городов от посадских и торговых людей так туда и сыплются: нашли своего владыку... И с этим сбродом хотят одолеть турецкого султана. В Москву писал один человек из посольства Прокопия Возницына, из Карловиц: турки-де над воронежским флотом смеются, дальше донского устья он не уйдет, весь сядет на мелях.

— Господи, да сидеть нам смирно, зачем нам турков дражнить, — сказал смиренный Лаврентий Свиньин. (Троих сыновей его взяли в полки, четвертого — в матросы. Старик скучал.)

— Это — как смирно? — проговорил Роман Борисович, грозно раскрыв на него глаза. — Не должен бы ты, Лаврентий, по худости, наперед других вступать в разговор, — первое... (Ударил себя по ляжке.) Как, перед турками, перед татарами — смирно? А для чего мы князя Василия Голицына два раза в Крым посылали?

Князь Мартын, — глядя на печь:

— Не у всех вотчины за Воронежем да за Рязанью.

Роман Борисович дернул на него ноздрей, но пренебрег.

— В Амстердаме за польскую пшеницу по гульдену за пуд дают. А во Франции — и того дороже. В Польше паны золотом завалились. Поговори с Иваном с Артемичем Бровкиным, он расскажет, где денежки-то лежат... А я по винокурням прошлогодний хлеб Христа ради продал по три копейки с деньгой за пудик... Ведь досадно, мне — рядом: вот — Ворона-река, вот — Дон, и — морем пшеничка моя пошла... Великое дело: сподобил бы нас бог одолеть султана... А ты — смирно!.. Нам бы городишко один в море, Керчь, что ли, бы... И опять: мы, как Третий Рим, — должны мы порадеть о гробе господнем? Али мы совсем уже совесть потеряли?

— Султана не одолеем, нет. Зря задираемся, — облегченно сказал князь Мартын. — А что хлеба у нас досыта — и слава тебе, господи. С голода не помрем. Только не гнаться дочерям шлёпы навешивать да галант заводить дома...

Помолчав, глядя мимо раздвинутых колен на сучок в полу, Роман Борисович спросил:

— Хорошо. Кто же это шлёпы на дочерей навешивает?

— Конечно, таких дураков, которые еще в Немецкой слободе

кофей покупают по два и по три четвертака за фунт, таких никакой мужик не прокормит. — Князь Мартын, косясь на печь, трепетал дряблым подбородком, явно опять нарывался на лай...

Дверь сильно толкнули. В духоту с мороза вскочил круглолицый, с приподнятым носом, румяный офицер, в растрепанном парике и надвинутой на уши небольшой треугольной шляпе. Тяжелые сапоги — ботфорты — и зеленый кафтан с широкими красными обшлагами закиданы снегом. Скакал, видимо, во всю мочь по Москве.

Князь Мартын, увидав офицера, стал разевать — разинул рот: это его обидчик, преображенный поручик Алексей Бровкин — из царских любимцев.

— Бояре, бросайте дела... (Алеша, торопясь, держался за распахнутую дверь.) Франц Яковлевич помирает...

Тряхнул париком, нагло (как все они — безродные выкормки Петровы) сверкнул глазами и понесся — каблуками, шпорами — по гнилым полам приказной избы. Вслед ему косились плешивые понытки: «Потише бы надо, бесстрашной, здесь не коношня».

5

Неделю тому назад Франц Яковлевич Лефорт пировал у себя во дворце с посланниками — датским и бранденбургским. Завернула оттепель, капало с крыш. В зальце было жарко. Франц Яковлевич сидел спиной к пылающим в камине дровам и воодушевленно рассказывал о великих прожектах. Разгорячаясь все более, поднимал кубок из кокосового ореха и пил за братский союз царя Петра с королем датским и курфюрстом бранденбургским. Перед окнами двенадцать пушек на ярко-зеленых лафетах враз (когда мажордом у окна взмахивал платком) ударяли громовым салютом. Клубы белого порохового дыма застилали солнечное небо.

Лефорт откидывался на золоченом стульчике, широко раскрывал глаза, завитки парика прилипали к побледневшим щекам:

— Мачтовые леса шумят у нас по великим рекам... Рыбою одной можем прокормить все христианские страны. Льном и коноплей засеем хоть тысячи верст. А дикое поле — южные степи, где в траве скрывается всадник! Выбьем оттуда татар, — скота у нас будет, как звезд на небе. Железо нам нужно? — руда под ногами. На Урале — горы из железа. Чем нас удивят европейские страны? Мануфактуры у вас? Позовем англичан, голландцев. Своих заставим. Не оглянетесь — будут у нас всякие мануфактуры. Научим и искусствам посадских людей обучим. Купца, промышленника вознесем, как и не чаяли.

Так говорил хмельной Лефорт захмелевшим посланникам. От вина и его речей пришли они в изумление. В зальце было душно. Лефорт велел мажордому раскрыть оба окна и с

удовольствием втягивал ноздрями талый, холодный воздух. До вечерней зари он осушал чаши за великие прожекты. Вечером поехал к польскому послу и там танцевал и пил до утра.

На другой день Франц Яковлевич, против обыкновения, почувствовал себя утомленным. Надев заячий тулупчик и обвязав голову фуляром, приказал никого к себе не пускать. Он начал было письмо к Петру, но даже и этого не смог, — зазяб, кутаясь в тулупчик у камина. Привезли лекаря итальянца Поликоло. Он нюхал мочу и мокроты, цыкал языком, скреб нос. Адмиралу дали очистительного и пустили кровь. Ничто не помогло. Ночью от сильного жара Франц Яковлевич впал в беспамятство.

.

Пастор Штрумпф (вслед за служкой, звонящим в колокольчик), держа над головой дары, с трудом протискивался в большом зале. Лефортов дворец гудел голосами, — съезжалась вся Москва. Хлопали двери, дули сквозняки. Суетились потерянные слуги, иные уже пьяные. Жена Лефорта, Елизавета Францевна, встретила пастора у дверей в мужнину спальню, — увядшее лицо — в красных пятнах, унылый нос — исплакан. Малиновое платье кое-как зашнуровано, жиденькие прядки волос висели из-под парика. Адмиральша была до смерти напугана, видя столько подъезжающих знатных особ. По-русски она почти не говорила, всю жизнь провела в задних комнатах. Суя сложенные ладони в грудь пастору, шептала по-немецки:

— Что я буду делать? Такое множество гостей... Господин пастор Штрумпф, посоветуйте мне — может быть, подать легкую закуску? Все слуги — как сумасшедшие, никто меня не слушает. Ключи от кладовых под подушкой у бедного Франца. (Слезы полились из бледно-желтых глаз адмиральши, она стала шарить за лифом, вытащила мокрый платок, уткнулась в него.) Господин пастор Штрумпф, я боюсь выходить в зало, я так всегда теряюсь... Что будет, что будет, пастор Штрумпф?

Пастор приличным случаю баском сказал адмиральше утешительные слова. Провел ладонью по сизообритому лицу, согнал с него земную суету и вошел в опочивальню.

Лефорт лежал на широкой, измятой постели. Туловище его было приподнято на подушках. Щетина отросла на впавших щеках и на высоком черепе. Он дышал часто, со свистом, выпячивая желтые ключицы, будто все еще пытался влезть, как в хомут, в жизнь. Открытый рот запекся от жара. Жили одни глаза — черные, неподвижные.

Лекарь Поликоло отвел в сторону пастора Штрумпфа, прищурился значительно, собрал щеки морщинами.

— Сухие жилы, — сказал он, — коими, как известно нашей науке, душа соединяется с телом, в сем случае у господина адмирала наполнены столь сильными мокротами, что душа с каж-

дой минутой притекает к телу по все более узким канальцам, и надо ждать полного закрытия оных мокротами.

Пастор Штрумпф тихо сел у изголовья умирающего. Лефорт недавно очнулся от бреда и беспамятства и о чем-то заметно беспокоился. Услышав свое имя, он с усилием перевел было глаза на пастора и опять стал глядеть туда, где в камине дымилو серое полено. Там, над каминными завитками, лежал Нептун — бог морей — с трезубцем, под локтем его из золоченой вазы лилась золотая вода, разбегаясь золотыми завитками. Посредине, в черной дыре, дымило полено.

Штрумпф, стараясь отвлечь взор адмирала к распятию, говорил о надежде на вечное спасение, в коем не отказано никому из живущих... Лефорт что-то пробормотал невнятно. Штрумпф нагнулся к лиловым губам его. Лефорт — сквозь частое дыхание: — Много не говори...

Все же пастор исполнил свой долг: дал глухую исповедь и причастил умирающего. Когда он вышел, Лефорт приподнялся на локтях. Поняли, что он зовет мажордома. Прибежали, нашли плачущего старика в поварне. Распухший от слез, в шляпе со страусовыми перьями, с булавой, мажордом стал в ногах постели. Франц Яковлевич сказал ему:

— Позови музыкантов... Друзей... Чаши...

На цыпочках вошли музыканты, — не одетые, кто в чем был. Внесли кубки с вином. Музыканты, окружив постель, приложили рога к губам и на шестидесяти рогах — серебряных, медных и деревянных — заиграли менуэт, роскошный танец.

Мертвенно бледный Лефорт ушел плечами в подушки. Виски его запали, как у лошади. Неутолимо горели его глаза. Поднесли чашу, но он уже не мог поднять руки, — вино пролилось на грудь. Под музыку он снова забылся. Глаза перестали видеть.

.

Умер Лефорт. От радости в Москве не знали, что и делать. Колец теперь иноземной власти — Кукуй-слободе. Сдох проклятый советчик. Все знали, все видели: приворотным зельем опаивал он царя Петра, — да сказать-то ничего нельзя было. Отозвались ему стрелецкие слезы. Навек заглохнет антихристово гнездо — Лефоров дворцов...

Рассказывали: помирая, Лефорт приказал музыкантам играть, шутам скакать, плясцам плясать, и сам — зеленый, трупный — сорвался с постели, да и заскакал... А во дворце на чердаке как завоет, засвищет нечистая сила!..

Семь дней бояре и всякие служилые люди ездили ко гробу адмирала. Затая радость и страх, входили в двухсветное зало. Посреди его на помосте стоял гроб, до половины покрытый черной шелковой мантией. Четыре офицера с обнаженными шпагами стояли у гроба, четыре — внизу, у помоста. Вдова в скорбном платье сидела внизу перед помостом на раскладном стуле.

Бояре всходили на помост, свернув нос и губы в сторону, — чтобы не опоганиться, — касались щекой синей руки чертова адмирала. Потом, подойдя к вдове, — поясной поклон: пальцами до полу, и — прочь со двора...

На восьмой день из Воронежа, заганивая перекладных, приехал Петр. Кожаный возок его, — шестерней — пролетел через Москву прямо во двор Лефортова дворца. Разномастные лошади с трудом поводили мокрыми ребрами. Из-за полости высунулась рука, — шарила ремень — отстегнуть.

Из дворца как раз выходила Александра Ивановна Волкова, на крыльце никого, кроме нее, не случилось. Санька подумала, что приехал так кто-то худородный, глядя по лошадям. Рассердилась, что загородили дорогу ее карете.

— Отъезжай с клячами, ну, чего стал на дороге, — сказала она царскому кучеру.

Высунутая рука, не найдя застежки, зло оторвала ремень полости, и из возка полез человек в бархатном ушастом картузе, в серосуконном бараньем тулупе, в валенках. Вылез, высокий: Санька, глядя на него, задрала голову... Кругловатое лицо — осунувшееся, глаза — припухшие, темные усики — торчком. Батюшки, — царь!

Петр вытянул одну за другой затекшие ноги, брови сошлись. Узнал посаженую дочь, чуть улыбнулся морщинкой маленького рта. Сказал глухо:

— Горе, горе... — И пошел во дворец, размахивая рукавами тулупа. Санька — за ним.

Вдова на стуле, увидев царя, обомлела. Сорвалась. Хотела пасть в ноги. Петр обнял ее, прижал, поверх ее головы глядел на гроб. Подбежали слуги. Сняли с него тулуп. Петр косолапо, в валенках, пошел прощаться. Долго стоял, положив руку на край гроба. Нагнулся и целовал венчик, и лоб, и руки милого друга. Плечи стали шевелиться под зеленым кафтаном, затылок натянулся.

У Саньки, глядевшей на его спину, глаза раскисли от слез, — подпершись по-бабьи, тихо, тонко выла. Так жалела, так чего-то жалела... Он пошел с помоста, сопя, как маленький. Остановился перед Санькой. Она горько закивала ему.

— Другого такого друга не будет, — сказал он. (Схватился за глаза, затряс темными, слежавшимися за дорогу, кудреватými волосами.) — Радость — вместе и заботы — вместе. Думали одним умом... — Вдруг отнял руки, оглянулся, слезы высохли, стал похож на кота. В залo входили, торопливо крестясь, бояре — человек десять.

По месту — старшие первыми — они истово приближались к Петру Алексеевичу, становились на колено и, упираясь ладонями в пол, плотно били челом о дубовые кирпичи.

Петр ни одного из них не поднял, не обнял, не кивнул даже, —

стоял чужой, надменный. Раздувались крылья короткого носа.

— Рады, рады, вижу! — сказал непонятно и пошел из дворца опять в возок.

6

Этой осенью в Немецкой слободе, рядом с лютеранской киркой, выстроили кирпичный дом по голландскому образцу, в восемь окон на улицу. Строил приказ Большого дворца, торопливо — в два месяца. В дом переехала Анна Ивановна Монс с матерью и младшим братом Виллимом.

Сюда, не скрываясь, ездил царь и часто оставался ночевать. На Кукуе (да и в Москве) так этот дом и называли — царицын дворец. Анна Ивановна завела важный обычай: мажордома и слуг в ливреях, на конюшне — два шестерика дорогих польских коней, кареты на все случаи.

К Монсам, как прежде бывало, не завернешь на огонек аустерии — выпить кружку пива. «Хе-хе, — вспоминали немцы, — давно ли синеглазая Анхен в чистеньком передничке разносила по столам кружки, краснела, как шиповник, когда кто-нибудь из добряков, похлопав ее по девичьему задку, говорил: «Ну-ка, рыбка, схлебни пену, тебе цветочки, мне пиво...»

Теперь у Монсов бывали из кукуйских слобожан лишь почтенные люди торговых и мануфактурных дел, и то по приглашению, — в праздники, к обеду. Шутили, конечно, но пристойно. Всегда по правую руку Анхен сидел пастор Штрumpf. Он любил рассказывать что-нибудь забавное или поучительное из римской истории. Полнокровные гости задумчиво кивали кружками с пивом, приятно вздыхали о бренности. Анна Ивановна в особенности добивалась приличия в доме.

За эти годы она налилась красотой: в походке — важность, во взгляде — покой, благонравие и печаль. Что там ни говори, как ни кланяйся низко вслед ее стеклянной карете, — царь приезжал к ней спать, только. Ну, а дальше что? Из Поместного приказа жалованы были Анне Ивановне деревеньки. На балы могла она убирать себя драгоценностями не хуже других, и на грудь вешала портрет Петра Алексеевича, величиной в малое блюдо, в алмазах. Нужды, отказа ни в чем не было. А дальше дело задерживалось.

Время шло. Петр все больше жил в Воронеже или скакал на перекладных от южного моря к северному. Анна Ивановна слала ему письмеца, и — при каждом случае — лимонов, апельсинов по полдюжине (доставленных из Риги), колбасы с кардамоном, настоечки на травах. Но разве письмецами да посылками долго удержишь любовника? Ну, как привяжется к нему баба какая-нибудь, вьется в сердце? Ночь без сна ворочалась на перине. Все непрочное, смутно, двоясь. Враги, враги кругом — только и ждут, когда Монсиха споткнется.

Даже самый близкий друг — Лефорт, — едва Анна Ивановна околицами заводила разговор — долго ли Питеру жить в неряшестве, по-холостецки, — усмехался неопределенно, — нежно щипал Анхен за щечку: «Обещанного три года ждут...» Ах, никто не понимал: даже не царского трона, не власти хотела бы Анна Ивановна, — власть беспокойна, ненадежна... Нет, только прочности, опрятности, приличия...

Оставалось одно средство — приворот, ворожба. По совету матери, Анна Ивановна однажды, вставши с постели от спящего крепко Петра, зашила ему в край камзола тряпочку маленькую со своей кровью... Он уехал в Воронеж, камзол оставил в Преображенском, с тех пор ни разу не надевал. Старая Монсиха привлекала в задние комнаты баб-ворожей. Но открыться им — на кого ворожить — боялись и мать и дочь. За колдовство князь-кесарь Ромодановский вздергивал на дыбу.

Кажется, полюби сейчас Анну Ивановну простой человек (с достатком), — ах, променяла бы все на безмятежную жизнь. Чистенький домик, — пусть без мажордома, — солнце лежит на восковом полу, приятно пахнут жасмины на подоконниках, пахнет из кухни жареным кофе, навевая успокоение, звякает колокол на кирке, и почтенные люди, идя мимо, с уважением кланяются Анне Ивановне, сидящей у окна за рукодельем...

Со смертью Лефорта будто черная туча легла на голову Анны Ивановны. Она столько плакала за эти семь дней (до приезда Питера), что старая Монсиха велела привезти лекаря Поликоло. Тот приказал промывательное и очистительное, чтобы удалить излишние мокроты, появившиеся в крови вследствие огорчения. Анна Ивановна — сама хорошенько не понимая почему — с ужасом ожидала приезда Питера. Вспоминалось его землистое лицо со щекой, раздутой от зубной боли, когда он после самой страшной из стрелецких казней сидел у Лефорта. В расширенных глазах застыл гнев. Красные от мороза руки лежали перед пустой тарелкой. Не ел, не слушал застольных шуток. (Шутили, стуча зубами.) Не глядя ни на кого, заговорил непонятно:

— Не четыре полка, их — легион... На плахи ложились — все крестились двумя перстами... За старину, за нищенство... Чтобы наготовать и юродствовать... Посадские люди! Не с Азова надо было начинать, — с Москвы!

По сей день Анна Ивановна содрогалась, вспоминая Питера в то время. Чувствовала, в жестокие тревоги толкает ее от тихого окна этот мучительный человек... Зачем? Уж не антихрист ли и вправду он, как шепчут русские? По вечерам в постели, при кротком свете восковой свечи, Анна Ивановна, ломая руки, плакала отчаянно:

— Мама, мама, что я сделаю с собой? Я не люблю его. Он придет — нетерпеливый... Я — мертвая... Может быть, мне лучше лежать в гробу, как бедному Францу.

Неприбранная, с припухшими веками, неожиданно утром она

увидела в окно, как за изгородью на ухабистой улице остановился царский возок. Не засуетилась на этот раз: пусть — какая есть, — в чепце, в шерстяной шали. Идя через садик, Петр тоже увидел ее в окошко, покивал без улыбки. В сенях вытер о коврики ноги. Трезвый, смирный.

— Здравствуй, Аннушка, — сказал мягко. Поцеловал в лоб. — Осиротели мы. — Сел у стены, около стенных часов, медленно качавших смеющимся медным лицом на маятнике. Говорил вполголоса, будто дивясь, что смерть так неразумно оплошала. — Франц, Франц... Плохим был адмиралом, а стоил целого флота. Это — горе, это — горе, Аннушка... Помнишь, как в первый раз привел меня к тебе, ты еще девочка была — испугалась, как бы я не сломал музыкальный ящик... Не того смерть унесла... Нет Франца! — непонятно...

Анна Ивановна слушала, — закрылась до самых глаз пуховой шалью. Не приготовилась — не знала, что ответить. Слезы ползли под шаль. За дверью осторожно позвякивали посудой. Всхлипнув носом, полным слез, пробормотала, что Францу, наверно, хорошо сейчас у бога. Петр странно вато взглянул на нее...

— Питер, вы ничего не ели с дороги, прошу вас остаться откусать. Как раз сегодня ваши любимые поджаренные колбаски...

С тоской видела, что и колбаски его не прельстили. Присела рядом, взяла его руку, пахнущую овчиной, стала целовать. Он другой рукой погладил ей волосы под чепцом:

— Вечерком заеду на часок... Ну, будет тебе, будет, — всю руку замочила... Поди принеси колбаску, чарку водки... Поди, поди... А то мне дела много сегодня...

7

Лефорта похоронили с великой пышностью. Шли три полка с приспущенными знаменами, с пушками. За колесницей цугом (в шестнадцать вороных коней) несли на подушках шляпу, шпагу и шпоры адмирала. Ехал всадник в черных латах и перьях, держа опрокинутый факел. Шли послы и посланники в скорбном платье. За ними — бояре, окольные, думные и московские дворяне — до тысячи человек. Трубили военные трубачи, медленно били барабаны. Петр шагал впереди с первой ротой преображенцев.

Не видя поблизости царя, кое-кто из бояр понемногу рысью опережал иноземных послов, чтобы первым быть в шествии. Послы пожимали плечами, перешептывались. У кладбища их совсем оттерли. Роман Борисович Буйносов и весьма глупый князь Степан Белосельский брели у самых колес, держась за колесницу. Многие русские были навеселе: собрались к выносу чуть свет, подвело жivotы, не дожидаясь поминок, потеснились у столов, уставленных блюдами с холодной едой, поели и выпили.

Когда гроб поставили на выкинутую из ямы мерзлую глину, торопливо подошел Петр. Оглянул бритые, сразу заробевшие лица бояр, ощерился так злобно, что иные попятились за спины. Кивком подозвал тучного Льва Кирилловича:

— Почему они вперед послов пролезли? Кто велел?

— Я уж срамил, лаял, не слушают,— тихо ответил Лев Кириллович.

— Собаки! (И — громче.) Собаки, не люди! — Дернул шеей, завертел головой, лягнул ботфортом. Послы и посланники протискивались сквозь раздавшуюся толпу бояр к могиле, где один, около открытого гроба, чужой всем, озябший, в суконном кафтанишке, стоял царь. Все со страхом глядели, что он еще выкинет. Воткнув шпагу в землю, он опустился на колени и прижался лицом к тому, что осталось от умного друга, искателя приключений, дебошана, кутилки и верного товарища. Поднялся, зло вытирая глаза.

— Закрывай... Опускай...

Затрещали барабаны, наклонились знамена, ударили пушки, взметая белые клубы. Один из пушкарей, зазевавшись, не успел отскочить,— огнем ему оторвало голову. В Москве в тот день говорили:

«Чертушку похоронили, а другой остался,— видно, еще мало людей перевел».

8

Торговых и промысловых дел добрые люди, оставя сани за воротами и сняв шапки, поднимались по длинной — едва не от середины двора — крытой лестнице в Преображенский дворец. Гости¹ и купцы гостиной сотни приезжали на тройках, в ковровых санях,— входили, не робея, в лисьих, в пупковых шубах гамбургского сукна. Обветшалая палата была плохо топлена. Бойко поглядывая на прогнувшийся щелястый потолок, на траченное молью алое сукно на лавках и дверях, говорили:

— Строеньеце-то — не ахти... Она и видна боярская-то забота. Жалко, жалко.

Собрали сюда торговых людей наспех, по именным спискам. Кое-кто не приехал, боясь, как бы не заставили есть из никонианской посуды и курить табак. Догадывались, зачем царь позвал во дворец. Недавно на Красной площади думным дьяком при барабанном бое с лобного места был прочитан великий указ: «Известно государю учинилось, что гостям и гостиным сотни, и всем посадским, и купецким, и промышленным людям во многих их приказных волокитах от воевод, от приказных и от разных чинов людей, в торгах их и во всяких промыслах чинятся большие убытки и разорение... Мило-

¹ Торговые агенты правительства из богатых купцов.

сердую, он, государь, об них указал: во всяких их расправных, судных и челобитных, и купецких делах, и в сборах государственных доходов — в ед а т ь б у р м и с т р а м их и в б у р м и с т р ы в ы б и р а т ь им меж себя погодно добрых и правдивых людей, — кого они меж себя похотят. А из них по одному человеку быть в первых, сидеть по месяцу президентом...» В городах, в посадах и слободах указано ж выбирать для суда и расправы и сбора окладных податей земских бурмистров из лучших и правдивых людей, а для сбора таможенных пошлин и питейных доходов выбирать таможенных и кабацких бурмистров — кого похотят. Бурмистрам д у м а т ь и торговыми и окладными делами в е д а т ь в особой Бурмистерской палате, и ей со спорами и челобитными входить — мимо приказов — к одному государю.

Для Бурмистерской палаты отведено было в Кремле, близ храма Иоанна-Предтечи, строение староцарского дворца, с подвалами — где хранить казну.

Для такого честного дела московские купцы не пожалели денег (давно ли в Кремле ходили без шапок, и то с опаской — теперь сами там сели): ветхий дворец покрыли новой крышей — под серебро, покрасили снаружи и внутри, вставили оконницы не со слюдой, а со стеклами. В подвалов поставили свою стражу.

За избавление от воеводского разорения и приказной неправды купечество должно было теперь платить двойной против прежнего оклад. Казне — явная прибыль. Ну, а купечеству? — как сказать...

Действительно, от воевод, от приказных людей и людишек не стало житья: алчны, как волки, не уберегись — горло перервут, в Москве затаскают по судам, разденут, а в городах и посадах затомят на правеже на воеводином дворе. Это все так...

Но многие, — конечно, кто похитрее, — оберегались и жили не совсем плохо: воеводе поклонился рублем, подьячему послал сахарцу, сукнеца или рыбки, повытчика зазвал откушать чем бог послал. У иного богатея не то что воевода или приказный — дьявол не дознается, сколько у него товаров и денег. Конечно, такие орлы, — Митрофан Шорин — первый купец гостиной сотни, или Алексей Свешников, — эти, — как на ладони, к ним на двор и митрополит ездит. Рады платить хоть тройной оклад в Бурмистерскую палату, — там им честь, и сила, и порядок. Ну, а, скажем, Васька Ревякин старший? В лавчонке его в скобяном ряду товару на три алтына, — сидит, глаза тряпочкой вытирает. А, между прочим, знающие люди говорят: кабыльных душ крестьянских за ним, посчитать, тысячи три. Не то что мужик или посадский, — редкий купец не бывал у него в долгу по тяжелой записи. И нет такого города, такого посада, где бы Ревякин не держал скобяного склада и лавчонки, и все это у него записано на родственников и приказчиков. Ухватить его никакими средствами

нельзя: как налим — гол и скользок. Ему Бурмистерская палата — разорение, — от своих не скроешься.

В ожидании царского выхода купечество — постарше сидели на лавках, меньшие стояли. Понимали: нужны, значит, денюжки на денежку-государю, хочет поговорить по душам. Давно бы так, — по душам-то... Бывавшие здесь впервые не без страха поглядывали на раскрашенные львами и птицами двери сбоку тронного места (трона не было, остался один балдахин).

Петр вышел неожиданно из боковой дверцы, — был в голландском платье, — красный, видимо, выпивший. «Здорово, здорово», — повторял добродушно, здоровался за руку, иных похлопывал по спине, по голове. С ним — несколько человек: Митрофан Шорин и Алексей Свешников (в венгерских кафтанах); братья Осип и Федор Баженины — серьезные и видные, с закрученными усами, в иноземном суконном платье, узковатом в плечах; низенький и важный Иван Артемич Бровкин — скоробогатырь — обрит наголо, караковый парик до пупа; суровый думный дьяк Любим Домнин и какой-то — по одежде простой посадский — неведомый никому человек, с цыганской бородой, с большим залысым лбом. Этот, видимо, сильно робел, шел позади всех.

Петр сел на лавку, оперся о раздвинутые колени. «Садитесь, садитесь», — сказал придвинувшемуся купечеству. Помялись. Он велел, дернул головой. Старшие сейчас же сели. Оставшийся стоять думный дьяк Любим Домнин вынул сзади из кармана грамоту, свернутую трубкой, пожевал сухими губами. Тотчас братья Осип и Федор Баженины вскочили, держа на животе аглицкие шляпы, важно потупились. Петр опять кивнул на них:

— Вот таких бы побольше у нас... Хочу при всей людности Осипа и Федора пожаловать... В Англии, в Голландии жалуют за добрые торговые дела, за добрые мануфактуры, и нам — ввести тот же обычай. Верно я говорю? (Обернулся, направо, налево. Приподнял бровь.) Вы что мнетесь? Денег, боитесь, буду у вас просить? По-новому надо начинать жить, купцы, вот что я хочу...

Момонов, богатый суконщик, спросил, поклонясь:

— Это как — по-новому жить, государь?

— Отучаться жить особе... Бояре мои сидят по дворам, как барсуки. Вам нельзя, вы — люди торговые... Учиться надо торговать не в одиночку — кумпаниями. Ост-Индская кумпания в Голландии — милое дело: сообща строят корабли, сообща торгуют. Наживают великие прибыли... Нам у них учиться... В Европе — академии для сего. Желаете — биржу построим не хуже, чем в Амстердаме. Составляйте кумпании, заводите мануфактуры... А у вас одна наука: не обманешь — не продашь...

Молодой купчик, влюбленно глядевший на царя, вдруг ударил шапкой о руку:

— Это верно, у нас это так...

Его стали тянуть за полу в толпу. Он,— вертя головой, пожимая плечами:

— А что? Разве не правда? На обмане живем, один обман,— обвешиваем, обмериваем...

Петр засмеялся (невесело, баском, кругло раскрыв рот). Близстоящие также посмеялись вежливо. Он, оборвав смех,— строго:

— Двести лет торгуете,— не научились... Возле богатства ходите... Опять все то же убожество, нагота. Копейку наторговал и — в кабак. Так, что ли?

— Не все так, государь,— проговорил Момонов.

— Нет так! (Раздувая ноздри.) За границу поезжайте, поглядите на тех купцов — короли! Нам ждать недосуг, покуда сами научитесь... Иную свинью силой надо в корыто мордой совать... Почему мне иностранцы жить не дают? Отдай им то на откуп, отдай другое... Лес, руды, промыслы... Почему свои не могут? В Воронеж, черт те откуда, один человек приехал, такие развел тарара, такие прожекты! У вас, говорит, золотой край, только люди вы бедные... Отчего сие? Я смолчал... Спрашиваю,— или не те люди живут в нашем краю? (Оглянул купцов вылезшими глазами.) Бог других не дал. С этими надо справляться, так, что ли? Мне русские люди иногда — поперек горла. Так уж поперек. (Ухо у него натянулось, шейная жила вот-вот дернется.)

Тогда Иван Артемич, сидевший рядом с ним, проговорил добро, нараспев:

— Русских били много, да били без толку, вот и уроды получились.

— Дурак! — крикнул Петр.— Дурак! — И локтем ткнул его в бок.

Иван Артемич — еще придурковатее:

— Ну, вот, а я-то что говорю...

Петр с минуту бешено глядел на лоснящееся, придурковатое сощуренное, с дурацкой улыбкой лицо Бровкина. Ладонью шелкнул его по лбу:

— Ванька, шутом быть тебе еще не велено!

Но, видно, и сам понял, что пылить, сердиться при купечестве — не разумно. Купцы — не бояре: тем податься некуда, вотчину в кармане не унесешь. Купец, как улитка: чуть что — рожки спрятал и упятился с капиталом... Действительно, в палате стало тихо, отчужденно. Иван Артемич хитрой щелкой глаза повел на Петра.

— Читай, Любим,— сказал Петр дьяку.

Братья Баженины опять почтенно потупились. Любим Домнин высоким голосом сухо, медленно читал:

— «...дана сия милостивая жалованная грамота за усердное радение и к корабельному строению тцание... В прошлом году Осип и Федор Баженины в деревне Вовчуге построили с немецкого образца водяную пыльную мельницу без заморских мастеров, сами собою, чтобы на той мельнице лес растирать на

доски и продавать в Архангельске иноземцам и русским торговым людям. И они лес растирали, и к Архангельску привозили, и за море отпускали. И есть у них намерение у того своего заводу строить корабли и яхты для отпуска досок и иных русских товаров за море. И мы, великий государь, их пожаловали,— велели им в той их деревне строить корабли и яхты и, которые припасы к тому корабельному строению будут вывезены из-за моря, пошлин с них иметь не велеть, и мастеров им, иноземных и русских, брать вольным наймом из своих пожитков. А как те корабли будут готовы,— держать им на них для опасения от воровских людей пушки и зелье против иных торговых иноземческих кораблей...»

Долго читал дьяк. Свернул в трубку грамоту с висящей печатью, положи на ладони, подал Осипу и Федору. Приняв, братья подошли к Петру и молча поклонились в ноги,— все чин чином, степенно. Он поднял их за плечи и обоих поцеловал, но уже не по царскому обычаю,— ликуясь щечкой,— а в рот, крепко.

— То дорого, что почин,— сказал он купечеству. Отыскал бегаящими зрачками неизвестного никому посадского с цыганской бородой, залысым лбом.— Демидыч! (Тот, резко пхаясь, пролез сквозь толпу.) Демидыч, поклонись купечеству... Никита Демидов Антуфьев — тульский кузнец. Пистолеты и ружья делает не хуже аглицких. Чугун льет, руды ищет. Да крылья у него коротки. Поговорите с ним, купцы, подумайте. А я ему друг. Надо — земли пожалуем и деревеньки. Демидыч, кланяйся, кланяйся, я за тебя поручусь...

9

— Ты кто? Тебе зачем? Кого здесь нужно?

Суровая широкоплечая баба недобрым взглядом осматривала Андрея Голикова (палехского иконописца). У него под коричневой, в дырах и клочьях, сермягой пупырчатая кожа мелко дрожала. Дул сырой мартовский ветер. Свистели голые кусты на обветшалой стене Белого города. Тревожно кричали вороны, взлетая,— косматые и голодные,— над кучами мусора. Неперелазные заборы купца Василия Ревякина тянулись вдоль сошедшихся углом московских стен. Место было угрюмое, переулки тесные, пустынные.

— От старца Авраамия,— прошептал Андрей, плотно приложил два перста ко лбу. За спиной бабы, на разбегженном коляеми дворе, у покосившихся амбаров, вставали на дыбки на цепях поджарые кобели... Андрюшка весь обледенел, горячи были одни глаза. Баба, помедлив, пропустила его на двор, указала идти по брошенным в грязь доскам к высокому и длинному строению, без лестницы и крыльца. Под самой крышей хлопали ставни на слюдяных окошечках.

Спустились в темные сени, где пахло кадками. Баба толкнула Андрюшку.

— Ноги вытри о солому, не в хлеву,— и, подождав,— все так же недружелюбно: — во имя отца и сына и святого духа.

Отворила низенькую дверь в подклеть. Здесь было жарко, углем из печи озарялись в углу темные доски икон. Андрей долго крестился на страшные глаза древних ликов. Робея, остался у двери. Баба села. За стеной глухо пели многие голоса.

— Зачем тебя старец послал?

— На подвиг.

— Какой?

— На три года к старцу Нектарию.

— К Нектарию,— протянула баба.

— Сюда послал, чтобы к нему дорогу указали. В мире жить не могу,— телу голодно, душе страшно. Боюсь. Ищу пустыни, райского жития... (Андрюшка потянул носом.) Смилуйся, матушка, не прогони.

— Старец Нектарий сотворит тебе пустыню,— проговорила баба загадкой. Видные от света углей глаза ее сузились.

Андрей стал рассказывать: вот уже более полугода он бродит меж двор, умирает голодною и озябает студеною смертью. Связывался со всякими людьми, подбивали его на воровские дела. «Не могу, душа ужасается». Рассказывал, как этой зимой в снежные вьюги ночевал под худыми крышами городских стен: «Соломки достану, рогожей укроюсь. Вьюга воет, снег крутит, мертвые стрельцы на веревках пляшут, о стену бьются. Взял в эти ночи тихого пристанища, безмолвного жития...»

Расспросив доточно про старца Авраамия, баба со вздохом поднялась: «Иди за мной». Повела Андрюшку опять через темные сени вниз по ступеням. Велев быть на нищем месте, впустила в подполье, где пели голоса. Горячо пахло воском и ладаном. Человек тридцать и более стояло на коленях на скобленном полу. За бархатным аналоем читал кривоплечий человек в черном подряснике и скуфье. Перелистывая ветхую страницу рукописного требника, поднимал клочкастую бороду к свечным огням. По всей стене, даже от пола, горели свечи перед большими и малыми иконами старого новгородского письма.

Служили по беспоповскому чину. Пели сумрачно, гнусовато. Направо от старца, впереди молящихся, на коленях стоял маленький козлинобородый Василий Ревякин. Перебирал лестницу, то вскидывал глаза на лики, то, чуть обернувшись, косился,— и под глазком его молящиеся истовее клали поклоны, даже до изъязвления лба.

Кривоплечий старец закрыл книгу, поднял ее над головой, повернулся: выдранная клочками борода, нестарое лицо с перешибленным носом. Вперясь расширенными зрачками будто в страшное видение, разинув рот с выбитыми зубами, возопил:

— Праведного Ипполита, папы римского, слова помянем:

«По пришествии времени антихристова церковь божия позападает и упразднится жертва бескровная. Прельщение содеется в градах и в селлах, в монастырях и в пустынях. И никто не спасется, только малое число...»

Страшен был голос. Молящиеся упали на лица содрогались плечами. Старец стоял со вздетой книгой, покуда плач не стал всеобщим.

.

— Братие, что я вам расскажу (окончив службу, говорил старец, схватясь за деревянный крест на груди). Была надо мной милость божия. Привел господь меня на Вол-озеро, в пустынь, к старцу Нектарию. Поклонился я старцу, и он спросил меня: «Что хочешь: душу спасти или плоть?» Я сказал: «Душу, душу!» И старец сказал: «Благо тебе, чадо». И душу мою спасал, а плоть умерщвлял... Кушали мы в пустыне вместо хлеба траву папороть, и кислицу, и дубовые желуди, и с древес сосновых кору отымали и сушили и, со рыбою вместе истолокши,— то нам и брашно было. И не уморил нас господь. А како я терпел от начальника моего с первых дней: по дважды на всякий день бит был. И в светлое воскресенье дважды был бит. И того за два года сочтено у меня по два времени на всякий день — боев тысяча четыреста и тридесять. А сколько ран и ударов было на всякий день от рук его честных — того и не считаю. Пастырь плоть мою сокрушал: что ему в руках прилучилось — тем и жаловал меня, свою сиротку и малого птенца. Учил клюкою и пестом, чем в ступе толкут, и кочергою, и поварнями, в чем яству варят, и рогаткою, чем тесто творят... Того ради тело мое начальник изъязвлял, чтобы душа темная просветилась... Коромыслом, на чем ушаты с водою носят, тем древом из ноги моей икра выбита, чтобы ноги мои на послушание готовы были. И не только древом всяким, но и железом, и камением, а за власы рванием, а ино и кирпичом тело мое смирял. В то время персты рук моих из суставов выбиты, и ребра мои и кости переломаны. И господь не уморил меня. Ныне немощен телом, но духом светел... Братие, не разленитесь о душе своей.

.

— Не разленитесь о душе своей,— три раза провопил старец, немилосердно въедаясь глазами в оробевшую паству. Здесь были все родственники, свояки, крепостные люди Василия Ревякина; его приказчики, амбарные и лавочные сидельцы. Слушав, они сокрушенно вздыхали. Иные не вытерпливали иступленного взгляда старца. Андрей Голиков сгибался от рыданий, схватив себя за щеки, плакал, желтые лучи от огоньков свечей сквозь слезы колыхались по всей моленной, будто крылья архангелов.

Старец поясню поклонился пастве и отошел. На место его встал

сам Василий Ревякин, низенький, седатый, вместо глаз — две морщины, где непойманно бегали зрачки. Перебирая лестницу, тихо, человечно заговорил:

— Дорогие, мои незабвенные... Страшно! Возлюбленные, страшно! Был светел день, нашла туча, все житие наше смрадом покрыла... (Оглянулся через правое, через левое плечо, будто не стоит ли кто за ним. Мягко в чесаных валеночках шагнул вперед.) Антихрист уж здесь. Слышите? Воссел на куполах церкви никонианской. Щепоть — печать его, щепотникам нет спасения: уж пожраны суть... И тем, кто пьет и ест со щепотниками, нет спасения. Кто от попа таинство примет — нет спасения, — просфоры их клейменные и священство их мнимое... Как нам спастись? Мы слышали, как спасаются-то. Никого не держу, — идите, уходите, милые, примите муки, просветитесь. Лишними заступниками будете за нас, грешных и слабых. Может, и сам я уйду... Амбары, лавки закрою, товары, животишки раздам нищим. Единое спасение — дедовская вера, послушание да страх... (Горько помотал бородкой, вытер ресницы суконным рукавом. Паства затихла. Не дышали, не шевелились.) Благо, кому вместится... А кому не вместится — и тот не отчаивайся... Старцы замолят. Одного больше смерти бойтесь — как бы лукавый под локоть не толкнул... Не прежние времена: слуги его невидимые обступили каждого, только того и ждут... Согреши, душой покриви, копейку утаи от хозяина... Будто бы — малость? Копейка! Нет... Кинутся на тебя, и пропал, — на вечную муку... Бойтесь, чтобы старцы молиться за вас не перестали... (Еще шагнул вперед, лесточкой хлестнул себя по ляжке.) Ишь ты, прельщение какое: Бурмистерская палата!.. Вот где — ад, прямой ад... От древности купечество платило оклады в казну, и за всем тем мое тайное дело: чем торгую, как торгую... Господь разумом наградил — вот и купец. А дурачок век в батраках прозябнет. Бурмистров выбирать! Он и в амбар, он и в сундук ко мне... Все ему скажи, все покажи... Зачем! Кому нужно! Антихристову сеть накидывают на купечество... А еще — почта! Зачем? Я верного человека пошлю в Великий Устюг, скорее почты доедет и скажет, что нужно, — тайно... А почтой, — разве я знаю, какой человек мое письмо повезет? Нет, нам ни почты не надо, бурмистров не надо, окладов двойных не платить, и с иноземцами с никонианами табаку не курить. (Не хотел, а рассердился. Дрожащей лиловой рукой полез в карман, вынув платок, вытерся. Покачал головой, глядя на догоравшие свечи. Вздохнул тяжело и кончил.) Ужинать пойдете...

Все, кто был в моленной, пошли через сени и поварню рядом в подклеть. Сели за дощатый стол, покрытый крашеиной, в красном углу, где ужинали Василий Ревякин и трое старых приказчиков — его двоюродные братья. Попросили было и старца под образа. Но он вдруг громко плюнул и пошел к двери, к нищим, сидевшим на полу. С ними был и Андрей.

Посреди стола горела сальная свеча. Из темноты приходила суровая баба с полными чашками. Иногда с потолка падал таракан. Ели молча, степенно жевали, тихо клали ложки. Андрей пододвинулся поближе к старцу. Держа чашку на коленях, согнувшись, капая на клочкастую бороду, старец судорожно хлебал, обжигался, — хлеб ел маленькими кусками. Откушав и помолясь, сложил на животе руки. По замутившимся глазам видно было, что подобрел.

Андрей тихо ему:

— Батюшка мой, хочу к старцу Нектарию. Пусти.

Старец задышал часто. Но глаза опять осовели:

— Ужо, лягут спать, — приходи в моленну. Я тебя попытаю.

Андрей содрогнулся, — в тоске, в обречении стал ерзать затылком по заусенцам бревенчатой стены...

10

С юга, с Дикого поля, дул теплый ветер. В неделю согнало снега. Весеннее небо синело в полых водах, заливавших равнину. Вдулись речонки, тронулся Дон. В одну ночь вышла из берегов Воронеж-река, затопило верфи. От города до самого Дона качались на якорях корабли, бригантины, галеры, каторги, лодки. Непросохшая смола капала с бортов, блестели позолоченные и посеребренные нептуньи морды. Трепало паруса, поднятые для просушки. В мутных водах шуршали, ныряя, последние льдины. Над стенами крепости — на правой стороне реки, напротив Воронежа, — взлетали клубы порохового дыма, ветер рвал их в клочья. Катились по водам пушечные выстрелы, будто сама земля взбухла и лопалась пузырями.

На верфи шла работа день и ночь. Заканчивали отделку сорокапушечного корабля «Крепость». Он покачивался высокой резной кормой и тремя мачтами у свежих свай стенки. К нему то и дело отплывали через реку ладьи, груженные порохом, солониной и сухарями, — причаливали к его черному борту. Течением натягивало концы, трещало дерево. На корме, на мостике, перекикаявая грохот катящихся по палубе бочек, визг блоков, ругался по-русски и по-португальски коричневомордый капитан Памбург — усищи дыбом, глаза — как у бешеного барана, ботфорты — в грязи, поверх кафтана — нагольный полушубок, голова стянута шелковым красным платком. «Дармоеды! Шукины дети! Карраха!» Матросы выбивались из сил, вытягивая на борт кули с сухарями, бочки, ящики, — бегом откатывали к трюмам, где хрипели цепными кобелями боцмана в суконных высоких шапках, в коричневых штанах пузырями.

Над рекой на горе покривились срубчатые островерхие башни, за ветхими стенами ржавели маковки церковей. Перед старым городом по склону горы раскиданы мазаные хаты и дощатые балаганы рабочих. Ближе к реке — рубленые избы новоназначенного

адмирала Головина, Александра Меньшикова, начальника Адмиралтейства Апраксина, контр-адмирала Корнелия Крейса. За рекой, на низком берегу, покрытом щепой, изрытом колесами, стояли закопченные, с земляными кровлями, срубы кузниц, поднимались ребра недостроенных судов, полузатопленные бунты досок, вытасненные из воды плоты, бочки, канаты, заржавленные якоря. Черно дымили котлы со смолой. Скрипели тонкие колеса канатной сучильни. Пильщики махали плечами, стоя на высоких козлах. Плотовщики бежали босиком по грязи, вытаскивали баграми бревна, уносимые разливом.

Главные работы были закончены. Флот спущен. Оставался корабль «Крепость», отделяваемый с особенным тщанием. Через три дня было сказано поднятие на нем адмиральского флага.

То и дело рвали дверь, входили новые люди, не раздеваясь, не вытирая ног, садились на лавки, а кто побольше — прямо к столу. В царской избе ели и пили круглые сутки. Горело много свечей, воткнутых в пустые штофы. На бревенчатых стенах висели парики, — в избе было жарко. Стлался табачный дым из трубок.

Вице-адмирал Корнелий Крейс спал за столом, уткнув лицо в расшитые золотом обшлага. Шаутбенахт¹ русского флота, голландец Юлиус Рез, — отважный морской бродяга, с головой, оцененной в две тысячи английских фунтов за разные дела в далеких океанах, — тянул анисовую, насупившись на свечу односторонним свирепым лицом. Корабельные мастера Осип Най и Джон Дей, обросшие щетиной за эти горячие дни, попыхивали трубками, насмешливо подмигивали русскому мастеру Федосею Склеяву. Федосей только что пришел, — распустив шарф, расстегнув тулупчик, хлебал лапшу со свининой...

— Федосей, — говорил ему Осип Най, подмигивая рыжими ресницами. — Федосей, расскажи, как ты пировал в Москве?

Федосей ничего не отвечал, хлебая. Надоело, в самом деле. В феврале вернулся из-за границы, и надо бы сразу — по письму Петра Алексеевича — ехать в Воронеж. Черт попутал. Закрутился в Москве по приятелям, и пошло. Три дня — в чаду: блины, закуски, заедки, винище. Кончилось это, как и надо было думать: очутился в Преображенском приказе.

Царь, узнав, что жданный любимец его Федосей сидит за князем-кесарем, погнал в Москву нарочного с письмом к Ромодановскому:

«Мин хер кениг... В чем держишь наших товарищей, Федосей Склеява и других? Зело мне печально. Я ждал паче всех Склеява, потому что он лучший в корабельном мастерстве, а ты изволил задержать. Бог тебе судия. Истинно никакого нет мне

¹ Шаутбенахт — чин, соответствующий контр-адмиралу.

здесь помощника. А, чаю, дело не государственное. Для бога освободи и пришли суды. Питер».

Ответ от князя-кесаря дней через десять привез сам Склеяев:

«Вина его вот такая: ехал с товарищами пьяный и задрался у рогаток с солдатами Преображенского полку. И по розыску явилось: на обе стороны не правы. И я, разыскав, высек Склеяева за его дурость, также и солдат-челобитников высек, с кем ссора учинилась. В том на меня не прогневишься, — не обык в дуростях спускать, хотя б и не такова чину были».

Ладно. Тому бы и конец. Петр Алексеевич, встретив Склеяева, обнимал и ласкал, и хлопал себя по ляжкам, и изволил не то что засмеяться, а ржал до слез... «Федосей, это тебе не Амстердам!» И письмо князя-кесаря за ужином прочел вслух.

Съев лапшу, Федосей оттолкнул чашку, потянулся к Осипу Наю за табаком.

— Ну, будет вам, посмеялись, дьяволы, — сказал грубым голосом. — В трюм, в кормовую часть, лазили сегодня?

— Лазили, — ответил Осип Най.

— Нет, не лазили...

Медленно вынув глиняную трубку, опустив углы прямого рта, Джон Дей проговорил через сжатые зубы по-русски:

— Почему ты так спрашиваешь, что мы будто не лазили в трюм, Федосей Склеяев?

— А вот потому... Чем мыргать на меня — взяли бы фонарь, пошли.

— Течь?

— То-то, что течь. Как начали грузить бочки с солониной, — шпангоуты расперло, и снизу бьет вода.

— Этого не может случиться...

— А вот может. О чем я вам говорил, — кормовое крепление слабое.

Осип Най и Джон Дей поглядели друг на друга. Не спеша встали, надвинули шапки с наушниками. Встал и Федосей, сердито замотал шарф, взял фонарь.

— Эх вы, генералы!

К столу присаживались офицеры, моряки, мастера, усталые, замазанные смолой, забрызганные грязью. Вытянув чарку огненно-крепкой водки из глиняного жбана, брали руками что попадется с блюд: жареное мясо, поросятину, говяжьи губы в уксусе. Наскоро поев, многие опять уходили, не крестя лба, не благодаря...

У дощатой перегородки навалился широким плечом на косяк дверцы сонноглазый матрос в суконой высокой шапке, сдвинутой на ухо. На жилистой его шее висел смоляной конец с узлами — линек. (Им он потчевал кого надо.) Всем, кто близко подходил к дверце, говорил тихо-лениво:

— Куда прешь, куда, бодлива мать?..

За перегородкой, в спальне половине, сидели сейчас госу-

дарственные люди: адмирал Федор Алексеевич Головин, Лев Кириллович Нарышкин, Федор Матвеевич Апраксин — начальник Адмиралтейства — и Александр Данилович Меншиков. Этот, после смерти Лефорта, сразу жалован был генерал-майором и губернатором псковским. Петр будто бы так и сказал, вернувшись в Воронеж после похорон: «Были у меня две руки, осталась одна, хоть и вороватая, да верная».

Алексашка, в преображенском, ловко затянутом шарфом, тонком кафтане, в парике, утопив узкий подбородок в кружева, стоял у горячей кирпичной печки. Апраксин и тучный Головин сидели на неприбранной постели. Нарышкин, опираясь лбом в ладонь, — у стола. Слушали они думного дьяка и великого посла Прокофия Возницына. Он только что вернулся из Карловиц на Дунае, со съезда, где цезарский, польский, веницейский и московский послы договаривались с турками о мире.

Царя он еще не видел. Петр велел сказать, чтоб министры собрались и думали, а он придет. Возницын держал на коленях тетради с цифирными записями, спустив очки на кончик сухого носа, рассказывал:

— Учинена мною с турецкими послами, рейс-эфенди Рами и тайным советником Маврокордато, армисциция, сиречь унятие оружия на время. Большого добиться было нельзя. Сами судите, господа министры: в Европе сейчас такая каша заваривается, — едва ли не на весь мир. Испанский король дряхл, не сегодня-завтра помрет бездетным. Французский король добивается посадить в Испанию своего внука Филиппа и уж женил его, держит при себе в Париже, ожидая — вот-вот короновать. Император австрийский, с другой стороны, хочет сына своего Карла посадить в Испанию...

— Да знаем, знаем это все, — нетерпеливо перебил Алексашка.

— Потерпи уж, Александр Данилович, говорю, как умею (седым взором поверх очков Возницын тяжело уставился на красавца), решается великий спор меж Францией и Англией. Будет Испания за французским королем, — французский с испанским флотом возьмут силу на всех морях. Будет Испания за австрийским императором, — англичане тогда с одним французским флотом справятся. Европейский политик мутят англичане. Они и свели в Карловицах австрийцев с турками. Для войны с французским королем австрийскому цезарю надобно руки себе развязать. И турки усердно рады мириться, чтоб отдохнуть, собраться с силами: принц Евгений Савойский много у них земель и городов побрал за цезаря, в Венгрии, в Семиградской земле и в Морее, и цезарцы¹ уж в самый Цареград смотрят... Туркам сейчас забота — свое вернуть...

¹ Цезарцы — австрийцы; Евгений Савойский — австрийский полководец; Семиградская земля, или Трансильвания, — восточная часть Румынии; Морее — южная часть Греции.

Воевать отдаленно — с поляками или с нами — сейчас и в мыслях нет... Тот же Азов, — не стоит он того, что им надобно под ним потерять.

— Так ли турецкий султан слаб, как ты успокаиваешь? Сомнительно, — проговорил Алексашка. (Головин и Апраксин усмехнулись. Лев Кириллович, видя, что они усмехнулись, тоже с усмешкой покачал головой.)

Алексашка, — подрожав ляжкой, позвенеv шпорой:

— А коли слаб, что ж ты с ним вечного мира не подписал? Либо ты забыл сказать рейс-эфенди, что у нас на Украине зимуют сорок тысяч городских стрельцов, да в Ахтырке собран конный большой полк Шеина, да в Брянске готовы суда для переправы. Не с голыми руками тебя посылали... Армисциция!

Прокофий Возницын медленно снял очки. Трудно было привыкать к новым порядкам, — чтобы мальчишка без роду-племени так разговаривал с великим послом. Проведя сухой ладонью по задрожавшему от гнева лицу, Прокофий собрался с мыслями. Лаем, конечно, тут ничего не возьмешь.

— А вот почему не мир, — учинена армисциция, Александр Данилович... Цезарские послы, не сходясь с нами, ни с поляками, ни с венецианцами, тайно, одни, переговаривались с турками. И поляки тайно от нас договорились. И нас бросили одних. Турки, приведя дела с цезарцами к удовольствию, с нами вначале и говорить не хотели, так надулись... Не будь там старинного моего знакомого Александра Маврокордато, — и армисциции бы у нас не было... Вы здесь сидите, господа министры, думаете — на вас вся Европа смотрит... Нет, для них мы — малый политик, можно сказать — никакой политик...

— Ну, это еще бабка надвое...

— Подожди, не горячись, Александр Данилович, — мягко остановил его Головин.

— На посольском стану отвели нам самое худое место. Стражу приставили... Ходить никуда не велели, ни с турками видаться, ни пересылаться с ними. Еще будучи в Вене, взял я одного дохтура, бывалого поляка. Дохтура и стал засылать в турецкий стан к Маврокордато. Послал раз. Маврокордато велел кланяться. Послал в другой. Маврокордато велел кланяться и сказал, что студено. Я рад. Взял кафтан свой чернобурых лисиц, на малиновом сукне, послал его с дохтуром, велел ехать кругом посольских станов — степью. Маврокордато кафтан взял, на другой день посылает мне табак, два чубука добрых да кофе с фунт, да писчей бумаги. Ах, ты, думаю, отдаривается... И опять ему на возу — икры паюсной, спиннок осетровых, пять тешь белужьих больших, наливков разных... Да и сам поехал ночью в турецкий стан, один, в простом платье. А турки как раз в тот день подписали с цезарем мир...

— Эх! — топнул шпорой Алексашка.

— Маврокордато мне: «Вряд ли, говорит, будет у нас

с вами удовольствие, если не вернете нам днепровские городки, чтобы Днепр запереть и ход вам заградить навсегда в Черное море, и Азов придется отдать, и крымскому хану вам дань платить по-старинному...» Вот, Александр Данилович, как с первого-то разговора турки начали задираться... А ведь я — один. Союзники свои дела кончили, разъехались... Воронежским флотом грожу. Турки смеются.

«В первый раз слышим, чтобы за тысячу верст от моря строили корабли, ну и плавайте на них по Дону, а через гирло вам не перелезть...» Грозил и украинским войском, а они мне — татарами: «Смотрите, у татар сейчас руки развязаны, как бы вам они не сделали, как при Девлет-Гирее¹». Не будь у турок заботы — обвалили бы они на нас войну... Не знаю, Александр Данилович, может быть, по скудости разума не смог я достичь большего, но армисция — все-таки не война...

.....

Много мелочей еще не было окончено. Не хватало гвоздей. Только вчера по ростепели пришла часть санного обоза с железом из Тулы. В кузницах работали всю ночь. Дорог был каждый день, чтобы успеть догнать по высокой воде тяжелые корабли до гирла Дона.

Пылали все горны. Кузнецы в прожженных фартуках, в соленых от пота рубахах, рослые молотобойцы, по пояс голые, с опаленной кожей, закопченные мальчишки, раздувающие мехи, — все валились с ног, отмахивали руки, почернели. Отдыхающие (сменялись несколько раз в ночь) сидели тут же: кто у раскрытых дверей жевал вяленую рыбу, кто спал на куче березовых углей.

Старший мастер Кузьма Жемов, присланный Львом Кирилловичем со своего завода в Туле (куда был взят из тульской тюрьмы — в вечную работу), покалечил руку. Другой мастер угорел и сейчас стонал на ночном ветерке, лежа около кузницы на сырых досках.

Наваривали лапы большому якорю для «Крепости». Якорь, подвешенный на блоке к потолочной матице, сидел в горне. Омахивая пот, свистя легкими, воздуходувы раскачивали рычаги шести мехов. Два молотобойца стояли наготове, опустив к ноге длинноручные молота. Жемов здоровой рукой (другая была замотана тряпкой) ковырял в углях, приговаривал:

— Не ленись, не ленись, поддай...

Петр в грязной белой рубахе, в парусиновом фартуке, с мазками копоти на осунувшемся лице, сжав рот в куриную гузку, осторожно длинными клещами поворачивал в том же

¹ При Иоанне Грозном крымцами была сожжена Москва и около пол-миллиона человек убито и уведено в плен.

горне якорную лапу. Дело было ответственное и хитрое — наварка такой большой части...

Жемов,— обернувшись к рабочим, стоящим у концов блока:

— Берись... Слушай... (И — Петру.) В самый раз, а то пережжем... (Петр, не отрывая выпуклых глаз от углей, кивнул, пошевелил клещами.) Быстро, навались... Давай!..

— Торопливо перехватывая руками, рабочие потянули конец. Заскрипел блок. Сорокапудовый якорь пошел из горна. Искры взвились метелью по кузнице. Добела раскаленная якорная нога, щелкая окалиной, повисла над наковальней. Теперь надо было ее нагнуть, плотно уместить. Жемов — уже шепотом:

— Нагибай, клади... Клади плотнее... (Якорь лег.) Сбивай окалину. (Загорающимся веником стал омахивать окалину.) Лапу! (Обернувшись к Петру, закричал диким голосом.) Что ж ты! Давай!

— Есть!

Петр вымахнул из горна пудовые клещи и промахнулся по наковальне,— едва не выронил из клещей раскаленную лапу. Присев от натуги, ощерясь, наложил...

— Плотнее! — крикнул Жемов и только взглянул на молотобойцев. Те, выхаркивая дыхание, пошли бить кругами, с оттяжкой. Петр держал лапу. Жемов постукивал молотком — так-так-так, так-так-так. Жгучая окалина брызгала в фартуки.

Сварили. Молотобойцы, отдуваясь, отошли. Петр бросил клещи в чан. Вытерся рукавом. Глаза его весело сузились. Подмигнул Жемову. Тот весь собрался морщинами:

— Что ж, бывает, Петр Алексеевич... Только в другой раз эдак вот не вымахивай клещи-то,— так и человека можно задеть и непременно сваркой мимо наковальни попадешь. Меня тоже били за эти дела...

Петр промолчал, вымыл руки в чану, вытерся фартуком, надел кафтан. Вышел из кузницы. Остро пахло весенней сыростью. Под большими звездами на чуть сереющей реке шуршали льдины. Покачивался мачтовый огонь на «Крепости». Сунув руки в карманы, тихо посвистывая, Петр шел по берегу, у самой воды.

.....

Матрос у перегородки, увидев царя, кинулся головой в дверцу, оповестил министров. Но Петр не сразу прошел туда,— с удовольствием закрутив носом от тепла и табачного дыма, нагнулся над столом, оглядывая блюда.

— Слышь-ка,— сказал он круглобородому человеку с удивленно задранными бровями (на маленьком лице — ярко-голубые глаза,— знаменитый корабельный плотник Аладушкин),— Мишка, вон то передай,— указал через стол на жареную говядину, обложенную мочеными яблоками. Присев на скамью, напротив

спящего вице-адмирала, медленно — как пьют с усталости — выпил чарочку, — пошла по жилам. Выбрал яблоко покрепче. Жуя, плюнул косточкой в плешь Корнелию Крейсу:

— Чего, пьяный, что ли?

Тогда вице-адмирал поднял измятое лицо и — простуженным басом:

— Ветер — зюд-зюд-вест, один балл. На командорской вахте — Памбург. Я отдыхаю. — И опять уткнулся в расшитые рукава.

Поев, Петр сказал:

— Что ж у вас тут невесело? — Положил кулаки на стол. Минуту переждав, выпрямил спину. Прошел за перегородку. Сел на кровать. (Министры почтительно стояли.) Большим пальцем плотно набил в трубочку путаного голландского табаку, закурил от свечи, поднесенной Алексашкой: — Ну, здравствуй, великий посол.

Стариковские ноги Возницына, в суконных чулках, подогнулись, жесткие полы французского камзола полезли вверх, — поклонился большим поклоном, раскинул космы парика близ самых башмачков государевых, облепленных грязью. Так ждал, когда поднимет. Петр сказал, навались локтем на подушку:

— Алексашка, подними великого посла... Ты, Прокофий, не сердись, — устал я чего-то... (Возницын, отстраня Меньшикова, сам поднялся, обиженный.) Письма твои читал. Пишешь, чтобы я не гневался. Не гневаюсь. Дело честно делал, — по старинке. Верю... (Зло открыл зубы.) Цезарцы! Англичане! Ладно, — в последний раз так-то ездили кланяться... Сядь. Рассказывай.

Возницын опять стал рассказывать про обиды и великие труды на посольском съезде. Петр все это уже знал из писем, — рассеянно дымил трубочкой.

— Холоп твой, государь, скудным умишком своим так рассудил, если турок не задирать, то армисцию можно тянуть долго. Послать к туркам какого ни на есть человека — умного, хитрого... Пусть договаривается, время проводит, — где и посулит чего уступить, так ведь магометан, государь, и обмануть не грех, — бог простит.

Петр усмехнулся. Половина лица его была в тени, но круглый глаз, освещенный свечою, глядел строго.

— Еще что скажете, бояре? (Вынул трубочку и на сажень сплюнул через зубы.)

Тени на стене от двух рогатых париков Апраксина и Головина заколыхались. Трудно было, конечно, так, сразу, и ответить... По-прежнему, как говаривали в Думе, — витиевато, вокруг да около, — этого Петр не любил. Алексашка, ерзая плечами по горячей печи, кривил губы.

— Ну? — спросил его Петр.

— Что ж, Прокофий по-дедовски рассудил канитель путать! Нынче нам так не подходит...

Лев Кириллович, — с одышкой, горячась:

— Сам бог не допустил, чтобы мы с турками мир подписали. Иерусалимский патриарх со слезами нам пишет: охраните гроб господень. Молдавский и валахский господа-ри едва не на коленях молят: спасти их от турецкой неволи. А мы, — да, господа! (Петр насмешливо: «А ты не плачь...») Лев Кириллович осекся, разинув рот и глаза. И — опять.) Государь, не быть нам без Черного моря! Слава богу, сила у нас теперь есть, и турки слабы... Не как Васька Голицын, — не в Крым нам идти, а через Дунай на Цареград, — крест воздвигнуть на святой Софии.

Рогатые парики тревожно колыхались. Глаз Петра все так же поблескивал непонятно, трубочка похрипывала. Смирный Апраксин сказал тихо:

— Мир лучше войны, Лев Кириллович, война — дорогá. Замириться с турками хоть на двадцать пять лет, хоть на десять, не отдав ни Азова, ни днепровских городков, — чего лучше... (Покосился на Петра, вздохнул.)

Петр встал, но места — шагать — было мало, сел на стол.

— Все мне на вас, на дворян, на вотчинников, оглядываться! Дворянское ополчение! Влезут, гладкие дьяволы, на коней, саблю не знают в какой руке держать. Дармоеды, истинно дармоеды! Поговорил бы ты с торговыми людьми... Архангельск — одна дыра на краю света: англичане, голландцы что хотят, то и дают, за грош покупают... Митрофан Шорин рассказывал: восемь тысяч пудов пеньки сгноил в амбарах, три навигации выжидал цену. Энти ироды ходят мимо — только смеются... А лес! За границей лес нужен, весь лес — у нас, а мы кланяемся, купите... Полотно! Иван Бровкин: лучше, говорит, я его сожгу вместе с амбаром в Архангельске, чем отдам за такую цену... Нет! Не Черное море — забота... На Балтийском море нужны свои корабли.

Выговорил слово... Длинный, чумазый, глядел со стола выпученными глазами на господ министров. Насупились. Воевать с татарами, ну, с турками, хоть и трудно, — привычная забота. Но Балтийское море воевать? Ливонцев, поляков?.. Шведов воевать? Лезть в европейскую кашу? Лев Кириллович пошарил полной рукой по торчащей поле кафтана, вынул орехового шелка платок, вытерся. Возницын качал сухоньким лицом. Петр, — потащив из штанов кисет:

— С турками теперь, не как Прокофий, по-новому будем просить мира... Придем туда не с одним кафтаном на черной лисе...

— Конечно! — вдруг сказал Алексашка, заблестев глазами.

По мутному полноводному Дону плыли на полосатых парусах, наполненных теплым ветром. Восемнадцать двухпалубных кораблей, впереди и позади них — двадцать галіотов и двадцать бригантин, скампавей, яхты, галеры: семьдесят шесть военных судов и пятъсот стругов с казаками далеко растянулись на поворотах реки.

С высоких палуб видны были зазеленевшие степи, ряби поемных озер. Караваны птиц летели на север. Иногда вдали белели меловые кряжи. Дул зюйд-ост, вначале противный ветер, — и много пришлось положить трудов, покуда не повернули по Дону на запад: заполаскивались паруса, корабли дрейфовали, бешено орали капитаны в медные трубы. Приказ по флоту был такой:

«Никто не дерзнет отстать от командорского корабля, но за оным следовать под пеной. Ежели кто отстанет на три часа, — четверть года жалованья, ежели на шесть, — две трети, ежели на двенадцать часов, — за год жалованья вычестъ».

После поворота на юго-запад поплыли шутя. Ненадолго разливались над степью пышные и влажные закаты. Катился выстрел с адмиральского корабля. Били склянки. Огоньки ползли на верхушки мачт. Убирались паруса, с плеском падал якорь. На помрачневших берегах зажигались костры, протяжно кричали казачьи голоса.

С темной громады «Апостола Петра» (где в звании командора состоял царь) ведьминым хвостом, шипя и пугая перепелов, взвивалась в звездное небо ракета. В кают-компаниі собирались ужинать. С ближайших кораблей приплывали в эти и без того пьяные ночи адмиралы, капитаны, ближние бояре.

Близ Дивногорского монастыря к флоту присоединились шесть судов, построенных кумпанством князя Бориса Алексеевича Голицына. По сему случаю стали на якорь под меловым берегом, два дня пировали на вольном воздухе в монастырском саду. Соблазняли монахов игрой на рогах и двусмысленными шутками, пугали стрельбой из восьмисот корабельных пушек.

Снова по всей реке надувались паруса. Плыли мимо высоких берегов, мимо городков, обнесенных плетнями и земляными раскатами. Мимо новых боярских и монастырских вотчин, рыбных промыслов. Под городком Панышиным видели на левом берегу тучи конных калмыков с длинными копьями, а на правом — казаков в четырехугольнике обоза, с двумя пушками. Калмыки и казаки съехались биться, не поделив табуны коней и осетровые ятови.

Воевода Шеин пошел на шлюпке к калмыкам, Борис Алексеевич Голицын — к казакам. Помирили. По сему случаю на зеленых холмах пировали под медленно плывущими облаками, под летящими караванами журавлей. Корнелиус Крейс с похмелья

велел наловить черепах и сам сварил похлебку из них. Петр тоже велел наловить черепах и угостил бояр чудным блюдом, а когда поели,— показал черепаший головы. Воеводе Шеину сделалось тошно. Много смеялись.

Двадцать четвертого мая, в жаркий полдень, из морского марева на юге показались бастионы Азова. Здесь Дон разлился широко, но все же глубина была недостаточной для прохода через гирло сорокапушечных кораблей.

Покуда вице-адмирал промеривал рукав Дона — Кутюрму, а Петр ходил на яхте в Азов и Таганрог — осматривать крепости и форты,— прибыло из Бахчисарая ханское посольство на красивых конях, с вычным обозом. Разбили ковровые шатры, на холме воткнули бунчук — конский хвост с полумесяцем на высоком копье, послали переводчика узнать — примет ли царь поклон от хана и подарки? Послам ответили, что царь-де в Москве, а здесь его наместник адмирал Головин с бояры. Три дня веял бунчук на холме. Татары поскакивали на горячих конях перед жерлами пушек. На четвертый посольство пришло на адмиральский корабль. Разостлали белый анатолийский ковер, положили дары: кованный арчак для седла, сабельку, пистоли, нож, сбрую,— все — так себе, в серебре, с дешевыми камнями. Головин важно сидел на раскладном стуле, татары — на ковре, поджав ноги. Говорили о перемирии, подписанном Возницыным, о том и о сем, пощипывая реденькие раздвоенные бороды, шарили повсюду глазами, быстрыми, как у морской собаки, цокали языками:

— Карош москов, карош флот... Только напрасно надеетесь, большими кораблями Кутюрмой вам не пройти, не так давно султанский флот как-то пытался войти в Дон, ни с чем вернулся в Керчь...

По всему видно, что прибыли только для разведки. Наутро ни бунчука, ни шатров, ни всадников уже не было на холме.

Промеры показали, что Кутюрма мелка. Разлив Дона опадал с каждым днем. Надеяться можно было только на сильный зюйд-вест,— если нагонит в гирло морскую воду.

Из Таганрога вернулся Петр. Помрачнел, узнав о мелководье. Ветер лениво дул с юга. Началась жара. С корабельных бортов капала смола. Дерево, плохо высушенное на зиму, рассыхалось. Из трюмов выкачивали воду. Неподвижно, с убранными парусами, корабли лежали в мареве зноя.

Приказано было выбросить в воду балласт. Вытаскивали из трюмов бочки с порохом и солониной, перегружали на струги, везли в Таганрог. Корабли облегчались, вода в Кутюрме продолжала спадать.

Двадцать второго июня в обеденный час шаутбенахт Юлиус Рез, выйдя, багровый и тяжелый, из жаркой, как баня, кают-компаний — помочиться с борта, — увидел врашающимся глазом на юго-западе быстро вырастающее серое облако. Справа нужду, Юлиус Рез еще раз взглянул на облако, вернулся в кают-компанию, взял шляпу и шпагу и сказал громко:

— Идет шторм.

Петр, адмиралы, капитаны выскочили из-за стола. Разорванные облака неслись в вышину, из-за беловой водной пелены поднимался мрак. Солнце калило железным светом. Мертво повисли флаги, выпелы, матросское белье на вантах. По всем судам боцманá засвистали аврал — всех наверх! Крепили паруса, заводили штормовые якоря.

Туча закрывала полнеба. Помрачились воды. Мигнул широкий свет из-за края. Засвистало в снастях крепче, тревожнее. Защелкали выпелы. Ветер налетел всюю силой в крутящихся, раскиданных обрывках тьмы. Заскрипели мачты, полетели сорванные с вантов подштанники. Ветер мях воду, рвал снасти. Судорожно цеплялись за них матросы на реях. Топали ногами капитаны, перекрикивая нарастающую бурю. Пенные волны заплескались о борта. Треснуло небо раскатами, разрывающими душу ударами, загрохотало не переставая. Упали столбы огня.

Петр без шляпы, со взвитыми полами кафтана, вцепясь в поручни, стоял на вздымающейся, падающей корме. Как рыба, раскрыл рот, оглушенный, ослепленный. Молнии падали, казалось, кругом корабля, в гребни волн. Юлиус Рез закричал ему в ухо:

— Это ничего. Сейчас будет самый шторм.

.

Шторм пролетел, натворив много бед. Молнией убило двух матросов на берегу. Порвало якорные канаты, сломало несколько мачт, повыкидало на берег, затопило много мелких судов. Но зато установился крепкий зюйд-вест: то, что и надо было.

Вода в Кутюрме быстро поднималась. На рассвете начали выводить суда. Полсотни гребных стругов, подхватив на длинных бечевах, повели первым «Крепость». От вежи к веже, ни разу не царапнув килем, он вышел через Кутюрму в Азовское море, выстрелил из пушки и поднял личный флаг капитана Памбурга.

В тот же день вывели наиболее глубоко сидящие корабли: «Апостол Петр», «Воронеж», «Азов», «Гут Драгерс» и «Вейн Драгерс». Двадцать седьмого июня весь флот стал на якорю перед бастионами Таганрога.

Здесь, под защитой мола, начали заново конопатить, смолить и красить разошедшиеся суда, исправлять оснастку, грузить

балластом. Петр целыми днями висел в люльке на борту «Крепости», посвистывая, стучал молотком по конопати. Либо, выпятив поджарый зад в холщовых замазанных штанах, лез по выбленкам на мачту — крепить новую рею. Либо спускался в трюм, где работал Федосей Склеяев (порукавшийся до матерного лая с Джоном Деем и Осипом Наем). Он подводил хитрое крепление кормовых шпангоутов.

— Петр Ликсеич, вы мне уж не мешайте, для бога, — неласково говорил Федосей, — плохо получится мое крепление, — отрубите голову, воля ваша, только не суйтесь под руку...

— Ладно, ладно, я помогу только...

— Идите помогайте вон Аладушкину, а то мы с вами только поругаемся...

Работали весь июль месяц. Шаутбенахт Юлиус Рез делал непрерывные ученья судовым командам, взятым из солдат Преображенского и Семеновского полков. Среди них много было детей дворянских, сроду не видавших моря. Юлиус Рез — по свирепости и отваге истинный моряк — линьками вгонял в матросов злость к навигации. Заставлял стоять на бом-брамреях, на двенадцати саженьях над водой, прыгать с борта головой вниз в полной одежде: «Кто утонет, тот не моряк!» Расставив ноги на капитанском мостике, руки с тростью за спиной, челюсть, как у медвежьего кобеля, все видел, пират, одним глазом: кто замешкался, развязывая узел, кто крепит конец не так. «Эй, там, на стеньга-стакселе, грязный корофф, как травишь фалл?» Топал башмаком: «Все — на шканцы... Снашала!»

Из Москвы прибыл новоназначенный посол Емельян Укараинцев, опытейший из дельцов Посольского приказа, с ним — дьяк Чередеев и переводчики Лаврецкий и Ботвинкин. Привезли для раздачи султану и пашам соболей, рыбьего зуба и полтора пуда чаю.

Четырнадцатого августа «Крепость» поднял паруса и, сопровождаемый всем флотом, при крепком северо-восточном ветре вышел в открытое море, держа курс на запад-юго-запад. Семнадцатого с левого борта на ногайской стороне показались тонкие минареты Тамани, флот пересек пролиз и с пальбою, окутавшись пороховым дымом, прошел в виду Керчи, стал на якорь. Стены города были весьма древние, высокие квадратные башни кое-где обвалились. Ни фортов, ни бастионов. Близ берега стояли четыре корабля. Турки, видимо, переполошились, — не ждали, не гадали увидеть весь залив, полный парусов и пушечного дыма.

Керченский паша Муртаза, холеный и ленивый турок, с испугом глядел в проломное окно одной из башен. Он послал приставов на московский адмиральский корабль — спросить,

зачем пришел такой большой караван. Месяц тому назад ханские татары доносили, что царский флот худой и совсем без пушек и через азовские мели ему сроду не пройти.

— Ай-ай-ай... Ай-ай-ай,— тихо причитал Муртаза, отгибая веточку кустарника в окошке, чтобы лучше видеть. Считал, считал корабли. Бросил.— Кто поверил ханским лазутчикам? — закричал он чиновникам, стоявшим позади него на башенной площадке, загаженной птицами.— Кто поверил татарским собакам?

Муртаза затопал туфлями. Чиновники, сытые и обленившиеся в спокойном захолустье, прикладывали руки к сердцу, сокрушенно качали фесками и чалмами. Понимали, что Муртазе придется писать султану неприятное письмо, и как еще обернется: султан, хоть и пресветлый наместник пророка, но вспыльчив, и бывали случаи, когда и не такой паша, кряхтя, садился на кол.

Косой парус фелюги с приставами отделился от адмиральского корабля. Муртаза послал чиновника на берег торопить посланных и сам снова принялся считать корабли. Пристава — два грека — явились, подкатывая глаза, вжимая головы в плечи, шелкая языками. Муртаза свирепо вытянул к ним жирное лицо. Рассказали:

— Московский адмирал велел тебе кланяться и сказать, что они провожают посланника к султану. Мы сказали адмиралу, что ты-де не можешь пропустить посланника морем, — пусть едет, как все, через Крым на Бабу. Адмирал сказал: «А не хотите пускать морем, так мы всем флотом до Константинополя проводим посланника».

Муртаза-паша на другой день послал важных беев к адмиралу. И беи сказали:

— Мы вас, московитов, жалеем, вы нашего Черного моря не знаете, — во время нужды на нем сердца человеческие черны, оттого и зовется оно черным. Послушайте нас, поезжайте сушей на Бабу.

Адмирал Головин только надулся: «Испугали». И стоявший тут же какой-то длинный, с блестящими глазами человек в голландском платье засмеялся, и все русские засмеялись.

Что тут поделаешь? Как их не пустить, когда с утренним ветерком московские корабли ставят паруса и по всем морским правилам делают построения, ходят по заливу, стреляют в парусиновые щиты на поплавках. Откажи таким нахалам! Надеясь на одного аллаха, Муртаза-паша затягивал переговоры.

.....

Шлюпка подошла к турецкому адмиральскому кораблю. На борт поднялись Корнелий Крейс и двое гребцов в голландском матросском платье — Петр и Алексашка. На шканцах турецкий экипаж отдал салют московскому вице-адмиралу. Адмирал Гассан-паша важно вышел из кормовой каюты,—

был в белом шелковом халате, в чалме с алмазным полумесяцем. С достоинством приложил пальцы ко лбу и груди. Корнелий Крейс снял шляпу, пятясь, повел перьями перед Гассан-пашой.

Подали два стула. Адмиралы сели под парусиновым навесом. Низенький жирный человек — охолощенный повар — принес на подносе блюдца со сладкими заедками, кофейник и чашечки, чуть побольше наперстка. Адмиралы начали приличный разговор. Гассан-паша спросил про здоровье царя. Корнелий Крейс ответил, что царь здоров, и сам спросил про здоровье султанского величества. Гассан-паша низко склонился над столом: «Аллах хранит дни султанского величества...» Глядя печальными глазами мимо Корнелия Крейса, сказал:

— В Керчи мы не держим большого флота. Здесь нам бояться некого. Зато в Мраморном море у нас могучие корабли. Пушки на них столь велики, — могут даже бросать каменные ядра в три пуда весом.

Корнелий Крейс, — прихлебывая кофе:

— Наши корабли каменных ядер не употребляют. Мы стреляем чугунными ядрами по восемнадцати и по тридцати фунтов весом. Оные пронизывают неприятельский корабль сквозь оба борта.

Гассан-паша чуть поднял красивые брови:

— Мы немало удивились, увидев, что в царском флоте прилежно служат англичане и голландцы — лучшие друзья Турции...

Корнелий Крейс — со светлой улыбкой:

— О Гассан-паша, люди служат тому, кто больше дает денег. (Гассан-паша важно наклонил голову.) Голландия и Англия ведут прибыльную торговлю с Москвией. С царем выгоднее жить в мире, чем в войне. Московия столь богата, как никакая другая страна на свете.

Гассан-паша — задумчиво:

— Откуда у царя столько кораблей, господин вице-адмирал?

— Московиты выстроили их сами в два года...

— Ай-ай-ай, — качал чалмой Гассан-паша.

Покуда адмиралы беседовали, Петр и Алексашка угощали турецких матросов табаком, всячески смешили их. Гассан-паша нет-нет и взглядывал на этих высоченных парней, — чересчур были любопытны. Вон один полез на мачту, в бочку. Другой наострил глаз на английскую скоростреляющую пушку. Но из вежливости Гассан-паша промолчал, даже когда матросы увели московитов на нижнюю палубу.

Корнелий Крейс просил позволения съехать на берег — купить фруктов, сластей и кофе. Гассан-паша, подумав, сказал, что, пожалуй, он сам бы мог продать кофе господину вице-адмиралу.

— Много ли тебе нужно кофе?

— Червонцев на семьдесят.

— Абдула-Алла,— крикнул Гассан-паша, топнул пятой. Вперевалку подбежал охолощенный повар. Выслушав, вернулся с весами. За ним матросы тащили мешки с кофе. Гассан-паша удобнее подвинулся со стулом, проверил весы, вытащил из-за пазухи янтарные четки — отсчитывать меры. Приказал развязать мешок. Пересыпая в холеных пальцах зерна, полузакрыв глаза: — Это кофе лучшего урожая на Яве. Ты мне скажешь спасибо, господин вице-адмирал. Я вижу, ты — хороший человек. (Нагнувшись к его уху.) Не хочу тебе зла, — отговори московитов плыть морем: у берегов много подводных камней и опасных мелей. Мы сами боимся этих мест.

— Зачем плыть вдоль берегов, — ответил Корнелий Крейс, — нашему кораблю курс прямой через море, был бы ветер попутный.

Он отсчитал семьдесят червонцев. Простились. Подойдя к трапу, Корнелий Крейс крикнул сурово:

— Эй, Петр Алексеев!..

— Здесь! — торопливо отозвался голос.

Петр, за ним Алексашка выскочили из люка, на обоих — красные фески. Вице-адмирал помахал адмиралу шляпой, сел на руль, шлюпка помчалась к берегу. Петр и Алексашка, налегая на гнущиеся весла, весело скалили зубы.

С прибойной волной шлюпка врезалась в береговую гальку. От крепостных ворот мимо гнилых лодок и прозеленевших свай торопливо шли пристава и давешние беи просить никак не заходить в город, а если нужда какая, купчишки принесут сюда, в шлюпку, всякие товары... У Петра забегали зрачки, гневом вспыхнули щеки. Алексашка, — держа поднятое торчком весло:

— Мин херц, да скажи ты... Подойдем флотом на пушечный выстрел... В самом деле...

— Не пускать — это их право: это — крепость, — сказал Корнелий Крейс. — Мы погуляем по берегу около стен, мы увидим все, что нужно.

12

Муртаза-паша больше ничего не мог придумать: плывите, аллах с вами. Петр вместе с флотом вернулся в Таганрог. Двадцать восьмого августа «Крепость», взяв на борт посла, дьяка и переводчиков, сопровождаемый четырьмя турецкими военными кораблями, обогнул керченский мыс и при слабом ветре поплыл вдоль южных берегов Крыма.

Турецкие корабли следовали за ним в пене за кормой. На переднем находился пристав. Гассан-паша остался в Керчи, — в последний час просил, чтобы дали ему хотя бы письменное свидетельство, что царский посланник едет сам собой, а он,

Гассан, ему не советует. Но и в этом было отказано.

В виду Балаклавы пристав сел в лодку, поравнялся с «Крепостью» и стал просить зайти в Балаклаву — взять свежей воды. Отчаянно махал рукавом халата на рыжие холмы.

— Хороший город, зайдём, пожалуйста.

Капитан Памбург, облокотясь о перила, пробасил сверху:

— Будто мы не понимаем, приставу нужно зайти в Балаклаву — взять у жителей хороший бакшиш за посланнический корм. Ха! У нас водой полны бочки.

Приставу отказали. Ветер свежел. Памбург поглядел на небо и велел прибавить парусов. Тяжелые турецкие корабли начали заметно отставать. На переднем взвились сигналы: «Убавьте парусов». Памбург уставился в подзорную трубу. Выругался по-португальски. Сбежал вниз в кают-компанию, богато отделанную ореховым деревом. Там, у стола на навошенной лавке, страдая от качки, сидел посол Емельян Украинцев — глаза закрыты, снятый парик зажат в кулаке. Памбург — бешено:

— Эти черти приказывают мне убавить парусов. Я не слушаю. Я иду в открытое море.

Украинцев только слабо махнул на него париком.

— Иди куда хочешь.

Памбург поднялся на корму, на капитанский мостик. Закрутил усы, чтобы не мешали орать:

— Все наверх! Слушать команду! Ставь фор-бом-брамсели... Грот... Крюс-бом-брамсели... Фор-стенгга-стаксель, фока-стаксель... Поворот на левый борт... Так держать...

«Крепость», скрипя и кренясь, сделал поворот, взял ветер полными парусами и, уходя, как от стоячих, от турок, пустился пушиною Евксинской прямо на Цареград...

Под сильным креном корабль летел по темно-синему морю, измятому норд-остом. Волны, казалось, поднимали пенистые гривы, чтобы взглянуть, долго ли еще пустынно катиться им до выжженных солнцем берегов. Шестнадцать человек команды, — голландцы, шведы, датчане, все — морские бродяги, поглядывая на волны, курили трубочки: идти было легко, шутя. Зато половина воинской команды — солдаты и пушкарки — валялись в трюме между бочками с водой и солониной. Памбург приказал всем большим отпускать водки три раза в день: «К морю нужно привыкать!»

Шли день и ночь, на второй день взяли рифы, — корабль сильно зарывался, черпал воду, пенная пелена пролетала по всей палубе. Памбург только отфыркивал капли с усов.

Сильно страдало качкой великое посольство. Украинцев и дьяк Чередеев, лежа в кормовом чулане, — маленькой свежыкрашенной каюте, — поднимали головы от подушек, взглядывали в квадратное окошечко... Вот оно медленно падает вниз,

в пучину, зеленые воды шипят, поднимаются к четырем стеклышкам, с тяжелым плеском заслоняют свет в чулане. Скрипят перегородки, заваливается низенький потолок. Посол и дьяк со стоном закрывали глаза.

Ясным утром второго сентября юнга, калмычонок, закричал с марса, из бочки: «Земля!» Близились голубоватые, холмистые очертания берегов Босфора. Вдали — косые паруса. Прилетели чайки, с криками кружились над высокой резной кормой. Памбург велел свистать наверх всех: «Мыться. Чистить кафтаны. Надеть парики».

В полдень «Крепость» под всеми парусами ворвался мимо древних сторожевых башен в Босфор. На крепостном валу, на мачте, взвились сигналы: «Чей корабль?» Памбург велел ответить: «Надо знать московский флаг». С берега: «Возьмите лоцмана». Памбург поднял сигналы: «Идем без лоцмана».

Украинцев надел малиновый кафтан с золотым галуном, шляпу с перьями, дьяк Чередеев (костлявый, тонконосый, похожий на великомученика суздальского письма) надел зеленый кафтан с серебром и шляпу с перьями же. Пушкари стояли у пушек, солдаты — при мушкетах на шканцах.

Корабль скользил по зеркальному проливу. Налево, среди сухих холмов, — еще не убренные поля кукурузы, водокачки, овцы на косогорах, рыбацьи хижины из камней, крытые кукурузной соломой. На правом берегу — пышные сады, белые ограды, черепичные крыши, лестницы к воде... Черно-зеленые деревья — кипарисы, высокие, как веретена. Развалины замка, заросшие кустарником. Из-за деревьев — круглый купол и минарет... Подходя ближе к берегу, видели чудные плоды на ветвях. Тянуло запахом маслин и роз. Русские люди дивились роскоши турецкой земли:

«Все говорят — гололобые да бусурмане, а смотри, как живут!»

Разлился далекий, будто за тридевять земель, золотой закат. Быстро багровея, угасал, окрасил кровью воды Босфора. Стали на якорь в трех милях от Константинополя. В ночной синеве выпали большие звезды, каких не видано в Москве. Туманом отражался Млечный Путь.

На корабле никто не хотел спать. Глядели на затихшие берега, прислушивались к скрипу колодца, к сухому треску цикад. Собаки, и те брехали здесь особенно. В глубине воды уносились течением светящиеся странные рыбы. Солдаты, тихо сидя на пушках, говорили: «Богатый край, и живут тут, должно быть, легко...»

Поглядывая задумчиво на огонек свечи, светом своим заслонявшей несколько крупных звезд в черном окошечке кор-

мового чулана, Емельян Украинцев осторожно омакивал гусиное перо, смотрел, нет ли волоска на конце (в сем случае вытирал его о парик), и цифирью, не спеша, писал письмо Петру Алексеевичу:

«Здесь мы простояли около суток... Третьего числа подошли оставшие турецкие корабли. Пристав со слезами пенял нам, зачем убежали вперед, за это-де султан велит отрубить ему голову, и просил подождать его здесь: он сам известит султана о нашем прибытии. Мы наказали, чтобы прием нам у султана был со всякою честью. К вечеру пристав вернулся из Цареграда и объявил, что султан нас примет с честью и пришлет за нами сюда сандалы — ихние лодки. Мы ответили, что нет, — поплывем на своем корабле. И так мы спорили, и согласились плыть в сандалах, но с тем, что впереди будет плыть «Крепость».

На другой день прислали три султанских сандала, с коврами. Мы сели в лодки, и впереди нас поплыл «Крепость». Скоро увидели Цареград, достойный удивления город. Стены и башни хотя и древнего, но могучего строения. Весь город под черепицу, зело предивные и превеликолепные стоят мечети белого камня, а София — песочного камня. И Стамбул и слобода Перу с воды видны как на ладони. С берега в наше сретенье была пальба, и капитан Памбург отвечал пальбой из всех пушек. Остановились напротив султанского сераля, откуда со стен глядел на нас султан, над ним держали опахало и его омахивали.

Нас на берегу встретили сто конных чаушей и двести янычар с бамбуковыми батожками. Под меня и дьяка привели лошадей в богатой сбруе. И как мы вышли из лодки — начальник чаушей спросил нас о здоровье. Мы сели на коней и поехали на подворье многими весьма кривыми и узкими улицами. С боков бежал народ.

О твоём корабле здесь немалое удивление: кто его делал и как он мелкими водами вышел из Дона? Спрашивали, много ли у тебя кораблей и сколь велики? Я отвечал, что много, и дны у них не плоски, как здесь врут, и по морю ходят хорошо. Тысячи турок, греков, армян и евреев приезжают смотреть «Крепость», да и сам султан приезжал, три раза обошел на лодке кругом корабля. А наипаче всего хвалят парусы и канаты за прочность и дерево на мачтах. А иные и ругают, что сделан-де некрепко. Мне, прости, так мнится: плыли мы морем в ветер не самый сильный, и «Крепость» гораздо скрипел и набок наклонивался и воду черпал. Строители-то его — Осип Най да Джон Дей, — чаю, не без корысти. Корабль — дело не малое, стоит города доброго. Здесь его смотрят, но не торгуют, и купца на него нет... Прости, пишу как умею.

А турки делают свои корабли весьма прилежно и крепко и сшивают зело плотно, — ростом они пониже наших, но воду не черпают.

Один грек мне говорил: турки боятся,—если твое царское величество Черное море запрешь,—в Цареграде будет голодно, потому что хлеб, масло, лес, дрова привозят сюда из-под дунайских городов. Здесь слух, что ты со всем флотом уж ходил под Трапезунд и Синоп. Меня спрашивали о сем, я отвечал: не знаю, при мне не ходил...»

.....

Памбург с офицерами поехал в Перу к некоторым европейским послам спросить о здоровье. Голландский и французский послы приняли русских ласково, благодарили и виноградным вином поили за здоровье царя. К третьему поехали на подворье — к английскому послу. Слезли с лошадей у красного крыльца, постучали. Вышел огненнобородый лакей в сажень ростом. Придерживая дверь, спросил, что нужно? Памбург, загоревшись глазами, сказал, кто они и зачем. Лакей захлопнул дверь и не слишком скоро вернулся, хотя московиты ждали на улице,—проговорил насмешливо:

— Посол сел за стол обедать и велел сказать, что с капитаном Памбургом видеться ему незачем.

— Так ты скажи послу, чтобы он костью подавился! — крикнул Памбург. Бешено вскочил на коня и погнал по плоским кирпичным лестницам, мимо уличных торговцев, голых ребятишек и собак, вниз на Галату, где еще давеча видел в шашлычных и кофейных и у дверей публичных домов несколько своих давних приятелей.

Здесь Памбург с офицерами напились греческим вином дузиком до изумления, шумели и вызывали драться английских моряков. Сюда пришли его приятели — штурмана дальнего плаванья, знаменитые корсары, скрывавшиеся в трущобах Галаты, всякие непонятные люди. Их всех Памбург позвал пировать на «Крепость».

На другой день к кораблю стали подплывать на каюках моряки разных наций — шведы, голландцы, французы, португальцы, мавры, — иные в париках, в шелковых чулках, при шпагах, иные с головой, туго обвязанной красным платком, на босу ногу — туфли, за широким поясом — пистолеты, иные в кожаных куртках и зюйдвестках, пропахших соленой рыбой.

Сели пировать на открытой палубе под нежарким сентябрьским солнцем. На виду — за стенами — мрачный, с частыми решетками на окнах, дворец султана, на другой стороне пролива — пышные рощи и сады Скутари. Преображенцы и семеновцы играли на рожках, на ложках, пели плясовые, свистали разными птичьими голосами «весну».

Памбург в осыпанном серебряною пудрой парике, в малиновой куртке с лентами и кружевами, — в одной руке — чаша, в другой — платочек, — разгорячась, говорил гостям:

— Понадобится нам тысяча кораблей, и тысячу построим...

У нас уж заложены восьмидесятипушечные, стопушечные корабли. На будущий год ждите нас в Средиземном море, ждите нас на Балтийском море. Всех знаменитых моряков возьмем на службу. Выйдем и в океан...

— Салют! — кричали побагровевшие моряки. — Салют капитану Памбургу!

Затягивали морские песни. Стучали ногами. Трубочный дым слоился в безветрии над палубой. Не заметили, как и зашло солнце, как аттические звезды стали светить на это необыкновенное пиршество. В полночь, когда половина морских волков храпела, кто сваясь под стол, кто склонив поседевшую в бурях голову между блюдами, Памбург кинулся на мостик:

— Слушай команду! Бомбардиры, пушкири, по местам! Вложи заряд! Забей заряд! Зажигай фитили! Команда... С обоих бортов — залп... О-о-огонь!

Сорок шесть тяжелых пушек враз выпыхнули пламя. Над спящим Константинополем будто обрушилось небо от грохота... «Крепость», окутанный дымом, дал второй залп...

.....

Емельян Украинцев писал цифирью:

«...припал на самого султана и на весь народ великий страх: капитан Памбург пил целый день на корабле с моряками и подпил гораздо и стрелял с корабля в полночь из всех пушек не однажды. И от той стрельбы учинился по всему Цареграду ропот и великая молва, будто он, капитан, тою ночной стрельбой давал знать твоему, государь, морскому каравану, который ходит по Черному морю, чтобы он входил в гирло...

Султаново величество в ту ночь испужался и выбежал из спальни в чем был и многие министры и паши испужались, и от той капитанской необычайной пушечной стрельбы две брюхатые султанши из верхнего сераля младенцев загодя выкинули. И за все то султанское величество на Памбурга зело разгневался и велел нам сказать, чтобы мы сего капитана с корабля сняли и голову ему отрубили. Я султану отвечал, что мне неизвестно, для чего капитан стрелял, и я его о том спрошу, и если султанову величеству стрельба учинилась досадна, я капитану вперед стрелять не велю и жестоко о том прикажу, но с корабля снимать мне его незначем. Тем дело и кончилось.

Султан примет нас во вторник. Турки ждут сюда капитана Медзоморта-пашу, бывшего прежде морским разбойником алжирским, для совета — мир с тобой учинить или войну».

Сентябрьское солнце невысоко стояло над лесистым берегом. День за днем, чем дальше уходили на север, глуше становились места. Косяки птиц срывались с тихой реки. Бурелом, болота, безлюдье. Изредка виднелась рыбацья землянка да челн, вытщенный на берег. До Белого озера оставалась неделя пути.

Четырнадцать человек тянули бечевой тяжелую барку с хлебом. Уронив головы, уронив вперед себя руки, налегали грудью на лямки. Шли от самого Ярославля. Солнце заходило за черные зубцы елей, долго, долго томилось в мрачном зареве. С баржи кричали: «Эй, причаливай!» Бурлаки вбивали кол или прикручивали бечеву за дерево. Зажигали костер. В молочном тумане на болотистом берегу медленно тонул ельник. Длинношеей тенью в закате пролетали утки. Ломая валежник, приходили на реку лоси, рослые, как лошади. Зверья, небитого, непуганного, был полон лес.

По реке шлепали весла,— от баржи к берегу плыл сам хозяин, старец Андрей Денисов,— вез работникам сухари, пшеница, когда и рыбки, а по скоромным дням — солонины. Осматривал, крепок ли причал. Засунув руки за кожаный пояс, останавливался у костра,— свежий мужчина, в подряснике, в суконной скуфейке, курчавобородый, ясноглазый.

— Братья, все ли живы? — спрашивал. Потрудитесь, бог труды любит. Веселитесь,— все вам зачтется. Одно счастье — ушли от никонианского смрада. А уж когда Онего-озером пойдём — вот где край! Истинно райский...

Выдернув из-за пояса руки, садился на корточки перед огнем. Уставшие люди молча слушали его.

— В том краю на реке Выге жил старец... Так же вот бежал от антихристовой прелести. А прежде был купчиной, имел двор, и лавки, и амбары. Было ему видение: огонь и человек в огне — и глас: «Прельщенный, погибаю навеки...» Все отдал жене, сыновьям. Ушел. Срубил келью. Стал жить, причащался одним огнепальным желанием. Пахал пашню кочергой, сеял две шапки ячменю. Оделся в сырую козлиную кожу, она на нем и засохла, и так и носил ее зимой и летом. Всей рухляди у него — чашечка деревянная с ложечкой да старописанный молитвенник. И скоро он такую силу взял над бесами,— считал их за мух... Начали ходить к нему люди,— он их исповедовал и причащал листочком либо ягодкой. Учил: в огне лучше сгореть живым, но не принять вечной муки. Год да другой — люди стали селиться около него. Жечь лес, пахать под гарью. Бить зверя, ловить рыбу, брать грибы, ягоды. Все — сообща, и амбары и погреба — общие. И он разделил: женщин — особе, мужчин — особе.

— Это хорошо,— проговорил суровый голос,— с бабой жить — добра не нажить.

Веселым взором Денисов взглядывал в темноту на говорившего.

— Молитвами старца и зверь шел в руки, и рыбину иной раз такую вытаскивали — диво! Урожались и грибы и ягоды. Он указал, и нашли руды медные и железные,— поставили кузницы... Истинно святая стала обитель, тихое житие...

Из-за валежника поднялся Андрюшка Голиков, присев около Денисова, стал глядеть ему в глаза. Голиков шел с бурлаками по обету. (В тот раз на ревякинском дворе старец исповедовал Андрюшку, бил лестницей и велел идти в Ярославль дожидаться Денисовой баржи с хлебом.) Здесь из четырнадцати человек было девятеро таких же, пошедших по обету или епитимье.

Денисов рассказывал:

— В свой смертный час старец благословил нас, двоих братьев, Семена и меня, Андрея, быть в Выговской обители в главных. Причастил — и мы пошли. А келья его стояла поодаль, в ложбинке. Только отошли, глядим — свет. Келья — в огне, как в кусте огненном. Я было побежал, Семен — за руку: стой! Из огня — слышим — сладкогласное пение... А сверху-то в дыму — черти, как сажа, крутятся, визжат,— верите ли? Мы с братом — на колени, и сами запели... Утром приходим на то место,— из-под пепла бежит ключ светлый... Мы над ключом срубчик поставили и голубок — для иконки... Да вот иконописца не найти,— написать как бы хотелось.

Голиков всхлипнул. Денисов легонько погладил его по нечесаным космам:

— Одна беда, братцы мои, хлеб у нас через два года в третий не родится. Прошлым летом все вымочило дождями, и соломы не собрали. Приходится возить издалека... Да ведь дело святое, детушки... Не зря трудитесь...

Денисов еще поговорил немного. Прочел общую молитву. Сел в лодку, поплыл к барже через тусклую полосу зари на реке. Ночи были прохладные, спать студено в худой одежке.

Чуть свет Денисов опять приплывал к берегу, будил народ. Кашляли, чесались. Помолясь, варили кашу. Когда студенистое солнце несветлым пузырем повисало в тумане, бурлаки влезали в лямки, шлепали лаптями по прибрежной сырости. Версту за верстой, день за днем. С севера ползли грядями тучи, задул резкий ветер. Шексна разлилась.

Тучи неслись теперь низко над взволнованными водами Белого озера. Повернули на запад, к Белозерску. Волны набегали на пустынный берег, сбивали с ног бурлаков. Вести баржу стало трудно. В обед сушились в рыбацкой землянке. Здесь двое наемных поругались с Денисовым из-за пищи, взяли расчет — по три четвертака, ушли — куда глаза глядят...

Баржа стояла на якоре напротив города, на бурунах. Ветер свежел, пробирал до костей. Отчаяние брало, — подумать только — идти бечевой на север. Наемные все разругались с Денисовым, разбрелись по рыбацким слободам. И остальные... кто знакомого встретил, кто повертелся, повертелся, и — нет его...

На берегу, на опрокинутой лодке, между мокрыми камнями, сидели Андрюшка Голиков, Илюшка Дехтярев (каширский беглый крестьянин) и Федька, по прозвищу Умойся Грязью, сутулый человек, бродяга из монастырских крестьян, ломанный и питанный много. Глядели по сторонам.

Все здесь было угрюмое: снежная от волн, мутная пелена озера, тучи, ползущие грядями с севера, за прибрежным валом — плоская равнина и на ней, почти накрытый тучами, ветхий деревянный город: дырявые кровли на башнях, ржавые луковки церквей, высокие избы с провалившимися крышами. На берегу мотались ветром жерди для сетей. Народу почти не видно. Уныло звонил колокол...

— Денисов-то, тоже, — ловок словами кормить. Покуда до его рая-то доберешься — одна, пожалуй, душа останется, — проговорил Умойся Грязью, ковыряя ногтем мозоль на ладони.

— А ты верь! (Голиков ему со злобой.) А ты верь! — и в тоске глядел на белые волны. Бесприютно, одиноко, холодно... — И здесь, должно быть, далеко до бога-то...

Илюшка Дехтярев (большеротый, двужильный мужик с веселыми глазами) рассказывал тихо, медленно:

— Я, значит, его спрашиваю, этого человека: отчего на посаде у вас пустота, половина дворов заколочены?.. «Оттого пустота на посаде, — он говорит, — монахи озорничают... Мы в Москву не одну челобитную послали, да там, видно, не до нас... На святой неделе что они сделали — силов нет... Выкатили монахи на десяти саях со святыми иконами, — кто в посад, кто в слободы, кто по деревням... Входят в избы, крест — в рыло, крестись щепотьем, целуй крыж!.. И спрашивают хлеба, и сметаны, и яиц, и рыбы... Как веником, все вычистят. И деньги спрашивают... Ты, говорят, раскольник, беспоповец. Где у тебя старопечатные книги? И ведут человека на подворье, сажают на чепь и мучают».

Умойся Грязью вдруг закинул голову, захохотал хрипло:

— Вот едят, вот пьют! Ах, монахи, пропасти на них нет!

Дехтярев толкнул его коленом. К лодке, против ветра, придерживая развевающуюся рясу, подходил монах с цыганской бородой, — скуфья надвинута. Страшными глазами поглядел на судно, скрипящее на волнах, потом — на этих троих:

— Откуда баржа?

— Из-под Ярославля, отец, — ласково-лениво ответил Дехтярев.

— С чем баржа?

— Нам не сказывали.
— С хлебом?
— Ну, да...
— Куда ведете?
— А кто ж его знает,— куда прикажут...
— Не ври, не ври, не ври! — Монах торопливо стал заги-
бать правый рукав. — Денисова эта баржа... В Повенец плывете,
в раскольниковы скиты хлеб везете, страдники...

И сразу, кинувшись, взял Илюшку Дехтярева за грудь,
тряхнул заробевшего мужика и, обернувшись к посадку, за-
кричал что есть силы:

— Караул!

Андрюшка Голиков сорвался с лодки, побежал вдоль
волн к рыбацким землянкам.

— Караул! — заорал второй раз монах и пересекся.
Умойся Грязью схватил его за волосы, оторвал от Илюшки,
сбил с ног и стал вертеться над землей, ища камень. Монах
бойко вскочил, налетел на него сбоку, но Федька весь сделал-
ся костяной от злобы, не шелохнулся, опять сгреб его, нагнув,
ударил по шее. Монах крикнул. Из переулка к берегу бежали
четверо с кольями...

Андрюшка Голиков, ужасаясь, выглядывал из-за угла
рыбачьей землянки. Умойся Грязью дрался с пятерыми: выр-
вал у одного кол, насакивал, дико вскрикивал,— такой
злобы в человеке Андрюшка не видывал сроду... «Бес, чистый
бес!..» Потом ввязался и Дехтярев: изловчась, смазал монаха
в ухо,— тот в третий раз покатился. Помощники его стали по-
даваться назад. Кое-где на посадке из ворот вышли люди,
подкрикивали: так, так, так!..

Илюшка с Федькой одолели, погнали было этих, но скоро
вернулись на берег, и отсморкав кровь, пошли прямо к избен-
ке, где дрожал Голиков.

— А и тебя бы следовало поучить, по совести,— сказал
ему Умойся Грязью. — Дурак ты, а еще в рай хочешь...

В дверцу из мазанки (стоявшей задом к морю) высунулась
нечесаная голова, дымчатая борода от самых глаз. Помор-
гав, вылез кряжистый босой человек, темный от копоти. По-
глядел в сторону посадка,— там уже не было ни души.

— Заходите,— сказал и опять улез в низенькую мазанку.
Свет в ней пробивался в щель над дверью. Пахло прогорклой
рыбой, половина помещения завалена снастями. Илья, Анд-
рей и Федор, войдя, перекрестились двуперстно. Рыбак ска-
зал им:

— Садитесь. А вы знаете, кого били сейчас?

— Меня всю жисть били, ни разу не спросили,— прого-
ворил Умойся Грязью.

— Били вы ключаря Крестовоздвиженского монастыря, Феодосия. Разбойник, ах, разбойник, сатана! Бешенай!

Рыбак, видя, что это — люди свои, сел между ними на лавку, взял себя под мышками, покачиваясь, рассказывал:

— Здесь места самые рыбные, жить бы и жить, — уйду... Нельзя стало, этот сатана всем озером завладел... Монахам мы давали: зимой — четвертую часть снятка, и от каждой путины даем. Ему мало. Парус увидит и бежит на берег, и оставит тебе рыбы только чтобы пожрать. Не дай, — он сейчас: «Как хрестишься?» Согрешишь, конечно, обмахнешься щепотью. «Не так, лукавишь! Иди за мной!» А идти за ним — известно: в монастырский подвал, садиться на цепь. А сколько он у нас снастей порвал, челнов перепортил... К воеводе ходили жаловаться. Воевода сам глядит, чего бы стянуть. Ведь у них в монастыре — жалованная митрополичья грамота: искоренять старинноверующих. Вам, братцы, скорей надо уходить отсюда.

— Ох, нет, мы с Денисовым, — проговорил Голиков, испуганно взглядывая на Илюшку и Федьку...

— Денисов откупится, — сильный человек... В огне не сгорит... Он с севера плывет, — с мехами, да костью, да медью, — откупается. Назад плывет, — откупается. Не один уже раз... У него, брат, везде свои люди...

Умойся Грязью — с усмешкой:

— Краснобай! Всю дорогу сухарями кормил, а уж наговорит, будто курятину едим.

Голиков весь изморщился, покуда просто говорили про выговского старца. Вспоминал, как Денисов, бывало, скуполасково погладит его по голове: «Что, мальчик, душа-то жива? Ну, и хорошо...» Вспоминал, какие чудные беседы он вел у костра, как садился в лодку и чернел острой скуфеечкой на закатной воде. На древних иконах писали таких святителей на лодочке. За него Андрюшка сейчас бы в соломе живым сгорел...

Сидели на лавке, думали — как быть? Куда бежать? Идти ли все-таки на север? Рыбак не советовал: на север до Выга идти пешим, без челна, — месяца два в лесах, пропадешь...

— Податься бы вам в легкие края, на Дон, что ли...

— Был я на Дону, — прохрипел Умойся Грязью, — там — не прежняя воля. Казаки-станишники гультеев выдают. Меня два раза в железо ковали, возили в Воронеж на царские работы...

Ничего толком не придумали, сказали Андрюшке, идти искать Денисова, — как он скажет?

.....

Андрюшка набрался страху: только дошел до ветхих городских ворот, — крики: «Стой, стой!» Бежали оборванные

босые люди, — кое-кто перемахнул через забор. За ними гнались, держась за шляпы, два солдата в зеленых кафтанах. Тяжело дыша, скрылись в кривом переулке. Почтенный старичок у калитки сказал: «Второй день ловят». Голиков спросил его — не знает ли он купчины Андрея Денисова, не видал ли его? Старичок, — подумав:

— Иди на площадь, ищи Денисова на воеводином дворе.

На небольшой площади, заваленной буграми навоза, гостинные ряды были заколочены, столбики покосились, крыши провисли. Торговали две-три лавки — кренделями, рукавицами. Без ограды стоял древний собор с треснувшими стенами. У низеньких крытых сеней его на травке спали обмотанные тряпьем нищенки, юродивый, положив около себя три кочерги, зевал до слез, тряс башкой. Здесь, видимо, жили не бойко.

Посредине площади, где врыт был столб для казни, переминался сторож с копьем. Голиков опасновато пошел к нему. Из дощатой лавки навстречу высунулся купец, чистая лиса, и — сладкогласно:

— Ах, что за крендельки с маком!

Смиренно поклонясь сторожу, Голиков спросил, — где воеводин двор? Коротконогий сторож, в заплатанном стрелецком кафтане до пят, хмуро отвернулся. На столбе приколочена была жестяная грамота с орлом.

— Проходи прочь! — кричал сторож.

Андрюшка, отойдя, озирался — гнилые заборы, покосившиеся избы... Тучи цепляются за церковные кресты. К нему приближался низко подпоясанный человек в валенках, — толстые облупленные губы его вытянулись жаждающе. Сторож у столба и купчишки из лавок глядели, что сейчас будет.

— Откуда пришел? Ты чей? Меж двор шатаешься? — Человек вплоть задышал чесночным перегаром. Голиков только и мог от страха — заикнулся, затрепетал языком. Человек взял его за ворот.

— Это — денисовский, — крикнули из лавки.

— Он их девять человек везет сжигаться, — тонкогласно сказали из другой лавки.

Человек тряхнул Андрюшку:

— На столбе царскую грамоту читал? Иди за мной, сукин сын...

И поволок его (хотя Андрюшка и не упирался) в конец площади, на воеводин двор.

.....

Андрей Денисов, нарядный, расчесанный, держа на колене кунью шапку, сидел в горнице у воеводы — захудалого стольника Максима Лупандина. Воевода, пригорюнясь, поглядывал, какие у купчины добрые козловые сапожки и

кафтан мышинный, на алом шелку, гамбургского, а то, пожалуй, и аглицкого сукна. Сам-то воевода сидел в потертой беличьей шубейке — не дорожен, лыс, угреват. При покойном государе Федоре Алексеевиче был в стольниках, при Петре Алексеевиче едва добился кормления в Белозерск.

Разговаривали вокруг да около: и Денисов не нажимал, и воевода не нажимал. «Экий у него кафтан,— думал воевода,— а вдруг отдаст?» Он тайно послал холопа в Крестовоздвиженский монастырь за отцом Феодосием, но и Денисов тоже кое-что придерживал до времени.

— Погода, погода, бог с ней,— говорил Денисов.— Переменится ветер — пойдем на парусах через озеро... Не переменится — как-нибудь уже берегом пробьемся... Лихое дело нам до Ковжи добраться, там людей найдем до самого Повенца...

— Конечно, твое дело понятное,— уклончиво отвечал воевода, поглядывая на кафтан...

— Максим Максимыч, сделай милость,— не задерживай баржи и людишек моих.

— Кабы не указ,— о чем и толковать.— Воевода вытаскивал из кармана царскую грамоту, свернутую трубкой, подслеповато ползал по ней бородкой.— «...По указу великого князя и царя всеа... Сказано... Тунеядцев и дармоедов, что кормятся при монастырях, и всяких монастырских служек брать в солдаты...»

— Монастыри нас не касаются, у нас дело торговое...

— Обожди... «...и брать в солдаты же конюхов и боярских холопей, и всех шатающихся меж двор, нищих и беглых...» Что мне с тобой делать, Андрей? — не придумаю... Ну, подьячий бы какой-нибудь привез эту грамоту... Привез ее Преображенского полку поручик Алексей Бровкин с солдатами. Знаешь, как ныне с поручиками-то разговаривать?

Денисов, отогнув полу кафтана, брякнул серебром в кармане. Воевода испугался, что сейчас продешевит, стал оглядываться на дверь,— не войдет ли Феодосий. Вошел толстогубый ярыжка, толкая перед собой Андрюшку Голикова. Сорвал шапку, махнул в пояс поклон:

— Максим Максимыч, еще одного поймал...

— На колени! — гневно крикнул воевода. (Ярыжка поднажал, Голиков стукнулся о пол костлявыми коленками.) — Чей сын? Чей холоп? Откуда бежал? (Ярыжке.) Ванька, подай чернила, перо...

Денисов сказал тихо:

— Оставь его, Максим Максимыч, это — мой приказчик...

У воеводы засветились глаза, отколупал крышечку на медной чернильнице, кряхтя, ловил пером оттуда муху. «Ох, нейдет ключарь»,— думал, и как раз заскрипели половицы в сенях. Ванька отворил дверь,— гневно вошел давешний мо-

нах с цыганской бородой, один глаз у него заплыл. Увидев Денисова, ударил посохом.

— Били меня его люди и разбивали, едва до смерти не убили,— заговорил зычно.— А ты, Максим, посадил его возле себя! Кого, кого, спрашиваю? Раскольника проклятого! Выдай мне его, выдай, воевода, трижды тебе говорю!

Положив руки на высокий посох, сверлил диким глазом то Денисова, то Максима Максимыча. Голиков без памяти отполз в угол. Ванька жаждающе ждал знака — кинуться крутить локти. «Мой кафтан»,— подумал воевода.

— Кто ты таков, пришел лаяться, монах, не знаю, да и знать не хочу,— проговорил Денисов. Встал. (У Феодосия посинели руки на посохе.) Расстегнул рубаху и с медного осьмиконечного креста снял мешочек.— Хотел я честно с тобой, Максим Максимыч,— поклониться от моих скудных прибытков... Значит, разговора у нас не выходит...

Из мешочка вынул сложенную грамоту, бережно развернул:

— Сия грамота жалована Бурмистерской палатой нам, Андрею и Семену Денисовым, в том, чтоб торговать нам, где мы ни захотим, и убытку, и разорения нам, Андрею и Семену, никто б чинить не смел... Своеручно подписана грамота президентом Митрофаном Шориным...

— Что мне Митрофан,— срывая руку с посоха, закричал Феодосий,— против твоего Митрофана вот — кукиш!

— Ох! — слабо охнул воевода.

У Денисова румянец взошел на щеки.

— Против президента, из лучших московского купечества, ты — кукиш? Это — воровство!

— Подавись, подавись им, проклятый,— налезая бородой, бешено повторял Феодосий и схватил Денисова за медный раскольничий крест.— А за это, беспоповец, сожгу тебя... Против твоей слабенькой грамоты у меня сильненькая...

— Ох, да помирись вы,— стонал воевода.— Ондрей, дай монаху рублей двадцать, отвяжется...

Но монах и Денисов, не слушая, раздували ноздри. Ярыжка начал подходить бочком. Тогда Денисов, дернув у ключаря крест, кинулся к окошечку, поднял раму и крикнул на двор:

— Господин поручик, слово государево за мной!..

В комнате сразу замолчали, перестали сопеть. В сенях зазвенели шпоры. Вошел Алеша Бровкин,— в ботфортах, в белом шарфе, при шпаге. Юношеские щеки — румяны, на брови надвинута треугольная шапочка:

— О чем лай?

— Господин поручик, против президентской грамоты ключарь Феодосий и воевода лают непотребно и кукиш показывают, и грудь мне рвали, и грозились сжечь...

У Алешки глаза стали круглеть, строго выкатываться,—

совсем как у Петра Алексеевича. Оглянул монаха, воеводу (упершегося руками в лавку, чтобы встать). Постучал тростью и — вскочившему солдату:

— Под стражу обоих...

2

Кукуйские слобожане говорили про Анну Монс: «Удивительно! Откуда у молодой девушки такая рассудительность? Другая бы давно потеряла голову. Анхен вся — в покойного Монса».

Петр, вернувшись с Черного моря, был очень щедр.

«Мое сердечко, — не раз говорила ему Анхен с нежным упреком, — вы приучаете меня расточать деньги на глупые наряды... Гораздо благоразумнее, если вы позволите написать в Ревель, там — я узнала — можно по доброй цене купить коров, дающих два ведра молока в сутки. Вы бы иногда приходили завтракать на мою чистенькую, хорошенькую мызу и кушали бы сбитые сливки...»

Мыза была поставлена в березовой роще на дареной земле, идущей клином от ворот заднего двора, мимо ручья Кукуя, до Яузы. Здесь стояли: небольшой дом, так покрашенный, что издали походил на кирпичный, скотные дворы, крытые черепицей, рига, амбары. На косогоре у реки паслись пегие тучные коровы, — каждую звали поименно в честь греческих богинь, — тонкорунные овцы, аглицкие свиньи и множество всякой птицы. На огороде росли иноземные овощи и картофель.

Чуть свет Анхен, в пуховом платке, в простой шубке, шла песчаной дорожкой на мызу. Смотрела за удоем, за кормлением птицы, считала яйца, сама резала салат к завтраку. Была строга с людьми и особенно взыскивала за неряшество. Настало время рубить капусту. Таких кочнов не видали на огороде и у самого пастора Штрумпфа. Немцы приходили удивляться: такой кочан или такую репу можно было послать в Гамбург, в кунсткамеру. Шутили: «Наверно, Анхен знает какую-то молитву, что так пышно на этой недавней пустоши произрастают плоды земли».

С песнями русские девки рубили капусту в новом липовом корыте. Анхен брала девок самых здоровых и веселых из деревни Меньшикова или адмирала Головина (чьи новые дворы и палаты стояли неподалеку от Немецкой слободы). Стучали тяпки, от румяных девок пахло свежими кочерыжками, на траве, там, где падала длинная тень от сарая, еще лежал иней, снежные гуси важно шли из птичника на вырытое озерцо. Над острой крышей мызы поднимался дымок в осеннюю синеву. Через подметенный двор, два опрятных мужика-пекаря несли корзину со свежевыпеченными калачами.

Анхен была счастлива,— постукивая зазябшими ногами, не могла нарадоваться на это благополучие. Ах, оно сразу кончалось, когда приходила домой: ни дня покою, всегда жди какой-нибудь выдумки Петра Алексеевича. То понаедут подвыпившие русские, наследят, накурят, побьют рюмки, насыплют пеплу в цветочные горшки, или — хочешь не хочешь — наряжайся, скачи на ассамблею — отбивать каблук.

Пир и танцы хороши изредка, в глухие осенние вечера, в зимние праздники. А у русских вельмож что ни день — обжорство, пляс. Но всего более огорчало Анну Ивановну сумасбродство самого Питера: он никогда не предупреждал, что тогда-то будет обедать или ужинать и сколько с ним ждать гостей. Иногда ночью подкатывал к дому целый обоз обжор. Приходилось варить и жарить на случай такую прорву всякого добра,— болело сердце, и все это часто выкидывалось на свиной двор.

Анхен однажды осторожно попросила Петра: «Мой ангелочек, будет меньше напрасных расходов, если изволите предупреждать меня всякий раз о приезде». Петр изумленно взглянул, нахмурился, промолчал, и все продолжалось по-прежнему.

Солнце поднялось над осыпавшейся желтизной берез. Девки пошли в поварню. Анна Ивановна заглянула в сарайчик, где в парусиновых мешках, высунув головы, висели гусыни — их, за две недели перед тем как резать, откармливали орехами; Анхен сама каждой гусыне, осовевшей от жира, протолкнула мизинчиком в горло по ореху в скорлупе; посмотрела, как моют мохноногим курам ноги, — это нужно было делать каждое утро; в овчарнике брала на руки ягнят, целовала их в кудрявые лобики. Потом с неохотой вернулась домой. Так и есть, — на улице стояла карета. Мажордом, встретя Анну Ивановну на черном крыльце, доложил шепотом:

— Господин саксонский посланник Кенигсек.

Ну, это было ничего... Анхен усмехнулась, подхватила юбки и побежала по узенькой лесенке — переодеться.

.....

Кенигсек сидел, подогнув ногу под стул, в левой руке — табакерка, правая — свободная для изящных движений, и, пересыпая немецкие слова французскими, болтал о том и о сем: о забавных приключениях, о женщинах, о политике, о своем повелителе — курфюрсте саксонском и польском короле Августе. Его парик, надушенный мускусом, едва ли не был шире плеч. Шляпа и перчатки лежали на ковре. Вздернутый нос забавно морщился при шутках, беспечно-наглые, водянистые глаза ласкали Анхен. Она сидела напротив (у камина, где разгорались дрова), прямая, — в жестком корсаже, — округло уронив руки

ладонями вверх. Потупясь, слушала, уголки губ ее лукаво приподнимались, как того требовал политес.

Господин посланник рассказывал:

— ...Ему нельзя не поклоняться. Он красив, любезен, смел... Король Август — божество, принявшее человеческий облик... Он неутомим в своих страстях и развлечениях. Ему надоедает Варшава, — он мчится в Краков, по пути охотится на диких свиней, роскошно пирует в замках у магнатов или ночью на сеновале растерянной простолюдинке дарит поцелуй Феба... Он приказывает выписать себе подорожную на имя кавалера Винтера и под видом искателя приключений пересекает Европу и появляется в Париже. Этой шпагой я не раз отражал удары, направленные в его грудь в ночных драках на перекрестках парижских улиц. Мы скачем в Версаль на ночной праздник, король Август одет странствующим офицером. О, Версаль! О, вы, вы должны увидеть этот земной рай, фрейлен Монс... Огромные окна освещены миллионом свечей, по фасаду переливаются огни плошек. На террасе вдоль боскетов гуляют дамы и кавалеры. На деревьях, как райские плоды, — китайские фонарики. За озером взлетают ракеты, их искры опадают в воду, где на барках музыка арф и виол. Плещут фонтаны, летают ночные бабочки. Мраморные статуи сквозь листву кажутся ожившими божествами. Христианнейший король Людовик — в кресле. Тень от парика скрывает его тучное лицо, но все же мне удалось увидеть надменный профиль — с выдвинутой нижней губой и всему свету известной полоской усиков. О его кресло облокотилась дама в черном домино с опущенным на глаза капюшоном. Это была мадам де Ментенон. По правую руку сидел на стуле Филипп Анжуйский — будущий король Испании, его внук, подавленный меланхолией... Все вокруг, тысячи лиц в полумасках, дворец, весь парк, казалось, были озарены золотом славы...

Пальчики Анхен трепетали, округлости груди поднялись из тесноты корсажа.

— Ах, нельзя поверить, что это — не сон... Но кто это госпожа Ментенон, которая стояла за стулом короля?

— Его фаворитка... Женщина, перед которой трепещут министры и посланники... Мой повелитель, король Август, прошел несколько раз мимо мадам Ментенон и был замечен ею...

— Господин посланник, почему король Людовик не женится на мадам Ментенон?

Кенигсек несколько изумился, на минуту подвижная рука его бессильно повисла между раздвинутых колен. Анхен ниже опустила голову, в уголке губ легла складочка.

— О фрейлин Монс... Разве значение королевы может сравниться с могуществом фаворитки? Королева — это лишь жертва династических связей. Перед королевой склоняют колени и спешат к фаворитке, потому что жизнь — это политика, а политика — это золото и слава. Король задерживает ночью полог постели

не у королевы — у фаворитки. Среди объятий на горячей подушке... (У Анхен слабый румянец пополз к щекам. Посланник ближе придвинулся надушенным париком.) На горячей подушке поверяются самые тайные мысли. Женщина, обнимающая короля, слушает биение его сердца. Она принадлежит истории.

— Господин посланник, — Анхен подняла влажно-синие глаза, — дороже всего знать, что счастье — долговечно. Что мне в этих нарядах, в этих дорогих зеркалах, если нет уверенности... Пусть меньше славы, но пусть над моим маленьким счастьем властен один бог... Я плыву на роскошной, но на утлой ладье...

Медленно вытащила из-за корсажа кружевной платочек, слабо встряхнула, приложила к лицу. Губы из-под кружев задрожали, как у ребенка...

— Вам нужен верный друг, прелестное мое дитя. — Кенигсек взял ее за локоть, нежно сжал. — Вам некому поверять тайн... Поверяйте их мне... С восторгом отдаю вам себя... Весь мой опыт... На вас смотрит Европа. Мой милостивый монарх в каждом письме справляется о «нимфе кукуйского ручья»...

— В каком смысле вы себя предлагаете, не понимаю вас.

Анхен отняла платочек, отстранилась от слишком опасной близости господина посланника. Вдруг испугалась, что он бросится к ногам... Стремительно встала и чуть не споткнулась, наступив на платье.

— Не знаю, должна ли я даже слушать вас...

Анхен совсем смутилась, подошла к окошку. Давешнюю синеву затянуло тучами, поднялся ветер, подхватывая пыль по улице. На подоконнике, между геранями, в золоченой клетке нахохлился на помрачневший день ученый перепел — подарок Питера. Анхен силилась собраться с мыслями, но потому ли, что Кенигсек, не шевелясь, глядел ей в спину, — тревожно стучало сердце... «Фу, глупость! С чего бы вдруг?» Было страшно обернуться. И хорошо, что не обернулась: у Кенигсека блеснули глаза, будто он только сейчас разглядел эту девушку... Над пышными юбками — тонкий стан, молочной нежности плечи, пепельные, высоко поднятые волосы, затылок для поцелуев...

Все же он не терял рассудка: «Чуть побольше остроты ума и честолюбия у этой нимфы, — с ней можно делать историю».

Анхен вдруг отступила от окна, бегающие зрачки ее растерянно остановились на Кенигсеке:

— Царь!..

Посланник поднял шляпу и перчатки, поправил кружевное белье на груди. За изгородью палисадника остановилась одноколка, жмурясь от пыли, вылез Петр. Вслед подъехала крытая кожаная колымага. Он что-то крикнул туда и пошел к дому. Из колымаги вылезли двое, прикрываясь от летящей пыли плащами, торопливо перебежали палисадник. Одноколка и колымага сейчас же отъехали.

Этих двоих Анна Ивановна видела в первый раз. Они с достоинством поклонились. Петр сам взял у них шляпы из рук. Одного, — рослого, со злым и надменным лицом, — взяв за плечи, тряхнул, похлопал:

— Здесь вы у меня дома, герр Иоганн Паткуль... Будем обедать...

Петр был трезв и очень весел. Вытащил из-за красного обшлага парик:

— Возьми гребень, расчеши, Аннушка. За столом буду в волосах, как ты велишь... Нарочно за ним солдата посылал. — И — другому гостю — генералу Карловичу (с лилово-багровыми, налитыми щеками): — Какой ни надень парик, — за королем Августом не угнаться: зело пышен и превеликолепен... А мы — в кузнице да на конюшне...

Ботфорты у него были в пыли, от кафтана несло конским потом. Идя умываться, подмигнул Кенигсеку:

— Смотри, к бабочке моей что-то зачистил, господин посланник...

— Ваше величество, — Кенигсек повел шляпой, пятась и садясь на колено, — смертных не судят, цветы и голубей приносящих на алтарь Венус...

Покуда Петр мылся и чистился, Анна Ивановна делала политес: взяла с подноса по рюмке тминной водки, поднесла гостям, спросила каждого о здоровье и — «давно ли изволили прибыть в Москву и не терпите ли какой нужды?». Вспоминая, что ей говорил Кенигсек, выставила тупой кончик туфельки, раскинула юбки по сторонам стула:

— Приедем из Европы у нас первое время скучно бывает. Но вот скоро, бог даст, с турками замиримся — велим всем носить венгерское и немецкое платье, улицы будем мостить камнем, разбойников из Москвы выведем.

Иоганн Паткуль отвечал ей ледяным голосом, не разжимая тонких губ. В Москву он приехал с неделю, из Риги. Остановился не на посольском дворе, а в доме вице-адмирала Корнелия Крейса, вместе с генерал-майором Карловичем, прибывшим несколько ранее из Варшавы от короля Августа. Нужды они покуда никакой не терпят. Москва действительно не мощена и пыльна, и народ одет худо.

— Я успел заметить, — Паткуль с усмешкой взглянул на Карловича, слегка свистевшего горлом от полнокровия и тесноты военного кафтана, перепоясанного по тучному животу широким шарфом, — я заметил особенный способ, каким московская чернь наживает несколько копеек себе на водку. Когда что-нибудь купишь у него и потребуешь сдачи, он намеренно обсчитывает в свою пользу и просит проверить. Пересчитав, говоришь ему, что счет не верен.

Он божится, будто именно я обсчитался, снова начинает считать сдачу и крестится на церковные главы, что счет верен. Я второй и третий раз пересчитываю, и он спорит и опять считает сам. И так он проделывает раз десять сряду, покуда тебе не надоест и ты не отойдешь, махнув рукой на пропажу.

— Нужно приказывать своему холопу брать такого человека и тащить в земскую избу, там его хорошенько отколотят батогами, — с твердостью сказала Анна Ивановна.

Паткуль презрительно пожал плечом.

Вошел Петр, свежий, в расчесанном паричке. Анхен торопливо поднесла ему тминной... Выпив, он потянулся губами, чмокнул ее в щеку. Мажордом отворил дверь, стукнул булавой. Пошли в столовую, где на сводчатом потолке резвились меж облачков купидоны, штукатуренные стены прикрыты фламандскими шпалерами, над глазуревым камином — картина славного Снайдерса, — изобилие битой птицы и плодов земли.

Петр сел спиной к пылающим дровам, Паткуль — по правую его руку, Карлович и Кенигсек — по левую, озабоченная Анхен — напротив. На пестрой полотняной скатерти в хрустальных кубках было уже налито венгерское, грудой посреди стола лежали кровяные, свиные и ливерные колбасы. От холодных блюд пахло пряностями. За окошком несло колючую пыль, мотались голые ветви. Здесь было тепло. Убранство стола, довольные лица гостей, огоньки камина уютно отражались в зеркалах стенных подсвечников.

Петр поднял чарку за любезного друга сердца польского короля Августа. Гости откинули букли париков на плечи и принялись кушать.

— Государь, мы просим тайны, ибо дело весьма тайное, — сказал Иоганн Паткуль после четвертой перемены кушаний: молодых гусят с грецкими орехами.

— Ладно. — Петр кивнул. Раздвинув локтями оловянные блюда, морщась улыбкой, поглядывал на щечки подвыпившей Анхен. Весь обед он шутил, подсмеивался над хозяйской скупостью Анны Ивановны, подмигивал ей на Кенигсека: «Не из его ли голубей соус на столе, коих на ваш Венеркин алтарь приносит?..» Нельзя было разобрать, точно ли он хочет слушать крайней важности сообщения, ради которых Иоганн Паткуль и Карлович спешно прибыли в Москву.

До нынешнего дня видели они его всего раз — у вице-адмирала. Петр был приветлив, но от разговора уклонился. Сегодня сам позвал их сюда, к фаворитке, на тайный обед. Паткуль почтительно-холодным взглядом наблюдал за этим азиатом. Говорить с ним было неотложно. Посольство молодого шведского короля Карла Двенадцатого давно сидело в Москве, переговариваясь со Львом Кирилловичем и боярами о вечном со Швецией мире, — шведы тоже еще не видали царя, но на днях ожидался в Кремле прием и вручение верительных грамот.

— Господин Карлович и господин посланник подтвердят что мои слова — в полном согласии с сердечным желанием его величества короля Августа. Говорю истинно от скорби сердца. Все лифляндское рыцарство и все именитое купечество Риги молят, государь, преклонить к нам слух.

Большой лоб Паткуля собрался морщинами. Говорил медленно, порою сдерживая гнев:

— Несчастная Лифляндия ищет покоя и мира. Некогда мы были частью Ржечи Посполитой, мы сохраняли наши вольности, и город Рига был славен на всем Балтийском море. Сердца человеческие черны завистью. Ржечь Посполита протянула руку к нашим богатствам, иезуиты воздвигли гонение на нашу веру, на наш язык и обычаи... Бог помрачил умы в ту злополучную годину. Лифляндское рыцарство добровольно отдалось под защиту шведского короля. Из когтей польского орла бросились в пасть льва.

— Неосторожно было, — сказал Петр, — швед — всему миру хищник известный. — Он потащил из кармана коротенькую трубочку. Кенигсек, торопливо поднявшись, стал высекать огнем искру. Задымившийся кусочек трута поднес Петру на тарелке. Иоганн Паткуль вежливо ждал, когда царь закурит.

— Государь, вы изволили слышать о законе, сказанном в шведском сенате и утвержденном покойным шведским королем Карлом Одиннадцатым: о редукации. Тому минуло двадцать лет. Шведские сенаторы, — бюргеры, злые торговцы, — не знаю уж чем опонили короля, внушив ему неслыханное злодейство: отобрать у дворянства все земли, жалованные прежними королями. Эрлы и бароны принуждены были покинуть замки, и смерд стал пахать земли высокородных. Нам, лифляндскому рыцарству, дано было клятвенное обещание о нераспространении редукации. Но через восемь лет король все же повелел редукационной комиссии брать в казну наши земли, жалованные прежними государями. Право на исконные земли рыцарей, гроссмейстеров ордена и епископов нужно было доказывать древними грамотами, а буде грамот не окажется, в казну отходили и эти земли... Со времен Иоанна Грозного и Стефана Батория Лифляндия опустошается войной, грамоты наши утеряны, мы не можем доказать исконных прав... Я написал челобитную о злодействах редукационной комиссии и от всего лифляндского рыцарства подал ее шведскому королю... Но добился лишь того, что сенат приговорил меня к отсечению правой руки, написавшей сию челобитную, и к отсечению головы (Паткуль повысил голос, уши его поджались, тонкие губы побелели)... к отсечению головы, не пожелавшей униженно склониться перед злодеянием. Государь, лифляндское рыцарство разорено. Но не легче и нашему купечеству... (С этой минуты Петр стал слушать весьма внимательно.) Шведы обложили высокими пошлинами все, что привозят и увозят из рижского порта. От алчности и мздолюбия воистину не только нам, но и себе готовят

разорение. Иностранные корабли сворачивают теперь мимо Риги в Кенигсберг, весь хлеб из Польши тянется к Бранденбургскому курфюрсту. Наши поля зарастают сорной травой. Порт опустел, город на кладбище похож. А в Ревеле и того хуже сделано шведами. Остается — либо нам разорение вконец, либо война. Теперь или никогда, государь. Все рыцарство сядет на коней. Король Август клятвенно берет нас под державную руку Польши...

Паткуль твердо взглянул на генерала Карловича, перевел желтоватые глаза на Кенигсека. Оба важно наклонили парики. Петр, — кусая чубук:

— Не попасть бы вам опять из огня в полымя... Рука у короля Августа легка, у польских панов когти цепкие. Большой кус им отваливаете — Ригу и Ревель...

— Польша теперь не та, что при Стефане Батории. Польша не ищет нашей гибели, — сказал Паткуль. — У нас один враг на суше и на море. На вольности, на веру Ржечь Посполита не покусится...

— Дай бог, дай бог... Нынче сейм так приговорит, завтра по-другому, — что панам в голову взбредет... Был бы король Август единовластен, — тогда надежно. А то — паны!.. (Петр благодушно рассуждал, попыхивая дымком. У Паткуля кости проступили на лице под кожей, — так вьелся зрачками в царя.) Да захотят ли еще паны воевать?

— Государь, саксонскому войску короля Августа, коим он один повелевает, приказано уже стать на зимние квартиры в Шавльском и Бирзенском поветах близ ливонской границы...

— Сколь велико войско?

— Двенадцать тысяч отборных германцев.

— Маловато будто бы для такого дела.

— Да столько же ливонских рыцарей сойдутся под Ригу. Шведский гарнизон невелик. Ригу возьмем с налету. А там — война начнется — паны сами возьмутся за сабли. Другой союзник сей коалиции — датский король Христиан. Государь, вам известно, сколь он пылает ненавистью против герцога¹ и шведов. Датский флот нам будет обороною с моря...

Паткуль добрался до трудного места. Царь, свесив руку, постукивал по столу ногтями, на круглом лице его не выражалось ни желания, ни противности. Начинались сумерки, за окном усиливался ветер, скрипя ставнями. Анхен хотела было зажечь свечи. Петр — сквозь зубы: «Не надо».

— Государь, не было столь удобного времени для вас утвердиться на Балтийском море, обратно взять у шведов исконные вотчины — Ингрию и Карелию. Поразив шведов и утвердись при море, достигнуть всемирной славы, завести торговлю с Голландией, Англией, Испанией и Португалией, со всеми север-

¹ Герцог Голштейн-Готорбский, Фридрих IV, женатый на сестре Карла XII. Герцогство Голштинское граничит с Данией.

ными, западными и южными странами и сделать то, чего ни один монарх Европы не в состоянии был сделать,— открыть через Московию торговый путь между Востоком и Западом. Войти в связь со всеми монархами христианскими, иметь слово в делах Европы... Заведя грозный флот на Балтике, стать третьей морской державой... И всем этим скорее, нежели покорением турок и татар, прославиться в свете. Сейчас или никогда...

Паткуль поднял руку, будто призывая бога в свидетели. Кенигсек шепотом повторил: «Сейчас или никогда». Генерал Карлович значительно засопел...

— Что же так, сейчас! Крыша, что ли, горит? Дело большое — воевать со шведами,— грызя чубук, проговорил Петр. (У собеседников насторожившиеся глаза поблескивали каминными огоньками.) — Двенадцать тысяч саксонцев — сила добрая. Датский флот... Гм... Рыцари да паны? Это еще бабушка в решето видела... Шведы, шведы... Первое в Европе войско... Трудно вам что-нибудь присоветовать...

Он опять застучал ногтями. Паткуль — со сдержанной яростью:

— Сегодня шведов голыми руками можно взять. Карл Двенадцатый — мал и глуп... Сие — король! Разряженный, как девка,— одно знает — пиры да по лесам за зайцами скакать! Из казны все деньги вытянул на машкерады. Лев — без зубов... Недаром шведское посольство с весны сидит в Москве, просит вечного мира... Смешно сказать,— послы. Всей Европе известно — ни на одном шелковых чулков нет. Прожились, одним горохом питаются. Да вот, государь,— генерал Карлович в прошлом году был в Стокгольме, нагляделся на короля... Господин генерал, извольте рассказать...

Карлович выпростал несколько шею из воротника:

— Был, так точно... Город невелик, но неприступен с воды и суши,— истинное логовище льва. Я сошел с корабля, будучи под вымышленным именем и в платье партикулярном. Иду на рынок, дивлюсь: как будто в городе неприятель,— в лавках и домах закрывают ставни, женщины хватают детей. Спрашиваю прохожего, Машет рукой, бежит прочь: «Король!»

Я видывал всякое в походах и во многих городах, где ставили на квартирах, но не такое, чтобы народ от своего короля, как от чумы, бросался без памяти в двери... Гляжу — с лесистой горы скачут,— не ошибиться,— не менее сотни охотников, за спиной — рога, на сворах — собаки... Гонят через каменный мост в город. А уж площадь пуста. Впереди на вороном жеребце — юноша, лет семнадцати, в солдатских ботфортах, в одной рубаше. Скачет, бросив поводья: король Карл Двенадцатый... Львенок... Охотники за ним,— свист, хохот. Как бесы, промчались по рынку. Хорошо, что обошлось, а бывает, что и потопчут.

Будучи любознателен, упросил я одного знакомого сводить меня во дворец под видом будто бы продавца аравийских ароматов.

Час был ранний, но во дворце пировали. Король забавлялся. В столовой стены на человеческий рост забрызганы кровью, на полу кровь — ручьями. Смерд, валяются пьяные. Король и те, кто еще стоял на ногах, рубили головы баранам и телятам — с одного удара саблей на спор о десяти шведских кронах. Я не мог не одобрить королевской рубки: конюха подпихивали к нему теленка, король рысцой пробегал и, описывая саблей круг, смахивал телячью голову, ловко увертывался, чтобы кровь не хлестнула на ботфорты.

Учитво я поклонился, король бросил саблю на стол и поднес мне для поцелуя запачканную руку. Узнав, что я торговец: «Вот, кстати, сказал, не можешь ли ссудить мне пятьсот голландских гульденов?» Меня усадили за стол и заставили неумеренно пить. Один из придворных шепнул: «Не перечьте королю, он пьян третьи сутки. Вчера одного почтенного негоцианта здесь раздели догола, вымазали медом и обвалили в перьях». Чтобы избежать бесчестия, я обещал королю пятьсот гульденов, которых у меня не было, и до ночи провел за столом, притворяясь пьяным. Придворные просыпались, ели, пили, орали песни, опрокидывали блюда на головы лакеев и снова валялись с ног.

Ночью король с толпой приспешников вышел из дворца — бить стекла, пугать спящих граждан. Я воспользовался темнотой и скрылся. Весь город стонет от королевских безумств. При мне в трех церквах с амвона проповедники говорили народу: «Горе стране, где король юн». Горожане посылают лучших людей во дворец — просить короля бросить распутство, заняться делом. Челобитчиков выбивают вон. Эрлы и бароны, разоренные покойным королем, ненавидят правящую династию. В сенате еще держатся за короля, но уже с деньгами прижимают. А ему хоть бы что, — безумец!

Не так давно, придя в сенат, потребовал двести тысяч крон безответно. Сенат единогласно отказал. Король в бешенстве сломал трость: «Так будет со всеми, кто против меня...» А на другой день ворвался с охотниками в сенатскую залу, — из мешка выпустили полдюжины зайцев и порскнули гончих собак... (Петр вдруг, откинув голову, весело засмеялся.) Сенаторы на подоконники полезли, на иных собаки ободрали кафганы. Весь он тут, — король-шалун... Куда как страшен львенок!

Генерал Карлович из-за обшлага вытащил фуляровый платок, вытер лицо и шею под париком. Петр, облокотясь о стол, продолжал смеяться. Анна Ивановна неожиданно для всех проговорила с презрением:

— Нечего сказать, — короли! Такого Карлу с одним нашим Преображенским полком можно добыть...

К ней все повернули головы. Кенигсек приложил ко рту платочек. Петр — негромко:

— Вот уж это, Аннушка, не твоего ума дело. Скажи-ка лучше вздуть свечи...

Зажгли свечи в стенных подсвечниках перед зеркалами. Налили вино в хрустальные кубки. От теплого света смягчилось даже лицо Иоганна Паткуля. Анхен принесла небольшой музыкальный ящик, завела, открыла крышку и поставила на камин. Ящик играл тоненькими голосами немецкую песенку о том, что все благополучно в этом мире, где яства на столе, и светят свечи, и улыбаются голубенькие глазки,— пусть шумит ветер за окошком... Петр, усмехаясь, в такт покачивал головой, подтопывывал башмаком. В тот вечер он ни слова более не сказал о политике.

3

Каждое воскресенье у Ивана Артемича Бровкина в новом кирпичном доме на Ильинке обедали дочь Александра с мужем. Иван Артемич жил вдовцом. Старший сын, Алеша, был сейчас в отъезде по набору в солдатские полки. Недавним указом таких полков сказано набрать тридцать,— три дивизии. Для снабжения учредить новый приказ — Провиантское ведомство — под началом генерал-провианта. Само собой генерал-провиант ни овса, ни сена, ни сухарей и прочего довольствия из одних ведомственных бумаг добыть не мог. Главным провиантом опять остался Бровкин, хотя без места и звания. Дела его шли в гору, и многие именитые купцы были у него в деле и в приказчиках.

Другие сыновья: Яков служил в Воронеже, во флоте, Гаврила учился в Голландии, на верфях. И только меньшенький, Артамон,— ему шел двадцать первый годок,— находился при отце для писания писем, ведения счетов, чтения разных книг. Знал он бойко немецкий язык и переводил отцу сочинения по коммерции и — для забавы — гишторию Пуффендорфа. Иван Артемич, слушая, вздыхал: «А мы-то живем, господи, на краю света — свиньями».

Все дети — погодки — были умны, а этот — чистое золото. Видно, их мать, покойница, всю кровь свою по капельке отдала, всю душу разорвала,— хотела счастья детям. В зимние выюги, бывало, в дымной избе жужжит веретеном, глядит на светец — горящую лучину — страшными, как пропасть, глазами. Маленькие посапывают на печи, шуршат в щелях тараканы, да вост над соломенной крышей выюга о бесчеловечной жизни... «Зачем же маленьким-то неповинно страдать?» Так и не дождалась счастья. Иван Артемич тогда ее не жалел, досуга не было, а теперь, под старость, постоянно вспоминал жену. Умирая, заклала его: «Не бери детям мачехи». Так вот и не женился второй раз...

Дом у Бровкина был заведен по иноземному образцу: кроме обычных трех палат,— спальной, крестовой и столовой,— была четвертая — гостиная, где гостей выдерживали до обеда, и не на лавках вдоль стен, чтобы зевать в рукав со скуки, а на голландских стульях посреди комнаты, кругом стола, покрытого рытым барха-

том. Для утешения здесь лежали забавные листы, месящеслов с предсказаниями, музыкальный ящик, шахматы, трубки, табак. Вдоль стен — не сундуки и ларцы со всякой рухлядью, как у дворян, живших еще по старинке, — стояли поставцы, или шкафы огромные, — при гостях дверцы у них открывали, чтобы видна была дорогая посуда.

Все это завела Александра. Она следила и за отцом: чтобы одевался прилично, брился часто и менял парики. Иван Артемич понимал, что нужно слушаться дочери в этих делах. Но, по совести, жил скучновато. Надуваться спесью теперь было почти и не перед кем, — за руку здоровался с самим царем. Иной раз хотелось посидеть на Варварке, в кабаке, с гостинодворцами, послушать занозистые речи, самому почесать язык. Не пойдешь, — невместно. Скучать надо.

Иван Артемич стоял у окошка. Вот — по улице старший приказчик Свешникова бежит, сукин сын, торопится. Умнейшая голова. Опоздал, милый, — лен-то мы еще утречком в том месте перехватили. Вон Ревякин в новых валенках, морду от окна отворотил, — непременно он из Судейского приказа идет... То-то, милый, с Бровкиным не судись...

Вечером — когда Саньки дома не было — Иван Артемич снимал парик и кафтан гишпанского бархата, спускался в подклеть, на поварню, — ужинать с приказчиками, с мужиками. Хлебал щи, балагурил. Особенно любил, когда заезжали старинные односельчане, помнившие самого что ни на есть последнего на деревне — Ивашку Бровкина. Зайдет на поварню такой мужик и, увидя Ивана Артемича, будто до смерти заробеет и не знает — в ноги ли поклониться, или как, и отбивается — не смеет сесть за стол. Конечно, разговорится мало-помалу, издали подводя к дельцу, — зачем заехал...

— Ах, Иван Артемич, разве по голосу, а так не узнать тебя. А у нас на деревне только ведь и разговоров, — соберутся мужики на завалине и — пошли: ведь ты еще тогда, в прежние-то годы, — помним, — однолошадный, кругом в кабале, а был орел...

— С трех рубликов, с трех рубликов жить начал. Так-то, Константин.

Мужик строго раскрывал глаза, вертел головой:

— Бог-то, значит, человека видит, метит. Да... (Потом — мягко, ласково.) Иван Артемич, а ведь ты Константина Шутова помнишь, а не меня. Я — не Константин... Тот — напротив от тебя-то, а я — полее, с бочкою. Избенка плохонькая...

— Забыл, забыл.

— Никуда изба, — уже со слезой, горловым голосом говорил мужик, — того и гляди развалится. Намедни обседа повесть, — гнилье же все, — тялушку, понимаешь, задавило... Что делать — не знаю.

Иван Артемич понимал, что делать, но сразу не говорил: «Сходи завтра к приказчику, до покрова за тобой подожду»;

покуда не одолевала зевота, расспрашивал, кто как живет, да кто помер, да у кого внуки... Балагурил: «Ждите, на Красную Горку приеду невесту себе сватать».

Мужик оставался на поварне ночевать. Иван Артемич поднимался наверх, в жаркую опочивальню. Два холопа в ливреях, давно спавшие у порога на кошме, вскакивали, раздевали его, — низенького и тучного. Положив сколько надо поклонов перед лампадой, почесав бока и живот, совал босые ноги в обрезки валенок, шел в холодный нужник. День кончен. Ложась на перину, Иван Артемич каждый раз глубоко вздыхал: «День кончен». Осталось их не так много. А жалко, — в самый раз теперь жить да жить... Начиная думать о детях, о делах, — сон путал мысли.

Сегодня после обедни ожидались большие гости. Первая приехала Санька с мужем. Василий Волков, без всяких поклонов, поцеловал тестя, невесело сел к столу. Санька, мазнув отца губами, кинулась к зеркалу, начала вертеть плечами, пышными юбками, цвета фрезекразе, оглядывая новое платье.

— Батюшка, у меня к вам разговор... Такой разговор серьезный. — Подняла голые руки, поправляя шелковые цветочки в напудренных волосах. Не могла оторваться от зеркала, — синеглазая, томная, ротик маленький. — Уж такой разговор... (И опять — и присела и раскладными перьями обмахнулась.)

Волков сказал угрюмо:

— Шалая какая-то стала. Вбила в башку — Париж, Париж... Только ее там и ждут... Спим теперь врозь.

Иван Артемич, сидя у голландской печи, посмеивался:

— Ай-ай-ай, учить надо.

— Поди ее — поучи: крик на весь дом. Чуть что — грозит: «Пожалуюсь Петру Алексеевичу». Не хочу ее брать в Европу — свихнется.

Санька отошла от зеркала, прищурилась, подняла пальчик:

— Возьмешь. Петр Алексеевич мне сам велел ехать. А ты — невежа.

— Тесть, видел? Что это?

— Ай-ай-ай...

— Батюшка, — сказала Санька, расправив платье, села около него. — Вчера у меня был разговор с младшей Буйносовой, Натальей. Девка так и горит. Они еще старшую не пропили, а до этой когда черед? Наташа — в самой поре, — красotka. Политес и талант придворный понимает не хуже меня...

— Что ж, у князя Романа дела, что ли, плохи? — спросил Иван Артемич, почесывая мягкий нос. — То-то он все насчет полотняного завода заговаривает...

— Плохи, плохи. Княгиня Авдотья плакалась. А сам ходит тучей...

— Он с умной головы сунулся по военным подрядам, ему наши наломали бока...

— Род знаменит, батюшка, — Буйносовы!.. Честь немалая

взять в дом такую княжну. Если за приданым не будем слишком гнаться, — отдадут. Я про меньшенького, Артамошу, говорю. (Иван Артемич полез было в затылок, помешал парик.) Главное, до отъезда моего в Париж окрутить Артамона с Натальей. Очень девка томится. Я и Петру Алексеевичу говорила.

— Говорила? — Иван Артемич сразу бросил трепать нос. — Ну, и он что?

— Милое дело, говорит. Мы с ним танцевали у Меньшикова вчера. Усами по щеке меня щекочет и говорит: «Крутите свадьбу да скорее».

— Почему скорее? — Иван Артемич поднялся и напряженно глядел на дочь. (Санька была выше его ростом.)

— Да война, что ли... Не спросила его, не до того было... Вчера все говорили — быть войне.

— С кем?

Санька только выпятила губу. Иван Артемич заложил короткие руки за спину и заходил, переваливаясь, — в белых чулках, в тупоносых башмаках с большими бантами, красными каблуками.

У крыльца загрохотала карета, подъезжали гости.

Глядя по гостю, Иван Артемич или встречал его наверху, в дверях, выпята живот в шелковом камзоле, то спускался на самое крыльцо. Князя Романа Борисовича, подъехавшего в карете с холопами на запятках, встретил на середине лестницы, — добродушно хлопнул его рукой в руку. За князем Романом поскакали по чугунным ступенькам, подобрав юбки, Антонида, Ольга и Наталья. Иван Артемич, пропустив Наталью вперед, обшарив взором, — девица весьма спелая.

Буйносовы девы шумно сели посреди гостиной у стола. Хватая Саньку за голые локти, затараторили о сущих пустяках. Почтенные гости — президент Митрофан Шорин, Свешников, Момонов, — чтобы не наступать на девичьи шлепы, подались к печке и оттуда косились из-под бровей: «Все это, конечно так: воля царская — тянуться за Европой, а добра большого не жди таскать по домам девок».

Санька показывала только что привезенные из Гамбурга печатные листы — гравюры — славных голландских мастеров. Девы дышали носами в платочки, разглядывая голых богов и богинь... «А это кто? А это чего у него? А это она что? Ай!»

Санька объясняла с досадой:

— Это мужик, с коровьими ногами — сатир... Вы, Ольга, напрасно корсотитесь: у него — лист фиговый, — так всегда пишут. Купидон хочет колотить ее стрелой... Она, несчастная, плачет, — свет не мил. Сердечный друг сделал ей амур и уплыл — видите — парус... Называется — «Ариадна брошенная»... Надо бы вам это все заучить. Кавалеры постоянно теперь стали спрашивать про

греческих-то богов. Это — не прошлый год... А уж с иноземцем и танцевать не ходите...

— Мы бы заучили,— книжки нет... От батюшки полушки не добьешься на дело,— сказала Антонида. Рябоватая Ольга от досады укусила кружево на рукаве. Санька вдруг обнял Наталью за плечи, шепнула что-то. Круглолицая, русоволосая Наталья залилась зарей...

Смирно, почтительно в гостиную вошел Артамоша,— в коричневом немецком платье, худощавый, похожий на Саньку, но темнее бровями, с пушком на губе, с глазами облачного цвета. Санька ущипнула Наталью, чтобы взглянула на брата. От смущения дева низко опустила голову, выставила локти,— не повернуть...

Артамоша поясno поклонился почтенным гостям и подошел к сестре. Санька, поджав губы, коротко присев,— скороговоркой:

— Презанте мово младшего брата Артамошу.

Девы лениво покивали высокими напудренными прическами. Артамон по всей науке попятился, потопал ногой, помахал рукой, будто полоская белье. Санька представляла: «Княжна Антонида, княжна Ольга, княжна Наталья». Каждая дева, поднявшись, присела,— перед каждой Артамон пополоскал рукой. Осторожно сел к столу. Зажал руки между коленями. На скулах загорелись пятна. С тоской поднял глаза на сестру. Санька угрожающе сдвинула брови.

— Как часто делаете плезир? — запинаясь, спросил он Наталью. Она невнятно прошептала. Ольга бойко ответила:

— Третьего дня танцевали у Нарышкиных, три раза платья меняли. Такой суксе, такая жара была. А вас отчего никогда не видно?

— Молод еще.

Санька сказала:

— Батюшка боится — забалуется. Вот женим, тогда пускай... Но танцевать он ужасно ловкий... Не глядите, что робеет... Ему по-французски заговорить,— не знаешь, куда глаза девать.

Почтенные гости с любопытством поглядывали на молодежь... «Ну, ну, детки пошли!» Митрофан Шорин спросил у Бровкина:

— Где сынка-то обломал?

— Учителя ходят, нельзя, Митрофан Ильич: мы на виду... Родом не взяли, другим надо брать...

— Верно, верно... Приходится из щелей-то вылезать...

— И государь обижается: что же, говорит, деньги лопатой гребешь, так уж лезь из кожи-то...

— Само собой. Расходы эти оправдываются.

— Санька мне одна чего стоит. Но бабенка — на виду.

— Бабочка бойкая. Только, Иван Артемич, ты посматривай, как бы...

— Конечно, ее можно плеткой наверх загнать — сидеть за пальцами,— помолчав, задумчиво ответил Иван Артемич.— А толк велик ли? Что мужу-то спокойно? Э-ка! Понимаю, около

греха вертится. Господи, верно... Грех-то у нее так и прыщет из глаз. Митрофан Ильич, не те времена... В Англии,— слышал? — Мальбрукова жена всей Европой верховодит... Вот ты и стой с плеткой около юбки-то ее — дурак дураком...

Алексей Свешников, суровый лицом, густобровый купчина (в просторном венгерском кафтане со шнурами), в своих волосах,— чернокудрявых, с проседью,— вертел за спиной пальцами, дожидаясь, когда президент и Бровкин бросят судачить о пустяках.

— Митрофан Ильич,— пробасил он,— опять ведь я о том же: надо поторопиться с нашим-то дельцем. Слух есть, как бы нам дорогу не перебежали.

Востроносое, чисто вымытое, хитрое лицо президента заулыбалось медовым ртом.

— Как наш благодетель Иван Артемич рассудит, его спрашивай, Алексей Иванович...

Бровкин тоже быстро завертел за спиной пальцами, расставив короткие ноги, глядел снизу вверх на орлов — Шорина и Свешникова... Сразу сообразил: торопятся, ироды,— чего-то, значит, они разузнали особенное... (Вчера Бровкин весь день пробыл в хлебных амбарах, никого из высоких людей не видал.) Не отвечая, надуваясь важностью, прикидывал: чему бы этому быть? Вытащил из-за спины руки — почесать нос.

— Что ж, сказал, слух есть — сукнецо будет теперь в цене... Можно потолковать.

Свешников сразу выкатил цыганские глаза:

— Ты, значит, тоже, Иван Артемич, знаешь про вчерашнее?

— Знаем кое-что... Наше дело — знать да помалкивать... (Иван Артемич всей рукой взял себя за низ лица: «Что за дьявол! Про что они узнали?»)

Косясь на других гостей, попятился за изразцовую печь, Свешников и Шорин — за ним. Там, став тесно, заговорили вокруг да около, настороженно...

— Иван Артемич, вся Москва ведь болтает.

— Поговаривают, да.

— С кем же? Неужто со шведом?

— Это дело государево...

— Ну, а все-таки... Скоро ли? (Свешников влез ногтями в проволочную бороду.) В самый бы раз теперь нам заводик поставить. Дорого государю не то, что дешевле гамбургского, а то, что ведь свое будет сукно... Границы могут закрыть, а тут — сукно свое... Дело золотое. Вокруг народу что закрутилось,— тот же Мартисен...

«Вот они про что пронюхали»,— понял Иван Артемич, усмехаясь в горсть.

На днях этот Мартисен, иноземец, был у Бровкина с переводчиком Шафировым, предлагал поставить суконный завод: часть денег государя, часть — Бровкина, он же, Мартисен, войдет

в треть всех доходов, за это обязуется выписать из Англии ткацкие станы, мастеров лучших и вести все дело. Свешников и Шорин, со своей стороны, давно предлагали Бровкину войти интересаном в кумпанию для устройства суконного завода. Но куда шли только разговоры. Вчера, видимо, что-то случилось, вернее всего — Мартисен сам дошел до государя.

— Неужто дело такое великое отдать иноземцам? — горя глазами, сказал Свешников.

Президент Шорин, зажмурясь, вздохнул:

— А уж мы, кажется, животы готовы положить, последнее отдадим...

— Завтра, завтра потолкуем, — Иван Артемич устремился от печки к дверям. В гостиную вошел, никем не встреченный (в черном суконном платье, башмаки — в пыли), низенький, сизобритый, налитой человек с широкой переносицей, ястребиным носом. Темные глаза его беспокойно шарили по лицам гостей. Увидя Бровкина, не по-русски протянул короткие руки, осклабился наискось.

— Почтеннейший Иоанн Артемьевич! — проговорил с напевом по всем буквам и пошел обнимать хозяина, облобызал троекратно, будто на пасху, чудак. Затем, мотнув на стороны огненно-рыжим париком, шепнул: — с Мартисеном пока — никак. Сейчас Александр Данилович пожалует.

— Рад тебе, рад, Петр Павлович, милости просим...

Это был переводчик Посольского приказа, Шафиров, из евреев. Ездил с царем за границу, но до этой осени был в тени. Теперь же, состоя при шведском посольстве, видался с Петром ежедневно, и уж на него смотрели как на сильнейшего.

— Завтра, Иоанн Артемьевич, пожалуй в Кремль, во дворец... Государь наказал быть десятерым от Бурмистерской палаты. Принимаем грамоты от шведов...

— Договорились?

— Нет, Иоанн Артемьевич, государь целовать евангелие не будет шведскому королю...

Бровкин, слушая, перевел дыхание, торопливо перекрестил пупок.

— Значит, правда, Петр Павлович, слухи-то эти?

— Поживем — увидим. Иоанн Артемьевич, дела великие, дела великие... — и повернулся к буйносовским девам целовать у них пальцы — по-иноземному.

Князь Роман Борисович мрачно сидел на стуле у стены. Не честь была ездить по таким домам. Мутно поглядывал на дочерей: «Сороки, дуры. Кто их возьмет-то? Что за лютые, господа, времена! Деньги, деньги! Будто их ветром из кармана выдувает... С утра трещит голова от мыслей: как обернуться, как жить дальше? С деревенек все выжато, и того не хватает. Почему? Хватало же прежде... Эх, прежде — сиди у окошечка, — хочешь — яблочко пожуюшь, хочешь — так, слушай колокольный звон...

Покой во веки веков... Вихрь налетел, люди, как муравьи из ошпаренного муравейника, полезли. Непонятно... И — деньги, деньги. Заводы какие-то, кумпаний».

Сидевший рядом с князем Романом пожилой купец Евстрат Момонов, один из первых гостиной сотни, тихо точил речи:

— Нельзя, батюшка князь Роман Борисович, по-купецки так рассуждаем: тесно, невозможно стало, иноземцы нас, как хотят, забивают... Он у тебя товар не возьмет, он почту пошлет сначала, и через восемнадцать дней — письмо его в Гамбурге, и еще через восемнадцать дней — ответ: какая у них на бирже цена товара... А наши дурачки и год и два все за одну цену держатся, а такой цены давно и на свете нет. Иноземцы давно из нашей земли окно прорубили. А мы — в яме сидим. Нет, батюшка, войны не миновать... Хоть бы один городок, Нарву, скажем, старую царскую вотчину.

— От денег пухнете, а всем вам, купцам, мало, — брезгливо сказал Роман Борисович. — Война! Э-ка! Война — дело государственное, не вам, худородным, в эту кашу лезть...

— Истинно, истинно, батюшка, — сейчас же поддакнул Момонов, — мы так болтаем, от ума скудости...

Роман Борисович скосил налитые жилками белки на него: ишь ты, одежда простая, лицо обыкновенное, а денег зарыто в подполье — горшки...

— Сыновей-то много?

— Шестеро, батюшка князь Роман Борисович.

— Холостые?

— Женатые, батюшка, женатые все.

За окнами загрохотала карета по бревенчатой мостовой. Иван Артемич кинулся на лестницу, кое-кто из гостей — к окнам. Разговоры оборвались. Было слышно, как по чугунным ступеням звякают шпоры. Впереди хозяина вошел генерал-майор, губернатор псковский, Александр Меньшиков, в кафтане с красными обшлагами, — будто по локоть рукава его были окунуты в кровь. С порога обвел гостей сине-холодным государственной строгости взором. Сняв шляпу, размашисто поклонился князю. Поднял левую красивую бровь, с ленивой усмешкой подошел к Саньке, поцеловал в лоб, потрепал руку за кончики пальцев, повернувшись, коротким кивком приветствовал гостей.

Раскрылись двери в столовую. Александр Данилович, похлопывая Бровкина, нагнулся к уху:

— Со Свешниковым и Шориным брось, не дело... Мартисену ничего не дадим. Самим, самим нужно браться... Поговори нынче с Шафировым.

4

В четырнадцати каретах, четвернями, шведское посольство выехало с Посольского двора. Вдоль всей Ильинки — через площадь до кремлевских стен — стояли на стойке под ружьем

солдатские полки, одетые в треугольные шляпы, короткие кафтаны, белые чулки. Октябрьский ветер развевал знамена, значки на пиках. Шведы серьезно поглядывали из окон кареты на эти новые войска.

Проехав Спасские ворота, увидели оснеженные с бочков кучи ядер, глядящие в небо жерла медных мортир: у каждой — четыре саженого роста усатых пушкаря с банниками, дымящимися фитилями. Перед Красным крыльцом стоял на огненно-рыжем донском жеребце старый генерал Гордон. Красный плащ его надувало ветром, ледяная крупа стучала по шлему и латам. Когда посольский поезд остановился, генерал поднял руку, — ударили пушки, дымом заволокло подслеповатые окна приказов, церковные главы.

На крыльце послы, по требованию стольников, отдали шпаги. Сто семеновских солдат, держа королевские дары и поминки, — серебряные тазы, кубки, кувшины, — стали на крыльце и в сенях, подняли в пышной деревянной раме портрет — во весь рост — юного шведского короля Карла Двенадцатого. Послы степенным шагом вошли в столовую палату, в дверях сняли шляпы.

По четырем стенам на лавках сидели бояре, дворяне московские, гости и торговые люди из лучших. Все были в простой суконной одежде, многие — в иноземном платье. В дальнем конце сводчатой — коробом — палаты, расписанной по стенам и потолку рыцарями, зверями и птицами, на тронном стуле из рыбьего зуба и серебра сидел, как идол, неподвижно выпучив глаза, Петр, без шляпы и парика, в рысьем кафтане серого сукна. По левую руку его стоял Лаврентий Свиньин с золотой миской, по правую — Василий Волков держал на вытянутых руках полотенце.

Послы приблизились и на ковре перед тронными ступенями преклонили колени. Свиньин поднес миску, Петр, глядя вперед себя, сунул пальцы в воду, Волков вытер их, и послы подошли к царской шершавой руке. После сего Петр встал — головой под балдахин — и по-русски, раздувая горло, проговорил по старинному чину:

— Каролус король Свейский по здорову ли?

Посол, приложив руку к груди и склонив набок рогатую копну парика, ответил, что господней милостью король здоров и спрашивает о здоровье царя всея Великия, Малыя, и Белья, и прочее. Переводчик Шафиров, одетый, как и шведы, в короткий плащ, в шелковые штаны с лентами и разрезами на ляжках, громко перевел ответ посла. Бояре внимательно приоткрыли рты, настороженно задрали брови, слушая, нет ли хоть в букве какой бесчестья. Петр кивнул: «Здоров, благодарю». Посол, взяв у секретаря с бархатной подушки свиток — верительные грамоты, — коленопреклоненно поднес их Петру. Царь принял грамоты и, не глядя, ткнул ими в сторону первого министра, Льва Кирилловича Нарышкина, — этот, в отличие от всех, был одет с чрезвычайной пышностью — в белый атлас, сверкал камнями. Лев Кирилло-

вич, не разворачивая свитка, громко проговорил, что прием окончен.

Послы с поклонами пропятились задом до дверей.

.....

Послы ожидали, видимо, что здесь же, на великом приеме, поднимут вопрос о главном, — для чего они полгода томились в Москве: о клятвенном целовании царем Петром евангелия в подтверждение мирного договора со Швецией. Но прошла неделя, покуда московские министры не позвали послов в Приказ иностранных дел на конференцию. Там Прокофий Возницын в ответ объявил шведам, что прежние мирные договоры со Швецией царь Петр подтверждает с в о е й д у ш о й и вдругорядь целовать евангелия не станет, ибо однажды он уже присягал отцу нынешнего короля. Но зато молодому королю Карлу целовать евангелие нужно, ибо царю Петру он не присягал. Такова государственная воля, и она послам объявлена и изменена не будет.

Послы горячились и спорили, но слова их отскакивали от надутых важностью москвитов, как от стены горох. Послы сказали, что без разрешения короля никак не могут принять такой — на вечный мир — докончальной грамоты и напишут в Стокгольм. Прокофий Возницын ответил с усмешкой в стариковских глазах:

— Дорога в Стекольну¹ вам известна, — не получите ответа и в четыре месяца, придется вам этот срок жить в Москве напрасно, на своих кормах.

На второй конференции и на третьей все было то же. Посольский приказ перестал отпускать даже сено лошадям. Послы продавали кое-какую рухлядь, чтобы прокормиться, — парики, чулки, пуговицы. И наконец сдались. В Кремле царь Петр, так же сидя в рысьем кафтане на троне, передал охудававшим послам нецелованную докончальную грамоту.

.....

В туманное ноябрьское утро кожаная карета, залепленная грязью, подъехала к заднему крыльцу Преображенского дворца. Сырая мгла заволакивала его причудливые кровли. На крыльце нетерпеливо потопывал ботфортами Александр Данилович. Заметив дворовую девку, пробиравшуюся куда-то в наброшенном на голову армяке, крикнул: «Прочь пошла, стерва!» Девка без памяти побежала, разъезжаясь босыми ногами по мокрым листьям.

Из кареты вылезли польский генерал Карлович и лифляндский рыцарь Паткуль.

— Вот и слава богу, — сказал Меньшиков, тряся им руки.

Пошли по безлюдным переходам и лестницам, пахнущим мышами, наверх. У низенькой дверцы Александр Данилович осторожно постучался.

¹ То есть в Стокгольм.

Дверь открыл Петр. Без улыбки, молча наклонил голову. Ввел гостей в надымленную спальню с одним слюдяным окошком, едва пропускавшим туманный свет.

— Ну, что ж, рад, рад,— пробормотал, возвращаясь к окошку. Здесь, на небольшом непокрытом столе, на подоконнике, на полу были разбросаны листы бумаги, книги, гусиные перья.— Данилыч!..

Петр пососал испачканный чернилами палец.

— Данилыч, этому подьячему ноздри вырву, ты ему так и скажи. Одно занятие — чинить перья,— спит целый день, дьявол... Ох, люди, люди! (Паткуль и Карлович выжидательно стояли. Он спохватился.) Данилыч, подай гостям стулья, возьми у них шляпы... Вот... (Ударил ногтями по исписанным вкривь и вкось листкам.) С чего приходится начинать: аз, буки, веде... Растут по московским дворам такие балды,— сажень ростом. Дубиной приходится гнать в науку... Ох, люди, люди!.. А что, господин Паткуль, англичане Фергарсон и Гренс — знатные ученые?

— Будучи в Лондоне, слыхал о них,— ответил Паткуль,— люди не слишком знатные, сие не философы, но более наук практических...

— Именно. От богословия нас вши заели... Навигационные, математические науки. Рудное дело, медицина. Это нам нужно... (Взял листки и опять бросил на стол.) Одна беда — все наспех...

Сел, бросил ногу на ногу. Облокотясь, курил. Налитой здоровьем Карлович, похрипывая, моргал на царя. Паткуль угрюмо глядел под ноги. Александр Данилович сдержанно кашлянул. У Петра задрожала рука, державшая трубку.

— Ну, как, написали, привезли?

— Мы написали тайный трактат и привезли,— твердо сказал Паткуль, подняв побледневшее лицо.— Прикажите господину Карловичу прочесть.

— Читайте.

Меньшиков на цыпочках придвинулся вплоть. Карлович вынул небольшой лист голубой бумаги, отнес его далеко от глаз, наливаясь натугой, начал читать:

— «Для содействия Российскому государю к завоеванию у Швеции неправедно отторгнутых ею земель и к твердому основанию русского господства при Балтийском море король польский начнет с королем шведским войну вторжением саксонских войск в Лифляндию и Эстляндию, обещая склонить к разрыву и Ржечь Посполитую Польскую. Царь со своей стороны откроет военные действия в Ингрии и Карелии тотчас по заключении мира с Турцией, не позже апреля 1700 года, и между тем в случае надобности, пошлет королю польскому вспомогательное войско под видом наемного. Союзники условиваются в отдельные переговоры с неприятеlem не входить и друг друга не выдавать. Сей договор хранить в непроницаемой тайне».

Облизнув сухие губы, Петр спросил:

— Все?

— Все, ваше величество.

Паткуль сказал:

— Получив согласие вашего величества, завтра же я выезжаю в Варшаву и надеюсь к середине декабря привезти подлинную подпись короля Августа.

Петр странно, — так пристально, что навернулись слезы, — взглянул в его желтоватые, жесткие глаза. Перекосился усмешкой:

— Дело великое... Ну, что ж... Поезжай, Иоганн Паткуль...

5

На соборной башне гулко пробило двенадцать. Уважающие себя горожане готовились к обеденной трапезе. Сенаторы покидали кресла в зале заседаний. Торговцы прикрывали двери лавок. Цеховой мастер, отложив инструмент, говорил подмастерьям: «Мойте руки, сынки, и — на молитву». Старый аристократ снимал очки и, потеряв печальные глаза, торжественно проходил в столовую залу, потемневшую от дыма минувшей славы. Солдаты и матросы веселыми кучками устремлялись к харчевням, где, подвешенные над дверями, чудно пахли пучки колбас или копченый окорок.

Пожалуй, один только человек в городе не подчинялся голосу благоразумия, — король Карл Двенадцатый. Чашка с шоколадом стыла у его постели на столике между бутылками с золотистым рейнским вином. Пурпуровые занавески на высоких окнах были раздвинуты. В саду падал снег на еще зеленые кусты, подстриженные в виде шара, пирамиды и прямоугольника. Зеркало камина отражало снежный свет, отражались два канделябра с восковыми сосульками от догоревших свечей. Трещали сосновые поленья. Штаны короля висели на голове золотого купидона, у подножия постели. Шелковые юбки и женское белье разбросаны по стульчикам.

Опираясь локтем о подушку, король читал вслух Расина. Между строфами протягивал руку к бокалу с душистым рейнским. Рядом, закрывшись стеганым одеялом до кончика носа, дремала черноволосая женщина, — кудри ее были раскиданы, румяна стерлись, лицо казалось желтоватым, почти как вино в бокале.

Это была известная своими приключениями легкомысленная Аталия, графиня Десмонт. Ее жизненный путь был извилист, как полет ночной мыши. С одинаковым изяществом она носила придворное платье, костюм актрисы и колет гвардейского офицера. Она умела спускаться из окон по веревочным лестницам от досадного любопытства императорской или королевской полиции. Она пела в венской опере, но при загадочных обстоятельствах потеряла голос. Танцевала перед Людовиком Четырнадцатым в феерии, поставленной Мольером. Переодетая мушкетером, сопровождала маршала Люксамбура во время осады фландрских

городов,— рассказывали, что после взятия Намюра ее походная сумка оказалась набитой драгоценностями. По-видимому, по настоянию французского двора появилась в Лондоне, изумляя англичан своими верховыми лошадьми и туалетами. Ее очарованию поддались несколько пэров Англии и, наконец, герцог Мальборо, отважный красавец. Но графине дали знать, что герцогиня Мальборо советует ей покинуть Лондон с первым же кораблем. Наконец ветер приключений занес ее в постель шведского короля.

— Любовь, любовь,— проговорил Карл, тянясь за бутылкой,— и еще раз любовь... Это в конце концов надоедает. Расин утомителен. Царь мирмидонский Пирр был, наверно, неплохим рубакой — на протяжении пяти актов он болтает несчастный вздор... Я предпочитаю биографии Плутарха или комментарии Цезаря. Хочешь вина?

Графиня, не открывая глаз, ответила:

— Отстаньте от меня, ваше величество, у меня трещит голова, по-видимому, я не переживу этого дня.

Карл усмехнулся, потянул из стакана. В дверь скреблись. Уткнувшись в Расина, он лениво сказал:

— Войдите.

Вошел улыбающийся, шуршащий шелком барон Беркенгельм, камер-юнкер его величества. Приподнятый нос с небольшой бородавочкой, казалось, выражал его живейшую готовность сообщить самые свежие новости.

Он раскланялся королевским штанам и в приятных выражениях начал рассказывать о незначительных происшествиях во дворце. От его пытливого ума ничто не могло скрыться, даже такая мелочь, как сомнительный шорох нынче ночью в спальне у добродетельной статс-дамы Анны Боштрем. Атали простонала, поворачиваясь на правый бок:

— Боже мой, боже мой, какой вздор...

Барон не смутился,— видимо, у него было приготовлено кое-что существенное:

— Сегодня в девять утра лавочники подали в сенат новую петицию о пересмотре гражданского листа... (Карл фыркнул носом.) Жадность этих бюргеров не знает предела. Только что я видел французского посла,— он ехал с великолепнейшими английскими борзыми — травить зайцев по пороше... Что у него за жеребец! Тот, что он выиграл в карты у Реншеляда... Рассказываю ему — посол пожимает плечами: «Очевидные происки гугенотов,— это его слова,— эти лавочники и ремесленники разбежались по всей Европе. Они унесли из Франции шестьдесят миллионов ливров... Эти еретики упорствуют и всюду, где только можно, подрывают самый принцип королевской власти. Они все — в тайной связи: в Швейцарии, в Англии, в Нидерландах и у нас... Они пользуются любым случаем, чтобы внушать бюргерам ненависть к дворянству и королям...»

— Еще что ты узнал? — мрачно спросил Карл.

— Конечно, я был в сенате... Сегодняшняя петиция — только один из предлогов. Я кое с кем перемолвился в коридорах. Они готовят закон об ограничении королевского права объявления войны.

Карл яростно захлопнул «Андромаху» Расина. Швырнул книгу. Сел, подтыкая одеяло.

— Я спрашиваю, что ты узнал сегодня? (Беркенгельм глазами показал на кудрявый затылок графини.) Вздор! Здесь нет лишних ушей, говори...

— Вчера на купеческом корабле прибыл из Риги один дворянин... Мне еще не удалось его видеть... Он рассказывает, — если только можно верить, — он рассказывает, будто Паткуль неожиданно объявился в Москве...

Затылок графини приподнялся на подушке. Карл покусал жицу на губе:

— Поди попроси ко мне графа Пипера.

Беркенгельм взмахнул, как крылышками, кистями рук в кружевах и вылетел по ковру. Карл глядел на падающий снег за окном. Узкое лицо его с высоким лбом, женственными губами и длинным носом было бесцветно, как зимний день. Он не замечал иронического глаза графини, блестевшего из-за пряди волос. Следя за снежными хлопьями, внимал в глубине себя новым ощущениям: подступающему жгучему гневу и расчетливой осторожности. Когда послышались тяжелые шаги за дверью, он схватил подушку и бросил графине на голову.

— Закройтесь, я должен быть один.

Оправил рубашку, взял давно остывшую чашку шоколаду (следуя традиции французского двора, королям в кровать подавали шоколад).

— Войдите.

Вошел тайный советник Карл Пипер, недавно возведенный им в графы, — рослый, толстоногий, одетый тщательно и равнодушно, с помятым, настороженным лицом опытного чиновника. Холодно оглянув его, Карл сказал:

— Я принужден узнавать новости от придворных сплетников.

— Государь, они узнают их от меня. — Пипер никогда не улыбался, никогда не терял равновесия духа, бюргерские ноги могли выдержать какую угодно качку. — Но они узнают только то, что я нахожу нужным предоставить для дворцовой болтовни.

— Паткуль в Москве? (Пипер молчал. Карл повысил голос.) Если король делает вид, что он — один, значит, он один — для земли и неба, черт возьми...

— Да, государь, Паткуль в Москве вместе с известным авантюристом генералом Карловичем.

— Что они там делают?

— Можно догадываться. Точных сведений у меня пока еще нет.

— Но в Москве сидит наше посольство...

— Посольство, отправленное по настоянию сената. Господа сенаторы хотят мира на Востоке во что бы то ни стало, пускай и добиваются мира своими средствами. Мы во всяком случае не пожертвовали для этого ни одним фартингом из вашей казны.

— Хотел бы я наскрести в моей казне этот самый фартинг, — сказал Карл. — Вы слышали о новой петиции? Вы слышали, что мне готовят господа сенаторы? (Пипер пожал плечами. Карл торопливо поставил чашку обратно на столик.) Вам известно, что я не желаю больше разыгрывать роль покорного осла? Ради этих унылых скопидомов мой отец разорил дворянство. Теперь эти «гугеноты» желают превратить меня в бессловесное чучело... Они ошибаются!.. (Покивал Пиперу узким лицом.) Да, да, они ошибаются. Знаю все, что вы скажете, граф Пипер, — у меня сумасбродная голова, пустой карман и скверная репутация... Цезарь овладел Римом через победы в Трансальпийской Галлии. Цезарь не меньше меня любил женщин, вино и всякое безобразие... Успокойтесь, я не собираюсь в конном строю брать ваш почтеннейший сенат. В Европе достаточно места для славы... (Покусал губы.) Если Карлович — в Москве, значит мы имеем дело с королем Августом?

— Думается мне, не только с ним одним.

— То есть?

— Против нас коалиция, если я не ошибаюсь...

— Тем лучше... Кто же?

— Я собираю сведения...

— Превосходно. Пускай сенат думает сам по себе, мы будем думать сами по себе... Больше вам нечего сообщить? Благодарю, я вас не задерживаю...

Пипер неуклюже поклонился и вышел, несколько ошеломленный: король кого угодно мог смутить неожиданными оборотами мыслей. Пипер осторожно подготавливал борьбу с сенатом, боявшимся больше всего на свете военных расходов. После недолгого перерыва войной снова терпко запахло от Рейна до Прибалтики. Война была единственной дорогой к власти. Карл это понимал, но слишком горячо и несвоевременно рвался в драку: одного его темперамента было еще мало.

В коридоре перед дверями спальни граф Пипер взял за локоть Беркенгельма и — озабоченно:

— Постарайтесь развлечь короля. Устройте большую охоту, уезжайте на несколько дней из Стокгольма... Денег я достану...

Карл продолжал сидеть на постели, зрачки его были расширены, как у человека, глядящего на воображаемые события. Атали сердито сбросила с головы подушку и, придерживая зубами сорочку, поправляла волосы. У нее были красивые руки и смуглые плечи. Запах мускуса привлек наконец внимание короля.

— Вы знавали короля Августа? — спросил он. (Атали уставилась на него пустым взглядом круглых темных глаз.) Уверяют,

что это — самый блестящий кавалер в Европе, любимец фортуны. Он тратил по четыреста тысяч злотых на маскарады и фейерверки. Пипер клялся мне, будто Август однажды сказал про меня, что я провалился в отцовские ботфорты, откуда хорошо бы меня вытащить за шиворот и наказать розгами...

Атали выпустила из зубов кружево рубашки и весело, немного хриповато, беззаботно рассмеялась. У Карла задрожало веко.

— Я же говорю, что Август остроумен и блестящ... У него десять тысяч саксонских пехотинцев собственного войска и широкие замыслы. Еще бы, Швеция с таким королем в отцовских ботфортах беззащитна, как овца... Я все-таки хочу доставить себе удовольствие напомнить Августу этот анекдот, когда мои драгуны приведут его со скрученными за спиной локтями к моей палатке...

— Браво, мальчик! — сказала Атали. — За успех всяких начинаний! — Хорошим глотком осушила бокал рейнского, вытерла губы кружевом простыни.

Карл выскочил из-под одеяла, босой, в ночной рубаше до пят, побежал к секретеру, из потайного ящика вынул футляр, — в нем лежала алмазная диадема. Присев на край постели, приложил драгоценность к черным кудрям Атали.

— Ты будешь мне верна?

— По всей вероятности, ваше величество: вы почти вдвое моложе меня, минутами я испытываю к вам чувства матери. — Она поцеловала его в нос (так как это было первое, что подвернулось ее губам) и с нежной улыбкой вертела диадему.

— Атали, я хочу, чтобы ты поехала в Варшаву... Через несколько дней отплывает «Олаф», прекрасный корабль. Ты посадишься в Риге. Лошади, возок, люди, деньги — все будет приготовлено. Ты будешь мне писать с каждой почтой...

Атали с внимательным любопытством взглянула в эти юношеские глаза: они были ясны, жестки, и, — черт их знает, эти северные серо-водянистые глаза, — где-то в них таилась сумасшедшая решимость. Мальчик подавал надежды. Атали по давней привычке (приобретенной еще во времена походов с маршалом Люксамбуром) тихо свистнула:

— Ваше величество, вы хотите, чтобы я влезла в постель к королю Августу?

Карл сейчас же отошел к камину, уперся в бока, веки его, будто в томлении, полузакрылись:

— Я прошу вам любую измену... Но если это случится, клянусь святым евангелием, куда бы вы ни скрылись, найду и убью.

В Китай-городе только и разговоров было, что о Бровкиных. Петру Алексеевичу, как всегда, вдруг загорелось: выдать замуж младшую княжну Буйносову — рюриковну — за Артамошку

Бровкина. Бросил все дела. Министры и бояре напрасно прибывали во дворец,— был им один ответ: «Государь неведомо где».

Вечером однажды, когда уже начали ставить рогатки на улицах, он подкатил к бровкинскому дому. Иван Артемич сидел внизу, в поварне, с мужиками, играл при сальной свече в карты, в дураки,— по старой памяти любил позабавиться. Вдруг в низкую дверь полезла, нагнувшись, голова в треуголке. Сначала подумали,— солдат какой-нибудь, стороживший склады, пришел погреться. Обмерли. Петр Алексеевич усмехнулся, оглянув хозяина: мало почтенен — в заячьей поношенной кацавейке, со вдавленной от страха в плечи седоватой головой.

Петр Алексеевич спросил квасу. Сел на лавку. При мужиках и приказчиках сказал так:

— Иван, был я раз у тебя сватом. Вдругорядь быть хочу. Кланяйся.

Иван Артемич, весь засалившись, недолго говоря, кувырнулся на земляной пол в ноги.

— Иван,— сказал Петр Алексеевич,— приведи сына.

Артамошка был уж тут, за печью. Петр Алексеевич поставил его между колен, оглядел пытливо.

— Что ж ты, Иван, такого молодца от меня прячешь? Я бьюсь бесчеловечно, а они — вот они... (И — Артамону.) Грамоте разумеешь?

Артамошка только чуть побледнел и по-французски без запинки, как горохом, отсыпал:

— Разумею по-французски и по-немецки, пишу и читаю способно... (Петр Алексеевич рот разинул: «Мать честная! Ну-ка еще!») — Артамошка ему то же самое по-немецки, на свечу прищурился и — по-голландски, но уже с запинкой.

Петр Алексеевич стал его целовать, хлопал ладонью и пхал и тащил на себя, тряс.

— Ну, скажите! Ах, молодчина! Ах, ах! Ну, спасибо, Иван, за подарок. С мальчишкой простись, брат, теперь. Но не пожалее: погодите, скоро за ум графами стану жаловать...

Велел собирать ужинать. Иван Артемич молил пойти наверх, в горницы: здесь же неприлично! Наспех, за печкой, наложил парик, натянул камзол. Тайно послал холопа за Санькой. В дверях встал мажордом с серебряным шаром на булаве. Петр Алексеевич только похохатывал:

— Не пойду наверх. Здесь теплее. Стряпуха, мечи что ни есть на печи...

Рядом посадил Артамошку, говорил с ним по-немецки. Шутил. Угощал вином приказчиков и мужиков. Велел петь песни. Пожилые мужики, стоя у дверей,— податься некуда,— запели медвежьими голосами. Вдруг в поварню влетела Санька,— напудренная, наполовину голая, в шелках. Петр схватил ее за руки, посадил по другую сторону. Бабочка, не робея, начала подтягивать

мужикам долгим нежным голосом, придвинула ближе к лицу свечку, поглядывала на Петра — лукаво, прозрачно... Гуляли за полночь.

Наутро Петр Алексеевич с друзьями поехал к князю Буйносову — сватать Наталью. И так ездил и рядился целую неделю то к Бровкиным, то к Буйносовым, возил за собой полсотни народу. Рядились, пировали на девишниках и мальчишниках — шумно свадьбу сыграли на покров. Вошла эта свадьба Ивану Артемичу в копеечку.

Недели через две Санька с мужем выехала в Париж.

.

До Вязьмы ехали с обозами, медленно. Подолгу кормили лошадей в ямах. Снегу выпало довольно, дни — ясные, дорога — легкая.

В Вязьме на постоялом дворе Александра Ивановна поругалась с мужем. Василий намеревался здесь передохнуть, сходить в баню, а назавтра, выстояв обедню, — к воеводе, дальнему родственнику, обедать. Да перековать лошадей, да то, да се.

— Хочу ехать быстро. Душу мою эта дорога вытянула, — сказала Александра Ивановна мужу. — Отдыхать будем в Риге.

— Саша! Да говорят же тебе — за Вязьмой шалят. Обозы до пятсот саней сбиваются, — проехать эти места...

— Знать ничего не знаю...

Сидели за ужином наверху, в чистой светелке, озаренной лампадами. Василий — в дорожном расстегнутом тулупчике, Александра Ивановна — в желудевом бархатном платье с длинными рукавами, в пуховом платке, русые волосы собраны косой вокруг головы. Не ела, только щипала хлеб. Лицо опалое, под глазами — тени, все от нетерпения. Господи, что за человек!

Волков, — с неохотой жуя соленую ветчину:

— Скажи мне, что ты за человек? Что за наказание? Ни покою, ни тихости, — не спит, не ест, по-человечески не разговаривает... Несет тебя на край света, — зачем? С королями минуветы танцевать? Да еще захотят ли они...

— Только что здесь постоянный двор, только оттого и слушаю тебя.

Василий опустил вилку с куском, долго глядел жене на лоб с высокими, тоской и мечтой заломленными бровями, на темносиние глаза, блуждающие черт те где...

— Ох, Александра, я тих, терпелив...

— Да хоть кричи, — мне-то что...

Василий укоризненно качал головой. Стыдно и как будто и не за что, а любил жену. В спорах — как начнет она сыпать обидными словами — терялся. Так и сейчас: понимал, что уступит, хотя только о двух головах какой-нибудь сумасшедший мог

решиться без надежных спутников ехать лесами от Вязьмы до Смоленска. Про эти места рассказывали страсти: проезжих разбивал атаман Есмень Сокол. Едешь, скажем, днем. Глядь — на дороге стоит высокий человек в колпаке, в лаптях, за кушаком — ножик. Рот до ушей, зубы большие. Свистнет — лошади падают на колени. Ну, и читай отходную...

— Бояться разбойников — так я бы в Москве сидела, — сказала Александра Ивановна. — У нас лошади добрые, вынесут. И это даже лучше, — будет о чем рассказывать. Не об этом же мне с людьми говорить, как ты на постоянных дворах хранишь.

Оттолкнула тарелку и позвала девку калмычку, — приказала подать тетрадь и стелить постель. Тетрадь, писанную братом Артамошей, — перевод из гистории Самуила Пуффендорфия, глава о галлах, — положила на колени и, низко нагнувшись, читала. Василий, подперев щеку, глядел на красивую Санькину голову, на шею с завитками волос. Королевна из-за тридцати земель. А давно ли косила сама и навоз возила. Так вот и в Париж вкатится без страха и еще королю наговорит разной чепухи... Ах, Саня, Саня, присмирела бы да забрюхатела, жить бы с тобой дома, тихо...

Санька читала, шевеля губами:

«...Кроме того, французы веселых мыслей люди, на всякое дело скоры, готовы и удобообращательны, наипаче в украшении внешнем и в движении тела, и природная красота в них показуется. Многие от них похоть Венеры в славу себе приписуют и объятия красных лиц женского полу, и все сие с превеликим похвалением творят. Им же егда протчие народы хотят уподобляться и сообразоваться, — сами себе обещают и смех из самих себя творят...»

— Ты бы, чем так сидеть (она подняла голову, Василий только приноровился зевнуть, — вздрогнул)... ты бы за дорогу-то на шпагах, что ли, упражнялся...

— Это еще зачем?

— Приедешь в Париж — увидишь зачем...

— А ну тебя в самом деле! — Василий рассердился, вылез из-за стола, надвинул шапку, пошел на двор — поглядеть лошадей. Высоко стоял мглистый месяц над снежными крышами сараев. В небе — ни звезды, только опускаются, поблескивают иголки. Тихий воздух чуть примораживал волоски в носу. Под навесом в черной тени жевали лошади. Дремотно постукивал в колотушку сторож около соседней церквенки.

К Василию подошла собака, понюхала его высокий, крапленый валенок и, подняв морду с бровями, глядела, — будто удивленно чего-то ждала. Василию вдруг до того не захотелось ехать в Париж из этой родной тишины. Хрустя валенками, с тоской повернулся, — наверху, в бревенчатой светлице, из слюдяного окошечка лился кроткий свет: Санька читала Пуффендорфа... Ничего не поделаешь — обречено.

Пунцовый закат, налитой диким светом, проступал за вершинами леса. Мимо летели стволы, задранные корневища, тяжелые лиловые ветви задевали за верх возка, осыпали снежной пылью. Василий, высунувшись по пояс из-за откинутой кожаной полости, держал вожжи, кричал не своим голосом. Кучер, сбитый с облучка, валялся далеко за поворотом... Добрые кони, впряженные гусем, — вороной — заиндевелый коренник, рыжая — вторая и сивая злая кобылешка — угонная, — скакали, храпя. Возок кидало на ухабах. Позади, растянувшись бежали разбойники. По всему лесу гоготали, наддавали голоса...

Назад минут пять там, за поворотом, где большая дорога пересекалась проселочной, из-за прошлогоднего стога вышли рослые мужики, душ десять, — с топорами, с кольями. Кучер, испугавшись, сдуру стал осаживать... Четверо кинулись к лошадям, закричали страшно: «Стой, стой». Другие, увязая, побежали к возку. Кучер бросил вожжи, замахал варежками на разбойников. Его ударили колом в голову.

Случилось все — не опомниться — в одно дыхание... Выручила выносная кобыленка: взвилась, подняв на уздцах двоих мужиков, начала лягаться. Санька откинула полость: «Хватай вожжи». Выдернула у мужа из-за пазухи тулупа пистолет, выстрелила в чье-то бородатое лицо. От огненного удара мужики отскочили, а главное — оттого, что удивились бабе... Лошади рванулись. Волков подхватил вожжи, — понеслись. Рукояткой пистолета Санька, не переставая, молотила мужа по спине: «Гони, гони».

Погоня кончилась. От коней валил пар. Впереди показался хвост большого обоза. Волков пустил коней шагом. Оглядывался, ища в возке шапку. Увидел Санькины круглые глаза, раздутые ноздри.

— Что, довольна? Не поверила в Есмень Сокола. Эх ты, дура стоеросовая. Курья голова... Что же мы без кучера-то будем делать. Да как жалко-то, — мужик хороший... И все через твою дурость бабью, чертовка...

Санька и не заметила, что ругают. Ах, это была жизнь — не дрема да скука...

7

Каждый день большие обозы со всех застав въезжали в Москву: везли людей для регулярного войска, — иных связанных, как воров, но многие прибывали добровольно, от скудного жития. На московских площадях на столбах прибиты были писанные на жести грамоты о наборе охотников в прямое регулярное войско. Солдату обещали одиннадцать рублев в год, хлебные и кормовые запасы и винную порцию. Холопы, кабальная челядь, жившая впроголодь на многолюдных боярских дворах, поругавшись с домоуправителем, а то и самому боярину кинув шапку

под ноги, уходили в Преображенское. Туда ежедневно сгонялось до тысячи душ.

Люди иной раз до сумерек ожидали на морозе, покуда офицеры с крыльца не выкрикнут всех по именным спискам. Людей вели в дворцовые подклети. Усатые преображенцы сурово приказывали раздеться донага. Человек робел, разматывая онучи, оголяясь, — прикрыв горстью срам, — шел в палату. Между горящими свечами сидели в пояровых шляпах длинноволосые офицеры, как ястреба, глядели на вошедшего: «Имя? Прозвище? Какой год от роду?» А кто ты таков, — хоть беглый или вор, — не спрашивали. Меряли рост, задирали губы, приказывали показать срам. «Годен. В такой-то полк».

За дворцовым двором в снежные поля тянулись нововыстроенные солдатские слободы. Толпами годных разводили по избам. В них было тесно набито народу. При каждой — начальником — младший унтер-офицер с тростью. Новоприбывшим он говорил: «Слушать меня, как бога, два раза повторять не стану, спущу шкуру. Я вам и бог, и царь, и отец». Кормили сытно, но воли не давали — не то что в прежние времена в стрелецких полках. Солдатчина!.. Будили барабаном. Гнали натошак на истоптанное поле. Ставили в ряд по черте. Первое учили — разбирать руки: какая левая, какая правая. Иной мужик сроду и не задумывался — какие у него такие руки. Память вгоняли тростью. Появлялся офицер, по большей части не русский и часто — сполупьяну. Став перед рядом, пучил мутные глаза на армяки, полушубки, лапти, валеные, бараньи шапки. Надув щеки, начинал орать поиноземному. Требовал, чтобы понимали, замахивался тростью. От горя мало-помалу начинали понимать: «Марширен» — иди. «Хальт» — остановись. «Швейна» или «русиш швейна» — значит, ругает... После завтрака — опять на поле. Пообедали — в третий раз шагать с палками или мушкетами. Учили неразрывному строю, как в войсках у принца Савойского, ровному шагу, дружной стрельбе, натиску с примкнутыми багинетами. Виновных тут же перед строем, заголив штаны на снегу, секли без пощады.

Трудны были воинские артикулы: «Мушкет к заряду!» Помнить надо было по порядку: «Открой полку. Сыпь порох на полку. Закрой полку. Вынимай патрон. Скуси патрон. Клади в дуло. Вынь шонпол. Набивай мушкет. Взводи курки. Прикладывайся...» Стреляли плутонгами, — один ряд с колена заряжал, другой, стоя, давал огонь; стреляли нидерфалами, когда все ряды, кроме одного, поочередно падали ничком.

Военным обучением руководил цезарец — бригадир Адам Иванович Вейде. Ему, генералу Артамону Михайловичу Головину и князю Аниките Ивановичу Репнину указано было устроить три дивизии по девяти полков в каждой.

Поручик Алексей Бровкин набрал на Севере душ пятьсот годных в полки людей и сдал их — где воеводам, где ландратам (по-старому — губным головам) — для отсылки в Москву. Теперь он шел дальше за Повенец, в лесную глушь. Там — рассказывали — по скитам тайлось много беглых и праздных. Знающие люди отговаривали его забираться далеко:

«По скитам пошла молва, раскольники насторожились. Их много, а вас — десятеро на трех санях. Пропадете безвестно».

Народ в этом краю был суровый — охотники, лесовики. Жили в кондовых огромных избах, где под одною кровлей был и скотный двор и рига. Села звались погостами. От жилья до жилья — дни пути по лесному бездорожью. Алексей понимал, что затея трудная. Но без страха не прожить. А вот когда Петру Алексеевичу станешь докладывать, что-де добрался до Севера да забоялся, — взглянет он, как журавель, сверху вниз пожирающим взором, дернет плечом, — отвернется: это — страх, и — конец твоему счастью, хоть лоб расшиби. Алексей был молод, горяч, упрям. Во сне не забывал, как пришел когда-то в Москву с денежкой за щекой, — белый офицерский шарф выдрал у судьбы зубами.

В Повенец на базаре Алексей встретил промыслового человека Якима Кривопалого и взял его в проводники. Яким уже лет двадцать работал покрученником у купцов Ревякиных, — бил черную лисицу, куницу, белку, в прежние времена бил и соболя, но соболь ныне извелся в этих местах. Мягкую рухлядь сдавал в Повенец приказчику и гулял, покуда не пропивался до шейного креста. Ревякинский приказчик снова снабжал его одеждой, пищалю и огненным припасом. В эту осень промысел был худой, по записи оказалось, что не только Якиму получить, но в две зимы не покрыть всего долга. Он разругался, пропился, Алексей Бровкин поднял его у кабака на снегу, разбитого и голого. Яким оказался золотым человеком, лишь бы в санях под облучком — известно ему — лежал штоф с вином.

Яким бежал на коротких лыжах впереди саней, указывая дорогу. Леса были дивные и страшные. Сквозь стволы виднелись огромные каменные лбы, поросшие лесом. Выезжали на берег пустынного озера, — глазам было больно от снежной глади. Иногда слышался глухой шум падающей воды. Яким присаживался на отвод саней:

— Здесь отроду людей не считали. Есть такие лешьи места, — один я знаю, как пробраться. Но только народ здесь жестокий, взять его будет трудно.

На ночь сворачивали в зимовище или на починок, на берег речонки, где под снегом лежал поваленный лес, заготовленный к весенней гари. У покосившегося сруба распрягали лошадей. Солдаты рубили еловые ветки, втаскивали в избу. На земляном полу

разводили огонь. Тихий дым валил из щели под крышей, поднимался над лесом в серое небо. Яким суетился, куда не получал чарку водки. Успокоясь, присаживался на ветвях поближе к огню, — широкобородый, с большими губами, с большими дышалами, глаза круглые, лесные: сам — чистый лесий, — начинал рассказы:

— Понимаешь, везде был, Выгу всю излазил, в Выговской обители по неделям жывал, знаю такие пустыни, куда одна тропа, и той идешь опасаясь. Не могу добиться, где старец Нектарий скрывается. Прячут, не говорят. Любому раскольнику заикнись о нем, — замолчит, и — хоть ты режь. А для вашего дела его полезно повидать: глядь, он и отпустил бы с вами сотни две молодцов... Ох, сила...

— Кто ж он у них, — спросил Алексей, — патриарх, что ли, в роде?

— Старец. Его протопоп Аввакум в Пустозерске перед казнью благословил... Лет двенадцать назад сжег он в Палеостровском монастыре тысячи две с половиной раскольников. Подошли они ночью по льду, выломали монастырские ворота, монахов, настоятеля посадили в подвал, разбили кладовые, — всех он накормил, напоил. Казну взяли. В церкви иконы все вымыли святой водой. Свечи зажгли и давай служить по-своему. Мужиков с ними было не так много, а баб этих, ребят!.. Из Повенца идет по льду воевода со стрельцами. «Сдавайтесь!» Дня три мужики грозили боем, но у стрельцов пушка. Натащили в церковь соломы, смолы, селитры и в ночь, как раз под рождество, зажглись. Нектарий все-таки ушел оттуда, и с ним некоторая часть мужиков. Года через три он сжег в Пудожеском погосте тысячи полторы душ. Совсем недавно около Вол-озера в лесах опять была гарь. Говорят — он. Нынче пошли слухи про войну, про солдатский набор, — быть скоро большой гари... Поверьте. Народ к нему так и валит.

Алексей и солдаты, слушая, дивились. «Добровольно сжечь себя? Откуда такие люди берутся?»

— Очень просто, — говорил Яким. — Бегут к нему оброчные, пашенные, кабальные, покидают дворы и животы: из-под Новгорода и Твери, и московские, и вологодские. Здесь человеческих костей по лесам, — боже мой... Соберутся в пустыни тысячи, — где их прокормить? Хлеба здесь своего нет. Они начинают стонать, шататься. Чем так-то им зря грешить, Нектарий их и отправляет прямым ходом в рай.

— Ну, уж врешь.

— Алексей Иваныч, никогда не вру. Люди живые в гроб ложатся, — вот есть такие... Туды, к Белому морю, — один старичок изюминкой причащает, кому положит в рот изюминку — значит, благословил ложиться в гроб живым...

— Ну тебя — на ночь с твоими рассказами... — Алексей завернулся в тулуп у огня на ветвях. Немного погода сказал: — Яким, этого старца Нектария надо нам добыть...

Двое на лыжах вышли из лесу на лунный свет поляны. От зимовища тянуло дымком. У саней понуро стояли лошади, прикрытые рогожами, и, привалаясь к передку, спал сторожевой солдат, обхватя мушкет рукавами тулупа.

Двое на лыжах неслышно обошли вокруг зимовища. Опираясь на рогатины, стояли, слушали. Месяц обвело бледным кругом, в заиндевелом лесу — тишина. За стеной избы глухо кто-то забормotal. У саней вздохнула всей утробой лошадь. Сторожевой солдат лежал, как застывший, усатым лицом в лунном свете.

Один на лыжах сказал:

— Связать его разве? Спит крепко. Опосля бы в огонь и бросили с молитвой.

Другой, — выставя бороду, всматриваясь:

— Взять-то, — нашумишь, закричит. Их там десятеро.

— Тогда чего же?

— Раз ткнуть рогаатиной. Тут же бы дверь и подперли.

— Ах, Петруша, Петруша, — первый человек закачал уша-стой шапкой. — Кто тебя за язык тянет? Кровь-то одна, — человек же, не зверь... В огне — сказано — крещение приемлет человек... А ты — рогаатиной! Душу погубишь...

— Ну, возьму грех...

— Думать не смей. Не искушай меня ради Исуса...

— А то бы — милое дело: и скоро и тайно...

— За такие мысли кто-то тебе еще скажет отец Нектарий.

— Да я ведь как лучше...

Замолчали. Думали, как быть. По голубому снегу неровно побежала тень от совы: лунь почуял поживу, кружился, проклятый. Дверь избенки вдруг скрипнула, полезла оттуда лешачья голова Якима, — за нуждой, видимо... Увидел двоих, ахнул, кинулся назад, поднял тревогу. Эти двое скользнули за оснеженные ветви, побежали, слышали — грохнул выстрел, встревожил лесную тишину.

Бежали долго, нарочно кружили, путая следы. Пробрались через еловую чащобу к руслу ручья. Было уже близ рассвета, месяц высок. Невдалеке медленно, унывно били в чугунную доску.

Андрюшка Голиков звонил к ранней обедне. Был он в нагольной лисьей ветхой шубейке, но бос. Переступая обжигаемыми снегом посинелыми ступнями, повторял нараспев речение Аввакума: «Со мученики в чин, с апостолы в полк, со святители в лик» — и раз — ударял колотушкой в чугунную доску, подвешенную вместо колокола на столбе под кровелькой напротив скитских ворот. Такую епитимью наложил на него старец за то, что вчера, в день постный, возжаждал и напился квасу.

На звон собиралась братия. Выходили из келий, мужчины — особе, женщины — особе. Скит, огороженный тыном, был невелик. Многие жили окрест, по берегу ручья, по краю болотного острова. Шли оттуда лесными тропами. Дальние торопились, боясь опоздать: старец был суровенькой.

Посреди скита, между тесно наваленными ометами соломы, стояла моленная — низкая рубленая изба с широкой, в четыре спуска, крышей, с одной, посередине, шатровой главой на восьми-стенном срубчике.

Братия, вступив в ворота, шла боязненно, опустив головы, приложив руки к груди: мужики, не старые и средних лет, женщины — в холщовых саванах поверх шубенок, в платах, опущенных на лицо. Глухо и дребезжа — тоскою плотского бытия — в лунном мареве звонило чугунное бухало, да скрипел под лаптями снег.

Перед дверями люди двуперстно крестились, смиренно вступали в моленную с заиндевевшими бревенчатыми стенами. Перед ликами древнего письма горели копеечные свечки. Это казалось чудом, — свеча в дремучих лесах. Становились на колени, мужчины — направо, женщины — налево. Между ними протягивалась из лоскутов сшитая завеса на лыковом вервии.

.....

Тяжело дыша, те двое на лыжах вбежали в скитские ворота и — громко Андрею:

— Бросай стучать, — беда!

— Скорей скажи старцу, пусть к нам выйдет...

У Андрея вся душа была натянута, как сухая жила, — от поста, от бессонного бодрствования, от вечного ужаса. Испугавшись, он выронил колотушку, задрожал, задышал. Но не даром учил его Нектарий одолевать бесов (а их — тьма тень: сколько мыслей — столько бесов), мысленно торопливо завопил: «Враг сатана, отженись от меня!..» Поднял колотушку, ударил по бухалу под голубком, замотал головой: не мешайте, отойдите прочь...

— Андрей, говорят тебе: тот офицер с солдатами — верстах в пяти отсюда...

— Хоть звони-то легче, — услышат... С ними Яким. По звону он их прямо сюда приведет...

Андрей — сквозь часто стучающие зубы:

— Старец еще в келье, идите прямо к нему.

Сняли лыжи, пошли. Оба они, Степка Бармин и Петрушка Кожевников, были из повенецкого посада, промышляли рыбой, зверем... За двуперстное сложение повенецкий воевода не раз их грабил и разбивал, свел со двора скотину, и это им надоело. Года уже с два их жены с детьми тайно жили в Выговской обители, а сами — в разных местах, — где удобнее для промысла и поглуше. Когда прошел слух, что в скиты едет офицер и солдаты (обритые мясоеды, на версту смердят табаком — «табун-травой»), Нек-

тарий приказал Степке и Петрушке следить за ними, сбивать с пути, и если возможно, без греха, и совсем избыть слуг антихристовых.

К отцу Нектарию просто не допускали. В холодные сени вышел послушник, — их у старца было двое: Андрей и этот — хроменький Порфирий, чахлый отрок с подкаченными глазами. Шепотом рассказали ему. Порфирий склонил набок головочку, молвил одним вздохом: «Войдите...» Лесные мужики, сдернув шапки, старались как-нибудь сжаться, вступая из сеней в келью, — умеренно были здоровы, грубы. Старец не жаловал буйной плоти.

Стоя у аналая, — маленький, согбенный, в древнего покроя черной домотканой мантии, — Нектарий покосился на Степку и Петрушку. Узкая борода клином висела едва не до колен, под черными бровями — угли, не глаза. Свеча, прилепленная к изъеденной червями книжной крышке, тихо потрескивала, — к сильным морозам, должно быть... Жаром дышала печь, сложенная из приозерных валунов. Бревенчатые стены чисто высокоблены. Под потолком на мочалках — пучки сухих трав.

У Степки и Петрушки поползли с усов ледяные сосульки, но боялись утереться, пошевелиться, покуда старец не кончит! Он читал грозным голосом. Из темного угла глядел на него, лежа на боку, бесноватый мужик, прикованный поперек туловища цепью к железному ершу в стене. У печи в квашне, прикрытой ветхой расой, пучилось тесто.

— Ну, вы чего? — Нектарий повернулся к мужикам, двинулся на них седой бородой. Они медведя не боялись, лося один на один брали, а перед ним заробели, конечно. Степка стал сбивчиво рассказывать про давешнее. Петрушка виновато поддакивал.

— Значит, — мягким голосом сказал Нектарий, — значит, ты, Петрушка, хотел того солдата запороть рогатиной, а ты, Степа, греха убоялся?

Степан ему на это — горячо:

— Отец, мы за ними две недели ходим. Яким, проклятый, эти места знает, прямо сюда ведет. Мы уж и так и так думали... Они берегутся, а то бы — милое дело: дверь в зимовище подпереть, да — огоньку. Помолясь, и окрестили бы их... И им хорошо и нам... Да, видишь ты, не вышло... А разбоем убивать — сохрани Иус... Нынче только бес попутал...

— Благословил я вас на эту гарь? — спросил старец. (Мужики удивленно поглядели на него, не ответили.) Молитва твоя горяча, значит, Степа, — вот как? — десятерых в огне окрестить? Ох, ох! Кто же тебе власть такую дал? Видишь ты, Петрушу бес толкнул, а ты и беса одолел. Ах, святость! Ах, власть!

Степан насутился. Петрушка моргал на старца, плохо понимая.

— Порфиша, рыбанька, положи уголек в кадило, раздуй с молитовкой, — проговорил старец. Хроменький Порфирий снял кадило с деревянного гвоздя, заковылял к печи, раздул уголек в

кедровой смоле, с лобызанием длани подал старцу. Нектарий длинной рукой едва не шаркая кадильницей по полу, начал со звяканьем дымить на мужиков и в лицо им, и сбоку, и обошел сзади, шепча, кланаясь. Передал кадило Порфирию, взяв из-за ремennого пояса плетеную лествицу, хлестнул Степку по лицу больно, потом Петрушку по лицу. Мужики стали на колени. Он, шепча посинелыми губами: «Гордыня, гордыня окаянная», разгораясь, бил их по щекам. Бесноватый мужик вдруг заржал на всю избу, стал рвать цепь, кидаясь как кабель:

— Бей их, бей, старичок, выбивай беса.

Старец уморился, отошел, дышал тяжело.

— Потом сами поймете, за что,— сказал, поперхав.— Идите со Иисусом...

Мужики осторожно вышли из кельи. Лунный свет помрачнел,— за моленной избой, за черным лесом проступала заря. Сильно морозило. Мужики развели руками: за что провинились? Почему? Что теперь делать?

— Ходили много, а ели мало,— проговорил Петрушка негромко.

— Как у него теперь попросишь?

— Может, хлеба даст?..

— Лучше ему не показываться. Пойдем так,— опять к энтим. Белку убьем, поедим...

.....

Андрей Голиков влез на печь, дрожал всеми суставами. (Старец, идя в моленную, велел ему бросить звонить, к обедне не допустил: «Ступай сажай хлеба».) Остуженные ноги ныли на горячих камнях, от голода мутилось в голове. Лежал ничком, схватил зубами подстилку. Чтобы не кричать, твердил мысленно из писания Аввакума: «Человек — гной еси и кал еси... Хорошо мне с собаками жить и со свиньями, так же и они воняют, что и моя душа, зловонною вонюю. От грехов воняю, яко пес мертвой...»

Бесноватый мужик, шевелясь на цепи в углу, проговорил:

— Ночью нынче старичок опять мед жрал...

Андрей на этот раз не крикнул ему: «Не бреши!», крепче закусил подстилку. Сил не хватало больше давить в себе страшного беса сомнения. Вошел этот бес в Андрюшку по малому случаю. Постились втроем — Нектарий и послушники — сорок дней, не вкушая ничего, только воду, и то небольшой глоток. Чтобы Андрей и Порфирий, читая правила, не шатались, он приказывал мочить рот квасом и парить грудь. Про себя говорил: «Мне этого не надо, мне ангел росую райскую уста освежает». И — чудно: Андрей и Порфирий от слабости едва лепетали,— одни глаза остались, а он — свеж.

Только ночью раз Андрей увидал, как старец тихонько слез с печи, зачерпнул из горшка ложку меду и потребил его с неосвященной просфорой. У Андрюшки похолодели члены: кажется, лучше

бы при нем сейчас человека зарезали, чем — это. И не знал — утаить, что видел, или сказать? Утром все-таки, заплакав, сказал. Нектарий даже задохнулся:

— Собака, дура! То бес был, не я. А ты обрадовался! Вот она, плоть окаянная! Тебе бы за ложку меда царствие небесное продать!

Он стал бить Андрея рогаком, чем горшки в печь сажают, выбил его из кельи на снег в одной рубашке. Мысли от этого на время успокоились. А когда в келье никого не случилось, бесноватый мужик (сидевший здесь с осени на цепи, в тепле, слава богу) сказал Андрюшке:

— Погляди, ложка-то в меду, а с вечера была вымыта. Облизни.

Андрей обругал мужика. В другую ночь старец опять ел мед, тайно, губами мелко прищелпывал, как заяц. На заре, когда все еще спали, Андрей осмотрел ложку, — в меду! И волос седой пристал...

Треснула душа великим сомнением. Кто врет? Глаза его врут, — мед на ложке, волос усяной, сивый? (Не бесов же волос!) Или врет старец? Кому верить? Был час — едва не сошел с ума: путаница, отчаяние! Нектарий постоянно повторял: «Антихрист пришел к вратам мира, и выблядков его полна поднебесная. И в нашей земле обретается черт большой, ему же мера — ад преглубокий!» А если так — поди уверь, что он сам, Нектарий, — не лукавый? Возить по спине рогаком и черт может. Все двусмысленно, все, как мховое болото, зыбко. Остается одно: ни о чем не думать, повесить голову, как побитому псу, и — верить, брюхом верить. А если не верится? Если думается? Мыслей не задавить, не угасить, — мигают зарницами. Это тоже, значит, от антихриста? Мысли — зарницы антихристовы? То вдруг у Андрея обмирали внутренности: куда лечу, куда качусь? Мал, нищ, убог... Припасть бы к ногам старца, — научи, спаси! И не мог: чудились усы в меду... Пришел в пустыню искать безмятежного бытия, нашел сомненье...

Потом от слабости телесной Андрюшка изнемог, мысли придулись, присмирели. Ежедневные побои выносил как щекотку. Старец лютował на него день ото дня все хуже. Другому: «Порфиша да рыба́нка», а этого — так и лошадь не бьют. Уйти бы... Но куда? Правда, Денисов говорил Андрюшке (когда в конце декабря доставили на санях хлеб в Выговскую обитель): «Поживи у нас, потрудись над украшением храма. Когда лед сойдет, пошлю тебя с товарами в Москву. Я тебе верю». Андрюшка отказался, — желал не того: тишины, умиления... Казалось, так и видел — келейку в лесу, старенького старца в скуфеечке на камне у речки, говорящего о неземном свете любезному послушнику и зверям, вышедшим из леса послушать, и птицам, севшим на ветки, и северному солнышку, неярко светящему на тихую гладь уединенной речки... Нашел тишину! Эдакой бури в мыслях и тог-

да не было, когда во вьюжные ночи дрожал в щели китайгородской стены, слушая, как ударяются друг о друга мерзлые стрельцы да скрипят виселицы.

Бесноватый мужик, поглядывая на печь, где лежал ничком Андрюшка, разговаривал.

— Тебе долго здесь не прожить, — хил. Старичок тебя в землю вобьет, — ты ему поперек горла воткнулся. Ох, властный старичок, гордый! Ему святители спать не дают. Начинается четьи минеи, и пошел чудить!.. Он бы десять лет на сосне просидел, кабы не лютые зимы. И народ он жжет для того же, — любит власть! Царь лесной... Я его насквозь вижу, я, брат, умнее его, — ей-богу... Я всех вас умнее. Действительно, во мне три беса... Первый — падучая, это — сильненький бес... Второй бес — что я ленивый... Кабы не лень, разве бы я сидел на цепи... Третий бес — умен я чересчур, ужас! Накануне, как меня начнет ломать падучая, ну, все понимаю. Делаюсь злой, все противно... Про каждого человека знаю, откуда он и какой он дурак и чего он ждет... И я нарочно говорю чепуху, на смех... Цепь грызу, катаюсь, — смешно, верят... Старичок, и тот глядит, разиня глаза. Он меня, брат, боится. Весной опять от него уйду... А тебе, Ондрюшка, он рогачом отобьет печенки, — зачухнешь. А вернее всего — на первой гари ты у него первый сгоришь...

— Ох, замолчи, пожалуйста...

Андрей слез с печи, помыл руки, засучился, снял с квашни покрывку. По другим кельям тесто творили на одну треть из муки, две трети клали сушеную, толченую кору, — здесь тесто было из чистой муки, взошло шапкой. Бесноватый мужик потянулся посмотреть. Рванул цепь, выдернул ее вместе с ершом из стены. Андрей испугался было. Мужик сказал, засучиваясь:

— Ничего... Я так часто делаю. Старец вернется — ерш воткну назад, сяду...

Он тоже помыл руки. Вместе с Андреем стали валять просфоры, сажать в печь.

— Скука все-таки, Ондрюшка... Бабу сейчас бы сюда...

— Замолчи... Тьфу! (Андрей хотел оборониться крестом от таких слов, — пальцы были в тесте.) Ей-богу, старцу пожалуюсь...

— Я те пожалуюсь... Дурак, по скитам, думаешь, с ветра брюхатят бабы? В Выговской обители их десятка три, как тельные коровы ходят... А уж на что там строго...

— Врешь ты все...

— Этой сласти, гляжу, ты еще не пробовал, Ондрюшка?..

— До смерти не осквернюсь...

— Позвать гладкую бабу и заставить полы мыть. Она моет, ты сидишь на лавке, разгораешься... Крепче вина это...

Андрей торопливо содрал тесто с пальцев. Вышел из кельи на мороз, — постоять... Утренняя заря широко разлилась за лесом, солнцу вот-вот взойти. Следы на снегу налиты теплой тенью, сахарные сугробы нагнулись около избенок, зеленели вершины

огромных елей. В приоткрытую дверь моленной слышалось унылое пение. Степка и Петрушка опять пробежали мимо Андрея, крикнули:

— Идут сюда! Затворяй ворота...

.

Алексей Бровкин послал Якима поговорить с раскольниками: что они за люди и сколько их и почему не отворяют ворот царскому офицеру? Лошадей оставил в лесу на дороге, сам с солдатами, велел зарядить мушкеты, подошел к скиту. Из-за высокого тына искрились шапки снега на крышах, синел осьмиконечный крест на моленной,— оттуда слышалось пение, хотя время обедни давно прошло.

Яким долго стучал в калитку. Влез на тын, поглядел, нет ли собак, и прыгнул на двор. Алексей для страха надел треугольную шляпу и поверх бараньего полушубка опоясался шарфом со шпагой,— здесь, видимо, можно было пожить с людьми, если припугнуть. Едва ли в такую глушь заглядывали подьячие или комиссары Бурмистерской палаты, собиравшие двойной оклад с двурестно молящихся. Время шло. Солдаты поглядывали на низкое солнце,— с утра ничего еще не ели. Алексей сердито покашливал в варежку.

Наконец Яким перевалился с той стороны через тын.

— Алексей Иванович, удача: Нектарий здесь...

— Так что же он, чертов кум, ворота не отворяет! Я солдат поморожу.

— Алексей Иванович, здесь народ в моленной заперся. Видишь, какое дело,— знакомого я здесь встретил — один мужичок новгородский у них сидит на цепи... Он рассказал: паствы человек двести, и есть годные и в солдаты, но взять их будет трудно: старец хочет их сжечь...

Алексей недоверчиво, строго уставился на Якима:

— То есть как сжечь? Кто ему позволил? Не допустим. Люди не его — царские...

— То-то, что он у них в лесах — царь...

— Будет тебе врать! (Хмурясь, Алексей позвал солдат, они неохотно стали подходить, понимали, что дело необыкновенное.) Долго разговаривать не станем. Ребята, ломай ворота...

— Алексей Иванович, надо бы осторожнее. Моленная вплоть обложена ометами, и внутри у них — солома, смола и бочка с порохом... Лучше я старца как-нибудь вызову. Он и сам понимает — не шутка двести человек уговорить на такое дело. Ему, Алексей Иванович, уважение окажите,— старичок властный,— полюбовно и сговоритесь...

Алексей оттолкнул болтливого мужика. Подойдя к воротам, попробовал — крепки ли.

— Ребята, неси бревно...

Яким отошел в сторону. Помаргивая, с любопытством глядел —

что теперь будет? Солдаты раскатали бревно, ударили в мерзлые брусья ворот. После третьего удара отдаленное пение раскольников затихло.

.

— Иди в моленную...

— Не пойду, сказал я тебе, отвяжись,— угрюмо повторил бесноватый мужик...

Нектарий вошел со двора, запыхавшись, на бороде — длинные капли воска. Зрачки побелевших глаз сузились в маковое зерно: не то пугал, вернее, был вне себя. Завопил перехваченным горлом:

— Евдоким, Евдоким, настал Страшный суд... Душу спасай! Один час остался до вечных мук... Ох, ужас! Бесы-то как в тебе ливают! Спасайся!

— Да ну тебя в болото! — закричал Евдоким, злобно заматывая башкой. — Каки такие бесы? Сроду их во мне не было. Сам иди ломайся перед дураками...

Нектарий поднял лестовку. Бесноватый мужик, нагнувшись, так поглядел исподлобья, — старец на минуту изнемог, присел на лавку. Помолчали...

— Ондрюшка где?

— А черт его знает, где твой Ондрюшка...

— Нет, проклятый, нет тебе спасения...

— Ладно уж, не причитывай...

Старец сорвался — поглядеть, не схоронился ли за печью послушник, — страха ради живота своего... На дворе в это время бухнуло, затрещало.

— Ворота ломают, — осклабясь, сказал мужик.

Нектарий споткнулся, не дойдя до печи, неистово начал дрожать. Парусом раздулась его мантия, когда поспешил на двор. Оставил дверь настежь.

— Ондрюшка, — позвал мужик, — дверь запри, студено.

Никто не ответил. Он вытащил ерш из стены, ругаясь, пошел, захлопнул дверь.

— Хорошего здесь не жди. Уходить надо.

Заглянул за печку. Там, в щели между стеной и печью, стоял Андрюшка Голиков, — видимо, без памяти, белый. Чуть слышно икал. Евдоким потянул его за руку:

— Умирать, что ли, неохота? Неохота — и не надо: без огня обойдешься... Ключ найди, слышь. Куда ключ старик спрятал? Чепь хочу снять. Ондрюшка! Очнись...

.

Все стояли на коленях. Женщины безмолвно плакали, прижимая детей. Мужчины — кто, уронив волосы, закрыл лицо корявой ладонью, кто безмысленно глядел на огонь свечей. Старец ненадолго ушел из моленной. Отдыхали, — измучились за много

часов: ему мало было того, что все покорны, как малые дети... Страшно кричал с амвона: «Теплого изблюю из уст! Горячего хочу! Не овец гоню в рай,— купины горящие!..»

Трудно было сделать, как он требовал: загореться душой... Люди все здесь были ломаные, ушедшие от сельской истомы, отсюда, где не давали обрасти, но, яко овцу, стригли мужика догола. Здесь искали покоя. Ничего, что пухли от болотной сырости, ели хлеб с толченой корой: в лесу и в поле все-таки сам себе хозяин... Но, видно, покой никто даром не давал. Нектарий сурово пас души. Не ослабляя, разжигал ненавистью к владыке мира — антихристу. Ленивых в ненависти наказывал, а то и вовсе изгонял. Мужик привык издавна — велят, надо делать. Велят гореть душой,— никуда не подашься — гори...

Ныне старец мучил особенно, видимо — и сам уморился... Порфирий на клиросе читал отрешенным высоким голосом. Под дощатым куполом стоял пар от дыхания. Капало с потолка...

Старец неожиданно скоро вернулся.

— Слышите! — возопил в дверях. — Слышите слуг антихристовых?

Все услышали тяжелые удары в ворота. Он стремительно прошел по моленной, задевая краем мантии по головам. Вздывая бороду, с размаху три раза поклонился черным ликам. Обернулся к пастве до того яростно, — дети громко заплакали. У него в руках был железный молоток и гвозди.

— Душа моя, душа моя, восстани, что спишь? — возопил. — Свершилось, — конец близко... Места нам на земле не осталось — только стены эти. Возлетим, детки... В пламени огненном. Над храмом, ей-богу, сейчас в небе дыру видел преогромную. Ангелы сходят к нам, голубчики, радуются милые...

Женщины, подняв глаза, залились слезами. Из мужиков тоже кое-кто тяжело засопел...

— Иного времени такого — когда ждать? Само царство небесное валится в рот... Братья, сестры! Слышите — ворота ломают... Рать бесовская обступила сей остров спасения... За стенами — мрак, вихрь смрадный...

Подняв в руках молоток и гвозди, он пошел к дверям, где были припасены три доски. Приказал мужикам помочь и сам стал приколачивать доски поперек двери. Дышал со свистом. Молящиеся в ужасе глядели на него. Одна молодая женщина, в белом саване, ахнула на всю моленную:

— Что делаете? Родные, милые, не надо...

— Надо! — закричал старец и опять пошел к амвону. — Да еще бы в огонь христианин не шел? Сгорим, но вечно живы будем. (Остановясь, ударил молодуху по щеке.) Дура! Ну, муж у тебя, дом у тебя, сундук добра у тебя... А затем что? Не гроб ли? Жалели мы вас, неразумных. Ныне нельзя... Враг за дверями стоит. Смирепый, чашу в руке держит, полна мерзостей и кала. Причащайтесь из нее! Причащайтесь! О, ужас!

Женщина упала лицом в колени, затрясась, все громче начала вскрикивать дурным голосом. Другие затыкали уши, хватали себя за горло, чтобы самим не заголосить...

— Иди, иди за дверь... (Опять — удары и треск.) Слышите! Царь Петр — антихрист во плоти... Его слуги ломают по наши души... Ад! Знаешь ли ты — ад?.. В пустошной вселенной над твердью сотворен. Бездна преглубокая, мрак и тартарары. Планеты его кругом обтекают, там студень лютый и нестерпимый... Там огонь негасимый... Черви и жупел! Смола горящая... Царство антихриста! Туда хочешь?..

Он стал зажигать свечи, пучками хватал их из церковного ящика, проворно бегал, лепил их к иконам — куда попало. Желтый свет ярко разливался по моленной...

— Братья! Отплываем... В царствие небесное... Детей, детей ближе давайте, здесь лучше будет, — от дыма уснут... Братцы, сестры, возвеселитесь... Со святыми нас упокой, — запел, раздувая локтями мантию...

Мужики, глядя на него, задирая бороды, подтягивая, поползли на коленях ближе к аналою. Поползли женщины, пряча головы детей под платами...

Стены моленной вздрогнули: в двери, зашитые досками, подпертые колом, ударили чем-то со двора. Старец влез на скамейку, прижал лицо к волоковому окошечку над дверями:

— Не подступайте... Живыми не сдадимся...

.

— Ты будешь старец Нектарий? — спросил Алексей Бровкин. (Ворота они раскрыли, теперь ломились в дверь моленной.) Из длинного окошка боком глядело на него белое стариковское лицо. Алексей ему — со злобой: — Что вы тут с ума сходите?

С трудом высунулась стариковская рука, двоеперстно окрестила царского офицера. Сотня голосов за стеной ахнула: «Да воскреснет бог». Алексей хуже рассердился:

— Не махай перстами, я тебе не черт, ты мне не батька. Выходите все, а то дверь высажу.

— А что вы за люди? — странно, насмешливо спросил старец. — Зачем в такое пустое лесное место заехали?

— А такие мы люди, — с царской грамотой люди. Не будете слушать — всех перевяжем, отвезем в Повенец.

Стариковская голова скрылась, не ответив. Что было делать? Яким отчаянно шептал: «Алексей Иванович, ей-богу, сожгутся...» Опять там затаили «со святыми упокой». Алексей топтался перед дверями, от досады пошмыгивая носом. Ну как уйти? Разнесут по всем скитам, что-де прогнали офицера. Снял варежки, подпрыгнул, ухватился за край окошка, подтянулся, увидел: в горячем свете множества свечей обернулись к нему ужаснувшиеся бороватые лица, обороняясь перстами, зашипели: «Свят, свят, свят». Алексей прыгнул:

— Давай еще раз в дверь...

Солдаты раз ударили. Стали ждать. Тогда из чердачного окошка полезли трое (Яким признал Степку Бармина и Петрушку Кожевникова), в руках — охотничьи луки, за поясом — по запасной стреле, у третьего — пищаль. Вылезли на крышу, глядели на солдат. Мужик с пищалью сказал сурово:

— Отойдите, стрелять будем. Нас много.

От дерзости такой Алексей Бровкин растерялся. Будь то посадские какие-нибудь людишки, — разговор короткий. Это были самые коренные мужики, их упрямство он знал. Тот, с пищалью, — вылитый его крестный покойный, толстоногий, низко подпоясанный, борода жгутами, медвежьи глаза... Не стрелять же в своего, такого. Алексей только погрозил ему. Яким ввязался:

— Тебя как зовут-то?

— Ну, Осип зовут, — неохотно ответил мужик с пищалью.

— Что ж, Осип, не видишь — господин офицер и сам подневольный. Вы бы с ним по любви поговорили, столковались.

— Чего он хочет? — спросил Осип.

— Дайте ему человек десять, пятнадцать в войско, да нашим солдатам дайте обогреться. Ночью уйдем.

Петрушка и Степан, слушая, присели на корточки на краю крыши. Осип долго думал.

— Нет, не дадим.

— Почему?

— Вы нас по старым деревням разошлете, в неволю. Живыми не дадимся. За старинные молитвы, за двоеперстное сложение хотим помереть. И весь разговор...

Он поднял пищаль, дунул на полку, из рога подсыпал пороху и стоял, коренасто, над дверью. Что тут было делать? Яким посоветовал махнуть рукой на эту канитель: Нектария не сломить.

— Он упрям, я тоже упрям, — ответил Алексей. — Без людей не уйду. Возьмем их осадой.

Двоих солдат послали за лошадьми, — отпрячь, кормить. Четверых — греться в келью. Остальным быть настороже, чтобы в моленную не было проноса воды и пищи. День кончался. Мороз крепчал. Раскольники похоронно пели. Петрушка и Степан посидели, посидели, перешептываясь, на крыше, поняли — дело затяжное.

— Нам до ветру нужно, — стали просить. — На крыше — грех, пустите нас спрыгнуть.

Алексей сказал:

— Прыгайте, не трогнем.

Осип вдруг страшно затряс на них бородищей. Петрушка и Степан помялись, но все-таки, зайдя за купол, спрыгнули на солону.

Старец Нектарий тоже, видимо, понял, что крепко взят в осаду. Два раза приближал лицо к волоковому окну, подслеповато вглядывался в сумерки. Алексей пытался заговорить, — он только плевал. И опять из моленной доносился его охрипший

голос заглушавший пение, мольбы, детский плач. Там что-то творилось нехорошее.

Когда совсем помрачнел закат, на крышу из слухового окна вылезло человек десять мужиков без шапок. Махая руками, беснуясь, закричали:

— Отойдите, отойдите!..

Все торопливо начали раздеваться, снимали полушубки, валенки, рубахи, портки...

— Нате! — хватали одежду, кидали ее вниз солдатам. — Нате, гонители! Метайте жребий. Нагими родились, нагими уходим...

Голые, синеватые, бросались ничком на крышу, терли снегом лицо, всхлипывали, вскрикивали, вскочив, поднимали руки, и все опять, — с бородами, набитыми снегом, — улезли в слуховое окно. Остался один Осип. Не подпуская близко к дверям, прикладывался из пищали в солдат... Алексей очень испугался голых мужиков. Яким плачуще вскрикивал в сторону окошка:

— Детей-то пожалейте. Братцы! Бабочек-то пожалейте!

В моленной начался крик, не громкий, но такой, что — затыкай уши. Солдаты стали подходить ближе, лица у всех были важные.

— Господин поручик, плохо получается, пусть уж Осип в нас пужанет, мы дверь высадим...

— Высаживай! — крикнул Алексей, сжимая зубы.

Солдаты живо положили ружья, опять схватились за бревно. Купол с едва видимым на закате крестом вдруг покачнулся. Тяжело сотряслась земля, грохнул взрыв, в грудь всем ударило воздухом. Из щелей под крышей показался дым, повалил гуще, озарился... Языки огня лизнули меж бревен...

Когда дверь под ударом распалась, оттуда выскочил весь горящий, с обугленной головой человек, как червь начал извиваться на снегу. Внутри моленной крутило дымным пламенем, прыгали, метались огнем охваченные люди. Огонь бил из-под пола. Уже валили дымом сметы соломы вокруг.

От нестерпимого жара солдаты пятились. Никого спасти было нельзя. Сняв треуголки, крестились, у иных текли слезы. Алексей, чтобы не видеть ничего, не слышать звериных воплей, ушел за разломанные ворота. Коленки тряслись, подкатывалась тошнота. Прислонился к дереву, сел. Снял шапку, остужал голову, ел снег. Зарево ярче озаряло снежный лес. От запаха жареного мяса некуда было скрыться. Он увидел: невдалеке по багровому снегу, увязая, идут три человека. Один отстал и, будто заламывая руки, глядел, как много выше леса, над скитом взвивается из валящего дыма огненный язык, ввысь уносится буран искр... Другой, беснующийся человек, тащил за руку небольшого длиннобородого старичка, в нагольном полушубке поверх мантии.

— Ушел он, ушел, сукин сын! — кричал беснующийся человек, подтаскивая старичка к царскому офицеру. — Разорвать его надо... Через подполье лазом из огня ушел... Нас с Ондрюшкой хотел сжечь, черт проклятый!..

Велено было царским указом: «По примеру всех христианских народов — считать лета не от сотворения мира, а от рождения Христова в восьмой день спустя, и считать новый год не с первого сентября, а с первого января сего 1700 года. И в знак того доброго начинания и нового столетнего века в веселии друг друга поздравлять с новым годом. По знатым и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевельных, против образцов, каковые сделаны на гостином дворе у нижней аптеки. Людям скудным хотя по древу или ветви над воротами поставить. По дворам палатных, воинских и купеческих людей чинить стрельбу из небольших пушечек или ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни. А где мелкие дворы — собрався пять или шесть дворов — зажигать худые смоляные бочки, наполняя соломою или хворостом. Перед бурмистерскою ратушей стрельбе и огненным украшениям по их рассмотрению быть же...»

.....

Звона такого давно не слышали на Москве. Говорили, патриарх Адриан, ни в чем не смея перечить царю, отпустил пономарям на звон тысячу рублей и пятьдесят бочек крепкого патриаршего полпива. Вприсядку отзванивали колокола на звонницах и колокольнях. Москва окутана была дымами, паром от лошадей и людей. Визжал морозный снег. Деревья гнулись от инея. В чаду стояли кабаки, открытые день и ночь. За дымами солнце поднималось румяное, небывалое, — отсвечивало на широких бердышах сторожей у костров.

Сквозь колокольный звон по всей Москве грещали выстрелы, басом рывкали пушки. Вскачь проносились десятки саней, полные пьяных и ряженных, мазанных сажей, в вывороченных шубах. Задирали ноги, размахивая штофами, орали, бесновались, на раскатах вываливались кучей под ноги одуревшему от звона и дыма простому народу.

Всю неделю до крещения гудела, шумела Москва. Занималась пожарами. Хорошо, что было безветренно. В город сбежалось много разбойников из окрестных лесов. Только повалит дым где-нибудь за снежными крышами, — скачут в санях недобрые люди — в овечьих сушеных мордах, в скоморошьих колпаках, ломают ворота, кидаются в горящий дом, — грабят, разбивают все дочиста. Иных ловили, иных народ задавил. Шел слух, будто в Москве гуляет сам Есмень Сокол.

Царь с ближними, с князем-папой, старым беспутником Никитой Зотовым, со всешутейшими архиепископами, — в архиерейской ризе с кошачьими хвостами, — объезжал знатные дома. Пьяные и сытые по горло, — все равно налетали, как саранча, — не столько ели, сколько раскидывали, орали духовные песни, мо-

чилились под столы. Напавивали хозяев до изумления и — айда дальше. Чтобы назавтра не съезжаться из разных мест, ночевали впопалку тут же, на чьем-нибудь дворе. Москву обходили с веселием из конца в конец, поздравляли с пришествием нового года и столетнего века.

Посадские люди, тихие и богобоязненные, жили эти дни в тоске, боялись и высунуться со двора. Непонятно было — к чему такое неистовство? Черт, что ли, нашепывал царю мутить народ, ломать старый обычай — становой хребет, чем жили... Хоть тесно жили, да честно, берегли копейку, знали, что это так, а это не так. Все оказалось дурно, все не по нему.

Не признававшие крыжа и щепоти собирались в подпольях на всенощные бдения. Опять зашептали, что дожить только до масленой: с субботы на воскресенье вострубит труба Страшного суда. В Бронной слободе объявился человек, собирал народ в баню, кружился, бил себя ладошами по лицу, кричал нараспев, что-де он — господь Саваоф, и с ручками и с ножками, и падал весь в пене... Другой человек, космат, гол и страшен, являлся народу, держа в руке три кочерги, пророчил невнятно, грозил бедствиями.

У ворот Китая и Белого города прибили второй царский указ: «Боярам, царедворцам, служилым людям приказным и торговым ходить отныне и безотменно в венгерском платье, весной же, когда станет от морозов легче, носить саксонские кафтаны».

На крюках вывесили эти кафтаны и шляпы. Солдаты, охранявшие их, говорили, что скоро-де прикажут всем купчихам, стрельчихам, посадским женкам, попадьям и дьяконицам ходить простоволосыми, в немецких коротких юбках и под платьем накладывать на бока китовые ребра... У ворот стояли толпы в смущении, в смутном страхе. Передавали шепотом, будто неведомый человек с тремя кочергами закидал калом такой же вот кафтан на крюке и кричал: «Скоро не велят по-русски разговаривать, ждите! Понаедут римские и лютерские попы перекрещивать весь народ. Посадских отдадут немцам в вечную кабалу. Москву назовут по новому — Чертоград. В старинных книгах открывалось: царь-де Петр — жидовин из колена Данова».

Как было не верить таким словам, когда под крещение приказчики купца Ревякина стали вдруг рассказывать — бегая в рядах по лавкам — о случившейся великой и страшной жертве во искупление мира от антихриста: близ Выг-озера несколько сот двуперстно молящихся сожглись живыми. Над пожарищем распалось небо, и видима стала твердь стеклянная и престол, стоящий на четырех животных, на престоле сидящий господь, ошую и одесную — дважды по двенадцать старцев и херувимы окрест его, — «двомя крылы летаху, двомя очи закрываху, двомя же ноги». От престола слетел голубь, и огонь погас, и на месте гари стало благоухание.

В Ямском приказе какой-то человек, обыкновенного роста и

вида, уходя, бросил на пол письмо. Человека этого окликнули: «Чего обронил, эй?» Испугавшись, он побежал и скрылся. На запечатанном письме стояло: «Поднеси великому государю, не распечатав». Дьяк Павел Васильевич Суслов едва-едва трясущими руками попал в рукава шубы. Грозя ездовому — спустить со спины шкуру, — поскакал в Преображенское.

Караульный офицер в дворцовых сенях с презрением оглянул дьяка от лысины до сафьяновых сапожек на меху: «Нельзя к царю». Павел Васильевич, ослабев от тревоги, сел на лавку. Народу толпилось много: наглые военные, русские — все большого роста, широкие в плечах, здоровые, как быки; иноземцы — поменьше, но приятнее лицом (их, бедняг, за последнее время много начали выгонять со службы за глупость и пьянство); ловкие владимирские, ярославские, орловские ходоки, промышленники, купчишки; рядом сидели два великородных боярина, один — с обвязанной головой, другой — с черным синяком под глазом: после шумства прибыли бить челом друг на друга; заложив руки за спину, в коротеньком коричневом кафтанчике, в нитяном парике, похаживал, ни на кого не глядя, иностранец с добрым голодным лицом, в очках — математик, химик, славный изобретатель перпетуум мобиле — вечного водяного колеса — и медного человека-автомата, играющего в шашки и вино или пиво извергающего из себя согласно натуре. Математик предлагал царю более ста патентов, могущих обогатить Русское государство.

Со двора в сени ввалился Никита Зотов, пьяный, с невиданной толщины человеком: «Не робей, он уродство любит, он тебе казны отвалит» — князь-папа волок толстяка в царские покои. Павел Васильевич, загорясь служебной ревностью, подошел к караульному офицеру и в лицо ему сказал сдавленно: «Слово и дело!» Сразу в сенях стало тихо. Офицер вытянулся, с коротким дыханием вытащил шпагу: «Идем».

Письмо, поданное Павлом Васильевичем царю в собственные руки (у Петра болела голова, — встретил дьяка насупясь, нетерпеливо), письмо это — немедленно вскрытое — было подписано Алешкой Курбатовым, дворовым человеком князя Петра Петровича Шереметьева. Прочтя мельком, Петр взял себя ногтями за подбородок: «Гм!» — прочел вдругорядь, закинул голову: «Ха!» — и, забыв о Суслове, стремительно зашагал в столовую палату, где в ожидании обеда томились ближние.

— Господа министры! — у Петра и глаза прояснели. — Кормишь вас, поишь досыта, а прибыли от вас много ли?.. Вот! (Тряхнул письмом.) Человечишко худой, холоп, — придумал! Обогащение казны... Федор Юрьевич... (Обернулся к посапывающему князю Ромодановскому.) Прикажи отыскать, привезти Курбатова сейчас же. И обедать без него не сядем... То-то, господа министры, — орленую бумагу надо продавать: для всех крепостей, для челобитных — бумагу с гербом, от копейки до десяти рублей. Понятно? Денег нет воевать? Они — вот они — денежки!

Еще не светало, а уже по всему дому хлопали двери, скрипели лестницы, — девки волокли на двор коробья, узлы, дорожные сундуки. Князь Роман Борисович закусывал за кое-как собранным столом, при сальной свече. Хлебная щи, недовольно оборачивался.

— Авдотья же... Антонида... Олька!.. О господи!..

Приподняв живот, тянулся за штофом. И мажордом, туда же, пропал. Ну вот — по лестнице загрохотал кто-то вниз башкой.

— Тише, дьяволы!.. О господи...

Вбежала шалая Антонида, — волосы растрепаны, на самой — старая матернина шуба.

— Антонида, сядь ты, ешь...

— Да, ах, тятенька...

Схватила пуховый платок, кинулась в сени. Роман Борисович стал искать — чего бы еще съесть. Над головой (в светлице) поволокли что-то, уронили, — посыпался сор с дощатого потолка. Что же это такое? Дом ломают?.. Крутя головой, положил осетринки.

В дверь внесло княгиню Авдотью, — в шубе, в теплых платках, — ткнулась у стены на венецианский стул. С перепугу осунулась: за всю жизнь два раза только уезжала из Москвы — к'троеце и в Новый Иерусалим. И вдруг такой путь и — наспех...

— Чего ты загодя обмоталась платками? Размотайся, поешь. В дороге не еда, слезы.

— Роман Борисович, далек ли поход-то?

— В Воронеж, мама.

— Ба-а-атюшки...

Всхлипнула без слез. Сверху — визгливый голос Ольги: «Маменька, парики вы куда засунули?» Авдотью легко, как лист, сорвало со стула, унесло за дверь.

Одно утешало Романа Борисовича: знал, — такая же суета сейчас по всей Москве. Князь-кесарь, хозяин и страшилище столицы, третьего дня объявил царский указ: палатным людям с женами и детьми, именитым купцам и знатым людям из Немецкой слободы — ехать в Воронеж на спуск корабля «Предестинация», столь великого, что мало и за границей таких видано. Из-за близкой распутицы ехать не мешкав, чтобы захватить санный путь.

Роман Борисович, хотя и с натугой, но уже начинал все-таки разбираться в политике. В январе, после шумных праздников, пришли из Константинополя от великого посла Емельяна Украинцева письма: турки совсем было шли на вечный мир, только просили небольших уступок, дабы раздраженные сердца могли прийти к умягчению, и Емельян Украинцев даже склонил их к той

мысли, что мы непреклонно стоим на Карловицком конгрессе обозначенном фундаменте: «кто чем владеет, да владеет»,— но вдруг что-то в Цареграде случилось, какой-то враг вмешался в переговоры, и турки злее, чем вначале, стали задираются: требовать назад Азов и город Казыкерман с приднепровскими городками, требовали по-прежнему — платить московским царям дань крымскому хану. О гробе господнем и помянуть не хотели.

Петр, получив эти вести, кинулся в Воронеж. Александр Данилович, выгнав безрезвый веником остатки праздничного хмеля, поехал в пышной карете по именитым купцам. Говорил им сердечно: «Выручать надо. Если к весне турок не устроим превеликим флотом — миру не быть. Прахом пойдут все начинания».

Лев Кириллович, в свой черед, со слезами говорил в Кремле высоким палатным людям: «Бесчестье можем ли стерпеть? По-прежнему платить дань крымскому хану, ждать каждую весну татарских орд на лучших землях наших? Можем ли далее сносить поругания турками и католиками гроба господня? Как при Минине и Пожарском, исподнюю сорочку отдадим на построение великого воронежского флота».

Кораблестроительным кумпаньям пришлось снова развязывать кошель. По Москве пошли зловещие слухи о близкой войне: едва ли не весь мир, говорят, подымался с оружием друг на друга. Иноземцы, шнырявшие, как мыши, в Москву — из Москвы, разносили по всей Европе, что Москва-де не прежняя,— тихая обитель истинного христианства,— полна солдат и пушек, молодой царь заносится гордостью, советчики его дерзки... Москва-де лезет на рожон...

Давеча в Кремле Роман Борисович сгоряча обещал поставить полный годовой запас корма на заложенный корабль «Предестинация». Надуваясь багровой яростью, кричал перед лицом Льва Кирилловича: «Сам сяду на коня, а государю в бесчестье не быть». И даже, когда ночью, спустясь со свечой в тайный подвал, вытащил в углу из сырой земли горшок и отсчитывал копейками полтора-два рубля на кумпанство,— свою долю,— даже и тогда один в подполье, ощупывая при слабом огоньке каждую копейку, не допускал себя до противных мыслей. Не тот уже был князь Буйносов,— пообтесали.

Противные мысли задавил в себе, замкнул на тридцать замков. С такими же мыслями князь Лыков сидит сейчас у себя в деревеньке, в опале. Глупый князь Степан Белосельский на пиру у князя-кесаря, пьяный, стал кричать: «Ты мне, что же, и во сне не велишь по-своему думать? Щеки обрили, французские портки ношу, а душу мою — выкуси...» — и сложил кукиш. Князь-кесарь только нехорошо усмехнулся. Назавтра князю Степану указ — ехать в Пустозерск воеводой.

У Романа Борисовича разума было достаточно. Но уж неизвестно, какой нужен разум — угнаться за причудами царя Петра. Будто ему и по ночам чешется — не давать людям покою.

Скакать всей Москве в Воронеж... Зачем? В тесноте, в недоедании валяться по худым избенкам на лавках? Водку с матросами пить? Баб-то еще зачем туда тащить? О господи...

Роман Борисович выпил лишнюю чарку, чтобы оглушить растерзанные мысли. В окне светало. Галки сели на голое дерево под окном. Как там царь ни ломай наш покой, а зеленый утренний свет все тот же, что при дедах, те же облака розовели за куполами... Роман Борисович из глубины утробы замычал, не разжимая рта. Слышно,— на дворе зазвякал колокольчик, конюха, запрягая, кричали на коней...

Выехали обозом в двух возках (и еще трое саней с домашней рухлядью, живностью). Колокольчики заливались дорожной грустью. Коломенская дорога была уезжена, но ухабиста. Через каждую версту торчал красный столп, между ними — недавно посаженные березы. Антонида и Ольга считали столпы и березы (более нечем было развлечься в пути,— под мартовским солнцем — ледяной наст по снегу, вдали — коричневые рощи). По воронам на придорожных деревьях девы гадали об амурных встречах. В другом возке Роман Борисович, придавив плечом княгиню Авдотью, посапывал, на ухабах встряхивал губами. Ехали смирно.

В деревне Ульянино, в пятидесяти верстах от Москвы, назначено было кормить. Еще не показались из лощины соломенные крыши,— мимо буйносовского обоза промчался кожаный высокий возок — шестеркой гнедых коней с двумя ездовыми. В стеклянное окошко на дев, завертевшихся от любопытства, равнодушно взглянула томная красавица, укутанная в черные бошоя.

— Монсixa, Монсixa,— всполохнулась Антонида, вылезая шеей из материнской шубы.— Ольга, гляди, с ней кавалер... (В глубине пролетевшего возка, действительно, мелькнуло обритое лицо и галун на шляпе.)

— Кенигсек, лопни глаза.

Антонида всплеснула варежками.

— Да что ты?.. Ой, бесстыжая!..

— А ты опомнилась... Кобылица она, немка... Вся Москва про Кенигсека шепчет, один государь слеп...

— Кнутом ее ободрать на площади...

— Этим и кончит...

В деревне едва ли не на каждом дворе стояли обозы, в раскрытые ворота виднелись боярские возки. Деревенские бабы бегали по навозным сугробам, ловя кур. Роман Борисович рассердился на Авдотью:

— Вот они, ваши дурьи сборы,— до свету надо было выехать... Ищи теперь двор...

Велел гнать к царской избе. Такие въезжие дворы,— в четыре окна, с красным крыльцом о пяти ступенях,— в нынешнем году поставлены были на каждом перегоне до самого Воронежа. Комендантам указано иметь запас кормов и питья и под великим страхом остерегаться тараканов (потому что государь избя-

ных сих зверей пужается). Комендант выскочил на крыльцо,— при шпаге и паричке,— замахал на подъехавших: «Полно́, полно́, нельзя». Роман Борисович важно отпихнул его, вошел в сени, за ним княгиня и девы. Комендант отчаянно шипел сзади. Действительно, в обоих покоях — направо и налево из сеней — не протолкаться. Шубы, валенки, шляпы, шпаги валялись горой на полу, суетились сенные девки, пахло щами.

— Тятенька, здесь — верхние,— шепнула Ольга.

Он и сам видел, что нужно уходить без шума. Вдруг из правой палаты, где смеялись кавалеры в париках, проговорил по-русски немецкий голос:

— Княшна Ольга, княшна Антонина, пошалуите к нам за стол.

Парики раздвинулись. У накрытого стола — Анна Монс, в красном платье, в дорожном чепчике, держа высокую рюмку с вином, обернулась, улыбаясь, звала... Кавалеры, — саксонский посланник Кенигсек, племянник шведского резидента в Москве Книперкрона — Карл Книперкрон, какой-то еще француз, неизвестный девам, — подскочили снять с княжен шубы. «Ах, мы сами, сами», — девы торопливо сдернули материнскую рухлядишку, сунули в ворох чьих-то шуб. («Погоди, маменька, этот срам мы припомним».) Под руку с кавалерами вошли, обмирая — приседали...

Спиной к запотевшему окошечку на лавке сидел темноволосый мальчик, с большими глазами, с приоткрытым ртом. Нагнув к плечу слабую голову, утомленно глядел на рослых сыто-румяных людей, видимо оглушавших его говором и хохотом. На нем был ярко-зеленый преображенский кафтанец и сабелка на перевязи, ноги в белых чесанках не доставали до полу.

Роман Борисович, всхлипнув еще на пороге, истово подошел к десятилетнему мальчику, пал лбом на дощатый пол, сопя просил у великого государя-наследника, царевича Алексея Петровича, облобызать ручку.

— Дай, Алешенька, дай ему ручку, — певуче-весело сказала румяная царевна Наталья Алексеевна. (С тех пор как царицу Евдокию увезли в Суздаль, родная тетка Наталья была ему вместо матери.)

Алешенька медленно взглянул на нее, покорно протянул князю Роману пальцы, прикрытые кружевным обшлагом. Тот прилип толстыми губами. Царевич попытался было выдернуть руку, — Ольга и Антонида по всему политесу растопырили перед ним юбки, рослые кавалеры затрясли париками, затопали ногами, присоединяясь к поклону семьи Буйносовых, — темные глаза его налились слезами...

— Поди, поди ко мне, Алешенька... Эх, обступили-то тебя. — Наталья, — полногрудая, русоволосая, с круглым, как у брата, лицом, смешливой ямочкой на подбородке, — привлекла мальчика, прикрыла концом пухового платка. — Ничего, подождем, —

подрастет, сам еще будет пугать людей... Так, Алешенька? — Царевна поцеловала его в висок, взяла с тарелки медовый рядный пряник, надкусила красивыми зубами, протянула царевичу: — Вы, что же, княжны, садитесь, кушайте... А ты, князь Роман, постой с кавалерами, вам после нас соберут...

За столом, кроме Натальи и Анны Ивановны, сидела длинная девица с умным желтоватым лицом, с бровями и ресницами в цвет кожи. Льяные волосы скручены тугим узлом на маковке. Она уже поела, — отставив тарелку и недопитую рюмку, улыбаясь, быстро вязала крючком рукоделье из цветной шерсти. Это была приятельница царя Петра — Амалия Книперкрон, дочь шведского резидента.

— Алексей Петрович, пошалуи ваше светлой лишико, — нежно, по-русски проговорила она и приложила вязанье к шее мальчика. — О... ви будете носить этот шарф...

Мальчик без улыбки потерся щекой о ее большую, почти мужскую руку. Анна Монс, сидевшая прямо и вежливо, сладко приподняв уголки губ, сказала тоже по-русски:

— Царевича укачало в возке. Но мы все уверены — царевич храбрый зольдат... Как он лихо носит свою сабельку...

Мальчик из-под локтя тетки, из-за пухового платка недобро взглянул на белолицую немку. Кавалеры, стоявшие за спинками стульев, стали уверять, что царевич действительно выдает все признаки храбреца.

— Батюшка ты наш, надежа-государь... — вдруг заголосил Роман Борисович, выпятил зад, подогнул колени, вплоть глядя в лицо мальчику. — Сядь на доброго коня, возьми сабельку вострую да побей ты врагов рати несчетные... Оборони Русь православную, — одна она на свете, батюшка...

Хотел поцеловать головку, не посмел, приложился к плечу царевича и, очень довольный, выпрямился, потирая поясницу... Наталья Алексеевна почему-то с испугом глядела на него. Анна Монс, пожав плечиком, снисходительно усмехаясь, сказала:

— На кого же вы, князь Роман, так разгневались? Кажись, ворогов у нас нет, кроме турок, — и с теми хотим мира... Война у нас не предвидится... (Политично покосилась на Амалию Книперкрон.)

— Что ты, что ты, матушка Анна Ивановна... Дай дорогам подсохнуть, поднимемся великим походом... Недаром войско собираем, льежескими ружьями снабжены... Не для потехи...

Амалия Книперкрон опустила вязанье, глаза ее раскрылись изумлением, рот стал мал, лицо вытянулось. Кавалеры, переглядываясь, слушали, как Буйносов, заносясь хвастовством, расписывал военные приготовления. Саксонский посланник Кенигсек выхватил из камзола табакерку, с испугом совал ее Роману Борисовичу. Но тот: «А ну тебя с табаком-то, погоди».

— Нет и нет, матушка Анна Ивановна, вся Москва о том го-

ворит. Готовимся... Грудью встанем за древние за наши ливонские вотчины...

Но тут Кенигсек наступил князю Роману на ногу. Царевна Наталья, запыхав гневным лицом, крикнула:

— Будет тебе пустое болтать... Во сне, что ли, война прикинулась? Пьян, видно, со вчерашнего...

Держа за плечи Алешеньку, пошла за пестрядевую занавеску, где шелкали дрова в печи. За царевной уплыла Анна Ивановна с Ольгой и Антонидой, помедлив, ушла и Амалия Книперкрон (у этой так и не сошло с лица изумление). Кавалеры сели за стол. На Романа Борисовича не глядели, будто его и не было. Он понял — не угодил... А чем не угодил? За Русь православную, значит, и заступиться нельзя? Перед иностранцами русскому человеку молчать нужно? Насупясь, глядел на стол. Подавали блюда. Место одно было в конце стола, — последнее. И то уже стыд, что дураком ждал, когда попросят. А ну вас... Князь Роман повернулся, пошел в сени. Там на стульчике около шуб смирно сидела княгиня Авдотья...

— Ты что ж тут как худая дожидаяешься?

— Не звали в покои-то, батюшка.

— Не звали тебя!.. Эх, ворона... Породу свою забыла... Идем в другую горницу...

Плотно поев и выпив, Роман Борисович успокоился. Может, и в самом деле что-нибудь лишнее брякнул перед царевичем и царевной... Верхние шепотны, а перед иностранцами — в особенности. Ну, ничего, — со старика не взыщется...

После полудня, завалясь, огрузневший и сонный, в возок, Роман Борисович позевал, размял задом помягче место и беспечно заснул, чувствуя талый мартовский ветерок... Была бы у него черна совесть, нет, совесть — покойна, — где же было догадаться, какие тяжелые и необыкновенные дела впоследствии для него из пустяшного, казалось бы, случая на царском въезде дворе.

До Воронежа все-таки хлебнули горя. Не заверни студеный ветер с метелью, пришлось бы тонуть где-нибудь на переправе через речку. Торопясь, бросили своих лошадей, — ехали теперь на перекладных. Чем ближе к Дону, в мимоезжих деревнях мужики становились несговорчивее, глядели угрюмо — зверем, шапки хотели ломать только после окрику. Роман Борисович охрип от лая на каждом въезде дворе, требуя лошадемок. Сам заходил в избы, тряс за грудь мужиков: «Да знаешь ты, перед кем стоишь, сукин сын!.. Разорю!»

Мужик, зло сжав зубы, мотался башкой, на печи, как волчата, светились глазами ребятишки, ширококостная баба недобро держала ухват или кочергу: «Нечего нас разорять,

боярин, уж разорили,— нет у нас лошадей, уходи с богом».

В одной деревне, дворов в десять, разметанных непогодой,— на косогоре над речкой,— Буйновым пришлось жить сутки: в деревне — одни бабы, ни мужиков, ни лошадей. Ночевали в черной избе (где человек, стоя, тонул головой в дыму). Княжны стонали, лежа под тулупами на составленных лавках. Дым ел глаза. Бездомно подвывал ветер.

Роман Борисович, пробудившись, услышал голоса на улице,— кто-то, видимо, подъехал. Покряхтел, с неохотой вылез из-под шубы. На дворе — бело, в небе вызвездило меж летящих туч. Справив нужду, князь Роман подошел к воротам. За ними — негромкие голоса:

— ...Жуковские мужики по весне все разбегутся, Иван Васильевич...

— Жили, слава богу, до этой самой грязи... Приехал Азмус,— как его там,— антихрист, и — пошло... Наделали черпаков, давай из болота грязь черпать, лепить кирпичи, сушить в ригах... Наши мужики с утра до ночи эту грязь возят, риги ей все забиты... Лошадей покалечили... Ни пахать тебе, ни сеять...

— Царь приезжал... Этого, говорит, мало... Велел поставить мельницу с черпаками, тянуть со дна грязищу-то... При нем ее жгли,— брали из риги. Нет, этой повинности мы не вытерпим. Бежать без оглядки...

— По оврагам скрываемся, Иван Васильевич. Ночью только и придешь за куском хлеба. Это разве жизнь?..

— Атаман, скоро ли гиль-то начнется?

Роман Борисович, не замечая, как ветер прохватывает его под накинутой на голову шубейкой, приложил глаза к щели в воротах. Различил (при смутном свете звезд): несколько мужиков понуро стоят около санок с ковровым задком, в них, держа вожжи,— широкий человек в чепане, в казацкой шапке, борода будто обрызгана известью,— пегая. «Ой, ой, этого вора я где-то видел»,— страшась, подумал Роман Борисович.

Один из мужиков, наклоняясь над задком саней:

— На Дону что слышно, атаман?

Пегобородый, перебрав вожжи, ответил важно:

— До лета ждите...

Мужики придвинулись:

— Войны, что ли, ждать?

— Вот дал бы господь.

— Поскорее чем бы нибудь это кончилось...

— Кончится, кончится,— с угрозой пробасил пегобородый.— Зубы у нас есть.— Он сильно повернулся в саних: — Ребята, у кого коня я поставлю?

— Иван Васильевич, ко мне бы... Да черт принес вчера боярина с бабами... Озорничают-то как... Сено, солому раски-

дали, овес припрятал,— нашли, не поверишь,— по ведру засыпают коням... А что мне с него,— он и копейки не даст...

Пегобородый раскрыл рот:

— Ха...— засмеялся.— Ха-ха... Возьми под облучком у меня в мешке ножик... Добудь копейку... Так-то, мужички невольные... (Натянул вожжи.) Ну,— к кому же?

Один кинулся от саней:

— Ко мне, Иван Васильевич, у меня просторно...

Только сейчас вдруг Романа Борисовича пробрало холодом. Постукивая зубами, поспешил в темную избу.

— Авдотья...— тряс угоревшую во сне княгиню.— Куда пистолеты мои засунула? Вставайте, Ольга, Антонида... Огонь вздуйте... Куда сунули кремь, огниво... Мишка, Ванька, вставайте — запрягать...

.

Бревенчатый новостроенный царский дворец стоял за рекой, на полуострову, между старым и новым руслами. Петр там почти что и не жил,— ночевал, где застанет его ночь. Во дворце остановилась Наталья Алексеевна с царевичем и вдовая царица Прасковья¹ с дочерьми — Анной Ивановной, Екатериной Ивановной и Прасковьей Ивановной. Туда же вповалку разместили приехавших на празднество боярынь с боярышнями. Из дворца выйти было некуда, кругом — болота, ручьи. Из окон видны одни дощатые крыши корабельных складов, ярко-желтые остовы кораблей на стапелях (по берегу старого Воронежа), овраги с грязным снегом да холмы, щетинистые от пней.

Буйносовы девы в ожидании балов и фейерверков томились у окошка,— вот уж не нашли плоше места! Ни рощи — погулять, ни бережков — посидеть, кругом — тина, мусор, щепки... С берега, с желтых кораблей несутся стукотня, мужичьи крики. Туда часто подъезжали верхами кучи кавалеров. Но девы только,— ах!..— издали на стройных всадников. Никто не знал, когда начнутся развлечения. Теперь по ночам у кораблей зажигали костры — работали всю ночь. Девы занавешивали юбками оба окошка в светелке, чтобы не просыпаться от страшных отблесков пламени...

Когда на дворе, огороженном бревенчатыми стенами, подсохла грязь, выходили на крылечко, на солнышек,— скушать. Конечно, можно было развлечься с девами, сидевшими на других крылечках: с княжной Лыковой дурищей — поперек себя шире, даже глаза заплыли, или княжной Долгоруковой — черномазой гордячкой (скрывай не скрывай — вся Москва знала, что у нее ноги волосатые), или с восьмью княжнами Шаховскими,— эти — выводок зловредный — только

¹ Вдова царя Ивана.

и шушукались между собой, чесали языки. Ольга и Антонида не любили бабья.

Однажды во двор нагнали мужиков,— в одно утро поставили качели и карусель с конями и лодками. Но к потехам не пробиться: то царевич хотел кататься, толкая мамок; чтобы не держали его за пояс, то маленькие царевны Иоанновны. С ними выходил наставник,— в одном кармане кафтана — шелковый платок для вытирания носа, в другом — пучок прутьев — розга,— немец Иоганн Остерман, с весьма глупым большим лицом, насупленным от важности, в круглых очках. Он усаживал царевен в лодочки, сам садился на расписного коня, говорил мужикам, крутившим карусель: «Нашинай, абер лангзам, лангзам»¹,— закрыв под очками глаза, широкая огромными подошвами, крутился до одури.

Иногда с большого крыльца скатывались пестрой кучей дурачки в кафтанцах наыворот, эфиопы — черные, как сажа, два старичка-шалуна в бабьей одежде, задастые комнатные женщины, и выплывала, ведомая под локти со ступеней, царица Прасковья в просторном платье черного бархата. Ей выносили стул, подушки,— садилась, отворачивая от солнца голубоглазое, полное, как дыня, подрумяненное лицо. Парика не носила, темные волосы свои были хороши. Карлики, дурачки, шалуны, надувая щеки, садились у ног ее. Комнатные женщины умильно становились за стулом.

— Садитесь, садитесь,— лениво говорила царица боярышням, чтобы больше не кланялись, оставались бы сидеть на крылечках. Смотрела на качели, на карусель, начинала слабо стонать, клоня набок голову. Женщины испуганно придвигались:

— Что, матушка, свет ясный, что болит?

— Ничего... Отвяжитесь... (У царицы всегда что-нибудь болело,— была сыра.) Эй ты, Иоганн. Будет тебе крутиться-то, царевнам головки закружишь... Вот уж, господи прости, дурак немец... Долговязый такой, в очках, а только ему крутиться...

Иоганн Остерман подводил девочек к матери. Старшая, восьмилетняя Екатерина, была ряба, глазки у нее косили,— за это царица ее жалела. Младшую, толстенную, веселую Прасковью, любила,— гладила по кудрявым волосикам, притянув к животу между раздвинутых колен, целовала в лобик. Средняя, Анна Ивановна², смугловатая угрюмая девочка с бледными губами, подходила робко, всегда позади сестер...

— Чего под ноги косишься, мать не съест,— говорила царица. Брала с поднесенной шалуном-старичком тарелки

¹ Лангзам — по-немецки — медленно.

² В будущем — императрица Анна.

сладость, одаривала любезную Пашеньку, одаривала Катеньку и — «на пряник!» — совала Анне. Вздыхнув, оглядывала наставника — от суконных коричневых чулок до приглаженного паричка. — Ох, рано ему детей отдала, — надо бы им с мамками еще понежиться...

Задастые женщины трясли за стулом юбками.

— Рано им, свет-матушка, рано в науку-то...

— А ну вас, не шипите в ухо... — Царица морщилась. Подзывала Остермана. — Что, немец, им читал нынче? Учил ли прынцесс по-немецки, цифири учил ли?

Иоганн Остерман, выставляя ногу, поправлял очки и весь-ма длинно, без сути дела, докладывал. Царица медленно кивала, не понимая ни слова. Одно понимала: как прежде, по старине, теперь не жить. Хотя и трудно — равняться надо по новым порядкам. Памятен остался ей девяносто восьмой год, когда за эту старину разогнали весь кремлевский верх, царевна Софья с сестрами едва кнута миновала, царица Евдокия при живом муже серую монашкою слезы льет в Суздале...

Прасковья недаром была родом Салтыкова — сыра, но умна, — умен был и советчик ее, управляющий и дворецкий, родной брат Василий. Они понимали, — Петру Алексеевичу в Москве без приличного царского двора не обойтись: иноземные послы, именитые иноземцы взыскательны, не всякого потащишь на Кукуй к Монсихе... Царица Прасковья завела в доме политес и принимала послов, путешественников, важных торговых людей из-за границы. Любезная старина оставалась у нее в задних комнатах, с глаз ее убирали, когда надо. За все это Петр Алексеевич царицу Прасковью любил и жаловал.

Поскучав на солнцепеке, Прасковья Федоровна удалялась с дочерьми и челядью. Буйносовы девы садились на карусель, дриказывали мужикам вертеть шибче чего невозможно. Тихо визжали. Издалека доносились пушечные выстрелы да крики мужиков, поднимающих мачту где-нибудь на корабле. А там уж и обед. Дрема в жарких светелках, пахнувших смолой. Раза два из города присылали от Романа Борисовича за бельцом. Посланный рассказывал, что князюшка живет в великой тесноте — вчетвером в камерке на дворе у Апраксина, и когда кончится воронежское сидение — никто не знает...

В полдень однажды во двор верхом въехал Петр, худой, загорелые щеки свежее выбриты. Весело оглянулся на карусель, взглянул на окошки, где заматалось сонное бабье. Соскочил с коня, поправил шарф, коим был опоясан по узкому кафтану, и побежал наверх к царице Прасковье.

Минуты не прошло — всему дворцу стало известно, — завтра утром спуск корабля, и начинаются празднества.

Двухпалубный пятидесятипушечный корабль «Предестинация» стоял на пологом берегу на стапелях и стрелках. Крутая корма его, с тремя ярусами квадратных окошек, искусно изукрашена дубовой резьбой. По черным бортам — две белых полосы, на медных петлях откинuty пушечные люки. Подкручены к реям паруса из суровой парусины. На тупом носу, расположенном значительно ниже кормы, голая наядя поддерживала мощными, как бревна, руками длинный бушприт, несущий, в отличие от прежних кораблей, одни только косые паруса. Корабль был построен по чертежам Петра, под наблюдением его, Федосея Склаева и Аладушкина.

Солнце поднялось за цыпляче-зелеными холмами, за ветхими башнями Воронежа. День — безоблачный, прохладной синевы. Приятный ветер легко рябил воду, заманивал распустить паруса, плыть, куда полноводно течет река, — в весеннюю даль.

На дощатом помосте, близ корабля, стояли столы с яствами и питьем. Ветром трепало углы суконных красных скатертей, перья на шляпах, локоны париков, кисти офицерских шарфов. За столами сидели царица Прасковья и царевна Наталья с детьми, послы и посланники, голландские и английские купцы, поляки, немцы, иезуит из Парижа, Амалия Книперкрон, саксонский военный инженер Галларт и только что прибывший с письмом короля Августа имперский герцог Карл Евгений фон Круи. Гости, хотя бы и весьма родовитые, но не столько сейчас важные, стояли за столами на помосте. Матросы разносили водку в деревянных ведрах.

Герцог фон Круи сидел небрежно между царицей и царевной, облокотясь, покручивая светлые усы, глядел невидяще — поверх. Нос у него был длинный, кривоватый, лицо вялое, с подглазными мешками, плоский парик начинался от самых бровей. Под лиловым кафтаном — орденская лента, на шее — золотая цепь, на боках — алмазные звезды. Даже царица с царевной робели перед ним: еще бы — герцог Священной Римской империи, непобедимый воин, участник пятнадцати знатных сражений. Но, видимо (так понимали московские, хотя и виду не показывали), карман у герцога был пустой, иначе бы — черт его занес в Воронеж... За стулом его стоял переводчиком Петр Павлович Шафиров.

Герцог говорил, щуря красноватые веки:

— Россия — прекрасная страна, русские — трудолюбивый и богобоязненный народ, женщины в России — восхитительны. В Европе несколько удивлены настойчивым стремлением русских воспринимать наши обычаи, нашу одежду. России самим богом указано обратить взоры на Азию. Привести к подножию царского престола бесчисленное множество азиатских народов, проложить свободный путь в Персию и Ки-

тай — вот превосходнейшая задача для пользы всего христианского мира...

Герцог не окончил размышления: гости зашумели, заширкали ногами. От корабля быстро шел царь в голландских, до колен, бархатных штанах, в парусиновой рубаше с закатанными рукавами, на затылке — клеенчатая круглая шляпа. Он остановился у помоста и почтительно снял шляпу перед толстым адмиралом Головиным, сидевшим под копной парика со стаканом венгерского...

— Господин адмирал, по здоровью...

— Здравствуй, мастер Петр Алексеевич, — важно ответил Головин.

— Господин адмирал, корабль готов к пуску. Прикажи выбивать стрелы?

— С богом, начинайте.

Герцог, бросив теревить усы, с изумлением глядел, как царь, будто простой плотник, будто человек подлой породы, поклонился адмиралу, надел шляпу и торопливо зашагал по щепкам. «Готовься...» — закричал рабочим, и те засуетились под крутым днищем корабля. По пути он подхватил чугунный молот: «Становись к стрелам... Разом... Выбивай...» Раздались удары молотов по бревнам, подпиравшим спереди огромное судно. Заиграли протяжно рожки. Гости встали, высоко держа стаканы. Было видно, как под рубашкой ходят лопатки у Петра, работающего молотом. Мачты качнулись, корабль несколько осел на салазках. Помедлил, тронулся по наклонным стапелям, смазанным салом. «Пошел, пошел...» — закричали на помосте.

Корабль все быстрее соскальзывал к реке. Под салазками задымилось сало. Нос коснулся воды. Позолоченная наяда ушла по пояс. Стремительно, раскидывая перед собою две волны, корабль вылетел на воду, повернулся и закачался. На мачты побежали вымпелы, ветер взвил их узкие шелковые языки. С бортов выбросилось пламя, ударили пушки...

.

Вторые сутки шел пир у Меньшикова на подворье — на городской стороне, у моста. Часть гостей вовсе не спала, иные валялись под столами на сене (в столовой палате уже несколько раз убирали с пола все сено, стелили новое). Дамы, отдохнув чуточку, поддурмываясь, напудрясь, сменив платье, снова подъезжали вскачь в грохочущих каретах. Вчера был фейерверк, сегодня — большой бал.

Иноземцы оставались весьма довольны празднествами. Петр Павлович Шафиров, не щадя себя, поил их лучшим венгерским и сектом (своим подавали поплоше). Добился, прехитрый еврей, того, что некоторые посланники написали друзьям в Константинополь о всем здесь виденном: после

«Предестинации» за неделю спущено еще пять больших кораблей и четырнадцать галер, остальные суда торопливо достраивались,— до самой слободы Чижовки виднелись их ребристые остовы. Если прибавить все это к азовскому флоту, султану, берегущему Черное море, как чистую, непорочную девицу, не придется слишком надуваться в переговорах о мире...

.

Антонида в нежно-лазоревоm платье, Ольга — в пронзительно-лимонном кушали в двухсветной, дощатой, наспех построенной зале,— полтораcта гостей сидели с внешней стороны поставленного покоем стола,— внутри возились шуты: скакали в чехарду, дрались пузырями с горохом, лаяли, мяукали, поднимали такую возню — сено летело на блюда и парики. На дураков никто уже не смотрел. Князь-папа в жестяной митре — под балдахинoм — умаялся, старик, махать платочком в окно пушкарям после каждой заздравной чаши,— от пушечных залпов сотрясались стены. Почтенный шут Яков Тургенев насмешил давеча всех,— надев чалму, татарский халат и туфли, въехал на горбатой грязной свинье в залo, тряс обрюзгшим лицом, привязной бородой.

— Подходитя,— кричал,— подходитя, целуйте пятку султанскому величеству...

Сейчас он, мертвецки пьяный, валялся под столом.

Охрипли матросы-песельники, роговые музыканты несли несуразное. Все ждали танцев. Рядом с Ольгой сидел кавалер — прапорщик Преображенского полку Леопольдус Мирбах, рядом с Антонидой — моряк поручик Варфоломей Брам. Ольгин кавалер еще лопотал кое-как по-русски, мял ладонями лицо, чтобы отрезветь, но датчанин Брам, красный, как говядина, только пил, подмигивал обмиравшей деве. Ах, какие там еще разговоры и о чем?.. — все пустое!.. Только подать кончики пальцев кавалеру, приподнять спереди юбочки и в лад под скрипки, с поклонами заскользить по навощенному полу. Девы были взволнованы, как лесное озеро в грозу.

Роман Борисович сидел за другим концом стола с Авдотьей. Князю не моглоcь, что далек от государя. Петра окружили иноземцы: рядом — герцог фон Круи, до того пьяный, что только мотал головой, как лошадь от мух, по другую сторону — Амалия Книперкрон. До последней минуты Петр был весел, шутил и развлекался... Но что-то случилось (заметили только,— к нему подходил Меньшиков, шепнул на ухо), — и в глазах его пропал смех. Он, видимо, сдерживался. Когда подали новую перемену блюд, так стал дергать ножом и вилкой,— то мимо тарелки, то себе в лицо,— Амалия Книперкрон с нежным участием положила руку ему на обшлаг:

— Герр Питер, нужно успокоиться...

Он бросил вилку, нож, морщась засмеялся:

— Руки — враги мои... (Сунул руку под стол.) Ну, чего уставилась, умница? Так сегодня еще спляшем — каблучки собьем...

Морщинки побежали на ее лоб, сказала тихо, с укоризной:

— Герр Питер, разве я более недостойна вашего доверия? Зрочки его метнулись, крылья короткого носа раздулись:

— Вздор, вздор!

— Герр Питер, у меня тяжелое предчувствие.

— Старуха на бобах чего-нибудь нагадала?..

Отвернулся. У Амалии затряслись губы:

— Мой отец тоже в сильнейшей тревоге... Сегодня получила письмо...

— Письмо? — Он уставился кругло, как хищная птица, на взволнованное лицо девушки. — Что пишет Книперкрон?

— Герр Питер, мы бы хотели не видеть того, чего нельзя больше не замечать... Хотели бы не слушать. Но об этом говорят уже не таясь... (Амалия страшилась произнести какое-то слово, нос ее начал краснеть.) Сие противно разуму... Сие было бы коварство... (От напряжения у нее налили слезы.) Одно слово ваше, герр Питер...

Будто для глубокого вздоха она приоткрыла рот. За стулом Петра быстро, сурово остановился Василий Волков. Обветренное лицо — не брито, суконный кафтан смят, — видимо, только что вынут из походной сумки, — за обшлагом торчал угол письма. Амалия сильно побледнела, зрочки ее торопливо перебежали с царя на Волкова. Она знала, что Василий с женой — за границей... Сюда он прискакал явно не с добрыми вестями...

Петр указал ему на стул рядом: «Садись». Подошел, криво улыбаясь, Меньшиков в роскошном парике. Петр протянул руку, Волков поспешно подал письмо.

— От короля Августа, — сказал Петр, не глядя на Амалию. — Дурные вести... В Ливонии беспокойно... (Он вертел письмо, — решительно засунул его за борт кафтана.) Ну, что ж... Ливония далека... нам веселиться не помешают... (И — Волкову.) Передай на словах...

Волков приподнялся было, Меньшиков за плечи посадил его и стоял, облокотясь о спинку стула.

— Саксонское войско короля Августа вторглось в Лифляндию без объявления войны, — запинаясь, сказал Волков. — Подошли к Риге, но смогли занять лишь невеликую крепость Кобершанц. Город атаковать побоялись за жестоким огнем шведов... Генерал Карлович после сей неудачной диверсии пошел к морю и приступом взял крепость Динамюнде, под коей в конце штурма был убит наповал из мушкета.

— Жаль, жаль Карловича, — проговорил Петр. — Что ж, это все твои вести?.. — Он положил холодную руку на руку

Амалии. Девушка часто дышала. Он больно сжал ее руку. Волков замялся. Александр Данилович, пропуская локоны парика сквозь пальцы в перстнях, сказал небрежно:

— Я его спрашивал, более ничего не знает,— был в Варшаве, когда пришли вести из-под Риги. В тот же день король Август послал его сюда. Саксонцы Риги не взяли и не возмут,— у шведов зубы крепки... Пустое дело затеяно.

Амалия, не выдергивая руки, быстро наклонила дрогнувшее лицо.

— Это война, это война, герр Питер,— зашептала.— Не скрывайте от меня... Я еще по дороге поняла... О, какое несчастье...

Он с минуту молчал. И — хриповато:

— Что поняла? Говорили что-нибудь? Кто говорил?

Тогда она сбивчиво стала рассказывать про то, как была изумлена речами князя Романа на въезде на дворе.

— Буйносов тебе наболтал? — угрожающе переспросил Петр.— Который? Этот шут? (Амалия, брызгая со щек слезами, закивала.) Этому дураку поверила? А еще слынешь у нас умницей... Возьми платочек, оботрись... (Он чувствовал,— Амалия против воли своей вникает ему, затихает.) Так и напиши отцу: никогда не соглашусь начать несправедливую войну, не разорву вечного мира с Каролусом. А буде король польский и завладел бы Ригой,— не достанется ему сей город, вырву из лап... В сем клянусь богом...

Петр честно округлил глаза. Александр Данилович подтвердительно наклонил голову, лишь рот прикрыл пальцами, ибо усмешка какая-нибудь была бы неуместна в сем случае.

Амалия прикладывала к щекам платочек, смущенно улыбалась. Поверила и раскаивалась. Петр весело откинулся на кожаную спинку стула.

— Князь Роман,— позвал,— подь к нам.

За визгом шутов, поднявших возню вокруг блюда с миногами (катались клубком, вырывая миноги изо рта друг у друга), Роман Борисович не сразу расслышал царский голос,— до икоты смеялся. Антониды и Ольга страшными глазами указывали ему: зовет... Княгиня Авдотья потянула его за штаны: «Иди за милостью, иди, дождались, батюшка...»

Рысцой отпирывался на зов Роман Борисович, задрал шпалю сзади камзол, кланялся: «Вот он я, надежда,— твой с душой и телом». Петр даже щекой не повел в его сторону, и — Амалии:

— Муж сей — отменный политик и задорный. Уж не знаю — генералиссимусом его поставить,— боюсь — много крови прольет. Или взять для домашнего употребления.

И он так вдруг повернулся к Роману Борисовичу,— у того поплыла красная тьма в глазах:

— Слышал — воевать собираешься. Назад брать наши исконные ливонские вотчины. Так, спрашиваю?

Роман Борисович начал моргать, тошнота поползла от живота в колени...

— Смелые генералы нам нужны. За великую отвагу жалую тебя генералиссимусом всего шутейского войска.

Вскочив, Петр потащил за руку Романа Борисовича к помосту, где князь-папа, свесив руки, насупя опухшее лицо, рычал во сне, будто кончался. Петр начал его трясти... «Иди к черту», — пробормотал князь-папа. Гости, чуя новую потеху, теснились вокруг помоста. Шуты пролезли меж ногами, расселись на ступенях. Князю-папе вложили в руку крест из двух связанных табачных трубок, в другую — сырое яйцо. Романа Борисовича поставили на колени. Растормошенный князь-папа подбирал слюни:

— Жаловать? — спросил. — Пожалую, хрен с ним...

И ткнул яйцом по темени Романа Борисовича, — желток потек по парику, — сунул в лицо трубками и ногой отпихнул его. Шуты закукарекали. Посадили князя Романа верхом на стул, дали держать обглоданную кость от свиного окорока, потащили в середину столов. Роман Борисович окаменел, сжав кость, разинув рот. Гости, тыча в него пальцами, качались от смеха. Звонко смеялась и Амалия Книперкрон — все страхи ее, вся боль сердца окончились потехой.

Антонида и Ольга только тогда воистину поняли беду, когда, оглянувшись, не нашли подле себя кавалеров, — Леопольдус Мирбах и Варфоломей Брам в дверях танцевальной залы, упрямо-спьяну и низко кланялись зловредным княжнам Шаховским. Восемь княжен, округляя голые руки, вертя напудренными париками, без счету приседали, поглядывали задорно на буйносовских дев.

2

Тогда зимой Волковы так и не доехали до Риги. Широкий зимний шлях лежал из Смоленска через Оршу на Крейцбург. За польской границей не то, что в Московском царстве (от деревни до деревни — день пути глухими лесами), — селенья попадались часто: на высоком месте монастырь или костел и барский дом, в иных местах и замок с каменными стенами и рвами. У нас в усадьбах жили одни мелкопоместные служилые люди или уж опальный какой-нибудь боярин сидел, как барсук, угрюмо за высоким тыном. Польские паны поживали весело, широко.

Александре Ивановне до смерти не моглось — свернуть с дороги в один из таких чудных замков, чьи острые графитовые крыши и огромные окна виднелись за вековыми ли-

нами. Волков сердился: «Мы люди государевы, едем с грамотами, напрашиваться нам неместно, пойми ты наконец...»

Напрашиваться не пришлось. Однажды поздним вечером въехали в большую деревню, будто мертвую,— даже собаки не брехали. Остановились у корчмы. Покуда хозяин, высокий, сутулый еврей в лисьей шапке, с трудом отворял ворота, Александра Ивановна вылезла из возка — размяться на снегу. Глядела на половину месяца, тоскливый свет его не загасил звезд. Саньке было томно отчего-то... Тихо шла по улице... Небольшие избы почти все позавалялись, многие — без крыш,— одни жерди чернели в лунном небе. Дошла до заиндевевшей плакучей ивы,— под ней часовенка. У запертой дверцы уткнулась ничком, зажав ладонями лицо, какая-то женщина в белой свитке. Не обернулась на скрип снега. Санька постояла, вздохнула, отошла. Все ей чудилось — музыка где-то далеко.

Окликнул Волков. Пошли в корчму через длинные сени, уставленные кадушками и бочонками. Хозяин светил саловой свечой — плотная борода у него торчала вперед маленького лица,— с глазами старыми и мрачными.

— Клопов нет, хорошо будете спать,— сказал он по-белорусски.— Только пану Малаховскому не вошло бы в ум наехать на корчму. Ох, бог, бог...

В жаркой корчме пахло кислым. За рваной занавеской плакал в зыбке ребенок. Санька сняла шубу, прилегла на принесенные с холоду подушки,— ей тоже хотелось плакать. Зажмурясь, чувствовала,— поправее сердца (где живет душа) — невыносимая тревога... Не то жалко кого-то, не то любить хочется.

Дверь в корчме поминутно хлопала,— входил, уходил хозяин, люди какие-то. Ребенок плакал покорно... «Опять не спать ночь...» Муж позвал: «Саня, ужинать-то будешь?» Притворилась, будто спит. Мерещился ущербный месяц, тускло светившийся у часовни на спину бабы в белой свитке. Отмахнуться хотела — нет... Мерещилось давнишнее: страшные глаза матери, когда умирала... Горит светец, маленькие братики в обмоченных рубашонках свесили головы с печи, слушают, как стонет мать, глядят на тень от прялки на бревенчатой стене,— будто это старик с тонкой шеей, с козлиной бородой... «Саня, Саня,— вздохом одним звала мать,— Саня, их жалко».

Волков не спеша хлебал лапшу. Дверь опять бухнула, кто-то, войдя, осторожно вздыхал. Санька глотала слезы: «Вот так и проедешь мимо счастья». Муж — опять: «Саня, да съешь ты хоть молочка».

Женский голос у двери: «Милосердный пан, сохранит тебя владычица небесная,— третий день не ели, пожалуй от своих милостей хлебца». Санька,— будто у нее душу проко-

лоло,— села к лавке. У двери на коленях стояла женщина, за пазухой белой свитки у нее бочком лежало ребячье жалкое личико. Санька сорвалась, схватила блюдо гусятин: «На! — подала и невольно сама закивала ей по-бабы.— Уходи, уходи».

Баба ушла. Санька села к столу,— так билось сердце — молока даже не могла выпить. Волков спросил у еврея-корчмаря:

— Что же — у вас неурожай, что ли, был?

— Нет, до этого бог еще не довел. Пан Малаховский забрал хороший урожай и уже отвез его в Кенигсберг...

— Видишь ты,— удивился Волков и положил ложку.— В Кенигсберг продают. И цены берут хорошие?

— Ох, цены, цены! — Хозяин закричал, вертя войлочной бородой, поставил подсвечник на лавку, но сам сесть не решался.— Нынче кенигсбергские купцы хорошо понимают,— кроме них, ни к кому не повезешь пшеницу, в Ригу не повезешь,— кто же захочет платить пошлины шведам. Ну, и дают гульден...

— Гульден! За пуд? — Волков недоверчиво раскрыл голубые глаза.— Да ты, может быть, врешь?

— А, ей-богу, не вру, зачем мне врать ясновельможному пану? Когда я был молодой — возили хлеб в Ригу, так давали по полтора и по два гульдена. Пан не рассердится, если я сяду? Ох, бог, бог... Все шутки пана Малаховского... зарубил саблей нашего еврея Альтера на деревне у пана Бадовского. А пан Бадовский такой пан, что за простую курицу готов поднять всю свою загоновую шляхту,— Альтер был у него фактором. Так пан Бадовский налетел со шляхтой на пана Малаховского. Была стрельба из пистолей! О, бог, бог... Потом пан Малаховский налетел со своей шляхтой на пана Бадовского. Сколько извели пороха — и все из-за одного убитого еврея... Потом они помирились и выпили пятьдесят бочонков пива. Сюда налетели шляхтичи пана Малаховского, схватили меня, схватили пятерых наших евреев, бросили нас на простую телегу, придавили жердями, как снопы возят, и повезли к пану Бадовскому на двор... Пан Малаховский держался за живот,— так он смеялся: «Вот тебе, пан Бадовский, за одного жида — шестеро». У Янкеля Кагана сломали ребро, покуда он лежал в телеге, у Моисея Левида отбили печеньку, у меня ноги сохнут с тех пор...

— Так, если не врешь,— сказал Волков, наливая молока в глиняную тарелку,— отчего же деревня у вас худая?

— А мужикам с чего жиреть?

— Не жиреть, зачем? Обрастать мужику нельзя давать очень-то... Все-таки избы прикрыть бы надо. Это что же у вас,— посмотрел,— сюты лучше живут... Оброчных, видимо, нет совсем?

— У нас все мужики на барщине.

— И сколько дней барщина?

— А все шесть дней на пана работают.

Волков опять удивился... «У нас бы царская казна не допустила,— с такого голого мужика полутшки не возьмешь...»

— Кто же у вас в казну дани платит? Паны, что ли?

— Нет, паны даней не платят. Мы панам платим...

— Вот так государство.— Волков усмехнулся, покрутил головой.— Саня, вот воля панам...

Но Санька не слушала. Глаза раскрыты, зрачки остановились. Повернулась к окошку, прильнула к мокрому стеклу. На улице все громче слышалась музыка, бубенцы, голоса. Корчмарь, забеспокоясь, взял подсвечник, сутуло зашаркал к двери:

— Так я же говорил,— пан Малаховский вам не даст спать...

У корчмы остановился десяток саней. Евреи пиликали на скрипках, дули в хрипучие кларнеты. Шляхтичи, вповалку на коврах, задирая ноги, хохотали, кричали, подзадоривая. Один, усатый, в коротком кожаном, отплясывал на утопанном снегу,— то важно выступал, проводя по усам, то бешено крутился, и сабля летела за ним.

Подскакали всадники с факелами, соскочили наземь. Из темноты вырос четверик рослых коней с павлиньими перьями на заданных башках,— в открытых санях — дамы. (Санька так и прилипла к стеклу, лупясь на заграничных: все в узких бархатных шубках, меховые воротнички, маленькие шапочки — набок.) Дамы смеялись, озаренные факелами. С запяток саней слез коренастый пан, пошатываясь, пошел к корчме, за мутным стеклом увидел Санькино лицо. «Ай-да!» — махнул шляхте. Пан и позади него шляхтичи,— иные в простых кожаных, иные и совсем рваные, но все при саблях и пистолетах,— ворвались в корчму. Пан, красный, как медный котел, раздвинув ноги, провел горстью по усам, столь великим, что не вмещались в горсть. Кунтуш его на черно-бурых лисах был в снегу,— видно, пан не раз валился с запяток. Громыхнув саблей, блестя глазами на Саньку, заговорил пышно, с пропитой надтугой:

— Милостивая моя пани княгиня, проклятый корчмарь поздно донес мне о вашем приезде. Как! Чтобы такая красивая, высокородная пани ночевала в гадкой корчме! Не позволим. Шляхта, вались в ноги, проси пани княгиню в замок...

Шляхтичи,— были между ними и седые, украшенные сабельными рубцами поперек лица,— наполняя корчму духом перегара, стали бросаться на одно колено перед Санькой, сорвав шапку, ладонью ударяли в грудь:

— Милостивейшая пани княгиня, умереть — не встану от

ваших божественных ножек,— пожалуй к пану Малаховскому.

Александра Ивановна, как выскочила из-за стола, сдернув с плеч дорожную шаль, так и стояла перед коленопреклоненной шляхтой, бледная, с поднятыми бровями, только ноздри вздрагивали. Корчмарь высоко держал свечу. Пан Малаховский, глядя на такую красавицу, толкнул одного, другого шляхтича и, подступив, грузно пал сам на колено:

— Прошу.

У Саньки все же хватило ума оглянуться на мужа. Василий сильно испугался, дрожащей рукой расстегнул ворот рубахи, доставая с груди мешок с грамотами — в удостоверение, что он лицо неприкосновенное. Санька с некоторой заминкой, но голосом певучим проговорила:

— Буду счастлива сделать знакомство...

Вторую неделю пировал пан Малаховский, шумел на все Оршанское воеводство. Пани Августа, жена его, так любила веселье и танцы,— заплясывала кавалеров до одури. Иной, уморясь, прятался куда-нибудь в чулан,— будили, приволакивали заспанного в колонное зало, где на хорах из последних сил выбивались музыканты,— тощие, в заплатанных лапсердаках,— с венецианских люстр под пышно расписанным потолком капал воск свечей на потные парики, развевающиеся юбки, в соседних покоях воодушевленно пила и горланила загоновая шляхта.

Среди ночи вдруг пани Августа,— маленькая, кудрявая, с ямочками на щеках,— придумав новую забаву, хлопала в ладоши: «Едем». Валились в сани, с факелами мчались к соседу, где снова бочонки венгерского, целиком зажаренные бараны для высоких гостей, для шляхты — огромные миски рубцов с чесноком. Осушали чаши за прекрасных дам, за польский гонор, за великую волю Ржечи Посполитой.

Или придумывала пани Августа нарядить гостей турками, греками, индусами, шляхтичам поплоче мазала лица сажей. Увеселясь ночь, на рассвете ряжеными шли в соседний монастырь, приветливо бренькавший колоколом за голыми деревьями на пригорке. Стояли обедню и потом в белой трапезной, согретой пылающими бревнами в очаге, пили столетние меды, шутили с галантными монахами в надушенных рясах и шпорах — про всякий случай.

Санька со всем пожаром души своей кинулась в это веселье. Только меняла платья и мокрые сорочки, обтиралась душистой водкой и снова, похудевшая, высокая, вся пропитанная музыкой, гордо кланялась в менузте, как бешеная крутилась в польском.

Василий крепился поначалу, но к нему приставили двух обедал и опивал, знаменитых во всей Польше богаты-

рей — пана Ходковского и пана Доморацкого. Это были такие шляхтичи, что разом выпивали кубок в четыре кварталы пива, съедали целиком гуся со сливами, заедали миской вареников, запивали пятью бутылками венгерского. Василий день и ночь с ними целовался. Когда находило просветление — с тоской искал жену: «Голубушка, Санечка, собираться надо, довольно». Санька и не оглядывалась. Пан Ходковский обнимал его за плечи, — покачиваясь, шли пировать дальше...

Василий мычал, зарывался в подушку, — кто-то тряс за плечо. (Спал одетый, только снял кафтан и шпагу.) Голова свинцовая — не поднять. Трясли упрямо, впивались ногтями... «Ох, что еще?»

— Иди со мной танцевать... Иди же, иди, — торопливо повторил Санькин голос, до того странный, что Василий поднялся на локте. У кровати Санька кивала ему напудренной головой... Глаза такие — будто пожар в доме, беда стряслась... — Со мной не хочешь танцевать?

— Рехнулась, матушка... Утро на дворе...

Санькино изменившееся лицо, оголенные плечи были голубоватые от света зари за большим прозрачным окном... «До чего себя довела, — ни кровинки».

— Ложись ты спать лучше.

— Не хочешь, не хочешь... Ах, Василий...

Она стремительно села на высокий стул, уронила голые руки. Пахло от нее французскими сладковатыми духами, чужим чем-то. Не мигая, глядела на мужа, — по горлу катился клубочек.

— Вася, ты любишь меня?

Спроси она про это мягко, обыкновенно, — нет, спросила будто с угрозой. Василий от досады ткнул кулаком в подушку:

— Меня-то хоть ты оставь жить покойно.

Она опять проглотила клубочек:

— Скажи, как ты меня любишь?

Что сказать на это? Вот чепуха бабья! Не трещала бы так голова с похмелья, Василий непременно бы выругался. Но не было ни сил, ни охоты, — молчал, с укоризненной усмешкой оглядывал жену. Санька тихо всплеснула руками:

— Не убережешь... Грех тебе...

Встала, ногой отбросила длинный хвост платья, ушла...

— Дверь-то закрывай, Саня...

.....

Василий так и не мог заснуть, — вздыхал, ворочался, слушающая отдаленную музыку внизу, в залах. Не хотелось, а дуалось: «Плохо, нехорошо». Сидел на постели, держась за голову... «Никуда не годится так жить...» Оделся, черным ходом пошел к службам — взглянуть, в порядке ли возок.

Увидев у каретника Антипа кучера (купил его за шестьдесят рублей у смоленского воеводы — взамен пропавшего под Вязьмой), обрадовался своему человеку:

— Что ж, Антип, завтра поедем.

— Ах, Василий Васильевич, хорошо бы,— так уж тут надоело.

— Вечером сбегай к корчмарю насчет лошадей.

Василий медленно возвращался через парк. Мело чистым снегом, важно шумели деревья с грациными гнездами. На пруду работало много мужиков и баб,— видимо, согнали всю деревню расчищать снег, ставили какие-то жерди с флагами, хлопавшими по ветру. «Все пустяки да забавы». Василий вдруг остановился, будто кто схватил за плечи,— сморщился. Колотилось сердце. Догадался: он! Сколько раз видел его сквозь пьяный угар, сейчас только понял — он,— пан Владислав Тыклинский, рослый красавец в парижском апельсинового бархата кафтане. Александра — все с ним: меуэт — с ним, контрданс, мазурку — с ним.

Василий глядел под ноги. Снег лепил в щеки, в шею. Но мелькнула эта острая догадка, и опять все стало затягивать похмельной одурью. Решения не принял. А его уже искали завтракать. (Обычай здесь такой,— после веселой ночи — ранний завтрак и — спать до обеда.) Опостылевшие друзья, Ходковский и Доморацкий, хвастуны, лгуны толстопузые, хохоча, подхватили под руки: «Какой бигос подан, пан Василий...» Александры за столом не было и того — тоже... Василий хватил крепкой старки, но хмель не брал.

Он вылез из-за стола, прошел в танцевальную залу — пусто. На хорах, привалясь к турецкому барабану, спал длинный костлявый еврей. Василий осторожно приотворил двустворчатые двери в зеркальную галерею — вдоль окон по навощенному паркету, замусоренному цветными бумажками, шли пан Владислав, нахально задрав шпагой полу апельсинового кафтана, и Александра. Он горячо ей говорил, норовисто вздергивал париком. Она слушала с опущенной головой. В ее склоненной шее было что-то девичье и незащищенное: завезли за границу неопытную дурочку, бросили одну, обидят — только слезы проглотит...

Василию бы надо подступить гневно, потребовать сатисфакции у гордого поляка, но он только глядел в дверную щель, страдая от жалости... «Эх, плохой ты защитник, Василий». Тем временем пан Владислав указал красивым взмахом на боковую дверь, у Саньки чуть приподнялись лопатки, чуть покачала головой. Повернули, ушли в зимний сад. Василий невольно потянулся — засучивать рукав... Не рукав — одни кружева. И шпага осталась наверху... А, черт!..

Он с треском откинул половинку двери, но сзади налетели на него шумные толстяки Ходковский и Доморацкий...

— Ты отдавай только, пан Василий, горячие кныши со сметаной...

Опять сидел за столом,— в смятении. И стыд и гнев. Тут — явный сговор. Обжоры эти спаивают его... Бежать за пнягой,— биться? Хорош государев посланный — из-за бабы задрался, как мужик в кружале... А, пускай! Один конец!

Оттолкнул поднесенный стакан, быстро вышел из столовой. Наверху, стискивая зубы, искал шпагу... Нашлась под ворохом Санькиных юбок... Со всей силы перепоясался шарфом. Сбежал по каменной лестнице. В замке уже легли почивать. Обежал зимний сад — никого. Наткнулся на комнатную девушку,— низко присев перед ним, она пропищала:

— Пани княгиня, пани Малаховская и пан Тыклинский поехали кататься, сказали, чтобы до вечера их не ждали...

Василий вернулся наверх и до сумерек сидел у окна, глядел на дорогу. Додумался даже до того — стал сочинять покаянное письмо Петру Алексеевичу. Но бумаги, пера не нашлось.

Потом оказалось — Санька давно вернулась и отдыхала в спальне у пани Августы. После ужина готовился на пруду карнавал и фейерверк. Василий сходил в каретник, приказал Антипу потихоньку приготовить лошадей и кое-что из коробьев отнести в возок. Мрачно возвращался в замок. По карнизам зажигали плашки,— ветер перебегал по огонькам. Снежные тучи разнесло, ночь — голубая, луна срезана сбочку.

Около садовой постройки с каменными бабами, занесенными снегом, Волков услышал хриплые вскрики, частое дыханье, звяканье клинков. Прошел бы мимо,— не любопытно. За углом (у подножья купидона со стрелой) стояла женщина, держа у самой шеи накиннутую шубку, завалилась белым париком. Вгляделся — Александра. Подбежал. Тут же за углом на лунном свете рубились саблями пан Владислав с паном Малаховским. Прыгали раскорячкой, насакивали, притопывая, бешено выхаркивали воздух, полосовали саблей по сабле.

Санька рванулась к Василию, обхватила, прильнула, закинув голову, зажмурясь,— сквозь зубы:

— Увези, увези...

Усатый Малаховский громко вскрикнул, увидя Волкова. Пан Владислав, налетая на него: «Не твоя, не позволим». Через парк подбегали шляхтичи с голыми саблями — разнимать панов.

Василий успокоился, когда отъехали верст с полсотни от пана Малаховского. Саньке он ни слова не поминал,

ни о чем не спрашивал, но был строг. Она сидела в возке, не раскрывая глаз, затихшая. Богатые поместья объезжали стороной.

Однажды проводник, сидевший на облучке, засунув застуженные пальцы в узкие рукава тулупчика, завертелся, указывая с пригорка на черепичную кровлю часовни у дороги. Антип просунул голову в возок:

— Василий Васильевич, нам тут не миновать остановки.

Оказалось — часовня эта (в честь святого Яна Непомука) построена знаменитым паном Борейко, — о тучности его, обжорстве и хлебосольстве сложились поговорки. Дом пана был далеко от дороги, за темным леском. Чтобы без труда зазывать собутыльников, он поставил часовню на самом шляху, — в одной пристройке — кухня и погреб, в другой — трапезная. Здесь постоянно жил капуцин, толстяк и весельчак. Правил службы, в скучные часы играл с паном в карты, вдвоем подкарауливали проезжих.

Кто бы ни ехал, — важный ли пан, беззаботный шляхтич, пропивший последнюю шапку, или мещанин-торговец из местечка, — холопы протягивали канат поперек дороги, пан Борейко, переваливаясь и свистя горлом, подносил ему чашу вина (холопы живо распрягали лошадей), оробевшего человека затаскивали в часовню, капуцин читал молитву, — приступали к пиршеству. Злого пан Борейко людям не чинил, но трезвых не отпускал, иного без сознания относил в сани, иной, не приходя в себя, отдавал богу душу под глухую исповедь капуцина...

— Что же делать-то будем, Василий Васильевич? — спросил Антип.

— Поворачивай, гони что есть духу полем.

Видимо, у панов одно было на уме — веселье; казалось, вся Ржечь Посполитая беззаботно пировала. В местечках и городках что ни важный дом — ворота настежь, на крыльце горланит хмельная шляхта. Зато на городских улицах было чисто, много хороших лавок и торговых рядов. Над лавками и цирюльнями, над цеховыми заведениями — поперек улицы — намалеванные вывески: то дама в босроге, то кавалер на коне, то медный таз над цирюльней. В дверях приветливо улыбается немец с фарфоровой трубкой, или еврей в хорошей шубе не нахально просит прохожего и проезжего зайти, взглянуть. Не то что в Москве купчишка тащит покупателя за полу в худую лавчонку, где одно гнилье — втридорога, — здесь войти в любую лавку — глаза разбегаются. Денег нет — отпустят в долг.

Чем ближе к лифляндской границе — городки попадались чаще. На пригорках мельницы вертели крыльями. В деревнях уже вывозили навоз. Пахло весной в пасмурном небе. У Саньки опять стали блестеть глаза. Подъез-

жали к Крейцбургу. Но здесь случилось, чего не ждали. На постоялом дворе, за перегородкой, отдыхал стольник Петр Андреевич Толстой. (Возвращался в Москву из-за границы.) Услышав русские голоса, вышел в накинутом тулупчике, лысая голова повязана шелковым фуляром.

— Простите старика, — учтиво поклонился Александре Ивановне. — Весьма обрадован приятной встрече...

Пристально и ласково поглядывал из-под черных, как горностаевые хвосты, бровей на раздевающуюся Саньку. Было ему лет под пятьдесят, — худощавый и низенький, но весь жиловатый. В Москве Толстого не любили, царь не мог простить ему прошлого, когда он с Хованским поднимал стрельцов за Софью. Но Толстой умел ждать. Брался за трудные поручения за границей, выполнял их отлично. Знал языки, изящную словесность, умел сходно купить живописную картину (во дворец Меншикову), полезную книгу, нанять на службу дельного человека. Вперед не вылезал. Многие его начинали побаиваться.

— Не в Ригу ли путь держите? — спросил он Александру Ивановну. Калмычка стягивала с нее валеночки. Санька ответила скучливо:

— В Париж торопимся.

Толстой пошарил роговую табакерку, постучал по ней середним пальцем, сунул в табак большой нос.

— Хлопот не оберетесь, лучше поезжайте через Варшаву. (Волков, потирая обветренное лицо, спросил: «Почему?») В Ливонии война, Василий Васильевич. Рига в осаде.

Санька схватилась за щеки. Волков испуганно заморгал:

— Началась. Как же так? Август один, что ли...

И поперхнулся, — так холодно-предостерегающе уколол его глазами Петр Андреевич. Поднял нос, испачканный табаком. Чихнул, — концы фулярного платка взметнулись, как уши.

— Советую вам, любезный Василий Васильевич, свернуть сейчас на Митаву. Там король Август. Он будет рад видеть вас и особенно супругу вашу — столь шармант и симпатик...

.....

Толстой кое-что сообщил о начавшейся войне. Еще с осени саксонские батальоны короля Августа начали подтягиваться к лифляндской границе — в Янишки и Митаву. Рижский губернатор Дальберг (три года тому назад бесчестивший великое московское посольство с Петром Алексеевичем) ничего не хотел видеть, не то пренебрегал этой диверсией. Ригу

можно было взять с налету. Но венусовым весельем и безрассудным легкомыслием потеряли неоцененное время: саксонский главнокомандующий, молодой генерал Флеминг, влюбился в племянницу пана Саниги,— всю зиму пропировал у него в замке. Солдаты пьянствовали своим порядком, грабили курляндские деревни,— мужики стали убегать в Лифляндию, и в Риге наконец спохватились. Губернатор укрепил город.

— С прибытием к войску генерала Карловича военные действия, слава богу, получили начало,— рассказывал Петр Андреевич, морща бритые губы, облюбовывая слова.— Но Венус и Бахус, увы, неглиже на свист пулек: генерал Флеминг ищет битв более жарких. Вместо подступов к шведам храбро подступает к фортеции прекрасной польки,— уже увез ее в Дрезден, и там скоро свадьба...

Из всего рассказа Волков понял, что дела у короля Августа идут плохо. Рассудил: чтобы миновать какой-нибудь оплошности,— не отвечать потом Петру Алексеевичу,— нужно свернуть в Митаву.

.....

— Где ваши рыцари, сударь? Где ваши десять тысяч кирас? Ваши клятвы, сударь? Вы солгали королю.

Август резко поставил зажженный канделябр перед зеркалом среди пуховок, перчаток, флаконов с духами,— одна свеча упала и погасла. Зашагал по серебристому ковру спальни. Обтянутые сильные икры его вздрагивали гневно. Иоганн Паткуль стоял перед ним, бледный, мрачный, стискивая шляпу.

Он сделал все, что было в человеческих силах: всю зиму писал возбудительные письма, тайно рассылал их рыцарям по лифляндским поместьям и в Ригу. Пренебрегая угрозой шведского закона, переодетый купцом, переехал границу и побывал в замках у фон Бенкендорфа, фон Сиверса, фон Палена. Рыцари читали его письма и плакали, вспоминая бывшее могущество ордена, жаловались на хлебные пошлины, а те, кто по редукции лишился части земель, клялись не пощадить жизни. Но когда наконец саксонское войско вторглось в Лифляндию с манифестом Августа о свержении шведской неволи, из рыцарей никто не осмелился сесть на коня, и — хуже того — многие вместе с бюргерами стали укреплять и оборонять Ригу от королевских наемников, жаждущих дорваться до грабежа.

Сегодня Паткуль привез в Митаву эти неутешительные вести. Король прервал обед, схватил со стола канделябр, схватил Паткуля за руку, устремился в спальню...

— Вы толкнули меня в эту войну, сударь,— вы!.. Я об-

нажил шпагу, опираясь на ваши клятвенные обещания. И вы осмеливаетесь заявить, что лифляндское рыцарство — эти шья-ницы и пожиратели ливерной колбасы — еще колеблется.

Август, огромный и великолепный, в белом военном кафтане, подступал к Паткулю, стиснув кулаки, яростно тряс кружевными манжетами, в раздражении выкрикивая много лишнего.

— Где датское вспомогательное войско? Вы обещали мне его. Где пятьдесят солдатских полков царя Петра? Где ваши двести тысяч червонцев? Поляки, черт возьми, ждут этих денег. Поляки ждут моего успеха, чтобы взяться за сабли, или моего провала, — начать неслыханную междоусобицу...

Пена текла с его полных, резко вырезанных губ, холерное лицо тряслось... Паткуль, отведя глаза, сдерживая бешенство, подпиравшее к горлу, ответил:

— Государь, рыцари хотели бы получить гарантию того, что, свергнув шведское господство, не подвергнутся нашествию московских варваров. В этом, думается мне, причина колебания...

— Вздор! Пустые страхи... Царь Петр клялся на распятии не идти дальше Ямбурга, — русским нужна Ингрия и Корелия. Они не посягнут даже на Нарву.

— Государь, я опасаюсь вероломства. Мне известно, — из Москвы посланы лазутчики в Нарву и Ревель будто бы для закупки товаров — им приказано снять планы с этих крепостей.

Август отступил. Большая, с подкрашенными ногтями, рука его упала на эфес шпаги, круглый подбородок выпятился надменно.

— Госюдин фон Паткуль, даю вам королевское слово: ни Нарва, ни Ревель, ни — тем паче — Рига не увидят русских. Что бы ни случилось, я вырву эти города из когтей царя Петра...

Король отчаянно скучал в Митаве, в герцогском дворце. Его пребывание вблизи войска не ускоряло событий. Удалось только взять крепостцу Кобершанц. Два раза бомбардировали Ригу, но безуспешно. Лифляндские рыцари все еще раздумывали — садиться ли на коней. Подольские магнаты настороженно выжидали, готовя, по-видимому, на предстоящем сейме запрос королю: с какими целями он втягивал Польшу в эту опасную войну.

Погода в Митаве была скверная. Денег мало. Курляндские помещики неотесаны, жены их более похожи на стельных коров, чем на соблазнительный пол. Молодой курляндский герцог, Фридрих-Вильгельм, чванный пьяница, наго-

нял непереносимую скуку. Если бы не усилия нового друга — Аталии Десмонт, покинувшей вместе с королем веселую Варшаву, пылкому нраву Августа грозила меланхолия.

Аталия Десмонт затевала балы и охоты, выписала из Варшавы итальянских актеров, разбрасывала деньгами с такой непонятной щедростью, — даже Август иной раз сопел носом, отдавая распоряжение министру двора — изыскать для графини столько-то золотых дублонов. От сурового климата итальянские актеры чихали и кашляли. На изящно задуманных балах местное дворянство, незнакомое с утонченными наслаждениями, только таращилось на роскошь, подсчитывая в уме, во что это обошлось королю.

Однажды король обедал. По обычаю он ел один, спиной к огню камина, за небольшим столом. Дамы сидели перед ним полукругом на золоченых стульчиках. На короле был небольшой галантный парик, легкий кафтан с цветочками, батистовая рубашка падала кружевами до низа живота. Кравчий, пергаментный старик с крашеными усами, подливал гретое вино. Сегодня присутствовало на приеме шесть местных баронесс со свекольными щеками, шесть породных баронов напряженно стояли за их обсыпанными мукой париками. Два стульчика были не заняты.

Август, жуя фаршированного зайца, мутно поглядывал на дам. Потрескивали дрова. Бароны и баронессы не шевелились, очевидно, опасаясь неприличных звуков в виде сопения. Молчание слишком затянулось. Август, облокотясь, вытер губы, уронил на стол салфетку.

— Медам и месье, я не стану повторять о том высоком удовлетворении, которое испытываю, будучи гостем вашего прекрасного города. (Подтвердил это легким движением кисти руки.) Нужно ставить в пример высокие нравственные качества курляндского дворянства: с благородным образом мыслей оно счастливо соединяет трезвую практичность...

Бароны достойно наклонили парики из конского волоса, баронессы, помедлив несколько (так как плохо понимали французскую речь), приподняли пышные зады, присели.

— Медам и месье, увы, в наш практический век даже короли, заботясь о высшем благе своих подданных, принуждены иногда спускаться на землю. Эту истину не все понимают, увы (вздыхнув, подкатил глаза). Что, кроме горечи, может возбудить близорукая и легкомысленная расточительность иного надутого гордостью пана, расшвыривающего золото на пиры и охоты, на кормление пьяниц и бездельников, в то время когда его король, как простой солдат, со шпагой идет на штурм вражеской твердыни...

Август отхлебнул вина. Бароны напряженно слушали.

— Королей не принято спрашивать. Но короли во взорах читают волнение души своих подданных. Месье, я начал эту войну один, с десятью тысячами моих гвардейцев. Месье, я начал ее во имя великого принципа. Польша разодрана междоусобиями. Бранденбургский курфюрст, этот хищный волк, вгрызается нам в печень. Шведы — хозяева Балтийского моря. Король Карл уже не мальчик, он дерзок. Не вторгнись я первый в Лифляндию, завтра шведы уже были бы здесь, курляндский хлеб обложили бы пятерной пошлиной и редукцию распространили бы на ваши земли.

Светлые глаза его расширились. Бароны начали сопеть, дамы втягивали головы.

— Господь возложил на меня миссию, — от Эльбы до Днепра, от Померании до Финского побережья водворить мир и благоденствие в единой великой державе. Кто-то должен есть приготовленный суп. Шведские, бранденбургские, амстердамские купцы протягивают к нему ложки. Я — дворянин, месье. Я хочу, чтобы суп спокойно ели вы... (Он поднял глаза к потолку, словно меряя расстояние, откуда нужно спуститься.) Вчера я приказал повесить двух фуражиров, — они ограбили несколько ферм в имение барона Иксуля... Но, месье... Мои солдаты проливают кровь, им ничего не нужно, кроме славы... Но лошадям нужны овес и сено, черт возьми... Я принужден взывать к дальновидности тех, за кого мы проливаем кровь...

Бароны багровели, понимая теперь, к чему он клонит. Август, все более раздражаясь их молчанием, начал приправлять речь солдатскими словечками. Вошла Аталия Десмонт, — от полуопущенных век смугло-бледное лицо ее казалось страстным. С изящным непринуждением присела перед королем, обмахнулась перламутровым веером (баронесы покосились на эту удивительную парижскую новинку) и — с поклоном:

— Государь, позвольте мне иметь счастье представить вам московскую Венеру...

Волоча огромный шлейф, подошла к дверям и за руку ввела Александру Ивановну: действительно, из всех ее затей эта была, пожалуй, самая остроумная. Аталия, первая узнав о приезде Волковых, явилась к ним на постоянный двор, оценила качества Александры, перевезла ее к себе во дворец, перерыва ее платья, — настрого запретила надевать что-либо московское: «Мой друг, это одежды самоедов. (Про лучшие-то платья, плаченные по сту червонцев!) Парики! Но их носили в прошлом столетии. После праздника нимф в Версале париков не носят, крошка». Приказала горничной бросить в камин все парики. (Санька до того заробела, — только моргала, на все соглашалась.) Аталия раскрыла свои сундуки и обрядила Александру, как «фам де калите в вечерней робе».

Август с приятным удивлением смотрел на московскую Венеру,— две пепельно-русых волны на склоненной голове, кудрявая прядь, падающая на низко открытую грудь, немного цветов в волосах и на платье — простом, без подборов на боках, похожем на греческий туник, через плечо — тканый золотом плащ, волочащийся по ковру.

Август взял ее за кончики пальцев, склонясь, поцеловал. (Она только мелчком увидела багровые лица баронесс.) Вот он — жданный час. Король был, как из-за тридцати земель, будто из карточной колоды, — большой, нарядный, любезный, с красным ртом, с высокими соболиными бровями. Санька очарованно глядела в его уверенно заблестевшие глаза: «Погибла».

.

Скоро уже неделя, как Василий сидит на постоялом дворе. Саньку увезли, и о нем забыли. Ездил справляться во дворец, — адъютант короля каждый раз любезно уверял, что завтра-де король не замедлит его принять. От скуки Василий днем бродил по городу, по кривым улочкам. Узкие, мрачные дома с открытыми крышами, с железными дверями — как вымершие, — разве высоко в окошке прильнет к стеклу сердитое лицо в колпаке. На базарных площадях лавки почти все закрыты. Иногда — четверкою тощих коней — громыхали пушки по большим булыжникам мостовой. Угрюмые всадники прикрывались шерстяными плащами от сквозного ветра. Одни только нищие — мужики, бабы с испланканными лицами, дети в тряпье — бродили кучками по городу, глядели, сняв шапки, на окна.

По вечерам, отужинав, Василий сидел при свече, подперев щеку. Думал о жене, о Москве, о беспокойной службе. Как учили отцы, деды, — будь смирен, богобоязнен, чти старших, — нынче с этим далеко не уйдешь. Вверх лезут — у кого когти и зубы. Александр Меншиков — дерзок, наглый, — давно ли был в денщиках, — губернатор, кавалер, только и ждет случая выскочить на две головы впереди всех. Алешка Бровкин жалован за набор войска гвардии капитаном: смело воевод за парики хватает. Яшка Бровкин — мужик толстопятый, зол и груб, — командует кораблем... Санька. Ах, Санька, боже мой, боже мой!.. Другой бы муж плетью ей всю спину исполосовал...

Значит, надо чего-то еще понять. Нынче тихие — не ко двору. Хочешь не хочешь — карабкайся... (Печальными зрачками глядел на огонек свечи... Душе бы нежиться, как бывало, в тихой усадьбе, под вой выюги над занесенной крышей... Печь да сверчки, да неспешные, приятные думы.) Пуффендорфия, что ли, начать читать? Заняться коммерцией, как Александр Меншиков или как Шафиров?

Трудно,— не приучены. Война бы скорее... Волковы — смиренные, смиры, а сядут на коня, поглядим тогда, кто в первых-то — Яшка ли с Алешкой Бровкины?

В один из таких раздумных вечеров на постоялом дворе появился королевский адъютант и с отменной любезностью, принеся извинения, просил Волкова немедленно явиться во дворец. Василий, волнуясь, торопливо оделся. Поехали в карете. Август принял его в спальне. Протянул руки навстречу, не допустил преклонить колена — обнял, посадил рядом.

— Ничего не понимаю, мой юный друг. Мне остается только принести извинения за беспорядки моего двора... Только что за обедом узнал о вашем приезде. Графиня Аталия, легкомысленнейшая из женщин, очаровалась вашей супругой, оторвала ее от объятий мужа и уже целую неделю, скрывая от всех, одна наслаждается ее дружбой...

Волков в ответ не успевал кланяться, порывался встать, но Август нажимал на его плечо. Говорил громко, со смехом. Впрочем, скоро перестал смеяться.

— Вы едете в Париж, я знаю. Хочу предложить вам, мой друг, отвезти тайные письма брату Петру. Александра Ивановича в полнейшей безопасности подождет вас под кровом графини Аталии. Вам известны последние события?

С его лица будто смахнули смех,— злые складки легли в углах губ...

— Дела под Ригой плохи — лифляндское рыцарство предало меня. Лучший из моих генералов, Карлович, три дня тому назад пал смертью героя...

Он ладонью прикрыл лицо, минутой сосредоточенности отдал последний долг несчастному Карловичу...

— Завтра я уезжаю в Варшаву на сейм,— предотвратить ужасное брожение умов... В Варшаве я передам вам письма и бумаги... Вы не пощадите сил, вы докажете необходимость немедленного выступления русской армии...

Среди ночи Аталия будила горничную,— вздували свечи, затопляли камин, вносили столик с фруктами, паштетами, дичью, вином. Аталия и Санька вылезали из широкой постели — в одних сорочках, в кружевных чепцах — и садились ужинать. Саньке до смерти хотелось спать (еще бы — за весь день ни минуты передышки, ни слова попросту, все с вывертом, всегда начеку), но, потеряв припухшие глаза, мужественно пила вино из рюмки, отливающей как мыльный пузырь, улыбалась принодвигаемыми уголками губ. Приехала за границу не дремать — учиться «рафине». Это самое «рафине» (так объясняла Аталия) понимают даже и

не при всех королевских дворах: в самом Версале грубости и свинства весьма достаточно...

— Представь, душа моя, в сырой вечер не растворишь окна — такое зловоние вокруг дворца, — из кустов и даже балконов... Придворные ютятся в тесноте, спят кое-как, в неряшестве, обливаются духами, чтобы отбить запах нечистого белья... Ах, мы с тобой должны поехать в Италию... Это будет прекрасный сон... Это родина всего рафине... К твоим услугам — поэзия, музыка, игра страстей, утонченные наслаждения ума...

Серебряным ножичком Аталия очищала яблоко. Положив ногу на ногу, покачивала туфелькой, полузакрыв глаза, тянула вино.

— Люди рафине — истинные короли жизни... Послушай, как это сказано: «Добрый землепашец идет за плугом, прилежный ремесленник сидит за ткацким станком, отважный купец с опасностью жизни ставит парус на своем корабле... Зачем трудятся люди? Ведь боги умерли... Нет, — иные божества меж розовеющих облаков я вижу на Олимпе».

Санька слушала, как очарованный кролик. У Аталии морщинки забегали на лоб. Протянув пустой стакан: «Налей», — говорила:

— Мой друг, я все же не понимаю, почему вы боитесь принять любовь Августа, — он страдает... Добродетель — только признак недостатка ума. Добродетельностью женщина прикрывает нравственное уродство, как испанская королева — глухим платьем дряблую грудь... Но вы умны, вы — блестящи... Вы влюблены в мужа. Никто не мешает изъяслять к нему ваши пылкие чувства, только не делайте этого явно. Не будьте смешны, друг мой. Добрый горожанин в воскресный день идет гулять со своей супругой, держа ее ниже талии, чтобы никто не осмелился отнять у него это сокровище... Но мы — женщины рафине, — это обязывает...

За кружевами чепчика не было видно Санькиного опущенного лица. Что ей было делать? Могла плясать хоть сутки, не присаживаясь, выламываться под какую угодно греческую богиню, в ночь прочесть книжку, наизусть заучить вирши... Но некоторого в себе не могла пересилить: сгорела бы от стыда, замучилась бы после, уговори ее Аталия по-женски пожалеть короля... («Все это будет, будет, конечно, но не сейчас».) Как объяснить? Не признаться же, что не на Парнасе родилась, — пасла коров, что готова бы расстаться с добродетелью, но чего-то из себя еще не в силах выдрать, будто маменькины страшные глаза стерегут заветное, стержень какой-то...

Аталия не настаивала. Ущипнув Саньку за щеку, переводила разговор:

— Моя мечта — увидеть царя Петра. О, я с благоговением

поцелую эту руку, умеющую держать молот и меч. Царь Петр напоминает мне Геркулеса — его двенадцать подвигов, — он бьется с гидрой, он очищает конюшни Авгия, он поднимает на плечах земной шар... Неужели не сказка, мой друг, что за несколько лет царь Петр создал могучий флот и непобедимую армию? Я хочу знать имена всех маршалов, всех генералов. Ваш государь — достойный противник королю Карлу. Европа ждет, когда наконец московский орел вонзит когти в гриву шведского льва. Вы должны утолить мое любопытство...

Всякий раз Аталия сворачивала разговор на московские дела. Санька отвечала, как умела. Не понимала, почему ей становился неприятен настороженно-вкрадчивый голос подружки... Потом, в постели, натянув одеяло до носа, долго не могла заснуть, растревоженная ночными разговорами. Ах, не легка была эта самая «рафине»...

3

«...И наконец вся эта коалиция — не более чем листок бумаги, способный испугать почтенных сенаторов, — не вашу пылкую отвагу... Датчане не посмеют нарушить мира, — верьте женской проницательности. Царь Петр связан переговорами о мире — он не выступит, покуда турки не развяжут ему рук. Но этого не случится. Дьяк Украинцев роздал визирям все свои шубы на соболях, — ему больше нечего сказать. Царь Петр стремился напугать турок спуском нового воронежского флота, — вместо того заставил весьма насторожиться англичан и голландцев. Их послы в Константинополе и слышать не хотят о русских кораблях в Черном море. Всех непримиримее польский посол Лещинский, смертельный враг Августа. Он умолял султана именем Речи Посполитой помочь полякам добыть у русских Украину с Киевом и Полтавой.

Вот последние новости или сплетни, — как вам больше понравится, — ими полна Варшава. Мы с Августом тратим немалые деньги на балы и развлечения, — увы, популярность короля продолжает падать. Он в бешенстве и ставит себя в смешное положение, волочась за одной русской простушкой...

Итак, попутный ветер истории наполняет ваши паруса, свистит в снастях о близкой славе. Сейчас или никогда. Преданная вам Аталия».

Карл получил письмо это в Кунгсёрском лесу. Читал, прислонясь к дереву. Шумели сосны, летели низкие облака в мартовском небе. Внизу, в туманном ущелье, тявкали гончие собаки, по их нетерпеливым голосам было ясно — гнались за большим зверем. Старик егерь, уминая снег между камнями, спустился на несколько шагов, выжидательно обернулся. Король снова и снова перечитывал письмецо. Гонец, доставивший его, держал под уздцу коня, косившего лиловым глазом на собачьи голоса.

Из ущелья показался олень, — сильными прыжками поднимался по откосу. Карл не поднял мушкета. Олень, закинув ветвистые рога, промчался между деревьями. Шагах в пятидесяти раздался выстрел — там, где на номере стоял французский посол. Карл не обернулся, — письмецо трепалось в его покрасневшей руке. Егерь, войдя морщинами подбородка в кожаный воротник, вернулся на старое место — позади этого юноши с маленькой головой и узким лицом, худого, как жердь, в лосяном кафтане с длинной спиной.

— Кто передал вам это письмо? — спросил Карл.

Офицер, не выпуская узды, подошел на шаг.

— Граф Пипер, и на словах приказал сообщить вашему величеству королю о крайне важных вестях, еще не известных сенату.

У румяного толстолицего офицера серые глаза были вопросительны и дерзки. Карл отвернулся. Эти господа дворяне, вот так вот все — выжидающе глядели на него, — вся гвардия, как свора голодных гончих.

— Что именно приказано вам передать мне?

— Датские войска — пятнадцать или двадцать батальонов — перешли голштинскую границу.

Карл медленно скомкал письмо Аталии. Тявканье гончих опять приближалось. Из лесного ущелья слышался медвежий рев. Карл поднял мушкет, прислоненный к дереву и — через плечо — офицеру:

— Перемените коня, возвращайтесь в Стокгольм. Скажите графу Пиперу, что мы здесь веселимся, как никогда. Обложено три матерых медведя. Я приглашаю на облаву графа Пипера, генерала Рёншельда, генерала Левенгаупта, генерала Шлиппенбаха. Ступайте и торопитесь.

На всегда бледном лице его проступили красные пятна. Срывающимся пальцем взводил курок мушкета. Решительно зашагал к обрыву, шлепая мерзлыми голенищами. Офицер с усмешкой глядел на его мальчишескую сутулую спину, на самолюбиво напряженный затылок — вскочил в седло, скачками по глубокому снегу скрылся в лесу.

.....

Убили и загнали в сети четырнадцать медведей. Карл забавлялся, как мальчик, отчаянным ревом попавших в сети медвежат, — их вязали сыромятными ремнями, чтобы отослать в Стокгольм. Пипер, Рёншельд, Левенгаупт и Шлиппенбах, прибывшие в этот день на рассвете (в кожаных кафтанах и шляпах с тетеревиным перышком), посадили на рогатину каждый по зверю. Французский посол Гискар собственноручно застрелил чудовище семи футов росту.

Утомленные охотники возвратились в бревенчатый замок — над водопадом, шумевшим во льдах на дне ущелья. В столовой

было жарко от пылающих сосновых сучьев. Со стен поблескивали стеклянные глаза оленьих и лосиных голов. Гискар, низенький, налитый красным вином, подкрутив усы, взмахивая короткими руками, воодушевленно рассказывал, как зверь, ураганом раскидывая снег, выскочил из берлоги и уже готов был пожрать его: «Я уже чувствовал на лице его зловонное дыхание! Но я удачно отскакиваю, я целюсь. Осечка!.. Мгновенно жизнь проходит перед моим взором... Хватаю запасной мушкет...»

Молчаливые шведы слушали, пили и улыбались. Карл во время ужина не отпил даже глотка пива. Когда французский посол с трудом был уведен в опочивальню, Карл приказал поставить у дверей часового, сел к огню. Пипер и генералы близко придвинулись к его стулу.

— Я хочу знать ваше мнение, господа, — сказал он и твердо сжал губы. Мальчишеский обветренный нос его пылал от огня.

Генералы опустили лбы. Во всяком деле, а в таком — особенно, нужно было хорошо подумать. Пипер медленно потер квадратный подбородок.

— Сенат боится и не хочет войны. Накануне нашего отъезда было чрезвычайное заседание. Слух о вторжении польского короля в Ливонию и — особенно — начало враждебных действий датчан взволновали Стокгольм. Судовладельцы, лесопромышленники и хлебные торговцы послали депутацию в сенат. Они были внимательно выслушаны, и среди сенаторов не раздалось ни одного голоса за войну. Решено отправить послов в Варшаву и Копенгаген — кончить миром во что бы то ни стало.

— А мнение о сем их короля? — спросил Карл.

— Сенат, видимо, полагает: честолюбие вашего величества достаточно удовлетворено охотой на медведей.

— Превосходно. — Карл, как рысь, быстро повернул узкое лицо к Рёншельду. Генерал Рёншельд потянул воздух через большие ноздри вздернутого носа.

— Думається мне, — проговорил он, честно глядя круглыми светлыми глазами, — думается мне: в армии не мало молодых дворян, коим тесно в Швеции... Добыть шпагой славу найдутся охотники. Если король поведет на край света — пойдем на край света. Шведам — не в первый раз...

Прямой рот его добродушно усмехнулся. Генералы подтвердительно покивали: «Не в первый раз отплывать от родных скал в чужие земли за золотом и славой». Когда качанье головами окончилось, Пипер сказал:

— Сенат не даст ни фартинга на войну. Королевская казна пуста. Это нужно обсудить.

Генералы молчали. Карл кусал губы. Дымились подошвы его ботфортов, упертых в решетку очага.

— Деньги нужны только на первые дни, — посадить войско на корабли и перевезти в Данию. Эти деньги мне даст

французский посол. Он мне их даст потому, что иначе я их возьму у англичан... Дальнейшие наши военные операции должен оплатить датский король. Он заплатит.

Генералы вплотную придвинулись к стулу короля, подтверждая: «Так, так». Пипер быстро двигал кожей на лбу, — снова приходилось удивляться этому мальчику.

— Если бы даже мы и не решились на эту войну, державы нас заставят, — сказал Карл. — Сделаем лучшее: нападём первые... Великолепный Август мечтает о великой империи. У него так же нет денег, как и у меня, — он выпрашивает у царя Петра червонцы и пропивает их с девками. Из Августа мог бы выйти неплохой балаганный актер. Еще менее меня пугает московский царь: он лишится союзников, прежде чем научит свои мужицкие полки стрелять из мушкета... Господа, я хочу предложить на обсуждение план...

В тот же вечер над развернутой картой, лежавшей у Карла на коленях, три генерала составили диспозицию: нарвский губернатор Веллинг принимает начальство над шведскими войсками в Эстляндии и Лифляндии и идет на помощь Риге; Левенгаупт и Шлиппенбах под видом маневров стягивают гвардию и армию в Ландскрону, — военный порт в Зунде; Пипер делает все нужное в Стокгольме, чтобы отвлечь внимание сената от этих приготовлений.

В очаг подбросили сосновых корневищ, от двери сняли часового. Был накрыт ужин. Хорошо вздремнувший мосье Гискар появился в столовой, потирая руки. Карл предложил ему место у огня и сказал, покашливая, будто фразы застревали в горле:

— Дорогой друг, вы можете быть уверены в моей горячей и преданной любви к моему брату и вашему повелителю... (Гискар — медленнее тер ладонь о ладонь, настораживаясь.) Швеция останется верным стражем французских интересов в северных морях. В споре за испанский престол я отдаю мою шпагу Людовику. (Гискар низко склонился, разведя коротенькие руки.) Но не хочу скрывать: англичане делают все, чтобы склонить Швецию на свою сторону... Кроме короля, в Швеции есть сенат, и я не читаю их мыслей... Увы, нынешний мир полон противоречий... Сегодня я узнаю — английский флот появился в Зунде... Чтобы предотвратить роковую ошибку, мне нужны вещественные доказательства вашей дружбы, мосье Гискар...

.....

Ревущих медвежат везли в телеге по улицам Стокгольма. Сзади верхами ехали Карл, охотники и егеря. Трубили медные рога, лаяли собачьи своры. Добрые люди, подходя к окнам, качали головами: «Не слишком-то удачное время выбрал король для развлечений».

Тревожные слухи волновали город, привыкший к многолетнему миру. В водах Зунда появились английский и голландский флоты — зачем? Не идти ли на соединение с датчанами, чтобы покончить со шведским могуществом в северных морях? Необъятная Польша грозит смести с побережья Балтики шведские гарнизоны. На востоке тысячемильная московская граница почти не защищена, если не считать крепостцы Ниеншанц близ устья Невы да крепости Нотебург у выхода из Ладожского озера.

Страшно было помыслить — воевать едва ли не со всей Восточной Европой, располагая небольшой армией в двадцать тысяч солдат и сумасбродным королем. Мир, мир, конечно, — хотя бы поступиться меньшим, чтобы спасти основное.

Карл появился в сенате, не сняв охотничьего кафтана, — с надменной рассеянностью выслушал отеческие речи о деснице божьей, занесенной в этот час над Швецией, о благоразумии и добродетели. Играя костяной рукояткой кинжала, ответил, что занят устройством весеннего карнавала в замке Кунгсёр и только после праздника выскажется по иностранной политике. Старейший из сенаторов, поднявшись, с низким поклоном и в отменных выражениях пожелал королю беспечных развлечений.

Король пожал плечами и вышел. Через несколько дней он действительно уехал в Кунгсёр. Там, переменяя верховых лошадей, сопровождаемый Рёншельдом и десятком офицеров гвардии, поскакал в Ландскрону. В пути, почти без отдыха, не щадил ни лошадей, ни людей. Как будто в него вселился другой человек — одна мысль завладела его страстями и волей.

.....

В безоблачное весеннее утро шведские суда с пятнадцатью тысячами отборного войска вышли в Зунд. К полудню на полосе солнечной зыби показались черные, будто висящие между краем моря и светлого неба, очертания кораблей, шняв и галер. Веяли сотни выпелов. Это был дрейфующий англо-голландский флот.

Когда на шведском головном фрегате побежал на мачту королевский штандарт, — круглые облачка дыма стали отделяться от корабельных бортов, покатались пушечные выстрелы, дым пеленою понесло на юг. Английский и голландский адмиралы, расшитые золотом, пошли на шлюпках к головному фрегату.

Карл, ожидая, стоял на мостике, — на нем был суконный серо-зеленый кафтан, застегнутый наглухо до черного галстука, и смазные ботфорты с широкими раструбами, приспособленные для всех превратностей судьбы. Под маленькой, сплюсненной с боков шляпой парик заплетен в косу и вложен в кожаный мешочек. Рука опиралась, как на трость, на длинную шпагу. Таким он отправился в долгий путь — завоевывать Европу.

Адмиралы, много наслышанные про этого испорченного юношу, были удивлены его необыкновенной решительностью и сдержанностью. Он заговорил о нестерпимых обидах, нанесенных ему польским и датским королями, и великодушно согласился принять помощь англо-голландского флота, дабы наказать датчан за вероломство.

В тот же день три соединенных флота, покрыв парусами море, взяли курс на Копенгаген.

4

Прошел дождь, унесло тучи. Вечер был теплый, пахло травой, дымом. Издалека, в Немецкой слободе, бренькал колокол на кирке.

Петр сидел у поднятого окошка, — свечей еще не зажигали, — дочитывал челобитные. В глубине спальни, у двери, не шевелясь, белел залысым черепом Никита Демидов — кузнец из Тулы.

«...Истинно, государь, народы ослабевают в исполнении и чуть послабже, — думают, что все-де станет по-старому... (Писал изыскатель доходов, прибыльщик Алексей Курбатов.) Гостиной сотни купец Матвей Шустов подал сказку о торгах и пожитках своих и в сказке писал, будто всех пожитков у него только тысячи на две рублей и разорен всеконечно. Мне известно, — у Матвея на дворе в Зарядье, под полом, в нужном чулане, куда и зайти срамно, зарыто дедовских еще пожитков тысяч сорок золотых червонных. И он, Матвей, человек непостоянный, — пьянством истощает богатство, а не умножает, и, если его не обуздать — истребит до конца. Великий государь, укажи послать к Матвею в Зарядье подъячего да человек двадцать солдат, и он те золотые деньги вынет...»

Петр тряхнул головой, положил челобитную на подоконник, налево, — к исполнению. Следующая была от судьи Мишки Беклемишева, написана дрожащей рукой, — разобрал только: «...служил отцу твоему и брату твоему и был на многих службах и сказано мне быть в московском Судном приказе судьей. Сижу и по сей день судьей бескорыстно... От такого бескорыстного сиденья одолжал и охудал вконец. Великий государь, смилуйся, — за бескорыстное сиденье отпусти меня воеводой хоть в Полтаву...»

Петр зевнул, бросил челобитную в кучу бумаг — направо. Были еще донесения из Белгорода и Севска о том, что полковые, городовые и всяких чинов служилые люди и крепостные люди и крестьяне не хотят служить государевой службе, не хотят быть у строения морских судов и у лесной работы и бегут отовсюду в донецкие казачьи городки... На углу бумаги пометил: «Вызвать белгородского и севского воевод, допросить с пристрастием».

Была слезная челобитная государственных крестьян на кунгурского воеводу Сухотина, что он-де стал брать со всякого

двора сверх всех даней по восьми алтын себе в корысть и велит избы и бани запечатывать,— делай, что хочешь,— пора студеная, многие роженицы рожают в хлеву, младенцы безвременно умирают, а иных женщин воевода в земской избе берет за грудь и цыпки им жмет до крови и по-иному озорничает и увечит...

Петр скребнул в затылке. Вопль стоял по всей земле,— уберут одного воеводу, другой хуже озорничает. Где взять людей?.. Вор на воре. Начал писать, брызгая гусиным пером: «Послать в Кунгур...»

— Никита,— обернулся,— тебя поставить воеводой, воровать будешь?

Никита Демидов, не отходя от двери, осторожно вздохнул:

— Как обыкновенно, Петр Алексеевич,— должность такая.

— Людей нет. А?

Никита пожал плечом,— дескать, конечно, с одной стороны, людей нет...

— На дыбе его ломаешь... Жалованье большое, кладешь... Воруют... (Макал, писал, хотя было совсем темно.) Совести нет. Чести нет... Шутов из них понаделал... Отчего? (Обернулся.)

— Сытый-то хуже ворует, Петр Алексеевич,— смелее...

— Но, но, ты — смелый...

— Плакать хочется, Петр Алексеевич... Горюешь — людей нет... А у меня с горячего дела взяли одиннадцать лучших кузнецов в солдаты...

— Кто взял?

— Твоей милости боярин Чемоданов,— прибыл в Тулу с дьяками для переписи... (Никита замялся, всматриваясь,— лица Петра не разобрать: он весь повернулся от окна.) От тебя чего скрывать,— такие дела были в Туле! Кто мог заплатить — все откупились... Заслал он и ко мне на завод подъячего... Будь я в Туле тогда,— отступного пятьсот рублей не пожалел бы за таких мастеров... Сделай милость,— уж как-нибудь... Все ведь оружейники, мастера не хуже аглицких...

Петр — сквозь зубы:

— Подай челобитную...

— Слушаю... Нет, Петр Алексеевич, люди найдутся, конечно...

— Ладно... Говори дело...

Никита осторожно подошел. Дело было великое. Этой зимой он ездил на Урал, взяв с собой сына Акинфия и трех знающих мужиков-раскольников из Даниловой пустыни, промышлявших по рудному делу. Облазили уральские хребты от Невьянска до Чусовских городков. Нашли железные горы, нашли медь, серебряную руду, горный лен. Богатства лежали втуне. Кругом — пустыня. Единственный чугунолитейный завод на реке Нейве, построенный два года тому назад по указу Петра, выплавлял едва-едва полсотни пудов, и ту малость трудно было вывозить по бездорожью. Управитель, боярский сын Дашков, спился от скуки, невянский воевода Протасьев спился же. Ра-

бочие — кто поздоровее — были в бегах, оставались маломощные. Рудники позавалились. Кругом стояли вековые леса, в прудах и речках — черпай ковшом, промывай золото хоть на бараньей шубе. Здесь было не то, что на тульском заводе Никиты Демидова, где и руда тощая, и леса мало (с прошлого года запрещено рубить на уголь дубы, ясень и клен), и каждый крючок-подъёмный виснет на вороту. Здесь был могучий простор. Но подступиться к нему трудно: нужны большие деньги. Урал безлюден.

— Петр Алексеевич, ничего ведь у нас не выйдет... Говорил я со Свешниковым, с Бровкиным, еще кое с кем... И они жмутся — идти в такое глухое дело интересанами... И мне обидно — вроде приказчика, что ли, у них... Трудов-то сколько надо положить, — поднять Урал...

Петр вдруг топнул башмаком.

— Что тебе нужно? Денег? Людей? Сядь... (Никита живо присел на край стула, впился в Петра запавшими глазами.) Мне нужно нынче летом сто тысяч пудов чугунных ядер, пятьдесят тысяч пудов железа. Мне ждать некогда, покуда — тары да бары — будете думать... Бери Невьянский завод, бери весь Урал. Велю!.. (Никита выставил вперед цыганскую бороду, и Петр придвинулся к нему.) Денег у меня нет, а на это денег дам... К заводу припишу волости. Велю тебе покупать людей из боярских вотчин... Но, смотри... (Поднял длинный палец, два раза погрозил им.) Шведам плачу — железо по рублю пуд, будешь ставить мне по три гривенника...

— Не сходно, — торопливо проговорил Никита. — Не выйдет. Полтинничек...

И он смотрел, лупя синеватые белки, и Петр с минуту бешено смотрел на него. Сказал:

— Ладно. Это потом. И еще, — я тебя, вора, вижу... Вернешь мне все чугуном и железом через три года... Ей-ей, ты смел... Запомни — ей-ей — изломаю на колесе...

Никита тихо поперхал и — одним горловым свистом:

— Эти денежки я тебе раньше верну, ей-ей...

Случится же такой вечер, — некуда себя деть... Петр хотел сказать, чтобы зажгли свечу, покосился на непрочитанные бумаги, — лег на подоконник, высунулся в окно.

Уже ночь, а будто стало еще теплее. Капало с листьев. Ту-манчик вился над травой... Петр забирал ноздрями густой воздух, — пахло набухшими соками. Капля упала на затылок, по телу пробежала дрожь. Медленно ладонью растер мокрое на шее.

В весенней тишине все спало настороженно. Нигде ни огонька, только издали, из солдатской слободки, — протяжный крик часового: «Послу-у-ушивай». В теле — истома, будто все связано.

Слышно, как шибко стучит сердце, прижатое к подоконнику. Только и оставалось,— ждать, стиснув зубы.

Ждать, ждать... Как бабе какой-нибудь в ночной тишине, поднимая голову от горячей подушки, слушать чуждающийся топот... Весь день валилось дело из рук. Просили ужинать к Меньшикову,— не поехал... Там, чай, пируют! Никогда еще не было так трудно, вся сила в том сейчас, чтобы ждать — уметь ждать... Король Август влез в войну сгоряча, не дождавшись, коготки и завязли под Ригой... И Христиан датский не дождался — сам виноват...

— Сам виноват, сам виноват,— бурчал Петр, таращась на темные кусты сирени, отяжелевшей после дождя. Там кто-то возился,— денщик, должно быть, с девчонкой... Сегодня приехал полковник Ланген от короля Августа с тревожными вестями: шведский львенок неожиданно показал зубы. С огромным флотом появился перед фортами Копенгагена, потребовал сдачи города. Устрашенный Христиан, не доведя до боя, начал переговоры. Карл тем временем высадил пятнадцать тысяч пехоты в тылу у датской армии, осаждавшей голштинскую крепость. Шведы ворвались в Данию стремительно, как буря. Ни свои, ни чужие не могли и помыслить, чтобы сей шалун, изнеженный юноша, в короткое время проявил разум и отвагу истинного полководца.

Ланген еще передал просьбу Августа — прислать денег: Польше можно поднять на войну, если передать примасу и коронному гетману тысяч двадцать червонцев для раздачи панам. Ланген со слезами молил Петра — не дожидаться мира с турками,— выступить...

От этих рассказов вся кожа начинала чесаться. Но — нельзя! Нельзя влезать в войну, покуда крымский хан висит на хвосте. Ждать, ждать своего часа... Давеча приходил Иван Бровкин, рассказывал: в Бурмистерской палате был великий шум,— Свешников и Шорин тайно начали скупать зерно, гонят его водой и сухим путем в Новгород и Псков. Пшеница сразу вскочила на три копейки. Ревякин им кричал: что-де безумствуете,— Ингрия еще не наша, и когда будет наша? Напрасно зерно сгноите в Новгороде и Пскове... И они отвечали ему: осенью будет наша Ингрия, по первопутку повезем хлеб в Нарву...

Мокрые кусты вдруг закачались, осыпались дождем. Метнулись две тени... «Ой, нет, миленький,— не надо, не надо...» Тень пониже пятилась, побежала легко,— босая... Другая, длинная (Мишка-денщик), зашлепала вслед ботфортами. Под липой встали рядом — и опять: «Ой, нет, миленький...»

Петр едва не по поясу высунулся в окошко. В низине за семью ивами поднималась, затянутая туманами, большая луна. На равнине выступили стога, древесные кущи, молочная полоса речонки. Все будто от века — неподвижное, неизменное, налитое тревогой... И эти, под темной липой, две тени торопливо шептали все про одно...

— Балуй! — басом гаркнул Петр. — Мишка! Шкуру спушу. Девчонка притаилась за липовым стволем. Денщик, — минуты не прошло, — пронесся на цыпочках по скрипучей лестнице, поскребся в дверь.

— Свечу, — сказал Петр. — Трубку.

Курил, ходил. Взяв со стола бумагу, близко подносил к свече — бросал. Ночь только еще начиналась. Дико было и подумать — лечь спать... Трубочный дым тянуло к окошку, загибая под краем рамы, уносило в свежую ночь...

— Мишка! (Денщик опять вскочил в дверь, — лицо толстошее, курносое, глаза одурелые.) Ты смотри, — с девками! Что это такое! (Придвигался к нему, но Мишка, видно, — хоть бей его чем попало, — все равно без сознания.) Беги, мне чтоб подали одноколку. Поедешь со мной.

.....

Луна поднялась над равниной, в сизой траве поблескивали капли. Конь, похрапывая, косился на неясные кусты. Петр ударил его вожжами. С колес кидало грязью, разбрызгивались зеркальные колеи. Пронеслись по спящей улице Кукуя, где душной сладостью, — так же, как много лет назад, — пахли цветы табака за палисадниками. В окнах у Анны Монс, за пышно разросшимися тополями светились отверстия — сердечки, вырезанные в ставнях в каждой половинке.

Анна Ивановна, пастор Штрumpf, Кенигсек и герцог фон Круи мирно, при двух свечах, играли в карты. Время от времени пастор Штрumpf, зарядив нос табаком, вытаскивал клетчатый платок и с удовольствием чихал, — увлажненные глаза его весело обводили собеседников. Герцог фон Круи, рассматривая карты, сосредоточенно моргал голыми веками, висячие усы, побывавшие в пятнадцати знаменитых битвах, выпячиваясь, подъезжали под самые ноздри. Анна Ивановна в домашнем голубом платье, с голыми по локоть располневшими руками, с алмазными слезками в ушах и на шейной бархатке, слабо морщила лоб, копируя в картах. Кенигсек, подтянутый, нарядный, напудренный, то нежно улыбался ей, то шевелением губ незаметно старался помочь.

Несомненно, все бури летели мимо этой мирной комнаты, где приятно пахло ванилью и кардамоном, что кладут в хлебцы, где кресла и диваны уже стояли в парусиновых чехлах и медленно тикали стенные часы.

— Мы скромно говорим — трефы, — вздыхал пастор Штрumpf, поднимая взор к потолку.

— Пики, — говорил герцог фон Круи, будто вытаскивая до половины ржавую шпагу.

Кенигсек, поднявшись, чтобы взглянуть из-за спины Анны Ивановны в ее карты, произносил сладко:

— Мы опять червы.

Петр, пройдя через черный ход, неожиданно отворил двери. Карты выпали из рук Анны Ивановны. Мужчины торопливо поднялись. Как ни владела собой Анна Ивановна, — и вскрикнула радостно и, вся засияв улыбкой, присела в реверансе, поцеловав руку Петра, прижала к груди, полуприкрытой косынкой, — все же ему померещился, мелькнувший отсветом, ужас в ее прозрачно-синих глазах. Петр сутуло повернулся к дивану:

— Играйте, я тут покурю.

Но Анна Ивановна, подбежав на острых каблучках к столу, уже смешала карты:

— Забавлялись скуки ради... Ах, Питер, как приятно, — вы всегда приносите радость и веселье в этот дом... (По-ребячьи похлопала в ладоши.) Будем ужинать...

— Есть не хочу, — пробурчал Петр. Грыз чубук. Не понятно отчего, злоба начала подкатывать к горлу. Косился на чехлы, на пальцы с клубками шерсти... Жирная складочка набежала на ясный лоб Анхен (раньше этой складочки не замечалось).

— О Питер, тогда мы придумаем какую-нибудь веселую игру... (И опять что-то жалкое в глазах.)

Он молчал. Пастор Штрumpf, взглянув на стенные часы, затем — на свои карманные: «Мой бог, уже третий час» — взял с подоконника молитвенник. Герцог фон Круи и Кенигсек также взяли за шляпы. Анхен голосом более жалобным, чем полагалось бы для вежливости, воскликнула, хрустнув пальцами:

— О, не уходите...

Петр засопел — из трубки посыпались искры. Ноги его начали подтягиваться. Вскочил. Стремительно шагая, вышел, бухнул дверью. Анхен начала дышать чаще, чаще, закрыла лицо платочком. Кенигсек на цыпочках поспешил за стаканом воды. Пастор Штрumpf осторожно качал головой. Герцог фон Круи у стола перебрасывал карты.

.....

Пар шел от деревянных крыш, от просыхающей улицы, в лужах — синяя бездна. Звонили колокола, — было воскресенье — Красная Горка, кричали пирожники и сбитенщики. Шатался праздный народ, — все большей частью пьяные. На облупленной городской стене, между зубцами, парни в новых рубашках размахивали шестами с мочалой — гоняли голубей. Белые птицы трепетали в синеве, играя — перевертывались, падали. Повсюду — за высокими заборами, под умытыми ночью липами и серыми ивами — качались на качелях: то девушки, развевая косами, подлетали между ветвей, то лысый старик, озоруя, качал толстую женщину, сидевшую, повизгивая, на доске.

Петр ехал шагом по улице. Глаза у него запали, лицо насупленное. Солнце жгло спину. Мишка-денщик, всю ночь прождавший его в одноколке, вскидывал головой, чтобы не задремать.

Народ раздавался перед мордой коня, — только редкий прохожий, узнав царя, рвал шапку, земно кланялся вслед.

От Анны Монс этой ночью Петр поехал к Меньшикову. Но только поглядел на большие занавешенные окна, — оттуда слышалась музыка, пьяные крики. «Ну их к черту», — хлестнул вожжами, выкатил со двора и прямо повернул в Москву, в стрелецкую слободу. Ехали шибкой рысью, потом он погнал вскачь.

В слободе остановились у простого двора, где над воротами торчала жердь с пучком сена. Петр бросил Мишке вожжи, постучал в калитку. От нетерпения топтался по хлюпающему навозу. Застучал кулаками. Отворила женщина. (Мишка успел разглядеть, — рослая, круглолицая, в темном сарафане.) Ахнула, взялась за щеки. Он, нагнувшись, шагнул во двор, хлопнул калиткой.

Мишка, стоя в одноколке, видел, как за воротами в бревенчатой избе затеплился свет высоко в двух окошечках. Потом эта женщина торопливо вышла на крыльцо, позвала:

— Лука, а Лука...

Стариковский голос отозвался:

— Аюшки...

— Лука, никого не пускай, — слышишь ты?

— А ну — ломиться будут?

— А ты что, — не мужик?

— Ладно, я их рожном.

Мишка подумал: «Все понятно».

Через небольшое время из переулка вышли трое в стрелецких колпаках, оглядели пустую улицу, залитую луной, и — прямо к воротам. Мишка сказал строго:

— Проходите...

Стрельцы подошли недобро к одноколке:

— Что за человек? Зачем в такой час в слободе?

Мишка им — тихо, угрожающе:

— Ребята, давай отсюда скорей...

— А что? — злобно крикнул один, пьянее других. — Чего пугаешь? Знаем мы, откуда... (Другие двое ухватили его за плечи, зашептали.) Голова-то у тебя тоже на нитке держится... Погодите, погодите... (Товарищи уже оттаскивали его, не давали, чтобы он засучил рукав.) Не всех еще перевешали... Зубы у нас есть... Не торчать бы тому на коле... (Ему ударили по шее, — уронил шапку, — уволокли в переулок.)

Свет в окошечках скоро погас. Но Петр не выходил. За воротами Лука время от времени начинал сонно постукивать в колотушку. Скоро настала такая тишина — уморившийся конь и тот повесил голову. Мишка сквозь дрему услышал, как кричат петухи. Лунный свет похолодел. В конце улицы желтела, розовела заря. Во второй раз он проснулся от шепота, — кругом одноколки стояли мальчишки, иные без штанов. Но только он открыл глаза —

все разбежались, махая рукавами, мелькая черными пятками. Солнце было уже высоко.

Петр вышел из калитки, надвинул на глаза шляпу. Густо кашлянул, взял вожжи.

«Вот и с плеч долой», — пробасил, тронул рысью.

Когда выехали из Москвы на зеленое поле, — вдали острые кровли Немецкой слободы, за ними лежащие за краем земли снежные облака, — Петр сказал:

— Так-то вашего брата — денщика... А еще станешь по ночам баловаться — в чулан буду запирать. — И засмеялся, сдвинув шляпу на затылок.

Нагнали полуроту солдат в бурых нескладных кафтанах, к ногам у всех привязаны пучки травы и соломы — шли они вразброд, сталкиваясь багинетами. Сержант — отчаянно: «Смир-на!» Петр вылез из одноколки, — брал за плечи одного, другого солдата, поворачивал, щупал корявое сукно.

— Дерьмо! — крикнул, выкатывая глаза на угреватого сержанта. — Кто ставил кафтаны?

— Господин бомбардир, кафтанцы выданы на сухаревой швальне.

— Раздевайся. — Петр схватил третьего — востроносого, того солдата. Но тот будто задохнулся ужасом, глядя в нависшее над ним круглое, со щетиной черных усов лицо бомбардира. Близстоящие товарищи выдернули из рук у него ружье, растегнули перевязь, стащили с плеч кафтан. Петр схватил кафтан, бросил в одноколку и, не прибавив более ни слова, сел, — погнался в сторону Меньшикова дворца.

Раздетый солдат, дрожа всеми суставами, очарованно глядел на удаляющуюся по травянистой дороге одноколку. Сержант толкнул его тростью:

— Голиков, вон из строя, плетись назад... Смир-р-на! (Разинув пасть, закинулся, заорал на все поле.) Лева нога — сено, права нога — солома. Помни науку... Шагом, — сено — солома, сено — солома...

.

Сукно на сухаревскую военную швальню поставил новый завод Ивана Бровкина, построенный на реке Неглинной, у Кузнецкого моста. Интересанами в дело вошли Меньшиков и Шафиров. Преображенский приказ уплатил вперед сто тысяч рублей за поставку кафтанного сукна. Меньшиков хвалился Петру, что суконце-де поставит он не хуже гамбургского. Поставили дерюгу пополам с бумагой. Алексашка Меньшиков в воровстве рожден, вором был, вором и остался. «Ну погоди!» — думал Петр, нетерпеливо дергая вожжами.

Александр Данилович сидел на кровати, пил рассол после вчерашнего шумства (гуляли до седьмого часу), — в синих глазах — муть, веки припухли. Чашку с огуречным рассолом дер-

жал перед ним домашний дьякон, по прозванию Педрила, зверогласный и звероподобный мужчина — без вершка сажень росту, в обхват — как бочка. Сокрушаясь, лез пальцами в чашку:

— Ты огурчик, пожалуй, накося...

— Иди к черту...

Перед пышной кроватью сидел Петр Павлович Шафиров с приторным раздобревшим, как блин, умным лицом, с открытой табакеркой наготове. Он советовал пустить кровь — полстакана — или накинута пиявки на загрявок...

— Ах, свет мой, Александр Данилович, вы прямо губите себя неумеренным употреблением горячащих напитков...

— Иди ты туда же...

Дьякон первый увидел в окошко Петра: «Никак грозен пожаловал». Не успели спохватиться — Петр вошел в спальню и, не здороваясь, прямо к Александру Даниловичу — ткнул ему под нос солдатский кафтан:

— Это лучше гамбургского? Молчи, вор, молчи, не оправдаешься.

Схватил его за грудь, за кружевную рубаху, дотасил до стены и, когда Александр Данилович, разинув рот, уперся, начал бить его со стороны на сторону, — у того голова только болталась. Сгоряча схватил трость, стоявшую у камина, и ту трость изломал об Алексашку. Бросив его, повернулся к Шафирову, — этот смиренно стоял на коленях около кресла, Петр только подышал над ним.

— Встань. (Шафиров вскочил.) Дрянное сукно все продашь в Польшу королю Августу по той цене, как я вам платил... Даю неделю сроку. Не продашь — быть тебе битым кнутом на козле, сняв рубаху. Понятно?

— Продам, много раньше продам, ваше царское величество...

— А мне с Ванькой Бровкиным поставите доброе сукно взамен.

— Мин херц, господи, — сказал Алексашка, вытирая сопли и кровь, — да когда же мы тебя обманывали... Ведь с этим сукном-то что вышло?..

— Ладно... Вели — завтракать...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Жара. Безветрие. Черепичные крыши Константинополя выцвели. Над городом — марево зноя. Нет тени даже в бурых пыльных садах султанского дворца. У подножия крепостных стен, на камнях у зеркальной воды, спят оборванные люди.

Город затих. Только с высоких минаретов начинают кричать протяжные голоса — скорбным напоминанием. Да по ночам воют собаки на большие звезды.

Миновал год, как великий посол Емельян Украинцев и дьяк Чередеев сидели на подворье в Перу. Созваны были двадцать три конференции, — но ни мы — ни взад ни вперед, ни турки — ни взад ни вперед. На днях прибыл гонец от Петра с приказом вершить мир спешно, — уступить туркам все, что возможно, кроме Азова, о гробе господнем лучше совсем не поминать, чтобы не задирать католиков, и, уступив, уже на сей раз стоять крепко.

На двадцать третьей конференции Украинцев сказал: «Вот наше последнее слово... Жития нам осталось в Цареграде две недели... Не будет мира — сами на себя пеняйте: флот у великого государя не в пример прошлому году... Чай, слышали...» Для устроения великое посольство перебралось с подворья на корабль. «Крепость» стоял так долго в бездействии, — плесенью заросли борта, в каютах завелись тараканы и клопы, капитан Памбург совсем обрюзг от скуки.

Украинцев и Чередеев просыпались до света, почесывались и крихтели в душной каюте. Надевали прямо на исподнее татарские халаты, выходили на палубу... Тоска, — над темным еще Босфором, над выжженными холмами разливалась безоблачная заря, таящая зной. Садились закусывать. Квасу бы с уксусом, — все без вкуса. Капитан Памбург, пропустив натошак чарку, прохаживался в одних подштаниках по разошедшей палубе. Выкатывалось оранжевое солнце. И скоро нестерпимо было глядеть на текучую воду, на лениво колыхающиеся у берега лодки с арбузами и дынями, на меловые купола мечетей, на колющие глаз полумесяцы в синеве. Доносился шум голосов, крики, звонки продавцов из узких переулков Галаты.

— Емельян Игнатьевич, ну, что тебе пользы от меня, — говорил дьяк Чередеев, — отпусти ты меня... Пешком уйду...

— Скоро, скоро домой, потерпи, Иван Иванович, — отвечал Украинцев, закрывая глаза, чтобы самому не видеть опустевшего города.

— Емельян Игнатьевич, на одно бы согласился: в огороде, в лебеде, в прохладе полежать... (И без того длинное, узкобородое лицо Чередеева совсем высохло от жары и тоски, глаза завалились.) У меня в Суздале домишко... На огороде две березы старых, — во сне их вижу... Утречком встанешь — пошел скотинку взглянуть, а н ее уже выгнали на луг... Пойдешь на пашку, — трава по пояс... На речке мужики идут бреднем... Бабы стучат вальками. Приветливо...

— Ай, ай, ай, да, да, да, — кивал морщинистым лицом великий посол.

— На обед — пирог с соминой...

Украинцев, покачиваясь, не открывая глаз:

— Сомина — жирновато, Иван Иванович... По летней поре — ботвинью... Квасок мятный...

— Хороша уха из ершей, Емельян Игнатьевич...

— И его чистить нельзя, ерша, как есть, сопливого надо варить. Сварил — долой и туда — стерлядь...

— Какое государство, боже мой! Ну, а здесь, Емельян Игнатьевич? Истинно — бусурмане. Так, марево какое-то. И гречанки здесь — истинно сосуд мерзостей...

— Вот этого тебе бы надо избегать, Иван Иванович.

У Чередеева на большом носу, как просо, проступал пот. Глаза глубже заваливались. От берега к кораблю шел шести-весельный сандал, покрытый ковром. Капитан Памбург вдруг закричал хрипло:

— Боцманá, свистать всех наверх! Давай трап.

На сандале подплыл, торопливо шлепая туфлями, — взобрался по трапу Соломон, один из подъячих великого визиря, быстрый в мыслях и в движениях тела, со скуластым лицом, приплюснутым носом. Живо обшарил глазами корабль, живо, — ладонь — ко лбу, к губам, к сердцу, — заговорил по-русски:

— Великий визирь просит спросить про твое здоровье, Емельян Игнатьевич... Боятся, что тебе тесно на корабле. С чего разгневался на нас?

— Здравствуй, Соломон, — ответил Украинцев как можно не спеша, — скажи и ты про здоровье великого визиря... Все ли у вас слава богу? (При сих словах приоткрыл острый глаз.) А нам и здесь хорошо. По дому соскучились. Всего дому-то здесь — пятьдесят футов под ногами.

— Емельян Игнатьевич, можно в сторонку?

— Отчего же, можно и в сторонку, — кашлянув, сказал Чередееву и Памбургу: — Отойдите от нас. — И сам отступил в тень паруса.

Соломон улыбкой открыл корявые десны:

— Емельян Игнатьевич, я вам истинный друг, врагов ваших по пальцам знаю... (Замелькал перстами перед носом Украинцева, — тот только: «Так, так».) Над их происками смеюсь... Не будь меня, Диван бы и говорить с вами перестал... Удалось мне повернуть дело, — великий визирь хоть завтра подпишет мир. Бакшиш надо дать кое-кому...

— Вот как? — повторил Украинцев. Все теперь было понятно. Один грек, состоявший у него на жалованье, вчера донес, что в Константинополь вернулся из Парижа французский посол и было собрание Дивана — султанских министров — и они получили большие подарки. Емельян всю ночь, мучаясь от жары и тараканов, думал: «К чему бы сие? Не иначе, как снова втравляют турок в войну с австрийским цезарем. А посему туркам надо развязать руки с московскими делами...»

— Что ж, бакшиш — дело десятое... Ты вот что скажи

великому визирю: ждем-де мы только попутного ветра. Будет мир — хорошо, не будет еще нам лучше... А миру быть так... (Твердо из-под седых бровей стал глядеть на Соломона.) Днепровские городки мы разорим, как уговорились... Но взамен вокруг Азова быть русской земле на десять дней верхового пути. Это твердо...

Соломон, испугавшись, как бы совсем бакшиш не ушел от него, — русские, видимо, знали больше, чем надо, — схватил великого посла за рукава. Начал спорить. Пошли в каюту. Памбург, зная, что много глаз глядят в подзорные трубы на «Крепость», послал матросов на мачты — будто бы готовить паруса к походу. Емельян на минуту показался из каюты.

— Иван Иванович, приберись, в город поедем.

И скоро сам вышел при парике и шпаге. Соломон подхватывал его за локти, когда спускались по трапу в сандал.

После полудня впервые за много дней лениво плеснулся узкий вымпел на корабле. Далекие холмы стало затягивать бесцветной мглой. Синева неба будто насыщалась пылью, заволакивало город. Начал дуть ветер из пустыни.

На другой день был подписан мир.

2

Иван Великий гудел над Москвой, — двадцать четыре молодца гостинодворца раскачивали его медный язык. Шло молебствие о даровании победы русскому оружию над супостаты. Сегодня после обедни думный дьяк Прокофий Возницын по древнему обычаю, — в русской шубе, в колпаке меховом, в сафьяновых сапожках, — вышел на постельное крыльцо (уже зараставшее крапивой и лопухами), внятно множеству сбежавшегося народа прочел царский указ: идти на свейские города ратным людям войною. Быть на коне всем стольникам, стряпчим, дворянам московским и жильцам и всем чинам, писанным в ученье ратного дела.

Давно ждали этого, и все же Москва всколыхнулась до утробы. С утра, пылью застилая улицы, проходили полки и обозы. Солдатские женки бежали рядом, взмахивали отчаянно длинными рукавами. Посадские люди во множестве жались к заборам от прыгающих по бревенчатой мостовой пушек. В раскрытые двери из древних церквочек громогласно вопили дьякона: «Побе-е-ды!..» Распахивались ворота боярских дворов, выскакивали всадники, — иные по-старинному в латах и епанчах, — горяча коней, врзались в толпу, хлестали нагайками. Сталкивались телеги, трескали оси, грызлись, взвизгивали кони.

В Успенском соборе в огнях множества свечей слабый телом патриарх Адриан, окутанный дымами ладана, плакал, воздев ладони. Бояре и за ними плотную толщей именитые купцы и лучшие гостиной сотни стояли на коленях. Все плакали, глядя

на слезы, текущие по запрокинутому к куполу лицу владыки. Архидьякон, разинув пасть, надув жилы на висках, возгласами победы, подобно трубе Страшного суда, покрывал патриарший хор. Черна была мантия патриарха, черны лики святителей в золотых окладах,— золотом и славою сиял храм.

Купечество в таком множестве в первый раз допускалось в Успенский собор — в твердыню боярскую. Бурмистерская палата пожертвовала на сей случай двадцать пять пудов восковых свечей, да многие именитые поставили отдельно свечи — кто в полпуда, а кто и в пуд. Дьяконов просили не жалеть ладана.

Иван Артемич Бровкин, сопя от слез, повторял: «Слава, слава...» По одну его сторону президент Митрофан Шорин самозабвенным голосом подпевал хору, по другую Алексей Свешниковы цыганскими глазами так жадно ел золото иконотаса, риз и венцов, будто вся эта мощь была его делом... «Победы!» — взревел, потрясая своды пышно облаченный архидьякон,— красные розы, вытканые на ризе его, затянуло клубами.

Пошли к кресту. Первым — тучный, седой князь-кесарь Федор Юрьевич,— с минуту целовал крест, вздрагивая дряхлыми плечами. За ним — князья и бояре, один старше другого (молодые уже все были на службе и в походе). Истоиво двинулось купечество. Церковному старосте, державшему большой поднос, бросали со звоном червонцы, перстни, жемчужные нитки. Выходили из собора, подняв головы. Еще раз перекрестясь на огромный лик над входом, встряхивали волосами, надевали шапки и шляпы, шли через плешивую, поросшую травкой площадь в Бурмистерскую палату,— бойко стучали каблучками, хозяйственно поглядывали на толпы простого народа, на окна приказов.

Ивана Артемича при выходе схватили за бархатные полы десяток черных, корявых рук: «Князь, князь... Копеечку... Ку-со-о-о-чек!» — вопили косматые, беззубые, голые, гнойные... Ползли, тянясь, трясли лохмотьями: «Князь, князь!...» Ужасаясь, Иван Артемич оглядывался: «Что вы, дураки, нищие, какой же я князь!...» Выворотил оба кармана, кидал копейки... Плешивый юродивый задребезжал кочергами, взвыл нечеловечьим голосом: «Угольков хочю горяченьких...»

Тут же, посмеиваясь щелками глаз, щипля бороденку, стоял Васька Ревякин. Оторвав кое-как полы, Иван Артемич — ему:

— Не твое ли это войско, купец?.. Ты б лучше лоб перекрестил для такого дня...

— Мы с миром, Иван Артемич,— приложив к животу руки, Ревякин поклонился,— с миром смиряемся... Мир убог, и мы у бога...

— Тьфу! Пес, начетчик!.. Чистый пес!..— Иван Артемич пошел прочь, вдогонку ему козлом заблекотал юродивый.

Солдатам то и дело приходилось, навалясь, вытаскивать из грязи телеги и пушки. Много дней дул ветер с запада, куда медленно, растянувшись на сотню верст, двигались войска генералов Вейде и Артамона Головина. (Репнинская дивизия никак не могла еще тронуться из Москвы.) Шли сорок пять тысяч пеших и конных и тысяч десять телег.

Студеные туманы волоклись по верхушкам леса. Дождь сбивал последние листья с берез и осин. В синеватой грязи разъезженных дорог колеса увязали по ступицу, кони ломали ноги. По всему пути валялись раздутые чрева, задранные ноги конской падали. Люди молча садились на гребни канав, — хоть убивай их насмерть. Особенно оказались нежны иностранные офицеры, — давно послезали с седел, в мокрых плащах, в мокрых париках дрожали среди рухляди под рогожными верхами повозок.

Из Москвы войска выходили нарядными, в шляпах с перьями, в зеленых кафтанах, в зеленых чулках, к шведской границе подходили босыми, по шею в грязи, без строя. Когда огибали Ильмень-озеро, вздутые воды, хлынув на луговой берег, потопили много обозных телег.

От великого беспорядка обозы не поспевали, путались. На стоянках нельзя было разжечь костров, — сверху — дождь, снизу — топь. Хуже злого врага были конные сотни дворянского ополчения, — как саранча растаскивали съестное из окрестных деревень. Проходя мимо пеших, кричали: «С дороги, сиволापые». Алексей Бровкин — капитан в передовом полку фон Шведена — лаялся и не раз дрался тростью с конными помещиками. Трудов и тяготы было много, порядка мало.

Передовое войско вышло из грязи только у реки Луги, близ границы, и здесь стало лагерем, поджидая обозы. Разбили палатки, кое-как сушились. Солдаты вспоминали азовские походы, некоторые ратники помнили походы Василия Голицына в Крым. Сравнить нельзя, — идти вольными степями на теплый юг!.. С песнями, помнится, шли... А это что за земля? Болота угрюмые, тучи да ветер. Много слез придется пролить — воевать эту голодную землю.

Едко дымили костры у палаток. Солдаты латали одежку, спускались по скользкому обрыву к речке — стирать. Казенные башмаки у всех развалились к черту, — хорошо, кто добыл лапти с онучами, другие обматывали ноги тряпьем. Тут и без войны к ноябрю месяцу ляжет половина народу. Конные иногда приводили на аркане чухонца — языка. Обступали, спрашивали его по-русски и по-татарски — как здесь живут? Глупый был народ чухонцы — только моргал коровьими ресницами. Вели в палатку к Алексею Бровкину — на допрос. Таких языков отпускали редко, — связав, отсылали в обоз, продавали за

три четвертака,— иных, очень здоровых, и дороже,— маркитантам, а эти перепродавали в Новгород, где сидели приказчики военных поставщиков.

Алексей Бровкин строго вел ротное хозяйство: солдаты его были сыты,— зря не обижал, ел из солдатского котла, но баловства, оплошностей не спускал: каждый день кричал кто-нибудь, лежа кверху голой задницей под палками у его палатки. Среди ночи просыпался, сам проверял дозоры. Однажды, неслышно подойдя к лесной опушке, стал слушать: не то дерево поскрипывало, не то скулил зверь какой-то. Негромко окликнул. Смутно виднелся сидевший на пне солдат,— обхватил ствол ружья, прижался головой к железу. Алексей — ему:

— Кто на дозоре?

Солдат вскочил — чуть слышно:

— Это я...

— Кто на дозоре? — гаркнул Алексей.

— Голиков Андрюшка.

— Ты скулил?

Солдат,— странно глядя в лицо:

— Не ведаю...

— Не ведаю! Э, великопостники...

Побить бы надо его, конечно... Алексею вспомнилось летящее выше леса пламя над рухнувшей церковкой, над заживо сгоревшими, и на озаренном снегу — этот, заламывающий руки. Тогда Алексей велел его взять вместе с бешеным мужиком и старцем Нектарием. По дороге Нектарий ушел;— черт его знает как,— ночью, когда стояли под елями, Андрюшка Голиков лежал в санях под рогожей без памяти, не ел, не говорил. В Повенце, в земской избе, когда на допросе пригрозили кнутом, вдруг сорвался: «За что мучите? Уж мучили... Таких мук нет еще...» — и стал рассказывать все (подъячий не успевал макать перо),— сорвав подрясник, показал язвы от побоев. Алексей увидел — это человек не обыкновенный, грамотный,— велел обстричь ему космы, вымыть в бане, определить в солдаты.

— Разве воину полагается скулить... Нездоров, что ли?

Голиков не отвечал, стоял вытянувшись, прилично. Алексей погрозил тростью, пошел прочь. Голиков стчаянно:

— Господин капитан...

У Алексея от этого голоса из темноты что-то даже дрогнуло,— сам был такой когда-то. Остановился. Сурово:

— Ну? Что тебе еще?

— В тьме страшно, господин капитан: ночной пустыни боюсь... Хуже смерти — тоска... Зачем нас сюда пригнали?

Алексей так удивился — опять подошел к Голикову:

— Как ты можешь рассуждать, гультай! За такие речи — знаешь?

— Убейте меня сразу, Алексей Иванович... Сам я себе хуже

врага... Так жить — скотина бы давно сдохла... Мир меня не принимает... Все пробовал — и смерть не берет... Бессмыслица... Возьмите ружье, колите багинетом...

В ответ Алексей, сжав зубы, ударил Андриюшку в ухо, — у того мотнулась голова, но не ахнул даже...

— Подыми шляпу. Надень. В последний раз добром с тобой говорю, беспоповец... У старцев учился!.. Научили тебя уму!.. Ты — солдат. Сказано — иди в поход, — иди. Сказано — умереть, — умри. Почему? Потому так надо. Стой тут до зари... Опять заскулишь, услышу, — остерегись...

Алексей ушел, не оборачиваясь. В палатке прилег на сено. До рассвета было еще далеко. Промозгло, но ни дождя, ни ветра. Натянул попону на голову. Вдохнул. «Конечно, каждый из них молчит, а ведь думают... Ох, люди...»

Сутулый солдат, Федька Умойся Грязью, мрачно подавал из ковшика на руки, — Алексей фыркал в студеную воду, вздрагивал всей кожей. Утро было холодное, на прилегшей траве — сизый иней, под ботфортами похрустывала вязкая грязь. Дымы костров поднимались высоко между палатками. Непроспавшийся прапорщик Леопольдус Мирбах, в бараньем кожане, накинутом поверх галунного кафтана, кричал что-то двум солдатам, — они стояли, испуганно задрав головы.

— Пороть, пороть! — повторял он осипшим голосом. — Пфуй! Швинь! — Взял одного за лицо, сжав — пхнул. Поправляя на плече кожан, пошел к палатке Алексея. Давно не бритое лицо надут, глаза опухшие. — Горчий вод — нет... Кушать — нет... Это — не война... Правильный война — офицер доволен... Я не доволен... У вас паршивый зольдат...

Алексей ничего не ответил, — зло тер щеки полотенцем. Крякнув, подставил Федьке спину в грязной сорочке: «Вали... — тот начал колотить ладошами. — Крепче...»

Из леса в это время выехала тяжелая повозка с парусиновым верхом на обручах. От шестерни разномастных лошадей валил пар. Позади — десяток всадников в плащах, залепленных грязью. Повозка, валясь на стороны по истоптанному жнивью, шагом направлялась к лагерю. Алексей схватил кафтан, — от торопливости не попадал в рукава, — подхватив шпагу, побежал к палаткам.

— Барабанщики, тревогу!

Повозка остановилась. Вылез Петр — в меховом картузе с наушниками. Путаюсь звездчатыми шпорами, вылез Меньшиков в малиновом широком плаще на соболях. Всадники спешили. Петр, морщась, глядел на лагерь — засунул красные руки в карманы полушубка. В прозрачном воздухе запела труба, затрещали барабаны. Солдаты слезали с возов, выбега-

ли из палаток, застегиваясь, накидывали портупей. Строились в карею. Вдоль линии рысцою шли прапорщики, тыча тростями, ругаясь по-немецки. Алексей Бровкин, — левая рука на шпaге, в правой — шляпа, — остановился перед Петром. (Парика впопыхах не нашел.)

Петр, — смотря поверх его вихрастой головы:

— Покройся. В походе шляпы не снимать, дурак. Где ваш пороховой обоз?

— Остался на Ильмень-озере, весь порох подмочен, господин бомбардир.

Петр перекатил глаза на Меньшикова. Тот лениво перекопился выбритым лицом.

— Извольте ответить, — сказал он, так же глядя поверх Алешкиной головы, — где другие роты полка? Где полковник фон Шведен?

— Ниже по реке вразброс стоят, господин генерал...

Меньшиков с той же кривой усмешкой покачал головой, Петр только насупился.

Оба они, — саженного роста, — пошли по колям жнивья к выстроенной карее. Не вытаскивая рук из карманов, Петр будто рассеяннo оглядывал серые, худые лица солдат, исковерканные непогодой, скверно сваленные шляпы, потрепанные кафтаны, тряпки, опорки на ногах. Одни только прапорщики-иноземцы вытягивались молодцевато. Так стояли долго перед строем, Петр, — дернув вверх головой:

— Здорово, ребята!..

Прапорщики яростно обернулись к линии. По рядам пошло нестройно:

— Желаем здравия, господин бомбардир.

— У кого жалобы? — Петр подошел ближе.

Солдаты молчали. Прапорщики (рука — на отнесенной вбок трости, левый ботфорт — вперед) воткнулись глазами в царя. Петр повторил резче:

— У кого жалобы, выходи, не бойся.

Кто-то вдруг глубоко вздохнул — всхлипом (Алексей увидел Голикова: у него мушкет ходил в руках, но справился, смолчал).

— Завтра пойдем на Нарву. Трудов будет много, ребята. Сам свейский король Каролус идет навстречу. Надо его одолеть. Отечества отдать нам не мочно. Здесь — Ям-город, Иван-город, Нарва, — вся земля до моря наше бывшее отечество. Скоро одолеем и скоро отдохнем на зимних станах. Понятно, ребята?

Строго выпучился. Солдаты молча глядели на него. Чего уж понятнее. Один мрачный голос из рядов прохрипел: «Одолеем, на это людей хватит». Меньшиков сейчас же шагнул вперед, всматриваясь — кто сказал? (У Алексея упало сердце: сказал Федька Умойся Грязью, самый ненадежный солдатешка.)

— Господин капитан... (Алексей подскочил.) За порядок в роте благодарствую тебя... В остальном — не виноват. Извольте выдать людям по тройной чарке водки.

Петр пошел к повозке опустив голову. Меньшиков моргнул Алексею (на этот раз изволил признать старого друга), выпростал из мехового плаща холеную руку, похлопал Алешку и, — нагнувшись к уху:

— Петр Алексеевич — ничего, доволен. У тебя не то, что у других... Отличись под Нарвой — в подполковники махнешь... Ивана Артемича видел в Новгороде, — приказал тебе кланяться...

— Спасибо вам, Александр Данилович...

— Счастливо! — Подхватив спереди плащ, Меньшиков рысью догнал Петра. Сели в повозку — поехали берегом туда, где река, отражавшая холодное небо, загибалась за еловый лес.

Верстах в двух от Нарвы по течению реки, через два рукава Наровы, огибающие длинный и топкий остров Кампергольм, был наведен плавучий мост. По нему прошли конные полки Шереметьева и двинулись на ревельскую дорогу — чинить над неприятелем промысел. За ними на левый берег перешли части дивизии Трубецкого. В версте перед каменными бастионами Нарвы они огородились обозом. Нарвский гарнизон не препятствовал переправе, — видимо, за малочисленностью боялись выйти в открытое поле.

Двадцать третьего сентября все головное войско, свернув с ямгородской дороги, вышло на холмистую равнину и в виду приземистых, поросших травой башен Иван-города, — бывшей некогда твердыни Ивана Грозного, — и голубоватых — за рекой — островерхих киров и черепичных крыш Нарвы двинулось к острову Кампергольм и начало переправу по зыбким мостам через мутную и быструю реку.

День был тихий. Солнце — неяркое, скудное. На кирпичных церквях Нарвы и Иван-города дребезжали набатные колокола.

К мостам по широко разбегенной песчаной дороге валили без строя солдаты; стрельцы в ненавистных Петру колпаках с лисьими опушками; изломанные, кое-как связанные телеги с бочонками, кулями, ящиками, с прозеленевшими караваями хлеба; мужики-возчики, вконец оборванные за дорогу, хлестали по тощим лошаденкам, влезавшим через силу в мочальные хомуты; проплывало знамя, прикрученное к древку, или значок на пике, или банник на плече у пушкаря, потерявшего свою часть; постукивая тростью по головам, протискивался верховой офицер, закинувший плащ за плечо; с гиком проскакал боярский сын в распахнутой шубе поверх дедовской кольчуги, и за ним подпрыгивали на клячах его люди — как бочки — в кафтанах из стеганого войлока, с татарскими луками и саадаками за спиной...

Все, проходя, оборачивались к лысому бугру, — в стороне

от дороги, на бугре, на серой лошади сидел царь в железной кирасе, смотрел в подзорную трубу. О стремя с ним на вороном коне подбоченился Меньшиков, — поглядывал весело, ветер играл перьями его золоченого шлема.

Войска располагались полукругом — в расстоянии пушечного выстрела — перед крепостью, опираясь флангами о Нарову; выше города по течению реки стали части дивизии Вейде, в центре, у подножия лесистого холма Германсберг, — дивизия Артамона Головина, на левом фланге, у моста через остров Кампергольм, — семеновцы, преображенцы и стрелецкие полки Трубецкого. Здесь же был разбит шатер герцога фон Круи, ехавшего при войске как высший советник. Петр и Меньшиков оставились на самом острове, в рыбацкой избе.

По всей линии начали рыть глубокий ров с люнетами, реданами и бастионами, обращенными к внешней стороне — на случай подхода шведов по ревельской дороге. Перед бастионами Нарвы возводились редуты для установки ломовой артиллерии. Осадными работами руководил инженер Галларт. С верков крепости отрывались клубы дыма, свирепо в осенней сырости рывкали пушки, высоко забиравшимися дымящими дугами неслись бомбы, падали, рвались близ телег, палаток, во рвах, откуда выскакивали солдаты. От бомб запылало несколько мыз среди садов и огородов. Дым от пожарищ и множества костров тянуло седой тучей на город, откуда вспыхивали огненные языки пушечных выстрелов. Нарвским комендантом был опытный и отважный воин полковник Горн.

Петр с инженером Галлартом, пробираясь верхами под защитой садов и строений, осматривали бастионы, — Фома, Глория, Кристеваль, Триумф. Иногда приходилось подъезжать так близко, что в амбразурах видны были суровые лица шведских пушкарей. Не суетясь, но живо накатывали, наводили пушку, зорко ждали. Огонь! Ядро, неумолимо нажимая воздух, с шипом пронеслось над головами. У Петра расширились глаза, взбухали желваки на скулах, но ядрам не кланялся. Инженер Галларт, человек бывалый (деловитый, спокойный, скучный), вовремя трогал шпорами коня, отъезжал в сторону. Роскошный Меньшиков, — по нему-то каждый раз и целились, — только встряхивал перьями шлема, хвастливо кричал пушкарям: «Плоховато, камрады!», похлопывал по шее танцующего жеребца. Полсотни драгун, усатых и рослых, недвижимо ожидали — в кого шлепнет черный мячик.

Крепостные стены были высоки. Бастионы, выступавшие полукружьями, сложены из валунного камня, столь крепкого, что чугунное ядро разлетается о него, как орех. В башенные щели и амбразуры высовывались тяжелые пушки — их в крепости было не менее трехсот, гарнизона — тысячи две — пехоты, конницы и вооруженных граждан. Врали разведчики, что Нарву можно было взять с налета.

Петр слезал с лошади, присев на барабан, раскладывал на коленях лист бумаги. Мишка-денщик подавал чернильницу. Галларт присаживался на корточки около,— расстояние прикидывал на глаз. Большая рука Петра, державшая гусиное перышко, осторожно проводила дрожащие линии. Меньшиков прохаживался перед полукружьем сидевших на конях драгун.

— На каждый бастион — по пятнадцать ломовых орудий, всего для прорыва нужно шестьдесят сорокавосемифунтовых медных орудий,— говорил Галларт ровным, скучным голосом.— Сто двадцать тысяч ядер, на плохой конец...

— Здрово! — сказал Петр.

— Для зажигания пожаров в городе перед штурмом потребуется не меньше сорока мортир и по тысяче бомб на каждую...

— Вот в Европе они как рассуждают,— сказал Петр, помечая цифры.

— Десять больших бочек уксусу для охлаждения орудий... Только непрерывною стрельбой, сущим адом всех батарей сокрушается твердость осажденных,— учит маршал Люксамбур... Нужно пятнадцать тысяч ручных гранат. Тысячу осадных двенадцатиаршинных лестниц, столь легких, чтоб каждую могли нести бегом два человека. Пять тысяч мешков с шерстью...

— А это зачем?

— Для защиты воина от мушкетных пуль. При осаде Дюнкирхена маршалу Вобану, заграждаясь таковыми мешками, удалось подойти вплоть к воротам, сколь ни была жестока стрельба, ибо пуля легко запутывается в шерсти...

— Ладно,— неуверенно сказал Петр, помечая на листке.— Данилыч, шерсти требуется пять тысяч мешков!..

Меньшиков, опершись о раздвинутые колени, нагнулся над трепещущей от ветра бумажкой. Покрутил губами:

— Баловство, мин херц. Да и шерсти совсем не достать. (Галларту.) Под Азовом с одними шпагами на стены лезли, а добыли город...

Позади — в ряду драгун — забила лошадь, глухо вскрикнул человек. Обернулись. Сивая лошадь у одного, подбирая ноги, слепо вздергивала башкой,— выше ноздрей у нее била струей в палец черная кровь. Усатые драгуны, дичась, косились в сторону кустов, откуда, шагах в ста, выпыхивали дымки. Петр, как поднял руку с пером, так и застыл, сидя на барабане.

Незаметно, за грохотом пушечной стрельбы, из ворот крепостной башни (отсюда невидимой за выступом бастиона Глория) вышел отряд егерей и перебежал за плетнями огородов. Вслед за ними на тяжелых рыжих лошадях вылетело полсотни рейтар в железных кирасах, низко надвинутых касках. Подняв шпаги, они скакали, растянувшись по вересковому полю, в обход слева.

Александр Данилович секунду — не более — глядел широко

разинутыми глазами на диверсию неприятеля, кинулся к вороному жеребцу, отстегнув, швырнул плащ, вскочил в седло: «Шпаги — вон!» — заорал, багровея. Выдернул шпагу, впился звездчатыми шпорами, упал на шею вставшему на дыбы жеребцу, толкнул его с места во весь мах: «Драгуны, за мной!» — и все, Меньшиков и драгуны, огибая стоящего около барабана Петра, поскакали наперерез рейтарам, уже начавшим осаживать и поворачивать...

Галларт, озабоченно поджав тонкие губы, подвел Петру его серую, с черной гривой, беспокоящуюся кобылу.

— Прошу вас выйти из поля обстрела, ваше величество.

Петр запрыгал на одной ноге, садясь в седло, — глядел, как сближались драгуны и рейтары. Наши скакали плотной кучей, впереди подпрыгивали перья на сверкающем шлеме Алексашки; шведы далеко растянулись по полю, и сейчас фланговые, круто повернув, шпорили и били шпагами коней. Но сбиться не успели. Петр видел, — вороной жеребец Алексашки ударил грудью рыжую лошадь, рейтар завалился, хватаясь за гриву... Красные перья замесались среди железных касок. Но уже налетели всею лавой драгуны и, не задерживаясь, продолжали скакать (будто шутя — размахивали шпагами). За ними на поле оставались лежащие люди: один мотал опущенной головой, силился приподняться, другой вздрагивал задранными коленями. Несколько порожних лошадей испуганно скакало по полю.

Галларт упорно тянул за узду. «Ваше величество, здесь опасно». Серая кобыла приседала, вертела задом. Петр ударил ее пятками. Отъехав, продолжал оборачиваться. Рейтары теперь изо всей силы уходили от русских: справа, преграждая им дорогу в город, скакали через бурые полосы жнивья, с татарской удалью размахивали кривыми саблями пестрые разномастные всадники — несколько сотен дворянского иррегулярного полка. Из-под дощатого навеса на крепостной стене трещали по ним мушкетные выстрелы.

Въехали в березняк, — Петр вздохнул всем ртом, пустил кобылу шагом. «Да, нелегко будет», — ответил своим мыслям. Галларт сказал:

— Могу вас поздравить, ваше величество, у вас отличные кавалеристы.

— Что ж из того — это еще полдела... Осерчать, скакать, рубить... Этим одним крепость не возьмешь...

Поднялся на бугор, натянул поводья и долго, морща лоб, глядел на растянувшуюся верст на семь линию войск и обозов. Повсюду из рвов лениво летели комья земли. Крики, ругань. Люди какие-то — без дела у костров, у распряженных телег. Стреноженные тощие лошаденки. Тряпье на кустах. Казалось, вся эта громада войск двигается и живет неповоротливо, с великой неохотой.

— Раньше ноября и думать нечего,— сказал Петр.— Покуда мороз не хватит — не подвезем ломовых пушек. Одно — на бумаге, одно — на деле...

Снова тронув шагом, стал расспрашивать Галларта о походах и осадах знаменитых маршалов Вобана и Люксамбура — творцов военного искусства. Расспрашивал об оружейных и пушечных заводах во Франции. Дергал тонкой шеей, туго перетянутой полотняным галстуком:

— Само собой... Там все налажено, все под руками... У них дороги, или у нас дороги...

Перемахивая через рвы, подскакал Меньшиков, весь еще горячий, весело оскаленный, с дикими глазами... На шлеме торчало только одно перо, на медной кирасе — следы ударов. Осадил тяжело поведившего пахами коня.

— Господин бомбардир... Враг отбит с уроном,— рейтар едва половина ушла от нас... (Сгоряча приврал, конечно.) Наших двое убитых, да есть оцарапанные...

У Петра от удовольствия глядеть на Алексашку наморщился нос.

— Ладно,— сказал,— молодец.

.....

Вечером в шатре у герцога фон Круи собрались генералы: напыщенный, весьма суровый Артамон Головин (первый соиздатель потешного войска), князь Трубецкой — любимец стрелецких полков,— дородный, богатый боярин, командир гвардии Бутурлин, знаменитый громоподобной глоткой и тяжелыми кулаками, и совсем больной, плешивый Вейде, дрожащий в бараньем тулупе. Когда пришли Петр, Меньшиков и Галларт, герцог просил — за стол отужинать по-походному. Были поданы редкие и даже невиданные кушанья (нарочный герцога добыл их в Ревеле), в изобилии разносили французские и рейнские вина.

Герцог чувствовал себя, как рыба в воде. Приказал зажечь много свечей. Разводя костлявыми руками, рассказывал о знаменитых сражениях, где он, на высоте — над полем кровавой битвы,— поставив ногу на разбитую пушку, отдавал приказания: кирасирам — прорвать каре, егерям — опрокинуть фланги. Топил в реке целые дивизии, сжигал города...

Русские, хмуро опустив глаза, ели спаржу и страстбургские паштеты. Петр рассеянно глядел герцогу в длинноносое лицо с мокрыми усами. Принимался барабанить по столу или вертел лопатками, будто у него чесалось. (С начала похода замечен был у Петра Алексеевича этот рассеянный взор.)

— Нарва! — восклицал герцог, протягивая денщику пустую чашу.— Нарва! Один день хорошей бомбардировки и короткий штурм южных бастионов... На серебряном блюде ключи от Нарвы — ваши, государь. Оставить здесь небольшой гарнизон и всеми силами, развернув на флангах конницу, обрушиться на короля Карла. Сочельник будем встречать в Ревеле, мое честное слово...

Петр поднялся от стола, пошагал, нагибаясь, чтобы не задевать головой за полотнище шатра, поднял с пола соломинку, прилег на герцогскую кровать (принесенную с ближней мызы). Поковырял соломинкой в зубах.

— Галларт дал мне роспись,— сказал, и все обернулись к нему, оставили еду.— Будь у нас все, что сказано в росписи, Нарву мы возьмем. Нужно шестьдесят ломовых орудий... (Сев на кровати, вытащил из-за пазухи смятый листок, бросил на стол — Головину.) Прочти... У нас пока что ни одной доброй пушки на редутах. Репнин с осадными орудиями бьется в грязях под Тверью... Мортиры,— сегодня узнал,— застряли на Валдае... Пороховой обоз по сю пору на Ильмень-озере... Что вы думаете о сем, господа генералы?..

Генералы, придвинув свечу, склонились головами над росписью. Один Меньшиков сидел поодаль со злой усмешкой перед полным кубком.

— Не лагерь — табор,— помолчав, опять сурово, не торопясь, заговорил Петр.— Два года готовились... И ничего не готово... Хуже, чем под Азовом. Хуже, чем было у Васьки Голицына... (Алексашка зазвенел шпорой, до ушей оскалился — злобредный.) Лагерь! Солдаты шатаются по обозам... Баб, чухонек, полон обоз... Гвалт... Беспорядок... Работают лениво,— плюнуть хочется, как работают... Хлеб — гнилой... Солонины в некоторых полках — только на два дня... Где вся солонина? В Новгороде? Почему не здесь? Пойдут дожди — где землянки для солдат?

В шатре только потрескивали свечи. Герцог, плохо понимая, о чем речь, с любопытством переводил глаза с Петра на генералов.

— Два месяца идем от Москвы, не можем дойти. Поход! Известно вам,— король Карл принудил Христиана к позорному миру, принудил уплатить двести пятьдесят тысяч золотых дублонов контрибуции. Ныне Карл со всем войском высадился в Пернове и маршем идет на Ригу... Если теперь же он разобьет под Ригой короля Августа,— в ноябре надо его ждать сюда, к нам... Как будем встречать?

Старший по чину Артамон Головин, встав, поклонился, навесил седые брови:

— Петр Алексеевич, с божьей помощью...

— Пушки нужны! — перебил Петр, жила вздулась у него на лбу.— Бомбы! Сто двадцать тысяч ломовых ядер! Солонины, старый дурак...

.....

Снова недели на две зарядили дожди, потянули с моря непросветные туманы. Солдатские землянки заливало, шатры протекали, от сырости, от ночной стужи некуда было укрыться. Весь лагерь стоял по пояс в болоте. Люди начали болеть поносами, открывалась горячка,— каждую ночь на десятках телег

увозили мертвых в поле. С крепости по осаждающим, не переставая, били из пушек и мелкого ружья. На рассвете чаще всего бывали вылазки,— шведы снимали сторожевых, подползали к землянкам, забрасывали спящих ручными гранатами. Петр ежедневно объезжал всю линию укреплений. В мокром плаще, в шляпе с отвисшими полями, молчаливый, суровый, появлялся на серой кобыле из дождевой завесы,— остановится, поглядит стеклянным взором и шагом дальше по изрытому полю — в туман.

Обозы подходили медленно. С пути доносили, что вся беда с подводами: у мужиков все взято, приходится брать у помещиков и в монастырях. Лошаденки худые, корма отравлены, и что ни день тяжелее от превеликих дождей и разбитых дорог. Был слух, что Петр у себя в рыбацкой избе на острове собственноручно избил до беспамяти генерал-провиантмейстера, помощника его велел повесить. С пищей будто бы стало немного лучше. И порядка в лагере прибавилось. Плохи были командиры: русские — медлительны, приучены жить по старинке, многоречивы и бестолковы. Иностранцы только и знали — пить водку от сырости да хлестать по зубам за дело и не за дело.

Подлинно стало известно: король Карл, высадившись в Пернове, повернул к Риге, одним появлением своим привел в смирение ливонских рыцарей и оттеснил войска короля Августа в Курляндию. Сам Август сидел в Варшаве среди взбудораженного раздорами панства и оттуда гнал гонцов к Петру — просил денег, казаков, пушек, пехоты... Под Нарвой понимали — шведов надо ждать с первыми заморозками.

Шереметев с четырьмя иррегулярными конными полками, посланный для промысла над неприятелем, дошел до Везенберга и счастливо побил было шведский заградительный отряд, но внезапно отступил к приморским теснинам Пигаюки — верстах в сорока от Нарвы — и оттуда писал Петру:

«...Отступил не для боязни, но для лучшей целости... Под Визенбергом — топи несказанные и леса превеликие. Кормы, которые были не токмо тут, но и около, все потравили. А паче того я был опасен, чтобы нас не обошли к Нарве... А что ты гневен, что я селения всякие жгу и чухонцев разбиваю, то будь без сомнения: селений выжжено немного и то для того только, чтобы неприятелю не было пристанища. А ныне приказал отнюдь без указу, чтобы край не разоряли... Где я стал под Пигаюками — неприятелю безвестно мимо пройти нельзя, далее отступать не буду, здесь и положим животы свои, о том не сомневаясь...»

Наконец,— на счастье или на беду,— ветер подул с севера. В день разогнало мокрую мглу, низкое солнце скупое озарило утопавший в грязях лагерь, в городе на церковном шпиле загорелся золотой петушок. Землю схватило морозом. Стали подходить обозы с огневыми припасами. На быках,— по десяти пар на каждую,— подвезли две знаменитых,— весом

по триста двадцать пудов,—пищали «Лев» и «Медведь», отлитые сто лет тому назад в Новгороде Андреем Чоховым и Семеном Дубинкою. Как черепахи, ползли гаубицы на широких и низких колесах, короткие мортиры, бросающие трехпудовые бомбы. Все войска стояли под ружьем, все конные полки — о конь, с голыми шашками на случай вылазки шведов.

Двести человек, подхватив канатами, втащили «Льва» и «Медведя» на средний редут против южных бастионов крепости. На батареях всю ночь устанавливали гаубицы и мортиры. В крепости тоже не спали, готовились к штурму — по стенам ползали огоньки фонарей, перекликались часовые.

На рассвете пятого ноября Петр с герцогом и генералами выехал на холм Германсберг. Дул колючий ветер. Лагерь был еще покрыт сумраком, красный свет солнца лег на острые кровли города и зубцы башен. Внизу вспыхнули длинные огни, сотрясая равнину, ухнули, рывкнули пушки,—искряными дугами понеслись бомбы в город. Дымом затянуло и лагерь и стены. Петр опустил подзорную трубу и, раздув ноздри, кивнул Галларту. Тот подъехал, пощелкал языком:

— Плохо. Недолеты. Порох никуда не годится...

— Сделать что? Немедля...

— Прибавить заряд... Только бы выдержали орудия...

Петр спустился с холма, через подъемный мост и ворота из дубовых бревен проскакал за частокол и рогатки. На средней батарее пушкари обливали водою с уксусом длинные стволы «Льва» и «Медведя». Командир батареи, голландец Яков Винтершиверк, низенький старый моряк, с бородой из-под воротника, подойдя к Петру, сказал хладнокровно:

— Это никуда не годится... Этим порохом только стрелять по воробьям — один дым и одна копоть...

Петр сбросил плащ, кафтан, засучил рукава, взял банник у пушкаря, сильным движением прочистил закопченное дуло...

— Заряд.

Из погреба батареи пошли кидать — из рук в руки — пачки пороха в серой бумаге. Он надорвал одну пачку, высыпал поршинки на ладонь, только фыркнул, как кот, злобно. Вбил в дуло шесть пачек...

— Это будет опасно,—сказал Яков Винтершиверк.

— Молчи, молчи... Ядро...

Подкинул на руках пудовый круглый снаряд, вкатил в дуло, налегая на банник, плотно забил. Присел под прицелом,—вертел винт...

— Фитиль... Отойти всем от орудия.

Надрывая уши, «Медведь» изрыгнул огонь, тяжело дернулся назад чугунными колесами, зарылся хоботом. Ядро понеслось уменьшающимся мячиком,—на башне бастиона Глория брызнули камни, обвалился зубец...

— О, это неплохо,—сказал Яков Винтершиверк...

— Так стрелять...

Накинув кафтан, Петр поскакал на гаубичную батарею. Был дан приказ по всем батареям — увеличить заряд в полтора раза. Снова от грохота ста тридцати орудий задрожала земля. Страшное пламя вылетало из торчком стоящих мортир. Когда разнесло тучи дыма — увидели: в городе пылало два дома. Второй залп был удачен. Но скоро узнали: на западной батарее разорвало две гаубицы, отлитые недавно на тульском заводе Льва Кирилловича, у нескольких орудий треснули оси на лафетах. Петр сказал: «Потом разберем... Найдём виноватых... Так стрелять...»

Так началась бомбардировка Нарвы и длилась без перерыва до пятнадцатого ноября.

.

Царский повар Фельтен, бубня себе под нос, жарил на шестке на лучинках яичницу. С трудом достали десяток яиц, — кухонный мужик верхом прогнал чуть не до Ямбурга, — все оказались тухлые...

— Чего ты бормочешь, ты их перцем покрепче, Фельтен...

— Слышу, ваше величество... Перцем!

Петр сидел около горячей печки. Тут только и было тепло (в чулане за перегородкой, где они спали с Алексашкой, дуло сквозь стены). Сейчас, в полночь, было слышно — вой ветра да скрипели крылья ветряной мельницы рядом с домиком на острову. Хорошо потрескивали березовые лучинки. Коротенький сердитый Фельтен разложил на шестке припасы и все нюхал, на мясистом носу его гневно пылали отсветы.

— А ну, как тебя шведы в плен возьмут, что тогда, Фельтен?..

— Я слушаю вас, ваше величество...

— Ага, скажут, царский повар! Да и повесят за ноги...

— Ну и повесят, я свой долг знаю...

Он накрыл чистым полотенцем шатающийся дощатый столик. Поставил глиняную сулею с перцовкой, тоненькими ломтями нарезал черный черствый хлеб. Петр, слабо попыхивая трубкой, поглядывал, как ловко, мягко, споро двигался Фельтен — в валенках, в ватной куртке, подпоясанный фартуком.

— Я тебе про шведов не шучу... Хозяйство свое ты прибрал бы.

Фельтен искоса взглянул — понял: не шутит. Подал с жару сковородку с яичницей, налил из суеи в оловянный стаканчик.

— Пожалуйста к столу, ваше величество...

Домишко весь сотрясся от ветра. Заколебалась свеча. С улицы шумно вошел Меньшиков:

— Ну и погода...

Морщась, развязывал узел на шарфе. У шестка над лучинками стал греть руки.

— Сейчас придёт...

— Трезвый? — спросил Петр.

— Спал. Я его — недолго — с кровати...

Алексашка сел напротив. Попробовал — крепко ли стоит стол. Налил, выпил, замотал башкой. Некоторое время ели молча. Петр — негромко:

— Поздно... Больше ничего не поправишь...

Алексашка — с трудом глотая:

— Если он в ста верстах, да Шереметьев его не задержит, — послезавтра он — здесь... Выйти в чистое поле, — неужто не одолею конницей-то? (Расстегнул воротник, обернулся к Фельтену.) Щец у тебя не осталось? (Налил вторую чарку.) У него всей силы тысяч десять только, — пленные на евангелии клянутся... Неужто уж мы такие сиволапы?.. Обидно...

— Обидно, — повторил Петр. — В два дня людям ума не прибавишь... Учинится под Нарвой нехорошо — будем задерживать его в Пскове и в Новгороде...

— Мин херц, грешно и думать об этом...

— Ладно, ладно...

Замолчали. Фельтен, присев, дул в угли, — грел пиво в медном котелке.

Под Нарвой было нехорошо. Две недели бомбардировали, взрывали мины, подходили апрошами, — стен так и не проломили и города не подожгли. На штурм генералы не решились. Из ста тридцати орудий разорвало и попортило половину. Вчера стали подсчитывать — пороху и бомб в погребах осталось на день такой стрельбы, а пороховые обозы все еще тащились где-то под Новгородом.

Шведская армия скорыми маршами подходила по ревельской дороге и сейчас, может быть, уже билась в пигаюкских теснинах с Шереметьевым. Русские оказывались как в клещах, — между артиллерией крепости и подступающим Карлом...

— Нашумели много... Это можем, — Петр бросил ложку. — Воевать еще не научились. Не с того конца взялись... Никуда это дело еще не годится. Чтоб здесь пушка выстрелила, ее надо в Москве зарядить... Понял?

Алексашка сказал:

— Сейчас еду, — в первой роте у костра солдаты разговаривают. Шведов ждут — весь лагерь гудит. Честят генералов, — ну... Один — слышу: «Прапорщику, говорит, первую пулю...»

— Генералы! (У Петра замерцали глаза.) С хоругвями по стенам ходить! Воеводы... Старые дрожжи...

Тогда Алексашка сказал осторожно, — запустил глазом:

— Петр Алексеевич... Отдай войско мне на эти три дня... Ей-ей. А?

Будто не расслышав, Петр полез в карман за кисетом. Сопя, уминал пальцами крошки табаку:

— Главнейшим начальником с завтрашнего дня имеет быть герцог фон Круи. Дурак изрядный, но дело знает по-европейски, — боевой... И наши иностранцы при нем будут бодрее... Ты соберись, слышь, до свету — поедем...

Сопел. Придвинув свечу, раскуривал, Алексашка спросил тихо:

— Петр Алексеевич, куда поедем?

— В Новгород.

Петр взглянул наконец в раскрытые чрезмерным изумлением прозрачно-синие глаза Алексашки. Вдруг густо начал багроветь (надулась жила поперек вспотевшего лба) — и, — сдерживая гнев:

— Тому мальчишке терять нечего, а мне есть чего... Думаешь — под Нарвой начало и конец? Войне начало только... Должны одолеть... А с этим войском не одолеем... Понял ты? Начинать надо с тылу, с обозных телег... Скакать со шпагой — последнее дело... Дура, храбрее Карла хочешь быть? Опустит глаза! (Бешенство метнулось по лицу его.) Не моги смотреть на меня!

Алексашка не послушал, не опустил глаза, от жгучего стыда наливались слезы, капля поползла по натянутой щеке. Петр узкими зрачками впился в него. Оба не дышали. Петр вдруг усмехнулся. Отвалясь к стене, глубоко засунул руки в карманы.

— «Мин херц», — передразнил Алексашкиным голосом. — Сердечный друг... За меня стыдно стало? Подожди, еще чего случится, — все морду отворотят. Карла испугался... Войско бросил... В Новгород ускакал, все равно, как тогда — к Троице... Ладно... Вытри личико. Поди встретить — господ генералы пожаловали...

.

Окрики часовых. Топот подков по мерзлой земле. За окном — свет факелов. Звеня шпорами, вошел герцог и генералы — красные от ветра, встревоженные, — что случилось в такой поздний час?.. Петр кивнул им, подойдя к герцогу, обнял. Показал Меньшикову — взять свечу — и пошел за дощатую переборку в чулан.

Здесь Меньшиков поставил свечу на столик, заваленный бумагами, засыпанный табаком. Все стояли. Петр сел, взял листок, шевеля губами, строго перечел про себя присыпанные золой, исчерканные строки. Кашлянул и, — ни на кого не глядя:

«Ин готснам, во имя божье, — начал читать суровым, твердым голосом. — Понеже его царское величество ради нужнейших дел отъезжает от войска, того ради вручаем мы войско его княжеской пресветлости герцогу фон Круи по нижеследующим статьям... (Герцог, стоя у самого стола, задергал ляжкой. Петр посмотрел на его тощую ляжку в белой лосине, потом — на сухие руки, обхватившие золотую рукоять сабли.) Первая статья: его пресветлейшество имеет быть главнейшим начальником... Второе: все генералы, офицеры, даже и до солдата имеют быть под его командой, как самому его царскому величеству... Третье... (Поднял голос.) Добывать немедленно Нарву и Иван-город всячески... Четвертое... За послушание генералов, офицеров и солдат чинить над ними расправу, яко над подданными своими, даже и до смерти...»

Мимо герцога стал смотреть на генералов: Вейде согласительно

кивал, князь Трубецкой вспух вспотевшим лицом, у Бутурлина седые стриженные волосы задвигались над низким лбом, Артамон Головин низко опустил голову, будто позор и беда уже легли на его плечи.

«Также его пресветлейшеству зело проведывать про шведский сикурс: Когда подлинно уведомится о пришествии короля Каролуса и если оный нарочито силен, — оного накрепко стеречь, чтобы в город Нарву не пропустить, и поиск над оным с божьей помощью искать... Но лучше обождать, буде возможно, до прибытия подмоги...» (Опустил листок и — герцогу.) Репнин и гетман с казаками и огнеприпасные обозы — в немногих днях пути... (Головину.) Садись, перебели...

В дверь из сеней постучали. Меньшиков озабоченно протискался в кухню. Кто-то вошел, — в раскрытую дверь с шумом ветра донеслись отдаленные крики множества голосов. Петр, оттолкнув кого-то, шагнул в кухню.

— Что случилось? — крикнул страшно.

Перед ним стоял юноша, — осунувшееся розовое, как у девушки, лицо, вздернутый нос, смелые глаза, над ухом русые волосы запеклись кровью...

— Павел Ягужинский, поручик, при Борисе Петровиче Шереметьеве, — быстро сказал Меньшиков.

— Ну?

У того задрожало лицо. Подняв нос к Петру, справился:

— Борис Петрович послал, государь, спросить — куда стать полкам?

Петр молчал. Генералы испуганно теснились в дверях чулана. Меньшиков, — торопливо надевая полушубок:

— Бежали без чести от самых Пигаиок... Шапки побросали...
Дворяне...

Иррегулярные полки дворянского ополчения, утром семнадцатого ноября, узнав от сторожевых, что шведские разъезды за ночь прошли мимо теснин берегом моря в тыл на револьскую дорогу, смешались и, не слушая Бориса Петровича Шереметьева, стали уходить от Пигаиок — в страхе оказаться отрезанными от главного войска. Он подскакивал к расстроенным сотням, хватал за поводья, сорвал голос, бил нагайкой по лошадям и по людям, — задние напирали, конь его вертелся в лаве отступающих. Ему только удалось собрать несколько сотен, чтобы остеречь тыл и спасти часть воинского обоза от шведов, появившихся с восходом солнца, — в железных кирасах и ребрастых касках, — на всех скалистых холмах. Шведы не преследовали. Дворянские полки уходили вскачь. Ночью они появились под палисадами нарвского лагеря. Сторожа на валу, в темноте приняв их за врага, открыли стрельбу. Всадники отчаянно кричали: «Свои, свои...» Пробудился и загудел весь лагерь.

За палисады впустили поручика Павла Ягужинского, он поскакал к царю. Бушевал ледяной ветер. Служилые люди, сойдя с коней, стояли по ту сторону рва у поднятых мостов. С палисадов кричали им: «Помещики, чего скоро прибежали?.. В осаду хотите, сердешные?..» По всему лагерю начали бить барабаны, поплыли огоньки, поскакали всадники с фонарями. В полках и сотнях под знаменем читали царский указ о вручении войска преславному и непобедимому имперскому герцогу фон Круи. Войска молчали, пораженные изумлением и страхом. Скоро летучей молвою побежал слух, что царя уже нет в лагере и швед всею силою стоит в пяти верстах.

Никто не спал. Зажигали костры — их разметывал ветер. Под утро конницу Шереметьева отвели на правый фланг. Не заходя за палисады, она стала на самом берегу, там, где Нарова, выше города, бешено ревела между островками на порогах. Рассвело — шведов не было видно. Посланные дозоры нигде вблизи врага не обнаружили, хотя шереметьевцы и божились, что он висел у них на хвосте от самых Пигаиок.

Под хриплые вопли рожков герцог, в пышном плаще, с маршальским жезлом, упертым в бок, и за ним — позади на пол-лошадиного корпуса — генералы: Головин, Трубецкой, Бутурлин, царевич Имеретинский и князь Яков Долгорукий — объезжали лагерь. Герцог, взбодряя висячие усы ребром перчатки, кричал солдатам: «Здорово, молодцы! Умром за батушку цара!» Во всех полках под барабанный бой читан приказ:

«...Ночью половине войска стоять под ружьем... Перед рассветом раздать солдатам по двадцать четыре патрона с пулями. На восходе солнца всей армии выстроиться и по трем пушечным сигналам — музыке играть, в барабаны бить, все знамена поставить на ретраншементе. Стрелять не прежде, как в тридцати шагах от неприятеля...»

Ночью ветер повернул на запад — с моря. Потеплело. В темноте шведский генерал-майор Рибинг с двумя рейтарами, приказав обернуть войлоком конские копыта, тайно подъехал к самым палисадам, измерил глубину рва и высоту раскатов.

.....

Алексей Бровкин, голодный, как черт, насквозь продутый ветром, ходил по валу, — три шага вперед, три назад, — около ротного значка. Вал тянулся на семь верст, солдаты стояли редко друг от друга. Рожки протрубили, барабаны протрещали. Пушки, мушкеты заряжены, фитили дымились. Ветер трепал полотнища знамен на ретраншементах. Было одиннадцать часов утра...

Алексей со всей силой подтянул кушак. Новый главнейший начальник обо всем позаботился, только забыл накормить. Который день солдаты, — и офицеры строевые, — жевали заплесневе-

лые сухари, вытряхивали крошки из сумок. В эту ночь и сухарей не выдали. Солдаты вороньими пугалами торчали на валу (из роты Бровкина осталось восемьдесят здоровых). Было время, — Алексей, ох, как ждал сразиться! — повести роту в пушечном дыму, самому схватиться за древко неприятельского знамени... («Спасибо, Алексей, жалую тебя в полковники...») Сегодня одного хотелось — залезть в теплую вонь землянки, похлебать из котелка жидкой каши, чтоб обожгло глотку...

Жмурясь от ветра, Алексей крикнул ближайшему — Голикову: — Чего рот разинул, стоять бодро.

Тот не услышал, — подняв рваные плечи, уставил востроносое лицо, будто увидел смерть... И другие солдаты, как ошетиленные псы, глядели в сторону холма Германсберг. Над ним в стремительно летящих тучах показывалось, заволакивалось невысокое солнце. Между пней и мотающихся голых берез двигались тяжело навьюченные люди, — все больше их выходило из лесу. Они скидывали с плеч мешки и व्यюки, перебегали вперед, строились в широкие, плотные колонны. Шестерными упряжками выезжали пушки, одни вниз — прямо — к среднему редуту, другие — на рысях через ручей — к сильным укреплениям Вейде, третьи вскачь мчались направо по равнине. Шесть пеших колонн выстраивались на холме Германсберг. Двойными тусклыми железными рядами выезжала из леса конница.

Алексей не своим голосом закричал:

— Барабанщики, боевая тревога!

На вал выскочили усатые унтер-офицеры, надвигали треуголки, чтобы не унес ветер. Затрещали барабаны... Леопольдус Мирбах, неизвестно чему радуясь, указывал пальцем, кричал Алексею: «Глядите, вот тот на коне — это король Карл». Колонны шведов, страшные своей правильностью, порядком, будто не люди, бесчувственные, бессмертные, поколыхиваясь черно-синими рядами, ползли с холма... Там, на высоком месте, стояло пять-шесть всадников, и один, тоненький, впереди, — помахивал рукой, к нему подскакивали верховые и мчались вниз, к колоннам.

Ветер гнул древки знамен и значков на валу, надрывая душу, трещали барабаны. Свинцово-снежная туча поднималась со стороны моря, быстро накрывала небо. Четыре орудийные запряжки подскакали, шагах в двухстах от рва, против места, где стояла рота Бровкина, с хода завернули, — снялись передки, подскакали зеленые зарядные ящики, завернули. Соскочили крепкие люди в темно-синих мундирах, стали у пушек. Бегом, не расстраивая правильного ряда, подошла пехотная колонна, — впереди ее выскочило несколько человек с белыми отворотами... При взмахе блеснувших шпаг ряды шведов сдвоились, развернулись по сторонам батареи, припали, — полетели комья земли...

Алексей, приложив ко рту руки, перекрикивал ветер: «Господа прапорщики... Передать унтер-офицерам... Передать солдатам...

Без приказа не стрелять за страхом смерти...» Леопольдус Мирбах побежал в длинных ботфортах по валу, крича по-немецки, грозя тростью... Федька Умойся Грязью (бородатый, грязный, чистое пугало) злобно оскалился — Леопольдус ударил по башке... Ветер рвал полы кафтанов, высоко полетела чья-то шляпа...

Алексей оборачивался к нашей батарее: «Да ну же... Скорее». Наконец тяжело рвануло уши... «Дьяволы, стрелять не умеют!..» В ответ четыре шведские пушки, отскочив, плюнули огнем... В полуверсте, особенно и важно, прогрехотали «Лев» и «Медведь»... «Ох, наши — лениво». Четыре запряжки снова подскакали, подцепили пушки, подвезли ближе к валу. Пушкари догнали бегом, — прочистили, зарядили, отскочили — двое к колесам, третий присел с фитилем. Человек с белыми отворотами поднял шпагу... Залп... Четыре ядра ударили в сосновые бревна палисада, рвануло железным визгом, полетели щепы. Алексей попятился, упал. Вскочил... Мельком, но страшно ясно (запомнил потом на всю жизнь) увидел: по кочковатому полю, близко вдоль рва, скачет на сивой лошади прямо, тонкий, как палец, юноша в маленькой треуголке, из-под нее подскакивает на загривке кожаный мешочек, ноги его не по-русскому вытянуты вперед, засунуты в стремя до каблука, узкое лицо насмешливо обращено к стреляющим с палисада, за ним десятка два вдвоенных ровных рядов кирасиров на очень костлявых конях скачут голова в голову... «Господи, помилуй!» — донесся отчаянный крик Голикова.

Низкая туча стремительно закрывала все небо. День быстро темнел. Пеленою снега затягивало лагерь, ряды скачущих кирасир,двигающиеся шведские колонны. В вое ветра рывкали пушки, — пламя их вспыхивало мутными сияниями. Трещала, рвалась палисад. Ядра свирепо прошипывали над головой. Закрутилась метель, косой колючий снег бил в лицо, залеплял глаза. Не было видно ни того, что впереди — по ту сторону рва, ни того, что уже с четверть часа началось в лагере.

На Алексея налетел бегущий без памяти, согнувшись, солдат не из его роты... Алексей схватил его за бока... Солдат истошно заорал: «Продали!..» — вырвался, исчез в метели... Только тогда Алексей заметил, как из крутящейся пелены стали валиться в ров будто бы вязанки хвороста. Сдирая с лица снег, закричал: — Огонь!.. Огонь!..

Во рву уже копошились проворные люди...

(...Шведские гренадеры, коим снег бил в спину, подбежав, стали забрасывать ров фашинами, и по ним без лестниц полезли на палисад...)

...Алексей увидел еще: выстрелил Голиков, пятась, — пихал перед собой багинетом... Большой, засыпанный снегом человек перекинул ноги через палисад, схватился рукой за багинет, — Голиков тянул мушкет к себе, тот — к себе... Алексей завизжал, тыкая его, как свинью, шпагой. Еще, еще переваливались люди, будто гнала их снежная буря... Алексей колол и мимо и в мяг-

кое... Брызнула боль из глаз,— череп, все лицо сплющилось от удара...

...Голиков не помнил, как скатился со рва... Полз на четвереньках,— от животного ужаса... Мимо, размахивая руками, пробежал кто-то, за ним с уставленными багинетами — двое шведов, яростные, широкие... Голиков прилег, как жук... «Ох, какие люди!..» Поднял голову,— снегом забило рот. Вскочил, шатаясь, тотчас наткнулся на двоих... Федька Умойся Грязью лежал животом на Леопольдусе Мирбахе, добирался пальцами до его горла... Леопольдус рвал Федькину бороду... «Врешь, сатана»,— хрипел Федька — навалился плечами... Андрей побежал... «Ох, какие люди!..»

.

Средняя колонна шведов,— четыре тысячи гренадеров,— всю фурию бросилась на дивизию Артамона Головина... Четверть часа длился бой на палисадах. Русские, ослепляемые метелью, истомленные голодом, не веря командирам, не понимая, зачем нужно умирать в этом снежном аду, отхлынули от вала... «Ребята, нас продали... Бей офицеров!..» Беспорядочно стреляя, бежали по лагерю, давили друг друга в занесенных рвах и на турах батарей... Смяли и увлекли за собой полки Трубецкого. Тысячами бежали к мостам, к переправе...

Шведы недалеко преследовали их, страшась самим затеряться в метели среди столь огромного лагеря. Хриплые трубы повелительно звали — назад, на вал... Но часть grenадер наткнулась на рогатки,— за ними стояли обозы... Гренадеры закричали: «Мит готс хильф, во имя божье...» — и штурмом взяли обоз. Здесь под занесенными снегом рогожами нашли бочки с тухлой солониной и бочонки с водкой. Более тысячи гренадеров так и остались до конца боя у разбитых бочонков... Русских, метавшихся меж телег, одних перекололи, других просто прогнали прочь.

Вслед за пехотой в лагерь через разломанные ворота ворвалась конница — прямо на главный редут. Пищали «Лев» и «Медведь» взяты были в конном строю,— прислуга порублена, командир Яков Винтершиверк, раненный в голову, отдал шпагу. Пищали повернули на восток и стали бить по укреплениям Вейде. Шведы здесь встретили упорное сопротивление,— Вейде поставил всю дивизию на палисады, в четыре ряда, тесно, сам офицерским копьём сбивал шведов, лезущих на тыл. Солдаты позади заряжали мушкеты, передние стреляли бегло... Весь ров был завален убитыми и ранеными. Когда стали долетать ядра с главного редута и опознали голоса «Льва» и «Медведя»,— Вейде верхом поскакал по валу: «Ребятюшки, стойте твердо...» Под конем его рвануло бомбу, видели,— в летящем снегу, в дыму конь его встал на дыбы, опрокинулся...

Конные полки Шереметьева стояли припертые к реке, между палисадами Рейде и лесом. В лицо неслись снежные вихри, позади ревели Нарова. Страшно шумел лес. Стояли, ничего не видя, не понимая. Справа, издалече, все чаще били пушки... Совсем близко на палисадах началась мушкетная пальба, крики, смертные вопли такие, — волосы зашевелились под мурмолками у детей боярских...

Борис Петрович был на холме посреди своего войска. Подзорную трубу спрятал в карман, — едва можно было различить уши коня... Понятно — что делалось в нашем лагере. Тицетно ждал приказа командующего. Но он либо забыл о дворянской коннице, либо ее не могли отыскать, либо случилось нехорошее...

Стрельба послышалась с левого крыла, должно быть, из леса. Борис Петрович слушал, привстав на стременах. Подозвал молодого князя Ростовского:

— Возьми, батюшка, четыре сотни, скачи в лес, выбей-ка оттуда неприятеля... С богом...

Князь, окоченевший в кольчуге и железном колпаке, невнятно что-то ответил, съехал с холма... И из леса рывкнула пушка. Чей-то голос затянул смертную жалобу. И сразу — справа, слева, спереди — захлестали мушкетные выстрелы. Борис Петрович оглядывался, чтобы приказать: «Сабли, вон, вперед с богом...» Но приказать было некому: на холм пятились конские зады... «Пропали, пропали, уходите через реку!» — закричали тысячи голосов. Борис Петровичу осталось одно, — чтобы не смяли, самому повернуть коня: зажмурился, заплакал, рвя узду...

Рев, дикое гиканье... Колыхающаяся лава конских задранных голов, косматых грив, спин, осыпанных снегом, мчалась к реке. Берег был крут, лошади съезжали на задах, упирались, задние врезались в них вскачь, перескакивали через падающих... В желтой воде под пеленой метели закрутились конские морды, захлебывающиеся человеческие лица, из водоворотов показывались руки, судорожно цепляли воздух... Новые и новые сотни всадников бросались в Нарову, — плыли, бились на струях, тонули...

Добрый конь под Борисом Петровичем выбрался на остров посреди реки, постоял, поводя боками, осторожно опять вошел в воду, оскалась, поплыл, вынес на тот берег...

Метель, застилавшая поле битвы, была для шведов, пожалуй, опаснее, чем для русских. Нарушилась связь между наступающими колоннами, — вестовые напрасно метались в снежных вихрях, разыскивая генералов и короля. Смелый план, — стремительными ударами опрокинуть фланги противника, окружить его и прижать к крепости под огонь бастионов, — план этот не удался: центр русских сразу был прорван — войска Артамона Головина беспорядочно отступили, пропали в пурге, но фланги оборонялись с неужи-

данным упорством, особенно правый, где находились лучшие полки — Семеновский и Преображенский.

Шел четвертый час, стрельба не затихала. Валил, крутился снег. До темноты необходимо было закончить бой победой, иначе четыре батальона шведов, проникшие в центре в лагерь, потрепанные и уставшие, могли быть в свою очередь окружены и уничтожены, если русские осмелятся наконец выйти из-за палисадов — на флангах у них по скромному расчету оставалось тысяч пятнадцать свежего войска.

В начале боя Карл с тремя эскадронами кирасир находился между колоннами Штенбока и Мейделя, чтобы видеть одновременно атаку центра и правого фланга. Здесь застала его метель. Наступающие колонны скрывались за пеленой снега, не стало видно даже вспышек орудий. Карл, подняв нос, сжав зубы, слушал упоительные звуки боя. Подскакавший адъютант генерала Рёншельда рапортовал, что гренадеры прорвали центр и гонят русских в глубь лагеря. Карл, схватив офицера за плечо, крикнул в ухо:

— Скажите генералу — король приказывает остановить преследование, занять центральный редут, приготовиться к обороне, ждать распоряжений...

Одного за другим он посылал вестовых на правый фланг к Шлиппенбаху, безуспешно штурмовавшему линию укрепления Вейде... «Передайте генералу — король удивлен». Он послал ему в подкрепление две роты из резерва, но их не нашли и не послали. Шведы бешено штурмовали полуразрушенный палисад, генерал Вейде был ранен осколком бомбы, русские продолжали отбиваться чем попало...

Опасность увеличивалась с каждой минутой. Вчера на военном совете все генералы высказались против безумной операции под Нарвой: с десятью тысячами голодных, измученных солдат, навьюченных мешками (обозы пришлось бросить в поспешном наступлении), броситься на пятидесятитысячную армию за сильными укреплениями... Это было бы неосторожно... Но Карл сказал: «Выигрывает наступающий, опасность увеличивает силы, завтра вы приведете ко мне в палатку царя Петра...» Он изложил генералам свою диспозицию, — в ней было предвидено и учтено все, кроме бурана...

Подняв нос, вытянувшись в седле, весь занесенный снегом, он вслушивался в звуки боя. Опасность пьянила его. Эта игра несравнима даже с охотой на медведей в Кунгсёрском лесу. Ветер с особенной силой доносил выстрелы с левого фланга, где два батальона гренадер генерала Левенгаупта штурмовали позиции семеновцев и преображенцев. Неужели и там, в наиболее ответственном месте, еще нет успеха?

Обернувшись, Карл схватил за узду чью-то лошадиную морду (лошадь и всадника за бураном не было видно), крикнул, чтобы послали четыре роты из резервов в помощь Левенгаупту. Ло-

шадиная морда вздернулась, исчезла. (Эти роты также не были найдены и посланы.) Пальба слева становилась все отчаяннее. Из облаков снега выскочил занесенный всадник:

— Король... Генерал Левенгаупт просит подкреплений...

— Я послал ему четыре роты... Я удивлен...

— Король... Палисады разбиты, рвы завалены фашинами и трупами... Но русские отошли за рогатки... Они озверели от страха и крови... Выкрикивают ругательства и лезут на штыки... Генерал Левенгаупт получил несколько ран и пеший продолжает сражаться впереди солдат...

— Указывай дорогу!...

Карл толкнул коня, нагнувшись против снега и ветра, поскакал о стремя с посланным офицером в сторону выстрелов на левом фланге. Ветер, пронизывая тело, казалось, пел в сердце... В этом упоении ветра, снега, грохота выстрелов ему нужно было ощутить сопротивление клинка, входящего в живое тело... Офицер что-то крикнул, указывая вперед, где на снегу расплылось желтое пятно... Это было занесенное русло ручья. Карл вонзил шпоры, конь тяжелым махом перенесся через желтый снег и увяз в трясине, вскидываясь, глубже увязил зад,— захрапел ноздрями в снежный ветер. Карл соскочил,— левая нога погрузилась в вязкий ил по самый пах... Рванул, вытащил ногу из ботфорта, на четвереньках, потеряв шляпу и шпагу, пополз на тот берег, где, спешась, стоял офицер, протягивая руку...

Так,— об одном ботфорте, без шляпы,— Карл влез на его дрожащую, покрытую ледяной коростой, худую лошадь, колота шпорой, поскакал на близкие выстрелы, дикие крики. Лошадь стала перепрыгивать через снежные бугорки,— это были убитые или раненые... Впереди перебегали неясные тени. Огненно грохотнула пушка... Неожиданно близко он увидел беспорядочную толпу своих гренадеров,— они угрюмо стояли, опираясь на ружья, глядели туда, где за истоптанным, окровавленным снегом, за уткнувшимися телами убитых торчали наискось острые колья рогаток. За ними колыхалась стена русских. Они что-то надрывно кричали, грозя кулаками и мушкетами. Видимо, только что была отбита атака...

Он наехал лошадью на гренадер: «Шпагу!» — крикнул, как выстрелил... К нему обернулись, его узнали... Нагнувшись с седла, вытянув руку, растопырил пальцы.

— Шпагу! (Кто-то сунул ему в руку эфес шпаги.) Солдаты! Честь вашего короля — здесь, на этих рогатках... Они должны быть взяты... Вы опрокинете в Нарову грязных варваров. (Поднял шпагу, и сейчас же протяжно заиграл горн, и второй, и — еще,— невидимо за метелью.) Солдаты... С вами бог и ваш король!.. Я иду впереди вас... За мной!..

Он поскакал по кровавому снегу. Позади угрюмые глотки рывкнули: «Во имя божье!» Из-за рогаток раздались редкие выстрелы. Он наметил одного,— русский — великаньего роста —

стоял, нагнув башку, посреди бреши в рогатках, разбитых ядрами... Усмехаясь, Карл поднял лошадь на дыбы, русский — с озверелым лицом вонзил штык, как вилы, в грудь лошади... Карл распластался по конской спине, соскальзывая, со всей силы вытянулся, погрузил шпагу в грудь великану...

Но, соскакивая с коня, он пошатнулся... (Вокруг — орущие рты, лязг железа, хрусткие удары.) Его толкнули, — упал. Тяжелый сапог наступил на спину, вдавил в снег... Сейчас же короля подхватили, подняли, понесли... Мысли его смешались. Карл очнулся на пушечном лафете под вонючей шинелью. Горны протяжно играли отбой. Сбросив шинель, сел:

— Принесите чьи-нибудь сапоги, я бос... Сапоги и коня...

.

Перемешавшиеся полки Головина и Трубецкого, в страхе быть отрезанными от переправы, добежали до берега и так тесно поперли на мост, что понтоны осели, — желтые воды вздутой западным ветром Наровы начали перехлестывать через перила. Там, в пенной воде, под снежной завесой, плыли трупы лошадей и людей конницы Шереметьева (потонувших при переправе пятью верстами выше). Конские туловища прибывало, громоздилось у осевшего моста. С берега напирали орущие люди. Зыбкий мост сильнее накренился правым бортом, вода хлынула через настил, перила затрещали, пеньковые канаты начали рваться, средние понтоны погрузились совсем и разошлись. В ревуший поток, где крутились конские и человеческие трупы, попадали те, кто был на мосту. Поднялся крик, но сзади продолжали напирать, — солдаты сотнями валялись в Нарову, покуда разорванную половину моста не прибило к болотистому берегу.

Там, близ реки, стоял шатер герцога фон Круи, — в тылу расположения Преображенского и Семеновского полков. Третий час длился отчаянный бой на рогатках на южной и западной стороне лагеря. Ни руководить, ни распоряжаться в этом снежном аду... В шатре у стола, обхватив голову, сидел толстый преображенский полковник Блюмберг, изредка сопел. Напротив него — скучный Галларт мигал ресницами на свечу, спокойно ждал, когда надо будет отдавать шпагу — эфесом вперед, с поклоном — шведскому офицеру.

В шатер вошел герцог в осыпанной снегом оленьей шубе поверх лат, — забрало поднято, усы висели сосульками, губы тряслись...

— Пускай черт воюет с этими русскими свиньями! — крикнул герцог. — Майор Кунингам и майор Гаст задушены в землянках... Капитан Вальбрехт с перерезанным горлом лежит здесь, в двенадцати шагах от шатра... Царь знал, что подсунуть мне, — армию! Сброд, сволочи!..

Галларт поспешно поднялся и откинул ковер, — в палатку влетел вихрь снега. Рев многотысячной толпы заглушал звуки

выстрелов. Герцог бросился вон из шатра. Внизу были видны очертания подносимого к берегу моста, на нем кричали люди. Справа, там, где частокол лагеря упирался в реку, бесновались бесчисленные толпы...

— Центр прорван, — сказал Галларт, — это полки Головина...

Солдаты лезли через частокол, отдельные кучки их бежали к шатру...

— О черт! — крикнул герцог. — На коней, господа! — Он потащил с себя оленью шубу, — латы мешали движениям. — Помогите же, о черт!

Герцог, Галларт и Блюмберг влезли на коней, спустились вниз к воде и по топкому берегу тяжело поскакали на запад, навстречу шведским выстрелам, — сдаваться в плен, чтобы этим уберечь свои жизни от разъяренных солдат...

Стемнело. Ветер затихал, валил мягкий снег. Изредка хлопал одинокий выстрел. В русском лагере было тихо, как на кладбище, ни одного огня... Лишь в центре, в захваченном обозе, пьяные шведские гренадеры хрипло орали песни. Пламя горящих бочек озаряло пелену снега, ложившуюся на мертвецы пьяных и на убитых.

Артамон Головин, Трубецкой, Бутурлин, царевич Имеретинский, Яков Долгорукий, десять полковников (среди них — сын славного генерала Гордона и сын Франца Лефорта), подполковники, майоры, капитаны, поручики — восемьдесят командиров — собрались на конях и пешие у землянки, где совещались генералы. Только что были посланы к королю Карлу парламентары, — князь Козловский и майор Пиль, — но они наткнулись на своих солдат, были опознаны и убиты...

В землянке при свете лучины Артамон Головин говорил:

— Укрепления прорваны, главнокомандующий бежал, мосты разломаны, пороховые обозы — у шведов... На завтра не можем возобновить боя... Покуда ночью шведы не видят нашего бедствия, можем добиться от короля жёночных¹ условий, сохранить оружие и войска... Ты, Иван Иванович (поклонился Бутурлину), ступай, батюшка, сам к королю, скажи ему, что, не желая де пролития христианской крови, хотим разойтись: уйдем-де в свою землю, а он пускай уходит в свою...

— А пушки? Отдать? — прохрипел Бутурлин.

На это никто не ответил, генералы потупились. У гордого Головина слезно сморщилось все лицо. Толстогубый, черный Яков Долгорукий сказал, ломая брови:

— Что зря-то болтать... Выпьём сраму досыта... На милость сдаемся.

¹ Жёночных — милостивых.

Бутурлин щелкнул кремнями двух пистолетов, сунул их за пояс, надвинул шляпу на лоб, вышел из землянки:

— Трубача!

К нему придвинулись офицеры:

— Иван Иванович, ну что? Сдаемся?

— Мы готовы умереть, Иван Иванович... Да ведь от своих же умирать-то...

В версте от русского лагеря, на мызе, Карл и генералы приняли Бутурлина. Шведы, так же как и русские, боялись завтрашнего дня. Поломавшись для чести, согласились пропустить на ту сторону Наровы все русское войско при оружии и со знаменами, но без пушек и обозов. В залог потребовали доставить на мызу всех русских генералов и офицеров, а войско пусть идет с богом домой... Бутурлин попытался было спорить. Карл сказал ему с усмешкой:

— Из любви к брату, царю Петру, спасаю его славных генералов от солдатской ярости. В Нарве вам будет спокойнее и сытнее, чем при войске.

Пришлось согласиться на все. Взвод кирасир поскакал брать заложников. Шведские саперы, запалив на берегу костры, начали наводить мост, чтобы как можно скорее спровадить русских за реку. Первыми покинули лагерь семеновцы и преображенцы, — со знаменами и оружием, под барабанный бой перешли мосты; солдаты все были рослые, усатые, угрюмые. На плечах несли раненых. Когда стала проходить дивизия Вейде, шведские кирасиры угрожающе придвинулись, потребовали сдать оружие. Солдаты, матерясь, бросали мушкеты. Остальные полки прогнали уже просто — выстрелами...

На рассвете остатки сорокапятитысячной русской армии — разутые, голодные, без командиров, без строя — двинулись обратной дорогой. Вслед им бастионы крепости Иван-города послали несколько бомб...

4

Весть о нарвском разгроме догнала Петра в день, когда он въехал в Новгород, на двор воеводы. В раскрытые ворота за царской повозкой вскакал на шатающейся лошади Павел Ягужинский, соскочил у крыльца и блестящими глазами глядел на царя.

— Откуда? — нахмурясь, спросил Петр.

— Оттуда, господин бомбардир.

— Что там?

— Конфузия, господин бомбардир...

Петр быстро низко опустил голову. Разминая ноги, подошел Меньшиков, — сразу все понял: что было спрошено и что отвечено. Воевода Ладыженский, пучеглазый старичок, стоя на нижней ступени, разинул рот, — колющий ветер поднимал его редкие волосы.

— Ну... Идем, Расскажи.— Петр поставил ногу на ступень и вдруг повернулся к воеводе, будто с великим изумлением разглядывая этого новгородского правителя:

— У тебя все готово к обороне?

— Великий государь... Ночи не сплю, все думаю: как тебе угодить? — воевода Ладыженский стал на колени, молил собачьими глазами, трепетал вывороченными веками.— Где ж его оборонять?.. Город худой, рвы позавалялись, мост через Волхов сгнил совсем... Да и мужиков не сгонишь из деревень, лошадей всех побрали в извоз... Смилуйся...

Воевода не говорил, а вопил, хватался за ноги государя. Петр отряхнул его от ноги, взбежал в сени. Там повскакали с мест монахи, монашки, попы, старцы в скуфейках. Один, с гремящими цепями на голом теле, пополз под лавку...

— Это что за люди?

Черноярские и попы замахали туловищами. Строгий, сытый иеромонах стал говорить, закатывая зрачки под лоб:

— Не дай запустеть монастырям и храмам божьим, великий государь. Указом твоим велено с каждого монастыря брать до десяти и более подвод и людей с железными лопатами, сколько вмочно, и кормы им. И от каждого прихода ставить подводы и людей же... Воистину сие выше сил человеческих, великий государь... Одною милостыней живем Христа ради...

Петр слушал, держась за дверную скобку,— выпучась, оглядывал кланяющихся.

— От всех монастырей челобитчики?

— От всех,— враз бодро ответили монахи.— От всех, от всех, милостивец наш,— клиросными голосами пропели монашки...

— Данилыч, не выпускать никого, поставь караул!..

Войдя в столовую, он велел Ягужинскому рассказывать о конфузии. Не присаживаясь, шагал по низенькой, жаркой комнате, брал со стола соленый огурец, жевал, торопливо переспрашивал. Павел Ягужинский рассказал о потере всей артиллерии, о гибели в Нарове тысячи всадников шереметьевской конницы, о гибели пяти тысяч солдат на разломавшемся мосту,— да более того убито во время боя,— о сдаче в плен семидесяти девяти генералов и офицеров (в их числе и раненый Вейде), о злосчастном отступлении войска — без командиров и обозов (остались только младшие офицеры и унтер-офицеры, и то главным образом в гвардейских полках)...

— Герцог первый сдался? Цезарец-то, герой, сукин сын! И Блюмберг с ним? Алексахка, можешь понять? Брат родной — Блюмберг — усакал к шведу... вор, вор! (Изо рта Петра летели огуречные семечки.) Семьдесят девять предателей! Головин, Долгорукий, Бутурлин Ванька, знал я, что — дурак... но — вор! Трубецкой, боров гладкий! Как они сдались?

— Подъехал к землянке капитан Врангель с кирасирами, наши отдали ему шпаги...

— И ни один,— хотя бы?..
— Которые плакали...
— Плакали! Ерои! Что ж они,— надеются: я после сей конфузии буду просить мира?
— Мира просить сейчас — подобно смерти,— негромко сказал Алексашка...

Петр остановился перед слюдяным окошечком — в глубине низкого свода, расставя ноги, сжимал, разжимал за спиной пальцы.

— Конфузия — урок добрый... Славы не ищем... И еще десять раз разобьют, потом уж мы одолеем, Данилыч... Город поручаю тебе. Работы начнешь сегодня же — копать рвы, ставить палисады,— шведов дальше Новгорода пустить нельзя, хоть всем умереть... Да скажи, чтоб нашли и немедленно быть здесь Бровкину, Свешникову, которые новгородские купцы из добрых — тоже пришли бы... А воеводу — отставить... (Вдогонку Алексашке.) Вели выбить в шею со двора. (Меньшиков торопливо вышел. Петр — Ягужинскому.) Ты ступай найди подвод сотни три, грузи печеный хлеб, к вечеру выезжай с обозом навстречу войску. Уразумел?

— Будет сделано, господин бомбардир...
— Позови монахов...

Сел напротив двери на лавку,— неприветливый, чистый антихрист. Вошли духовные. И без того было душно, стало — не продохнуть.

— Вот что, божьи заступники,— сказал Петр,— идите по монастырям и приходам: сегодня же выйти на работу всем — копать землю. (Иеромонаху, задвигавшему под клобуком густыми бровями,— угрожающе.) Помолчи, отец... Выйти с железными лопатами и с лошадьми не одним послушникам,— всем монахам, вплоть до ангельского чина, и всем бабам-черноризмкам, и попам, и дьяконам, с попадьями и с дьяконицами... Потрудитесь во славу божью... Помолчи, говорю, иеромонах... Я один за всех помолюсь, на сей случай меня константинопольский патриарх помазал... Пошлю поручика по монастырям и церквям: кого найдет без дела — на площадь, к столбу — пятьдесят батогов... Этот грех тоже на себя возьму. Покуда рвы не выкопаны, палисады не поставлены, службам в церквях не быть, кроме Софийского собора... Ступайте...

Взялся за край лавки, вытянул шею,— на круглых щеках отросшая щетина, усы торчком. Ох, страшен! Духовные, теснясь задками, улезли в дверцу. Петр крикнул:

— Кто там в сенях,— снять караул!..

Налил чарку водки и опять заходил... Немного времени спустя бухнула дверь с улицы. В сенях — вполголоса: «Где сам-то? Грозен? Ох, дела, дела...»

Вошли Бровкин, Свешников и пятеро новгородских купчиков,— эти мяли шапки, испуганно мигали. Петр не позволил целовать

руки, сам весело брал за плечи, целовал в лоб, Бровкина — в губы:

— Здорово, Иван Артемич, здорово, Алексей Иванович! (Новгородским.) Здравствуйте, степенные... Садитесь... Видишь, закуски, вино — на столе, хозяина велел прогнать... Ах, как меня огорчил воевода: я чайл, здесь у вас и рвы и неприступные палисады готовы уж... Хотя бы лопатой ткнули...

Налил всем водки. Новгородцы, приняв, вскочили. Он выпил первый, хорошо крякнул, стукнул пустой чаркой:

— За почин выпили... (Засмеялся.) Ну, что ж, купцы, слышали? Побил нас маленько шведский король... Для начала — ничего... За битого двух небитых дают, так, что ли?..

Купцы молчали, — Иван Артемич, поджав губы, глядел в стол, Свешников, перекосив страшные брови, тоже отводил глаза. Новгородские купчики чуть вздыхали...

— Шведов ждать надо сюда на неделе. Отдадим Новгород — и Москву отдадим, — всем тогда пропадать.

— Охо-хо... — тяжело вздохнул Бровкин. У чернобородого Свешникова лицо стало желтое, как деревянное масло.

— Задержим шведов в Новгороде, — к лету соберем, обучим войско сильнее прежнего... Пушек вдвое нальем... Пушки под Нарвой! Пожалуйста, бери их: дрянь были пушки... Таких пушек лить не станем... Генералы — в плену, я тому рад... Старики у меня, как гири на ногах. Генералов надо молодых, свежих. Все государство на ноги поднимем... Потерпели конфузцию, — ладно! Теперь войну и начинаем... Даешь на войну рубль, Иван Артемич, Алексей Иванович, — через два года десять рублей верну...

Откинувшись, ударил кулаками по столу:

— Так, что ли, купцы?

— Петр Алексеевич, — сказал Свешников, — да где его, этот рубль-то, возьмешь? В сундуках у нас — деньги? Мыши...

— Истина, охо-хох, истина, — застонали новгородские купчики.

Петр метнул на них взором. (Поджались.) Тяжело положил ладонь на короткую спину Ивану Артемичу:

— Ты что скажешь?

— Связал нас бог одной веревочкой, Петр Алексеевич, куда ты, туда и мы.

Толстое лицо Бровкина было ясно, честно. Свешников даже обмер: ведь сговорились только что — попридержать денежки, и вдруг Ванька-ловкач сам выскочил... Петр обнял его за плечи, прижал запотевшее лицо к груди, к медным пуговицам:

— Другого ответа от тебя не ждал, Иван Артемич... Умен ты, смел, много тебе воздастся за это... Купцы, деньги нужны немедленно. В неделю должны укрепить Новгород и посадить в осаду дивизию Аникиты Репнина...

«...Рвы копали и церкви ломали... Палисады ставили с бойницами, а около палисадов окладывали с обеих сторон дерном...

А на работе были драгуны и солдаты, и всяких чинов люди, и священники, и всякого церковного чина — мужеска и женска пола...

А башни насыпали землею, сверху дерн клали, — работа была насыпная. А верхи с башен деревянные и со стен кровлю деревянную же всю сломали... И в то же время у приходских церквей, кроме соборной церкви, служеб не было...

В Печерском монастыре велено быть на работе полуполковнику Шеншину. И государь пришел в монастырь и, не застав там Шеншина, велел бить его нещадно плетью у раската и послать в полк, в солдаты...

И в Новгороде же повешен начальник Алексей Поскочин за то, что брал деньги за подводы, — по пяти рублей отступного, чтобы подводам у работы не быть...»

5

Караульный офицер на крыльце Преображенского дворца отвечал всем:

— Никого не велено пускать, проходите...

На дворе собралось много возков и карет. Декабрьский ветер забивал снежной крупой черные колеи. Шумели обледенелые деревья, скрипели флюгера на ветхих дворцовых крышах. Так, в возках и каретах, и сидели с утра весь день министры и бояре. Шестериком в золоченой карете раскатился было Меньшиков, — и того поворотили оглоблями назад...

Вечером, в одиннадцатом часу, приехал Ромодановский. Караульный офицер затрясся, увидя князя-кесаря, — в медвежьей шубе, вперевадку вползающего по истертым кирпичным ступеням. Пустить, — нарушить царский приказ, не пустить, — князь-кесарь своею властью, не спрашивая царя, велит ободрать кнутом...

Ромодановский прошел во дворец, — стража у каждых дверей, слыша грузные шаги, пряталась. По пути до царской спальни три раза присаживался. Постучав ногтем, вошел, поклонился старинным уставом.

— Ты чего, дядя, сюда забрел? — Петр ходил с трубкой, в дыму, недовольно обернулся, не ответил на поклон. — Я сказал — никого не пускать.

— Никого и не пускают, Петр Алексеевич. А меня и родители твой без доклада пускал. (Петр пожал плечом, продолжал ходить, грызть чубук.) О чем, Петр Алексеевич, целые сутки думаешь? Родители твой и родительница наказывали тебе совета моего слушать. Давай вместе подумаем... Ай — чего надумаем...

— Будет тебе пустое молоть... Сам знаешь... О чем?..

Федор Юрьевич не сразу ответил, — сел, распахнул шубу (старик в такой духоте трудно было дышать), цветным платком вытер лицо.

— Может, и не пустое пришел я молоть... Как знать, как знать...

Петр, сам не слыша своего голоса, так вдруг громко начал кричать, что за стеной в темной тронной зале часовой уронил ружье с испугу.

— В Бурмистерской палате толстосумы рассуждать стали: под Нарвой-де мы себя показали, воевать со шведом не можем... Мириться надо... В глаза мне не глядят... Я с ними вот как говорил... (Взял Федора Юрьевича за грудь, за кафтан; тряхнул.) Плачут: «Вели нам хоть на плаху, великий государь, а денег нет, оскудели...» О чем я думаю!.. Деньги нужны! Сутки думаю — где взять? (Отпустил его.) Ну? Дядя...

— Слушаю, Петр Алексеевич, мое слово потом будет.

Петр прищурился: «Гм!..» — Походил, косясь на князя-кесаря, — и уже голосом полегче:

— Медь нужна... Лишние колокола — пустой трезвон, без него обойдутся, — колокола снимем, перельем... Акинфий Демидов с Урала пишет: чугуна пятьдесят тысяч пудов в болванках к весне будет... Но — деньги! Опять с посадских, с мужиков тянуть? Много ли вытянешь? Им и так дышать нечем, да и раньше года дани не собрать... А ведь есть и золото и серебро, есть оно, — лежит втуне... (Петр Алексеевич еще не выговорил, а уж у Федора Юрьевича глаза стали пучиться, как у рака.) Знаю, что ответишь, дядя. За тобой поэтому и не посылал... Но эти деньги я возьму...

— Монастырской казны трогать сейчас нельзя, Петр Алексеевич...

Петр крикнул петушиным голосом:

— Почему?

— Не тот час... Сегодня — опасно... Я уж тебе и не говорю, каких людей ко мне едва не каждый день таскают... (Толстые пальцы Федора Юрьевича, лежавшие на колене, начали беспокойно шевелиться.) Московское купечество — верные твои слуги покуда... Что ж, испугались Нарвы... Всякий испугается... Договорят, да и перестанут, — война им в выгоду... И денег дадут, только не горячись... А тронь сейчас монастыри, оплот-то их... На всех площадях юродивые закричат, что наемни-то Гришка Талицкий¹ кричал на базаре с крыши. Знаешь? Ну, то-то... Монастырскую казну надо брать исподволь, без шума...

— Хитришь, дядя...

— А я — стар, чего мне хитрить...

— Деньги немедленно нужны — хоть разбоем добыть...

— А много ли тебе?

Федор Юрьевич спросил и чуть усмехнулся. Петр опять, —

¹ Григорий Талицкий — раскольник, «книгописец», автор «тетрадей», в которых Петр I назывался «антихристом». Казнен в 1700 году.

«гм», пробежался по спаленке, закурил у свечи, пустил клуб, другой и выговорил твердо:

— Два миллиона.

— А поменьше нельзя?

Петр сейчас же присел перед ним, стал трясти князя за колени:

— Будет тебе томить... Давай так, — монастыри я покуда не трону... Ладно? Есть деньги? Много?

— Завтра посмотрим...

— Сейчас... Поедем...

Федор Юрьевич взял шапку, тяжело поднялся:

— Ну, бог с тобой... Если уж нужда крайняя... (По-медвежьему заковылял к двери.) Только никого с собой не бери, одни поедем...

.

На Спасской башне прозвонило — час, кожаная карета князя-кесаря въехала в Кремль, покрутилась по темным узким переулкам между старыми домами приказов и стала у приземистого кирпичного здания. На ступеньке низенького крыльца стоял фонарь. Привалась к железной двери, храпел человек в тулупе. Князь-кесарь, вылезая из кареты вслед за Петром Алексеевичем, поднял фонарь (сальная свеча, наплыв, коптила), ногой ткнул в лапоть, торчащий из тулупа. Человек — спросонок: «Чово ты, чово?» — приподнялся, отогнул край бараньего воротника, узнал, вскочил.

Князь-кесарь, отстранив его от двери, отомкнул замок своим ключом, пропустил Петра, вошел сам и дверь за собой запер. Держа высоко фонарь, пошел вперевалку через холодные и через теплые сени в низенькую, сводчатую, с облупившимися стенами палату приказа Тайных дел, учрежденного еще царем Алексеем Михайловичем. Здесь пахло пылью, сухой плесенью, мышами. Два решетчатых окошечка затянуты паутиной. Приотворилась дверь, со страхом просунулась стариковская голова внутренне-го, доверенного, сторожа:

— Кто здесь? Что за люди?

— Подай свечу, Митрич, — сказал ему князь-кесарь.

У дальней стены были дубовые низенькие шкафы с коваными замками (к шкафам не то что прикасаться, но любопытствовать — какие такие в них хранятся дела — запрещено под страхом лишения живота). Сторож принес в железном подсвечнике свечу. Князь-кесарь, — показывая на средний шкаф:

— Отодвинь от стены... (Сторож затряс головой.) Я показываю... Я отвечаю...

Сторож поставил свечу на пол. Налег хилым плечом, — шкаф не сдвигался. Петр торопливо сбросил полушубок, шапку, взялся, — шея побагровела, — отодвинул. Из-под шкафа выбежала мышь. За ним в стене, затянутая пыльными хлопьями паутины,

оказалась железная дверца. Князь-кесарь вынул двухфунтовый ключ, сопя: «Митрич, свети,— не видать», неловко совал ключом в скважину. За три десятка лет замок заржавел, не поддавался. «Ломом, что ли, его,— сбегай, Митрич».

Петр,— со свечой осматривая дверь:

— Что там?

— Увидишь, сынок... По дворцовой росписи там — дела тайные хранятся. В Крымский поход князя Голицына сестра твоя Софья раз приходила сюда ночью... Да я тоже, вот так-то, отпереть не мог... (Князь-кесарь чуть усмехнулся под татарскими усами.) Постояла да ушла, Софья-то...

Сторож принес лом и топор. Петр начал возиться над замком,— сломал топорище, ободрал палец. Тяжелым ломом начал бить в край двери. Удары гулко раздавались по пустынному дому,— князь-кесарь, тревожась, подошел к окошку. Наконец удалось просунуть конец лома в щель. Петр, навалясь, отломал замок,— железная дверца со скрипом приоткрылась. Нетерпеливо схватил свечу, первый вошел в сводчатую, без окон, кладовую.

Паутина, прах. На полках вдоль стен стояли чеканные, развилстые эндовы — времен Ивана Грозного и Бориса Годунова, итальянские кубки на высоких ножках; серебряные лохани для мытья царских рук во время больших выходов; два льва из серебра с золотыми гривами и зубами слоновой кости; стопки золотых тарелок; поломанные серебряные паникадила; большой павлин литого золота, с изумрудными глазами,— это был один из двух павлинов, стоявших некогда с боков трона византийских императоров, механика его была сломана. На нижних полках лежали кожаные мешки, у некоторых через истлевшие швы высыпались голландские ефимки. Под лавками лежали груды соборей, прочей мягкой рухляди, бархата и шелков — все побитое молбю, сгнившее.

Петр брал в руки вещи, слюня палец, тер: «Золото!.. Серебро!..» Считал мешки с ефимками,— не то сорок пять, не то и больше... Брал соборю, лисьи хвосты, встряхивал.

— Дядя, это же все сгнило.

— Сгнило, да не пропало, сынок...

— Почему раньше мне не говорил?

— Слово дадено было... Родитель твой, Алексей Михайлович, в разные времена отъезжал в походы и мне по доверенности отдавал на сохранение лишние деньги и сокровища. При конце жизни родитель твой, призвав меня, завещал, чтоб никому из наследников не отдавать сего, разве впоследствии государству крайняя нужда при войне...

Петр хлопнул себя по ляжкам.

— Выручил, ну — выручил... Этого мне хватит... Монахи тебе спасибо скажут... Павлин! — обувь, одеть, вооружить полк и Карлу наложить, как нужно... Но, дядя, насчет колоколов,— колокола все-таки обдеру,— не сердись...

В Европе посмеялись и скоро забыли о царе варваров, едва было не напугавшем прибалтийские народы, — как призраки, рассеялись его вшивые рати. Карл, отбросивший их после Нарвы назад в дику Московию, где им и надлежало вечно прозябать в исконном невежестве (ибо известна, со слов знаменитых путешественников, бесчестная и низменная природа русских), — король Карл ненадолго сделался героем европейских столиц. В Амстердаме ратуша и биржа украсились флагами в честь нарвской победы; в Париже в лавках книгопродавцев были выставлены две бронзовые медали, — на одной изображалась Слава, венчающая юного шведского короля: «Наконец правое дело торжествует», на другой — бегущий, теряя калмыцкую шапку, царь Петр; в Вене бывший австрийский посол в Москве, Игнатий Гвариент, выдал в свет записки, или дневник, своего секретаря Иоганна Георга Корба, где с чрезвычайной живостью описывались смешные и непросвещенные порядки московского государства, а также кровавые казни стрельцов в 98 году. При венском дворе громко говорили о новом поражении русских под Псковом, о бегстве с немногими людьми Петра, о восстании в Москве и освобождении из монастыря царевны Софьи, снова вставшей правление государством.

Но все эти мелкие события сразу были заслонены разразившейся наконец военной грозой. Умер испанский король, — Франция и Австрия потянулись за его наследством. Вмешались Англия и Голландия. Блестящие маршалы: Джон Черчилль граф Мальборо, принц Евгений Савойский, герцог Вандом — начали разорять страны и жечь города. В Италии, в Баварии, в прекрасной Фландрии по всем дорогам пошли шататься вооруженные бродяги, насильничая над мирным населением, опустошая запасы пищи и вина. В Венгрии и в Савеннах вспыхнули мятежи. Решалась судьба великих стран, — кому, какому флоту владеть океанами. Дела на Востоке пришлось предоставить самим себе.

Карл сгоряча, после Нарвы, собрался броситься за Петром в глубь Московии, но генералы умоляли его дважды не играть судьбой. Усталое и потрепанное войско было отведено на зимние квартиры в Лаису, близ Дерпта. Оттуда король написал в сенат высокомерное письмо, требуя пополнений и денег. В Стокгольме те, кто не желал войны, — замолчали. Сенат приговорил новые налоги и к весне послал в Лаису двадцать тысяч пехоты и конницы. На латинском языке была выдана в свет книга — «О причинах войны Швеции с московским царем», — при европейских дворах ее прочли с удовлетворением.

Теперь у Карла была одна из сильнейших в Европе ар-

мий. Предстояло решить — в какую сторону направить удар: на восток, в пустынную Московию, где редкие и нищие города сулили мало добычи и славы, или — на юго-запад, против вероломного Августа, — в глубь Польши, в Саксонию, в сердце Европы? Там уже гремели пушки великих маршалов. У Карла кружилась голова в предчувствии славы второго Цезаря. Его гвардейцам, потомкам морских разбойников, мерещились пышные шелка Флоренции, золото в подземельях Эскуриала¹, светловолосые женщины Фламандии, кабаки на перекрестках баварских дорог...

Когда установился летний путь, Карл выделил восьмисотый корпус под командой Шлиппенбаха, — велел ему идти к русской границе, сам со всею армией быстрыми маршами прошел Лифляндию, в двух верстах выше Риги, в виду неприятеля, переправился на барках через Двину и наголову разбил саксонские войска короля Августа. В этой битве, восьмого июля, был ранен Иоганн Рейнгольд Паткуль, — едва уйдя верхом от королевских кирасир, он на этот раз избежал плена и казни.

Под Ригой были разгромлены не какие-то вшивые русские, но славнейшие в Европе саксонские солдаты. Казалось, крылья Славы раскрылись за плечами. «Король Карл ни о чем больше не думает, как только о войне... (Так писал о нем в Стокгольм генерал Стенбок.) Он больше не слушает разумных советов... Он так разговаривает, будто бог непосредственно внушает ему дальнейшие замыслы... Он полон самомнения и безрассудства... Думаю, — если у него останется тысяча человек, и с тем он бросится на целую армию... Он не заботится даже — чем питаются его солдаты. Когда кого-нибудь из наших убивают, — его это больше не трогает...»

От Риги Карл устремился в погоню за Августом. В Польше началась кровавая междоусобица между панами: одни стояли за Августа и против шведов, другие кричали, что шведы одни могут навести порядок и помочь вернуть правобережную Украину с Киевом и что Польше нужен новый король (Станислав Лещинский). Август бежал из Варшавы. Карл без боя вошел в столицу. Август в Кракове торопливо собирал новое войско...

Началась редкостная охота — короля за королем. Снова при европейских дворах аплодировали юному герою, — его имя произносили рядом с именами принца Евгения и Мальборо. Говорили, что Карл не позволяет приблизиться к себе ни одной женщине, что он даже спит в своих ботфортах, что в начале сражения он появляется перед войском, — верхом, без шляпы, в неизменном серо-зеленом кафтане, застегнутом до шеи, — и с именем бога бросается первый на неприятеля, увлекает за собой войска... Расправляться на унылом Востоке с царем Петром он предоставил заботам генерала Шлиппенбаха...

Всю зиму Петр провел между Москвой, Новгородом и Во-

¹ Эскуриал — замок, резиденция испанских королей, близ Мадрида.

ронежем (где шла напряженная стройка кораблей для черноморского флота). В Москву было свезено девяносто тысяч пудов колокольной меди. Начальником работ по отливке новой артиллерии назначен знаток горного дела, старый думный дьяк Виниус. При литейном заводе в Москве он учредил школу, где двести пятьдесят детей боярских, посадских и юношей подлого рода, но бойких, учились литью, математике, фортификации и гиштории. Не хватало красной меди для прибавки к колокольной, — Петр послал Виниуса в Сибирь — искать руду. В Льеже Андреем Артамоновичем Матвеевым (сыном убитого на Красном крыльце боярина Матвеева) закуплено было пятнадцать тысяч новейших ружей, скорострельные пушки, подозрные трубки, страусовые перья для офицерских шляп. В Москве работали пять сухошных и полотняных мануфактур, — мастеров вербовали за добрые деньги по всей Европе. От зари до зари шли солдатские ученья. Труднее всего было с офицерством: им и солдат учить и самим учиться, возведут человека в чин — он одуреет от власти, либо загуляет, пропадется...

Тогда, недели через две после нарвской неудачи, Петр написал Борису Петровичу Шереметьеву, собиравшему в Новгороде растрепанные остатки конных полков (кто без коня, кто без сабли, кто — гол начисто):

«... Не лепо при несчастье всего лишиться... Того ради повелеваю, — тебе при взятм и начатом деле быть и впредь, то есть — над конницей, с которой ближние места беречь для последующего времени, и идтить вдаль для лучшего вреда неприятелю. Да и отговариваться нечем: понеже людей довольно, так же реки и болота замерзли... Еще напоминаю: не чини отговорки ни чем, ниже болезнью... Получили болезнь многие меж беглецов, которых товарищ, майор Лобанов, повешен за такую болезнь...»

Но дворянская иррегулярная конница не была надежна, — на место ее набирали людей всякого звания: и мужиков и кабальных, — по вольной охоте за одиннадцать рублей в год с кормами, в десять драгунских полков. От кабалы и мужицкой неволи столько людей просилось в верхоконную службу — пришлось отбирать самых здоровых и видных. Обученные драгунские сотни уходили в Новгород, где генерал Аникита Репнин приводил в порядок и обучал бывшие при Нарве дивизии.

К новому году укрепили Новгород, Псков и Печерский монастырь. На севере укрепляли Холмогоры и Архангельск, — в пятнадцати верстах от него, в Березовском устье, торопливо строили каменную крепость Ново-Двинку. Летом в Архангельск на июньскую ярмарку приплыло много товарных кораблей из Англии и Голландии. (В этот год в казну были взяты для торговли с иностранцами новые, против прежнего, товары, — морской зверь, и рыбий клей, и деготь, и поташ, и воск... Царские гости все брали в казну, частным купцам оставалось торговать разве кожаными изделиями да резной костью.) Двадцатого июня

в устье Северной Двины ворвался шведский военный флот. Увидя новостроенную крепость, не посмел пренебречь — пройти мимо к Архангельску, — открыл по фортам Ново-Двинки огонь со всех бортов. Во время диверсии из четырех шведских фрегатов один сел на мель перед самой крепостью, за ним села яхта. Русские бросились в челны и с бою захватили и фрегат и яхту, — остальные суда без чести уплыли назад в Белое море.

Все лето шли стычки передовых отрядов Шереметьева и Шлиппенбаха. Шведы ходили под Печерский монастырь, но только сожгли кругом села, твердыни не взяли. Шлиппенбах в тревоге писал королю Карлу, прося еще тысяч восемь войска, — русские-де с каждым месяцем становятся все более дерзки, видимо — от нарвского разгрома они, против ожиданий, быстро оправились и даже преуспели в военном искусстве и вооружении, — нынче с двумя бригадами легко не разбить русские войска... Карл в это время взял Краков и гнал Августа в Саксонию, — он был глух к голосу благоразумия.

Так шли дела до декабря тысяча семьсот первого года.

Глубокой зимой Борис Петрович Шереметьев узнал от языка, что генерал Шлиппенбах стал на зимние квартиры на мысе Эрестфер, под Дерптом. Узнал — и сам испугался дерзостной мысли: неожиданно войти в глубь неприятельской страны и захватить врага врасплох на отдыхе. Случай редкий. В прежние времена, конечно, Борис Петрович считал бы за лучшее не пытаться неверного счастья, но за этот год стало очень жестоко с Петром Алексеевичем: не давал никому ни покоя, ни отдыха, ставил в вину не столько то, что ты сделал, но то, что мог бы сделать доброго, а не сделал...

Приходилось пытаться счастье. Борис Петрович одел в полушубки и валенки десять тысяч новонабранного и новообученного войска и с пятнадцатью легкими пушками на санях, — быстро, но с великой опаской, высылая вперед легкие конные полки черкас, калмыков и татар, — в три дня подошел к Эрестферу. Шведы поздно заметили на высоком снежном берегу речонки Ая ушасть всадников с луками и конскими хвостами на копьях. Подполковник Ливен вышел к речке с двумя ротами и пушкой. На том берегу косоглазые варвары подняли изогнутые луки, пустили стаю стрел, раздался нарастающий, как бы волчий вой, — по крутым сугробам вниз через речку, поднимая снежную пыль, помчались справа и слева полосатые татары с кривыми саблями, синежупанные черкасы с пиками и арканами, в лоб налетели визжащие калмыки, — триста эстляндских стрелков Ливена и сам подполковник были порублены, поколоты, раздеты до исподнего.

Всполошился весь шведский лагерь. Новый отряд шестью пушками оттеснил от реки конных разведчиков. Шлиппенбах с горнистами скакал по лагерю, шведы выскакивали, — кто в чем был, — из изб и землянок, бежали по глубокому снегу к своим

частям. Все войско выстроилось перед мызой, артиллерийским огнем встретило подступавшую русскую армию. Борис Петрович в одном суконном кафтане, с трехцветным шарфом через плечо, верхом ехал в середине кареи.

Огонь шведов привел в конфузию передние сотни драгун, еще не видевших боя. Шведы устремились вперед. Но выскакавшие на саях пятнадцать легких пушек открыли такую скорострельную пальбу картечью, — шведы изумились, ряды их остановились в замешательстве. С флангов учались на них оправившиеся драгунские полки Кропотова, Зыбина и Гулицы. «Братцы! — натужным голосом кричал Шереметьев посреди кареи. — Братцы! Ударьте хорошенько на шведа!..» Русские с привинченными багинетами двинулись вперед. Быстро наступали сумерки, озарявшиеся вспышками выстрелов. Шлиппенбах приказал отходить под прикрытие построек мызы. Но едва печальные горы запели отступление, — драгуны, татары, калмыки, черкасы с новой яростью налетели со всех сторон на пятящиеся, ошетиненные четырехугольники шведов, прорвали их, смяли. Началась резня... В темноте генерал Шлиппенбах самчетверт едва ушел верхом в Ревель.

В Москве по случаю первой победы жгли потешные огни и транспаранты. На Красной площади были выставлены бочки с водкой и пивом, на кострах жарились целиком бараны, раздавали народу калачи. На Спасской башне свешивались шведские знамена. Меньшиков поскакал в Новгород, чтобы вручить Борису Петровичу царскую парсуну, или портрет, усыпанный алмазами, и еще небывалое звание генерал-фельдмаршала. Всем солдатам, — участникам победы, — выдано было по серебряному рублю (впервые отчеканенному на московском монетном дворе вместо прежних денежек).

Борис Петрович со слезами благодарил и с Меньшиковым послал Петру письмо, прося отпустить его в Москву по делам неотложным... «Жена моя по сей день живет на чужом подворье, надобно ей хоть какой домишко сыскать, где бы голову приклонить...» Петр ответил: «В Москве быть вам, господин генерал-фельдмаршал, — без надобности... Но — полагаю то на ваше суждение... А хотя бы и быть, — так, чтобы на страстной седмице приехать, а на святой — паки назад...»

Через шесть месяцев Борис Петрович снова встретился с генералом Шлиппенбахом у Гумельсгофа, — из семи тысяч шведов в этом кровавом бою потеряли пять с половиной тысяч убитыми. Ливонию защищать было некому — путь к приморским городам открыт. И Шереметьев пошел разорять страну, города и мызы и древние замки рыцарей... К осени отписал Петру:

«...Всесильный бог и пресвятая богоматерь желание твое исполнили: больше того неприятельской земли разорять нечего, все разорили и запустошили, осталось целого места — Мариенбург, да Нарва, да Ревель, да Рига. С тем прибыло мне пе-

чали: куда деть взятый ясырь? Чухонцами полны и лагеря, и тюрьмы, и по начальным людям — везде... Да и опасно оттого, что люди какие сердитые... Вели учинить указ: чухон, выбрав лучших, которые умеют топором, овые которые художники,— отослать в Воронеж или в Азов для дела...»

2

Двенадцать дней садили бомбы в старинную крепость Мариенбург. Ниоткуда подступиться к ней было нельзя,— стояла на небольшом островке (на озере Пойп), каменные стены поднимались прямо из воды, от ворот, укрепленных осадистым замком,— деревянный мост сажен на сто был разметан самими шведами.

В крепости находились запасы ржи. Русским, оголодавшим в разоренной Лифляндии, запасы эти весьмагодились. Борис Петрович велел крикнуть охотников, вышел к ним и сказал так: «В крепости вино и бабы,— постарайтесь, ребята, дам вам сутки гулять». Солдаты живо растащили несколько бревенчатых изб в прибрежной слободе, связали плоты, и человек с тысячу охотников, отталкиваясь шестью, поплыли к крепостным стенам. Шведские бомбы рвались посреди плотов.

Борис Петрович, выйдя на крыльцо избенки, глядел в подзорную трубу. Шведы злы, ожесточены,— неужто отобьются? Брать осадой — ох, как не хотелось бы,— провозишься до глубокой осени. Вдруг увидел: близ крепостных ворот из земли вырвалось большое пламя,— бревенчатая надстройка на башне покачнулась. Рухнула часть стены. Плоты уже подходили к пролому. Тогда в окно замка высунулось и повисло белое полотнище. Борис Петрович сложил суставчатую трубу, снял шляпу, перекрестился.

По сваям разбитого моста население крепости начало кое-как перебираться на берег. Тащили детей на руках, узлы и коробья. Женщины с плачем оборачивались к покинутым жилищам, в ужасе косились на русских, присматривавших добычу. Но едва последние беглецы покинули крепость, кованые ворота с грохотом захлопнулись, из узких бойниц вылетели дымки,— первым был убит поручик, приплывший в челне, чтобы подняться на крепости русское знамя. В ответ с берега ударили мортиры. Люди заметались на мосту, роняя в воду узлы и коробья. Огромное пламя подкинуло вверх крыши замка, взрыв потряс озеро, падающими камнями начало бить людей. Крепость и склады охватило пожаром. Выяснилось,— прапорщик Вульф и штык-юнкер Готшлих в бессильной ярости сбежали в пороховой погреб и подожгли фитиль. Вульф не успел уйти от взрыва. Штык-юнкер, обожженный и окровавленный, появился в проломе стены, свалился к воде,— его подобрала в челн.

Комендант крепости с офицерами, войдя в избу, где важно — спиной к окошку — за накрытым к обеду столом сидел генерал-фельдмаршал Шереметев, снял шляпу, учтиво поклонился и протянул шпагу. То же сделали и офицеры. Борис Петрович, бросив шпаги на лавку, начал зло кричать на шведов: зачем не сдавались раньше, причинили столько несносных обид и смерти людям, коварством взорвали крепость... В избе стояли обросшие щетиной, загорелые, отчаянные кавалерийские полковники, недобро поглядывали. Все же комендант мужественно ответил генерал-фельдмаршалу:

— Между нашими — много женщин и детей, также суперинтендант, почтенный пастор Эрнст Глюк с женой и дочерьми... Прошу их пропустить свободно, не отдавая солдатам... Женщины и дети тебе не составят чести...

— Знать ничего не хочу! — крикнул Борис Петрович... Мягкое, привычное скорее домашнему обиходу бритое лицо его вспотело от гнева. Вжимая живот, вылез из-за стола. — Господина коменданта и господ офицеров взять под караул! — Оправил трехцветную перевязь, воинственно накинул малинового сукна короткий плащ, сопровождаемый полковниками — вышел к войскам.

Черный дым валил из крепости, застилая солнце. Около трехсот пленных шведов стояло, понурясь, на берегу. Русские солдаты, еще не зная — как прикажут с пленными, только похаживали около ливонских сердитых мужиков, — недели две тому назад бежавших в Мариенбург, в осаду, от нашествия, — заговаривали с женщинами, сидевшими на узлах, горестно уткнув головы в колени. Заиграла труба. Важно шел генерал-фельдмаршал, звякая длинными звездчатыми шпорами.

Из-за кучки спешившихся драгун на него взглянули чьи-то глаза, — точно два огонька — обожгли сердце... Время военное, — иной раз женские глаза — острее клинка. Борис Петрович кашлянул важно — «Гм!» — и обернулся... За пыльными солдатскими кафтанами — голубая юбка... Насупился, выпятив челюсть, и — увидел эти глаза — темные, блестящие слезами и просьбой и молодостью... На фельдмаршала из-за солдатских спин, поднявшись на цыпочки, глядела девушка лет семнадцати. Усатый драгун накинул ей поверх платышка мягкий солдатский плащ (августовский день был прохладен) и сейчас старался оттереть ее плечом от фельдмаршала. Она молча вытягивала шею, измученное страхом свежее лицо ее силилось улыбаться, губы морщились. «Гм», — в третий раз крикнул Борис Петрович, пошел мимо к пленным...

.....

В сумерки, отдохнув после обеда, Борис Петрович сидел на лавке, вздыхал... В избе при нем был только один Ягужинский, царапал пером на углу стола...

— Смотри — глаза попортишь, — тихо сказал Борис Петрович.

— Кончаю, господин фельдмаршал...

— Ну, кончаешь, — кончай... (И — уже совсем про себя.) Так-то вот оно нашего брата... Ну, ну... Ах ты, боже мой...

Легонько постукивал всей горстью по столу, глядел в мутное окошечко. На озере — в крепости еще полыхало... Ягужинский весело-насмешливо косился на господина фельдмаршала: ишь, как его подперло, шея надулась, лицо потерянное.

— Отнесешь указ-то полковнику, — сказал Борис Петрович, — да зайди во второй драгунский полк, что ли... Этого, как его, Оську Демина, урядника, разыщи. Там с ним в обозе — бабенка одна... Жалко — пропадет, — замнут драгуны... Ты ее приведи-ка сюда... Постой... Оське — на-ка — передай рубль, — жалую, скажи...

— Все будет исполнено, господин фельдмаршал...

Борис Петрович — один в избе — кряхтел, качал головой. И ведь ничего не поделаешь: без греха, как ты ни старайся, — не прожить... В девяносто седьмом году ездил в Неаполь... Привязалась к сердцу черненькая одна... Хоть плачь... И на Везувий лазил, глядел на адский огонь, и на острове Капри лазил на страшные скалы, глядел капища поганских римских богов, и прилежно осматривал католические монастыри, глядел и руками трогал: доску, на которой сидел господь бог, умывая ученикам ноги, и часть хлеба тайные вечера, и крест деревянный — в нем часть пупа Христова и часть обрезанья, и один башмак Христов — ветхий, и главу пророка Захарии — отца Иоанна Предтечи, и многое другое вельми предивное и пречудесное... Так нет же — все заслонила ему востроглазая Джулька, с бубном плясала, песни пела... Хотел взять ее в Москву, в ногах валялся у девчонки... Ах, боже мой, боже мой...

Ягужинский, как всегда, обернулся одним духом, — легонько втокнул в избу давешнюю девушку в голубом платье, в опрятных белых чулках, — грудь накрест перевязана косынкой, в кудрявых темных волосах — соломинки (видимо, в обозе уже пристраивались валять ее под телегами)... Девушка у порога опустилась на колени, низко нагнула голову — явила собой покорность и мольбу.

Ягужинский, бодро крякнув, вышел. Борис Петрович некоторое время разглядывал девушку... Ладная, видать — ловкая, шея, руки — нежные, белые... Весьма располагающая. Заговорил с ней по-немецки:

— Зовут как?

Девушка легко, коротко вздохнула:

— Элене Екатерине...

— Катерина... Хорошо... Отец кто?

— Сирота... Была в услужении у пастора Эрнста Глюка...

— В услужении... Очень хорошо... Стирать умеешь?

— Стирать умею... Много умею... За детьми ходить...
— Видишь ты... А у меня исподнего платья простирать некому... Ну, что же,— девица?

Катерина всхлипнула, и — не поднимая головы:

— Нет уже... Недавно вышла замуж...

— А-а-а... За кого?

— Королевский кирасир Иоганн Рабе...

Борис Петрович насутился. Спросил неласково про кирасира: где же он — среди пленных? Может, убит?

— Я видела, Иоганн с двумя солдатами бросился вплавь через озеро... Больше его не видала...

— Плакать, Катерина, не надо... Молода... Другого наймешь... Есть хочешь?

— Очень,— ответила она тонким голосом, подняла похудевшее лицо и опять улыбнулась,— покорно, доверчиво. Борис Петрович подошел к ней, взял за плечи, поднял, поцеловал в тонкие теплые волосы. И плечи у нее были теплые, нежные...

— Садись к столу. Покормим. Обижать не будем. Вино пьешь?

— Не знаю...

— Значит — пьешь...

Борис Петрович крикнул денщика, строго (чтобы солдат чего не подумал лишнего, боже упаси — не ухмыльнулся) приказал накрывать ужинать. Сам за ужином не столько ел, сколько поглядывал на Катерину: ишь ты — какая голодная! Ест опрятно, ловко,— взглянет влажно на Бориса Петровича, благодарно приоткрывает белые зубки. От еды и вина щеки ее порозовели...

— Платьишки твои, чай, все погорели?..

— Все пропало,— беспечно ответила она...

— Ничего, наживем... На неделе поедem в Новгород, там тебе будет лучше. Сегодня — по-походному — на печи будем спать...

Катерина из-под ресниц тёмно поглядела на него, покраснела, отвернула лицо, прикрылась рукой.

— Ишь ты, какая... Катерина, баба...— Сил нет, до чего нравилась Борису Петровичу эта комнатная девушка... Потянувшись через стол, взял ее за кисть руки. Она все прикрывалась, сквозь пальцы чудно блестел ее глаз.— Ну, ну, ну, в крепостные тебя не запишем, не бойся... Будешь жить в горницах... Мне экономка давно нужна...

3

Когда разбитые под Нарвой войска возвращались в Новгород,— много солдат убежало — кто на север в раскольничьи погосты, кто на большие реки: на Дон, за Волгу, на низовье Днепра... Ушел и Федька Умойся Грязью, угрюмый, все видавший мужик... (Ему бы и так не сносить головы за убийство

поручика Мирбаха.) В побег сманил Андриюшку Голикова — все-таки вместе когда-то тянули лямку на Шексне, долго ели из одного котла. Андриюшке после нарвского ужаса все равно куда было идти, только не опять под ружье...

Ночью со стоянки они увели полковую клячу, продали ее в монастырь за пятьдесят копеек, деньги разделили, завернули в тряпицы. Пошли стороной от большой дороги, от деревни к деревне, где прося милостыню, а где и воруя, — у попа со двора унесли куренка, в Осташкове у бурмистра со двора унесли узду наборную и седелку, продали кабатчику. Два раза удалось сорвать церковную кружку, но одна — пустая, в другой — копейка на дне.

Зиму перебились на Валдае в занесенных снегами курных избах с угоревшими от дыма ребятами, с кричащими в зыбках под вой ночного ветра младенцами... Часто Андриюшка Голиков просыпался среди ночи, садился, держа себя за голые ступни. Рядом на вонючей соломе в углу жует теленок. Мужик храпит на лавке. На полу под шестком спит баба, поджав коленки. Бормочут во сне угоревшие ребята на печи. Тараканы кусают у младенца кончики пальцев и щеки. Младенец в люльке — уа-а-а, уа-а-а... Неведомо, зачем родился, неведомо, зачем грызут его тараканы...

— Чего ты не спишь, Андрей? — спрашивает Федька (он тоже не спит, думает).

— Федя, уйдем...

— Куда — уйдем, дурной, ночью-то, в метель...

— Томно, Федя...

— Вониза здесь, дышать трудно. Живут хуже скотов. Вон как храпит Мужик-та. Нахрапится, ковшик воды выпьет и пошел работать, как лошадь — целый день... Давеча спрашивал — у них вся деревня на барщине. Молодой помещик ушел с войском, а старый живет здесь, в деревне, за оврагом, у него хороший двор. Старик — скряга, драчун. Все начисто берет у мужиков, одну лебеду, оставит... И мужики у него все — глупые. Кто поумнее, побойчее — он его сейчас на телегу, везет в Валдай и на базаре мужика этого продает, прямо с воза — сам. Умных всех вывел — ему и спокойнее. Тут и дети глупые родятся, бессловесные...

Андриюшка сидит, сжимая голые, холодные ступни, раскачивается. Десятерым досыта хватило бы того, что за двадцать четыре года вынес Андрей. Живуч... И даже не хилым телом живуч, а неугасимым желанием уйти из мрака... Будто лезет, ободранный, голодный, через бурелом, через страшные места, — год за годом, версты за верстами, — веря, что где-то — светлый край, куда он все-таки придет, продерется сквозь жизнь. Где этот край, какой он?

Вот и сейчас, плохо слушая, что говорит Федька, — рядом на соломе, — Андрей раскрыл глаза в тьму... Не то вспоминает-

ся, не то чудится: зеленый бугор, береза, — всеми веточками, всеми листочками дрожит, трепещет от теплого ветра... Ох, радость... И нет ее... Плывет лицо, невиданное никогда, ближе, — подплыло вплоть, раскрывает глаза, глядит на Андриюшку, — живее живого... Будь сейчас доска, кисть, краски — списал бы его... Усмехнулось, проплыло... В голубоватом тумане чудится город... Превидный, пречудесный, ох, какой город! Где же искать город этот, где искать дрожащую листьями березу, усмехнувшееся дивное лицо?

— Утрась прямо айда на усадьбу, наврем боярину — сколько он хочет, глядь и покормят на людской, — хрипит Федька. На богатых дворах он всегда начинал рассказы про нарвскую беду, — врал, что было и чего не было, и в особенности до слез доводил слушателей (бывало, и сам помещик зайдет от скуки в людскую и пригорюнится, подперев щеку) — до слез доводил рассказом про то, как король Карл, побив неисчислимые тысячи православного воинства, ехал по полю битвы...

...Лицом светел, в левой ручке — держава, в правой ручке — острая сабля, сам — в золоте, серебре, конь под ним — сивый, горячий, по брюхо в человеческой крови, коня под уздцы ведут два мужественных генерала... И наезжает король на меня... А я лежу, конечно, в груди у меня пуля... Около меня шведы как мешки накинаны — убитые. Наехал на меня король, остановился и спрашивает генералов: «Что за человек лежит?» Генералы ему отвечают: «Это лежит храбрый русский солдат, сражался за православную веру, убил один двенадцать наших гренадеров». Король им отвечает: «Мужественная смерть». Генералы ему: «Нет, он живой, у него в груди — пуля». И они меня поднимают, я встаю, беру мушкет и делаю на полный караул, как полагается перед королем. И он говорит: «Молодец, — вынимает из кармана золотой червонец: — На, говорит, тебе, храбрый русский солдат, иди спокойно в свое отечество да скажи русским: с богом не боритесь, с богатым не судитесь, со шведом не деритесь...»

Без осечки, после такого рассказа Федьку, а с ним и Андрея, оставляли в людской ночевать и кормили. Но трудно было пробираться на богатый двор. Люди стали недоверчивы. Год от году все больше народу бегало от войскового набора, от военных и земских повинностей, — скрывались в лесах, шалили и в одиночку и шайками... Были такие городки, где остались одни старики, старухи да малые дети, — про кого ни спроси: — этот взят в драгуны, этот на земляных работах или увезен на Урал, а этот — еще недавно держал на базаре лавку — и почтенный и богобоязненный, — бросил жену, малых ребят, свистит с кистенем в овраге у большой дороги...

Федька не раз задумывался, — не пристать ли к разбойникам, пошалить? Да и так рассуждая: куда было деваться? Не век бродить меж двор, — надоест... Но Андрей — ни за что... Уперся, — пойдем, пойдем на полдень до края земли... Федька

ему: «Ну, придешь, опять же там — люди, даром кормить не станут, придется батрачить у казаков или лезть в кабалу к помещику, ломать спину на черта... А пошалили бы да погуляли — глядь и зашили бы каждый в шапку по сто рублей. С такими деньгами в купцы можно выйти. Тут уж к тебе ни драгун, ни подьячий, ни помещик не привяжется, — сам хозяин...»

Один раз, — это было летом, — сидели на вечерней заре в поле. От костра из сухого навоза тянул дымок, ветер клонил стебли, посвистывал. Андрюшка глядел на догоревшую зарю, ее осталось — тусклая полоса у края земли.

— Федя, вот что я тебе скажу один раз... Живет во мне сила, ну такая сила — больше человеческой... Слушаю — ветер свистит по стеблям и — понимаю, так понимаю все, — грудь разрывает... Гляжу — заря вечерняя, сумрак, и — все понимаю, так бы и разлился по небу с этой зарей, такая во мне печаль и радость...

— У нас в деревне был дурачок, гусиный пастух, — сказал Федька, ковыряя стеблем в рассыпающихся углях, — такое же нес, бывало, понять ничего нельзя... Играл хорошо на тростниковых дудках, — всей деревней ходили слушать... Тогда искали людей к покойному к Францу Лефорту в музыканты, — что ж ты думаешь — взяли его...

— Федя, мне под Нарвой рассказывал крепостной человек Бориса Петровича про итальянскую страну... Про живописцев... Как они живут, как они пишут... Я не успокоюсь, рабом последним отдамся такому живописцу — краски тереть... Федя, я умею... Взять доску деревянную, дубовую, протереть маслом, покрыть грунтом. В черепочках натереть красок, иные на масле, а иные на яйце... Берешь кисточки... (Голиков говорил совсем тихо, не заглушал посвистывания ветра.) Федя, день просветлел и померк, а у меня на доске день горит вечно... Стоит ли дерево, — береза, сосна, — что в нем? А взгляни на мое дерево на моей доске, все поймешь, заплачешь...

— Где ж она, страна эта?

— Не знаю, Федя... Спросим, — скажут.

— Можно и туда... Все равно.

4

Весною семьсот второго года в Архангельск прибыли на корабле десять шлюзных мастеров, нанятых в Голландии Андреем Артамоновичем Матвеевым за большое жалованье (по семнадцати рублей двадцати копеек в месяц, на государственных кормах). Половину мастеров отправили под Тулу, на Ивановское озеро — строить (как было задумано в прошлом году) тридцать один каменный шлюз между Доном и Окой через Упу и Шать. Другая половина мастеров поехала в Вышний Волочок — строить шлюз между Тверицей и Мстою.

Вышневолоцким шлюзом должно было соединиться Каспийское море с Ладожским озером, Ивановскими шлюзами — Ладожское озеро, все Поволжье — с Черным морем.

Петр был в Архангельске, где укрепляли устье Двины и строили фрегаты для беломорского флота. Здешние промышленники рассказали ему, что издавна известен путь из Белого моря в Ладогу — через Выг, Онего-озеро и Свирь. Путь трудный — много переволоков и порогов, но если прокопать протоки и поставить шлюзы до Онего-озера — все беломорское приморье повезет товары прямым сплавом в Ладогу.

Туда — в Ладожское озеро — упирались все три великих пути от трех морей, — Волга, Дон и Свирь. От четвертого — Балтийского моря — Ладогу отделял небольшой приток Нева, оберегаемый двумя крепостями — Нотебургом и Ниеншанцем. Голландский инженер Исаак Абрагам говорил Петру, указывая на карту: «Прокопав шлюзовые каналы, вы оживите мертвые моря, и сотни ваших рек, воды всей страны устремятся в великий поток Невы и понесут ваши корабли в открытый океан».

Туда, на овладение Невой, и обратились усилия с осени семьсот второго года. Апраксин — сын адмирала — все лето разорял Ингрию, дошел до Ижоры и на берегу быстрой речки, выходящей по приморской унылой равнине, разбил шведского генерала Кронгиорта, отбросил его на Дудергофские холмы, откуда тот в конфузии отступил за Неву в крепостцу Ниеншанц, что на Охте.

Апраксин с войском пошел к Ладоге и стал на реке Нази. Борис Петрович Шереметьев шел туда же из Новгорода с большой артиллерией и обозами. Петр с пятью батальонами семеновцев и преображенцев приплыл от Архангельска в Онежскую губу и высадился на плоском побережье близ рыбацкой деревни Нюхча. Отсюда он послал в Сороку, в раскольный погост, что при устье Выга, капитана Алексея Бровкина. (Летом Иван Артеми — добился — разменял сына на пленного шведского подполковника, — сам ездил в Нарву, еще дал в придачу триста ефимков.) Алексей должен был проплыть в челне по всему Выгу и посмотреть — пригодна ли река для шлюзования.

Из Нюхчи войска пошли через Пул-озеро и погост Вожмосальму на Повенец, — просеками, гатями и мостами. Дорогу эту в три месяца построил сержант Щепотев, согнав крестьян и монастырских служек из Кеми, из Сумского посада, из раскольных погостов и скитов. Войска волокли на катках две оснащенные яхты. Шли болотами, где гнил лес и звенели комары, мхом, как шубою, покрыты были огромные камни. Увидели дивное Выг-озеро с множеством лесистых островов, — их ошестиненные горбы, подобно чудовищам, выходили из залитых солнцем вод. В бледном небе — ни облака, озеро и берега — пустынные, будто все живое попрыталось в чащобы.

В десяти верстах от военной дороги, в Выгорецкой Даниловой обители день и ночь шли службы, как на страстную седмицу. Мужчины и женщины в смертной холщовой одежде молились коленопреклоненные, неугасимо жгли свечи. Все четверо ворот — наглухо заперты, в воротных сторожках и около моленных заготовлены солома и смола. В эти дни из затвора вышел старец Нектарий. После сожжения паствы и побега он, будучи не при деле, поселился в обители. Но Андрей Денисов его не жаловал и к народу не допускал. Нектарий со зла сел в яму молчальником, сидел молча два года. Когда к яме, прикрытой жердями и дерном, кто-либо подходил — старец кидал в него калом. Сегодня он самовольно явился народу, — узкая борода отросла до колен, мантия изъедена червями, в дырья сквозили желтые ребра. Вздвев высохшие руки, он закричал: «Андрюшка Денисов за пирог с грибами Христа продал... Что смотрите?.. Сам антихрист к нам пожаловал, с двумя кораблями на полосьях... Набьют вас туда, как свиней, — увезут в ад кромешный... Спасайтесь... Не слушайте Андрюшку Денисова... Глядите, как он морду надул в окошке... Ему царь Петр пирог с начинкой прислал...»

Андрей Денисов, видя, что оборачивается худо и, пожалуй, найдутся такие, кто и на самом деле захочет гореть, — начал попрекать старца и кричал на него из окна кельи: «Должно быть, в яме ты с ума спятился, Нектарий, тебе только людей жечь — весь бы мир сжег... Царь нас не трогает, пусть его идет мимо с богом, мы сами по себе... А что меня пирогом попрекаешь, — пирогов за век ты больше моего сожрал. Мы знаем — кто тебе по ночам в яму-то курятину таскает, всех курей перевел в обители, — костей полна яма».

Тогда кое-кто кинулся к яме, и верно, — в углу закопаны куринные кости. Началось смущение. Андрей Денисов тайно вышел из обители и на хорошей лошади поехал за реку, к войску, — нашел его по зареву костров, по ржанию коней, по пению медных труб на вечерней заре.

Петр принял Андрея Денисова в полотняном шатре, — сидел с офицерами у походного стола, все курили трубки, отгоняя дымом комаров. Увидев свежего мужчину в подряснике и скуфье, Петр усмехнулся:

— Здравствуй, Андрей Денисов, что скажешь хорошего? Все ли еще вы двумя перстами от меня оберегаетесь?

Денисов, как ему было указано, сел к столу, не морщась, но лишь у самого носа отмахиваясь от табачного дыма, сказал честно, светло глядя в глаза:

— Милостивый государь, Петр Алексеевич... Начинали мы дело на диком месте, — сходилсся сюда темный народ, всякие люди. Иных лаской в повиновение приводили, а иных и страхом. Пугали тобой, — прости, было... В большом начинании не без промашки. Было всякое, и такое, что и вспоминать не стоит...

— А теперь что делается? — спросил Петр.

— Теперь, милостивый государь, хозяйство наше стоит прочно. Пашни общей расчищено свыше пятисот десятин да лугов столько же. Коровье стадо — сто двадцать голов. Рыбные ловли и копильни, кожевни и валяльни. Свое рудное дело. Рудознаты и кузнецы у нас такие, что и в Туле нет...

Петр Алексеевич уже без усмешки переспрашивал, — в каких местах какие руды? Узнав, что железо — по берегам Онего-озера, и даже близ Повенца есть место, где из пуда руды выплавляют полпуда железа, — задымил трубкой:

— Так чего же вы, беспоповцы, от меня хотите?

Денисов, подумав, ответил:

— Тебе, милостивый государь, для войска нужно железо. Укажи, — поставим, где удобнее, плавильные печи и кузницы. Наше железо — лучше тульского и обойдется дешевле... Акинфий Демидов на Урале считает по полтинничку...

— Врешь, по тридцать пять копеек...

— Что ж, и мы по тридцати пяти посчитаем. Да ведь Урал далеко, а мы — близко... Тут и медь есть. Строевые мачтовые леса под Повенцом, на Медвежьих горах, — по сорока аршин мачты, звенит дерево-то... Будь Нева твоя, плоты станем гнать в Голландию. Одного боимся — попов с подьячими... Не надо нам их... Прости меня, говорю, как умею... Оставь нас жить своим уставом... Страх-то какой!.. В обители третий день все работу побросали, обрядились в саваны, поют псалмы... Скотина не поена, не кормлена — ревет в хлевах. Пошлешь нам попа с крыжом, с причастием, — все разбегутся — куда глаза глядят... Разве удержишь... Народ все пытанный, ломанный. Уйдут опять в глушь, и дело замрет...

— Чудно, — сказал Петр. — А много у вас народа в обители?

— Пять тысяч работников мужска и женска пола, да престарелые на покое, да младенцы...

— И все до одного вольные?

— От неволи ушли...

— Ну что ж мне с вами делать? Ладно, снимайте саваны... Молитесь двумя перстами, хоть одним, — платите двойной оклад со всего хозяйства...

— Согласны, со всей радостью...

— В Повенец пошлете мастеров — лодочников добрых. Мне нужны карбасы и йолы, судов пятьсот...

— Со всей радостью...

— Ну, выпей мое здоровье, Андрей Денисов. — Петр налил из жестяного штофа водки полную чарку, поднес с наклонением головы, Денисов побледнел. Светлые глаза метнулись. Но — достойно встал. Широко, медленно, прижимая два перста, перекрестился. Принял стопку. (Петр пронзительно глядел на него.) Выпил до капли. Сняв скуфью, вытер ею красные губы.

— Спасибо за милость.

— Закуси дымом.

Петр протянул ему трубку — обмусоленным чубуком вперед. Теперь у Денисова в глазах мелькнула усмешка, — не дрогнув, взял было трубку. Петр отстранил ее.

— А места... (Сказал, будто ничего и не было.) А места, где найдете руду, и земли кругом, сколько потребуется, обмеряйте и ставьте столбы. О сем пишите в Москву — Виниусу. Я ему скажу, чтобы с промыслов и плавильных печей пошлины не брать лет десять... (Денисов поднял брови.) Маловато? Пятнадцать лет не будем брать пошлины. О цене на железо договоримся. Начинайте работать — не мешкая. Понадобятся люди, или еще какая нужда, — пиши Виниусу... Денег не просите... Выпей-ка еще стопку, святой человек...

.....

В конце сентября, в непогожие дни, три войска, соединясь на берегах Назии, двинулись к Нотебургу. Древняя крепость стояла на острове посреди Невы, у самого выхода ее из Ладоги. Судам можно было попадать в реку по обоим рукам мимо крепости не иначе, как саженьях в десяти от бастионов, под жерлами пушек.

Войска вышли на мыс перед Нотебургом. Сквозь низко лежащие дождевые облака виднелись каменные башни с флюгерами на конусных кровлях. Стены были так высоки и крепки — русские солдаты, рывшие на мысу апроши и редуты для батарей, только вздыхали. Недаром при новгородцах, построивших эту крепость, звалась она Орешек, — легко не раскусишь. Шведы, казалось, долго раздумывали. На стенах не было видно ни души. Хмурыми облаками заволакивались свинцовые кровли. Но вот на круглой башне замка на мачту поползло королевское знамя со львом, — захлестало по ветру. Медным ревом ударила тяжелая пушка, ядро шипя упало в грязь на мысу перед апрошами. Шведы приняли бой.

Правый берег Невы, по ту сторону крепости, был сильно укреплен, со стороны озера попасть туда было трудно из-за болот. Заранее, еще до прихода всего войска к Нотебургу, по левому берегу прорубили просеку от озера через мыс к Неве. Теперь несколько тысяч солдат вытаскивали на канатах ладьи из Ладожского озера, волокли их по просеке и спускали в Неву — ниже крепости. Человек по пятидесяти, ухватясь за концы, тянули, другие поддерживали с бортов, чтобы судно ползло на киле по бревнам. «Еще раз! Еще раз! Берись дружнее!» — кричал Петр. Кафтан он бросил, рубашка промокла, на длинной шее, перетянутой скрученным галстуком, вздулись жилы, ноги сбил в шиколотках, попадая между бревен... Хватался за конец, выкатывал глаза: «Разом! Навались!» Люди не ели со вчерашнего дня, в кровь ободрали ладони. Но чертушка, не отступая, кричал, ругался, дрался, тянул... К ночи пятьдесят тяжелых лодок — с помостами для стрелков на носу и корме — удалось

переволочь и спустить в Неву. Люди не хотели и есть, — засыпали где кто повалился, на мокром мху, на кочках.

Барабаны затрещали еще до зари. Прапорщики трясли людей, ставили на ноги. Было приказано — зарядить мушкеты, два патрона (оберегая от дождя) положить за пазуху, по две пули положить за щеку. Солдаты, прикрывая замки полами кафтанов, влезали на помосты качающихся лодок. Била волна. В темноте плыли на веслах через быструю реку на правый берег. Там шумел лес. Солдаты спрыгивали в камыши. Шепотом ругались офицеры, собирая роты.

Ждали. Начала проступать ветреная заря — малиновые полосы сквозь летучий туман. По свинцовой реке подошел веселый бот. Из него выскочили Петр, Меньшиков и Кенигсек. (Саксонский посланник попросился в поход добровольцем и состоял при царе.) «Готовься!» — протяжно закричали голоса. Петр, цепляясь за кусты, взобрался на обрывистый берег. Ветер поднимал полы его короткого кафтана. Он зашагал смутно различной длинной тенью, — солдаты торопливо шли за ним. По левую его руку — Меньшиков с пистолетами, по правую — Кенигсек. Они вдруг остановились. Первый ряд солдат, продолжая идти, обогнал их. Петр приказал: «Мушкет на караул... Вводи курки... Стрельба плутонгами...» По рядам резко защелкали кремни... Второй ряд прошел вперед, минуя Петра. «Глядеть пред себя! — диким голосом закричал Петр. — Первый плутонг палить!» Ружейными вспышками осветились мотавшиеся одинокие сосенки и невдалеке на равнине за пнями — низкая насыпь шведского шанца. Оттуда тоже стреляли, но неуверенно. «Второй плутонг... палить!» Второй ряд, так же как и первый, выстрелив, упал на колени... «Третий... Третий! — кричал срывающийся голос. — Багинет пред себя... Бегом...»

Петр побежал по неровному полю. Солдаты, мешая ряды, крича все громче и злее, тысячной горячей толпой, уставя штыки, хлынули на земляное укрепление. Изорва уже торчали вздетые руки сдающихся. Часть шведов убегала в сторону леса.

Шанцы на правом берегу были взяты. Когда совсем рассветло — через реку переправили мортиры. И в тот же день начали кидать ядра в Нотебург с обоих берегов реки.

В крепости, выдержавшей две недели жестокой бомбардировки, начался большой пожар и взрывы артиллерийских погребов, отчего обвалилась восточная часть стены. Тогда увидели лодочку с белым флагом на корме, она торопливо плыла к мысу, к шанцам. Русские батареи замолчали. От мортир, обливаемых водой, валил пар. Из лодки вылез высокий бледный офицер — голова его была обвязана окровавленным платком. Неуверенно оглядывался. Через шанец к нему перепрыгнул Алексей Бровкин, — дерзко глядя, спросил:

— С чем хорошим пожаловал?

Офицер быстро заговорил по-шведски, — указывал на огромный дым, поднимавшийся из крепости в безветренное небо.

— Говори по-русски, — сдается или нет? — сердито перебил Алексей.

На помощь к нему подошел Кенигсек, — нарядный, улыбающийся, — вежливо снял шляпу — поклонился офицеру, и, переспросив, перевел: что-де жена коменданта и другие офицерские жены просят позволить им выйти из крепости, где невозможно быть от великого дыма и огня. Алексей взял у офицера письмо о сем к Борису Петровичу Шереметьеву. Повертел. Вдруг искалзился злобой, бросил письмо под ноги офицеру, в грязь:

— Не стану докладывать фельдмаршалу... Это — что ж такое? Баб выпустить из крепости. А нам еще две недели на штурмах людей губить... Сдавайтесь на аккорд сейчас же, — и весь разговор...

Кенигсек был вежливее: поднял письмо, отер о кафтан, вернул офицеру, объяснив, что просьба — напрасна. Офицер, пожимая плечами, негодуя, сел в лодку, и — только отплыл — рывкнули все сорок две мортиры батарей Гошки, Гинтера и Петра Алексеевича.

Всю ночь пылал пожар. На башнях расплавлялись свинцовые крыши, и горящие стропила обрушивались, взметая языки пламени. Заревом освещалась река, оба стана русских и ниже по течению — сотня лодок у берега наготове, с охотниками, тесно стоящими на помостах, со штурмовыми лестницами, положенными поперек бортов. После полуночи канонада замолкла, слышался только шум бушующего огня.

Часа за два до зари с царской батареи выстрелила пушка. Надрывающе забили барабаны. Ладьи на веслах пошли к крепости, все ярче озаряемые пламенем. Их вели молодые офицеры: Михайла Голицын, Карпов и Александр Меньшиков. (Вчера Алексашка со слезами говорил Петру: «Мин херц, Шереметьев в фельдмаршалы махнул... Надо мной люди смеются: генерал-майор, губернатор псковский! А на деле — денщик был, денщиком и остался... Пусти в дело за военным чином...»)

Петр с фельдмаршалом и полковниками был на мысу, на батарее. Глядели в подзорные трубы. Ладьи быстро подходили с восточной стороны, там, где обвалилась стена, — навстречу им неслись каленые ядра. Первая лодка врзалась в берег, охотники горохом скатились с помостов, потащили лестницы, полезли. Но лестницы не хватало доверху, даже в проломе. Люди взбирались на спины друг другу, карабкались по выступам. Сверху валились камни, лился расплавленный свинец. Раненые срывались с трехсаженной высоты. Несколько лодок, подожженных ядрами, ярко пылая, уплывали по течению.

Петр жадно глядел в трубу. Когда пороховым дымом застилало место боя, — совал трубу под мышку, начинал вертеть пуговицы на кафтане (несколько уже оторвал). Лицо — землистое, губы черные, глаза ввалились...

— Ну, что же это, что такое! — глухо повторял, дергал шеей, оборачивался к Шереметьеву. (Борис Петрович только вздыхал неторопливо, — видал дела и пострашнее за эти два года.)

— Опять пожалели снарядов... Бери голыми руками! Нельзя же так!..

Борис Петрович отвечал, закрывая глаза:

— Бог милостив, возьмем и так...

Петр, расставя ноги, опять прикладывал трубу к левому глазу.

Много раненых и убитых валялось под стенами. Солнце было уже высоко, задернуто пленками. К облакам поднимался дым из крепостных башен, но пожар, видимо, слабел. Новый отряд охотников, подойдя в лодках с западной стороны, кинулся на лестницы. У всех в зубах горящие фитили, — выхватывали из мешков гранаты, скусывали, поджигали, швыряли. Кое-кому удалось засесть в проломе, но оттуда — не высунуть головы. Шведы упорно сопротивлялись. Пушечные удары, треск гранат, крики, слабо доносившиеся через реку, — то затихали, то снова разгорались. Так длилось час и другой...

Казалось, все надежды, судьба всех тяжких начинаний — в упорстве этих маленьких человечков, суетливодвигающихся на лестницах, передыхающих под выступами стен, стреляющих, хоронясь за кучи камней от шведской картечи... Помочь ничем нельзя. Батареи принуждены бездействовать. Были бы в запасе лодки, — перевезти еще тысячи две солдат на подмогу. Но свободных лодок не было, и не было лестниц, не хватало гранат...

— Батюшка, отошел бы в шатер, откушал бы, — отдохни... Что сердце зря горячить, — говорил с баьим вздохом Борис Петрович.

Петр, не опуская трубы, нетерпеливо оскалился. Там, на стене, появился высокий седобородый старик в железных латах, в старинной каске. Указывая вниз, на русских, широко развел рот, — должно быть, кричал. Шведы тесно обступили его, тоже кричали, — видимо, о чем-то спорили. Он оттолкнул одного, другого ударил пистолетом, — тяжело полез вниз по уступам камней — в пролом. За ним туда скатилось человек с полсотни. В проломе сбились в яростную кучу шведы и русские. Человеческие тела, как кули, летели вниз... Петр закричал длинным стоном.

— Этот старик — комендант — Ерик Шлиппенбах, старший брат генералу Шлиппенбаху, которого я бил, — сказал Борис Петрович.

Шведы быстро овладели проломом, защелкали оттуда из мушкетов. Сбежали по лестницам вниз, кидались с одними шпагами на русских. Высокий старик в латах, стоя в проломе, топал ногой, взмахивал руками, как петух крыльями... («Швед осерчает — ему и смерть не страшна», — сказал Борис Петрович.) Остатки русских отступали к воде, к лодкам. Какой-то человек,

с обязанным тряпкою лицом, метался, отгоняя солдат от лодок, чтобы в них не садились,— прыгал, дрался... Навалившись на нос лодки — отпихнул ее, порожнюю, от берега. Прыгнул к другой — отпихнул... («Мишка Голицын,— сказал Борис Петрович,— тоже горяч».) Рукопашный бой был у самых лодок...

Двенадцать больших челнов с охотниками, сгибая дугою весла, мчались против течения к крепости. Это был последний резерв, отряд Меньшикова. Алексашка, без кафтана — в шелковой розовой рубахе,— без шляпы, со шпагой и пистолетом, первым выскочил на берег... («Хвастун, хвастун»,— пробормотал Петр.) Шведы, увидя свежего противника, побежали к стенам, но только часть успела взобраться наверх, остальных покололи. И снова со стен полетели камни, бревна, бухнула пушка картечью. Снова русские полезли на лестницы. Петр следил в трубу за розовой рубашкой. Алексашка бесстрашно добывал себе чин и славу... Взобравшись в пролом, наскочил на старого Шлиппенбаха, увернулся от пистолетной пули, схватился с ним на шпагах — старика едва уберегли свои, утащили наверх... Шведы ослабели под этим новым натиском... («Вот — черт!» — крикнул Петр и затопал ботфортом.) Розовая Алексашкина рубаха уже металась на самом верху, между зубцами стены.

Было плохо видно в подзорную трубу. Огромное раскаленное зарево северного заката разливалось за крепостью.

— Петр Алексеевич, а ведь никак белый флаг выкинули,— сказал Борис Петрович.— Уже пора бы,— тринадцать часов бьемся...

Ночью на берегу Невы горели большие костры. В лагере никто не спал. Кипели медные котлы с варевом, на колышках жарились целиком бараны. У распиленных пополам бочек стояли усатые ефрейторы,— оделяли водкой каждого вволю,— сколько душа жаждет.

Охотники, еще не остывшие от тринадцатичасового боя, все почти перевязанные окровавленным тряпьем, сидя на пнях, на еловых ветвях у костров, рассказывали плачевные случаи о схватках, о ранах, о смерти товарищей. Кружком позади рассказчиков стояли, разинув рты, солдаты, не бывшие в бою. Слушая, оглядывались на смутно чернеющие на реке обгорелые башни. Там, под стенами опустевшей крепости, лежали кучи мертвых тел.

Погибло смертью свыше пятисот охотников, да на телегах в обозе и в палатках стонало около тысячи раненых. Солдаты со вздохом повторяли: «Вот он тебе Орешек,— разгрызли».

За ручьем, на пригорке, из освещенного царского шатра доносились крики и роговая музыка. Стрельбы при заздравных

чашах не было, — за день настрелялись. Время от времени из шатра вылезали пьяные офицеры за нуждой. Один — полковник, — подойдя к берегу ручья, долго пилился на солдатские костры по ту сторону — гаркнул пьяно:

— Молодцы, ребята, постарались...

Кое-кто из солдат поднял голову, проворчал:

— Чего орешь, иди — пей дальше, Еруслан-воин.

Из шатра, также за нуждой, вышел Петр. Пошатываясь — справлялся. Огни лагеря плыли перед глазами: редко пьянел, а сегодня разобрало. Вслед вышли Меньшиков и Кенигсек.

— Мин херц, тебе, может, свечу принести, чего долго-то? — пьяным голосом спросил Алексахка.

Кенигсек засмеялся: «Ах, ах!» — как курица, начал приплясывать, задирая сзади полы кафтана.

Петр ему:

— Кенигсек...

— Я здесь, ваше величество...

— Ты чего хвастал за столом...

— Я не хвастал, ваше величество...

— Врешь, я все слышал... Ты что плел Шереметьеву? «Мне эта вещица дороже спасения души...» Какая у тебя вещица?

— Шереметьев хвастал одной рабыней, ваше величество, — лифляндкой. А я не помню, чтобы я...

Кенигсек молчал, будто сразу отрезвел. Петр, оскаленный усмешкою, — сверху вниз — журавлем, — глядел ему в испуганное лицо...

— Ах, ваше величество... Должно быть, я про табакерку поминал — французской работы, — она у меня в обозе... Я принесу...

Он шаткой рысцой пошел к ручью, — в страхе расстегивал на груди пуговички камзола... «Боже, боже, как он узнал? Спрятать, бросить немедленно...» Пальцы путались в кружевах, добрался до медальона — на шелковом шнуре, силился оборвать, — шнур больно врезался в шею... (Петр торчал на холме, — глядел вслед.) Кенигсек успокоительно закивал ему, — что, дескать, сейчас принесу... Через глубокий ручей, шумящий между гранитными валунами, было переброшено — с берега на берег — бревно. Кенигсек пошел по нему, башмаки, измазанные в глине, скользили. Он все дергал за шнур. Оступился, отчаянно взмахнул руками, полетел навзничь в ручей.

— Вот дурень пьяный, — сказал Петр.

Подождали. Алексахка нахмурился, озабоченно спустился с холма.

— Петр Алексеевич, беда, кажись... Придется людей позвать...

Кенигсека не сразу нашли, хотя в ручье всего было аршина два глубины. Видимо, падая, он ударился затылком о камень и сразу пошел на дно. Солдаты притащили его к шатру, положили у костра. Петр принялся сгибать ему туловище, разводить

руки,— дул в рот. Нелепо кончил жизнь посланник Кенигсек... Расстегивая на нем платье, Петр обнаружил на груди, на теле, медальон — величиной с детскую ладонь. Обыскал карманы, вытащил пачку писем. Сейчас же пошел с Алексашкой в шатер.

— Господа офицеры,— громко сказал Меньшиков,— кончай пировать, государь желает ко сну...

Гости торопливо покинули палатку (кое-кого пришлось волочь под мышки — шпорами по земле). Здесь же, среди недоеденных блюд и догорающих свечей, Петр разложил мокрые письма. Ногтями отодрал крышечку на медальоне,— это был портрет Анны Монс, дивной работы: Анхен, как живая, улыбалась невинными голубыми глазами, ровными зубками. Под стеклом вокруг портрета обвивалась прядка русских волос, так много целованных Петром Алексеевичем. На крышечке, внутри, иголкой было нацарапано по-немецки: «Любовь и верность».

Отколупав также и стекло, пощупав прядку волос, Петр бросил медальон в лужу вина на скатерти. Стал читать письма. Все они были от нее же к Кенигсеку, глупые, слащавые,— размягшей бабы.

— Так,— сказал Петр. Облокотился, глядел на свечу.— Ну, скажи, пожалуйста. (Усмехаясь, качал головой.) Променила... Не понимаю... Лгала. Алексашка, лгала-то как... Всю жизнь, с первого раза, что ли?.. Не понимаю... «Любовь и верность»!..

— Падаль, мин херц, стерва, кабатчица... Я давно хотел тебе рассказать...

— Молчи, молчи, этого ты не смеешь... Пошел вон.

Набил трубочку. Опять облокотился, дымя. Глядел на валяющийся в луже портретик,— «к тебе через забор лазил... сколько раз имя твое повторял... доверяясь, засыпал на горячем твоём плече... Дура и дура... Кур тебе пасти... Ладно... Конечно...» Петр махнул рукой: встал, бросил трубку. Повалившись на скрипящую койку, прикрылся бараньим тулупом.

5

Крепость Нотебург переименовали в Шлиссельбург — ключ-город. Завалили пролом, поставили деревянные кровли на сгоревших башнях. Посадили гарнизон. Войска пошли на зимние квартиры. Петр вернулся в Москву.

У Мясницких ворот под колокольный перезвон именитые купцы и гостиная сотня с хоругвями встретили Петра. На сто сажень Мясницкая устлана красным сукном. Купцы кидали шапки, кричали по-иностранному: «Виват!» Петр ехал, стоя, в марсовой золоченой колеснице, за ним волочили по земле шведские знамена, шли пленные, опустив головы. На высокой колыхаге везли деревянного льва, на нем верхом сидел князь-папа Ни-

кита Зотов, в жестяной митре в кумачовой мантии, держал меч и штоф с водкой.

Две недели пировала Москва,— как и полагалось по сему случаю. Немало почтенных людей занемогло и померло от тех пиров. На Красной площади пекли и кормили пирогами посадских и горожан. Пошел слух, что царь велел выдавать вяземские печатные пряники и платки, но бояре-де обманули народ,— за этими пряниками приезжали из деревень далеких. Каждую ночь над кремлевскими башнями взлетали ракеты, по стенам крутились огненные колеса. Допировались и дошутились на самый покров до большого пожара. Полыхнуло в Кремле, занялось в Китай-городе, ветер был сильный, головни несло за Москву-реку. Волнами пошло пламя по городу. Народ побежал к заставам. Видели, как в дыму, в огне скакал Петр на голландской пожарной трубе. Ничего нельзя было спасти. Кремль выгорел дотла, кроме Житного двора и Кокошкиных хором,— сгорел старый дворец (едва удалось вытащить царевну Наталью с царевичем Алексеем),— все приказы, монастыри, склады военных снарядов; на Иване Великом попадали колокола, самый большой, в восемь тысяч пудов,— раскололся.

После, на пепелищах, люди говорили: «Поцарствуй, поцарствуй, еще не то увидишь...»

.....

По случаю приезда из Голландии сына Гаврилы у Бровкина после обедни за столом собралась вся семья: Алексей, недавно возведенный в подполковники; Яков — воронежский штурман, мрачный, с грубым голосом, пропахший насквозь трубочным табаком; Артамоша с женой Натальей,— он состоял при Шафирове переводчиком в Посольском приказе, Наталья третий раз была брюхата, стала красивая, ленивая, раздалась вширь — Иван Артемич не мог наглядеться на сноху; был и Роман Борисович с дочерьми. Антонида этой осенью удалось спихнуть замуж за поручика Белкина,— худородного, но на виду у царя (был сейчас в Ингрии). Ольга еще томила в девках.

Роман Борисович одряхлел за эти годы,— главное оттого, что приходилось много пить. Не успеешь проспать после пира, а уж на кухне с утра сидит солдат с приказом — быть сегодня там-то... Роман Борисович захватывал с собой усы из мочалы (сам их придумал) и деревянный меч. Ехал на царскую службу.

Таких застольных бояр было шестеро, все великих родов, взятые в потеху кто за глупость, кто по злему наговору. Над ними стоял князь Шаховской, человек пьяный и нежелатель добра всякому,— сухонький старичок, наушник. Служба не особенно тяжелая: обыкновенно, после пятой перемены блюд, когда уже изрядно выпито, Петр Алексеевич, положив руки на стол и вытянув шею, озираясь, громко говорил: «Вижу — зело одо-

леваает нас Ивашко Хмельницкий, не было бы конфузии». Тогда Роман Борисович вылезал из-за стола, привязывал мочальные усы и садился на низенькую деревянную лошадь на колязках. Ему подносили кубок вина,— должен, подняв меч, бодро выпить кубок, после чего произнести: «Умираем, но не сдаемся». Карлики, дураки, шуты, горбуны с визгом, наскочив, волокли Романа Борисовича на лошади кругом стола. Вот и вся служба,— если Петру Алексеевичу не приходило на ум какой-либо новой забавы.

Иван Артемич находился сегодня в приятном расположении: семья в сборе, дела — лучше не надо, даже пожар не тронул дома Бровкиных. Не хватало только любимицы — Александры. Про нее-то и рассказывал Гаврила — степенный молодой человек, окончивший в Амстердаме навигационную школу.

Александра жила сейчас в Гааге (с посольством Андрея Артамоновича Матвеева), но стояли они с мужем не на посольском подворье, а особо снимали дом. Держали кровных лошадей, кареты и даже яхту двухмачтовую... («Ах, ах», — удивлялся Иван Артемич, хотя на лошадей и на яхту, тайно от Петра Алексеевича, посылал Саньке немалые деньги.) Волковы уехали из Варшавы уже более года, когда король Август бежал от шведов. Были в Берлине, но недолго, — Александре немецкий двор не понравился: король скуп, немцы живут скучно, расчетливо, каждый кусок на счету...

— В Гааге у нее дом полон гостей, — рассказывал Гаврила, — знатных, конечно, мало, больше всякие необстоятельные люди: авантюристы, живописцы, музыканты, индейцы, умеющие отводить глаза... Она с ними катается на парусах по каналу, — сидит на палубе, на стульчике, играет на арфе...

— Научилась? — всплескивал ладонями Иван Артемич, оглядывал домашних...

— Выходит гулять на улицу — все ей кланяются, и она вот так только головой — в ответ... Василия не всегда выпускает к гостям, да он тому и рад, — стал совсем тихий, задумчивый, постоянно с книжкой, читает даже по-латыни, ездит на корабельные верфи, по кунсткамерам и на биржу — присматривается...

Перед самым отъездом Гаврилы Санька говорила, что и в Гааге ей все-таки надоело: у голландцев только разговоров — торговля да деньги, с женщинами настоящего рафине нет, в танцах наступают на ноги... Хочется ей в Париж...

— Непременно ей с французским королем минует танцевать! Ах, девчонка! — ахал Иван Артемич, у самого глаза щурились от удовольствия. — А когда она домой-то собирается? Ты вот что скажи...

— Временами, — надоедят ей авантюристы, — говорит мне: «Гашка, знаешь — крыжовнику хочу нашего, с огорода... На качелях бы я покачалась в саду над Москвой-рекой...»

— Свое-то, значит, ничем не вытравить...

Иван Артемич весь бы день готов был слушать рассказы про дочь Александру. В середине обеда приехали Петр и Меньшиков. (Петр часто теперь заворачивал сюда.) Кивнул домашним, сказал затрепетавшему Роману Борисовичу: «Сиди,— сегодня без службы». Остановился у окна и долго глядел на пожарище. На месте недавних бойких улиц торчали на пепелищах печные трубы да обгорелые церквенки без куполов. Ненастный ветер подхватывал тучи золы.

— Гиблое место,— сказал он внятно.— За границей города стоят по тысяче лет, а этот не помню — когда он и не горел... Москва!

Невеселый сел к столу, некоторое время молча много ел. Подозвал Гаврилу, начал строго расспрашивать — чему тот научился в Голландии, какие книги прочел? Велел принести бумагу, перо,— чертить корабельные части, паруса, планы морских фортеций. Один раз заспорил, но Гаврила твердо настоял на своем. Петр похлопал его по голове: «Отцовские деньги зря не проедал, вижу». (Иван Артемич при сем потянул носом счастливые слезы.) Закурив, Петр подошел к окошку.

— Артемич,— сказал,— надо новый город ставить...

— Поставят, Петр Алексеевич,— через год опять обростут...

— Не здесь...

— А где, Петр Алексеевич? Здесь место насиженное, стадавшее,— Москва. (Здрав голову,— низенький, коротенький,— торопливо мигал.) Я уж, Петр Алексеевич, взялся за эти дела... Пять тысяч мужиков подговорено — валить лес... Избы мы по Шексне, по Шелони, на месте будем рубить, пригоним их на плотях,— бери, ставь: рубликов по пяти изба с воротами и с калиточкой... Чего милее! Александр Данилыч идет ко мне интересаном...

— Не здесь,— повторил Петр, глядя в окошко.— На Ладого надо ставить город, на Неве... Туда гони лесорубов...

Коротенькие руки Ивана Артемича так сами и просились — за спину — вертеть пальцами...

— Можно...— сказал тонким голосом.

— Мин херц, опять приходила ко мне старая Монсиха... Плачет, просит, чтобы ее с дочерью хоть в кирку пускали, к обедне,— осторожно проговорил Меньшиков...

Ехали от Бровкина, под вечер, мимо пожарища. Ветер кидал пепел в кожаный бок кареты. Петр откинулся вглубь,— Алексашкиных слов будто и не слышал...

После Шлиссельбурга он только один раз, в Москве уже, помянул про Анну Монс: велел Алексашке поехать к ней, взять у нее нашейный, осыпанный алмазами, свой портрет,— прочих

драгоценностей, равно и денег, не отнимать и оставить ее жить, где жила (захочет — пусть уезжает в деревню), но отнюдь бы никуда не ходила и нигде не показывалась.

С корнем, с кровью, как куст сорной травы, выдрал эту женщину из сердца. Забыл. И сейчас (в карете) ни одна жилка на лице не дрогнула.

Анна Ивановна писала ему, — без ответа. Она засылала мать к Меньшикову с подарками, моля позволить — упасть к ногам его царского величества, которого одного любила всю жизнь... А медальон Кенигсеком у нее-де был украден. (Про письма, найденные на нем, она не знала.)

Меньшиков видел, что мин херц весьма нуждается в женской ласке. Царские денщики (все у Меньшикова на жаловании) доносили, что Петр Алексеевич плохо спит по ночам, охает, стучит в стену коленками. Ему нужна была не просто баба, — добрая подруга. Сейчас Алексашка запустил про Анну Монс только для проверки. Петр — никак. Съехали с бревенчатой мостовой на мягкую дорогу, — Алексашка вдруг начал смеяться про себя, крутить головой.

Петр — ему — холодно:

— Удивляюсь, как я тебя все-таки терплю, — не знаю...

— А что я?.. Да — ей-ей...

— Во всяком деле тебе непременно надо украсть... И сейчас крутишься, — вижу.

Алексашка шмыгнул. Некоторое время ехали молча. Он опять заговорил со смехом:

— С Борисом Петровичем у меня вышла ссора... Он тебе еще будет жаловаться... Он все хвастал экономкой... Купил-де ее за рубль у драгуна... «А не уступлю, говорит, и за десять тысяч... Такая, говорит, бойкая, веселая, как огонь... На все руки девка...» Ну, я и подъехал... Подпили мы с ним: — покажи... ЖметсЯ, — она, говорит, не знаю, куда ушла... Я и пристань... Старику — тесно, повертелся, повертелся, позвал... Так она мне понравилась сразу, — не то чтобы какая-нибудь писаная красавица... Приятна, голос звонкий, глаза быстрые, волосы кудрявые... Я говорю: надо бы по старинному обычаю гостю — чашу с поцелуем. Борис Петрович потемнел, она смеется. Наливает кубок и — с поклоном. Я выпил, — ее — в губы. Поцеловал ее в губы, мин херц, — обожгло, ни о чем думать не могу, кровь кипит... «Борис Петрович, говорю, уступи девку... Дворец отдам, последнюю рубашку сниму... Где тебе с такой справиться? Ей нужно молодого, чтобы ее ласкал... А ты ее только растревожишь без толку... А к тому же, говорю, тебе и грех: жена, дети... Да еще как Петр Алексеевич на твой блуд взглянет...» Припер старика... Сопит... «Александр Данилович, отнимаешь ты у меня последнюю радость...» Махнул рукой, заплакал... Ей-ей, прямо смех... Ушел, заперся один в спальне... Я с этой экономкой живо

переговорил, послал за каретой, погрузил ее вместе с узлами и — к себе на подворье... А на другой день — в Москву. Она недельку поплакала, но — притворно, я так думаю... Сейчас, как птичка, у меня во дворце...

Петр, — не понять, — слушал или нет... Под конец рассказа кашлянул. Алексашка знал наизусть все его кашли. Понял, — Петр Алексеевич слушал внимательно.

6

Бровкин, Свешников, гостинодворец Затрапезный, государевы гости — Дубровский, Шеголин, Евреинов ставили на Яузе и Москве-реке суконные, полотняные, шелковые заводские дворы, бумажные заведения, канатные сучильни. Ко многим заводам приписаны были в вечную крепость деревеньки из Поместного приказа (куда отходили вотчины побитых на войне или разжалованных помещиков).

Купечество просыпалось от дремы. Собираясь на большом крыльце быстро отстроенной после пожара Бурмистерской палаты — только и говорили о новозавоеванной Ингрии, где надо бы этим летом сесть крепко на морском берегу. Из подпольев выкапывали дедовские горшки с червонцами и ефимками. Рассылали приказчиков по базарам и кабакам — кабалить рабочих людей.

Иван Артемич за эту зиму широко развернул дела. Через Меньшикова добился права — брать из тюрем Ромодановского колодников под крепкие записки, сажал их, кого на цепи, а кого и так, на свои суконные и полотняные заводы, шумевшие водяными колесами на Яузе. За семьсот рублей выкупил состоявшего за Разбойным приказом знаменитого кузнечных дел мастера Жемова (на тройке привез его из Воронежа), и тот сейчас ставил на новом лесопильном заводе Ивана Артемича, в Сокольниках, невиданную огненную машину, работающую от котла с паром.

Рабочих рук не хватало нигде. Из приписных деревенек много народа бежало от новой неволи на дикие окраины. Тяжко работать в деревне на барщине, иной лошади легче, чем мужику. Но еще безнадежней казалась неволя на этих заводах, — хуже тюрьмы и для колодника и для вольнонаемного. Кругом — высокий тын, у ворот — сторожа злее собак. В темных клетях, согнувшись за стучащими стенами, и песни не запоешь, — ожжет тростью по плечам иностранец-мастер, пригрозит ямой. В деревне мужик хоть зимой-то выпитися на печке. Здесь и зиму и лето, день и ночь махай челноком. Жалованье, одежда — давно пропиты, — вперед. Кабала. Но страшнее всего ходили темные слухи про уральские заводы и рудники Акинфия Демидова. Из приписанных к нему уездов люди от одного страха бежали без памяти.

Приказчики-вербовщики Акинфия Демидова ходили по базарам и кабакам, широко угощали всякого, сладкоречиво рассказывали легкую жизнь на Урале. Там-де земли — непочтый край, — поработай с годик, денежки в шапку зашил, иди с богом, мы не держим... Хочешь старайся, ищи золото, — там золота, как навоза под ногами.

Напоив подходящего человека, такой приказчик, — уговором или обманом, — при свидетеле-кабатчике подсовывал кабальную запись: поставь, мила голова, крест чернилом вот туточки. И — пропал человек. Сажали его в телегу, если буйный — накладывали цепь, везли за тысячу верст, за Волгу, за ковыльные киргизские степи, за высокие лесные горы — на Невьянский завод, в рудники.

А уж оттуда мало кто возвращался. Там людей приковывали к наковальням, к литейным печам. Строптивых пересекали ложами.

Безжать некуда, — конные казаки с арканами оберегали все дороги и лесные тропы. А тех, кто пытался бунтовать, бросали в глубокие рудники, топили в прудах.

После рождества начался новый набор в войско. По всем городам царские вербовщики набирали плотников, каменщиков, землекопов. От Москвы до Новгорода в извозную повинность переписывали поголовно.

7

— Что же ты Катерину-то не показываешь?

— Робеет, мин херц... Так полюбила меня, привязалась, — глаз ни на кого не поднимает... Прямо хоть женись на ней...

— Чего же не женишься?

— Ну, как, все-таки...

Меньшиков присел на вошеном полу у камина, отворачивая лицо, мешал горящие поленья. Ветер завывал в трубе, гремел жестяной крышей. Снегом кидало в стекла высокого окна. Колесились огоньки двух восковых свечей на столе. Петр курил, пил вино, салфеткой вытирал красное лицо, мокрые волосы. Он только что вернулся из Тулы — с заводов — и, не заезжая в Преображенское, — прямо к Меньшикову, в баню. Парился часа три. В Алексашкином надушенном белье, в шелковом его кафтане, — без шейного платка — с открытой грудью, — селужинать (велел, чтобы никого в малой столовой не было, даже слуг), расспрашивал про разные пустячные дела, посмеивался. И вдруг спросил про Катерину (с того разговора в карете он не помянул в первый раз).

— Женись, Петр Алексеевич, с моим худым родственником да на пленной... Не знаю... (Копал кочергой, сыпал искрами.) Сватают мне Арсеньеву Авдотью. Род древний, из Золотой орды... Все-таки — покроет пироги-то мои. Постоянно у меня во двор-

це иностранцы, — спрашивают первым делом, на ком женат, какой мой титул? Наши-то — толстозадые, великородные — им и рады нашептывать: он-де с улицы взят...

— Правильно, — сказал Петр. Вытерся салфеткой. Глаза у него блеснули.

— Мне бы хоть графа какого получить — титул. — Алексашка бросил кочергу. Загородил огонь медной сеткой, вернулся к столу. — Метель, ужас. Тебе, мин херц, думать нечего — ехать домой.

— Я и не собираюсь.

Меньшиков взялся за рюмку, — задрожала в руке. Сидел, не поднимая глаз.

— Этот разговор не я начал, а ты его начал, — сказал Петр. — Поди ее позови...

Алексашка побледнел. Сильным движением поднялся. Вышел.

Петр сидел, покачивая ногой. В доме было тихо, только выла метель на больших чердаках. Петр слушал, подняв брови. Нога покачивалась, как заводная. Снова шаги, — быстрые, сердитые. Алексашка, вернувшись, стал в открытой двери, кусал губы:

— Сейчас — идет.

У Петра поджались уши, — услышал: в тишине дома, казалось, весело, беспечно летели легкие женские ноги на пристукивающих каблучках.

— Входи, не бойся, — Алексашка пропустил в дверь Катерину. Она чуть прищурилась, — из темноты коридора на свет свечей. Будто спрашивая, — взглянула на Алексашку (была ему по плечо, черноволосая, с подвижными бровями), тем же легким шагом, без робости, подошла к Петру, присела низко, взяла, как вещь, его большую руку, лежавшую на столе, поцеловала. Он почувствовал теплоту ее губ и холодок ровных белых зубов. Заложила руки под белый передничек, — остановилась перед креслом Петра. Под ее юбками ноги, так легко принесшие ее сюда, были слегка расставлены. Глядела в глаза ясно, весело.

— Садись, Катерина.

Она ответила по-русски — ломано, но таким приятным голосом, — ему сразу стало тепло от камина, уютно от завывания ветра, разжались уши, бросил мотать ногой. Она ответила:

— Сяду, спасибо. — Сейчас же присела на кончик стула, все еще держа руки на животе под передником.

— Вино пьешь?

— Пью, спасибо.

— Живешь не плохо в неволе-то?

— Не плохо, спасибо...

Алексашка хмуро подошел, налил всем троим вина:

— Что заладила одно: спасибо да спасибо. Расскажи чего-нибудь.

— Как я буду говорить, — они не простой человек.

Она выпростала руки из-под передника, взяла рюмку, быстроглазо улыбнулась Петру:

— Они сами знают — какой начать разговор...

Петр засмеялся. Давно так по-доброму не смеялся. Начал спрашивать Катерину — откуда она, где жила, как попала в плен? Отвечая, она глубже уселась на стуле, положила голые локти на скатерть, — блестели ее темные глаза, как шелк блестели ее черные кудри, падающие двумя прядями на легко дышащую грудь. И казалось, — так же легко, как только что здесь по лестницам, она пробежала через все невзгоды своей коротенькой жизни...

Алексашка все доливал в рюмки. Положил еще поленьев в камин. По-полуночному выла вьюга. Петр потянулся, сморщив короткий нос, — поглядел на Катерину:

— Ну, что же — спать, что ли? Я пойду... Катюша, возьми свечу, посвети мне...

Угрюмый мужик, Федька Умойся Грязью, со свежим пунцовым клеймом на лбу, раздвинув на высоких козлах босые ноги, скованные цепью, перехватывал длинную рукоять дубовой кувалды, бил с оттяжкой по торцу сваи... Мужик был здоров. Другие, — кто опустил тачку, кто стоял по пояс в воде, задрав бороду, кто сбросил с плеча бревно, — глядели, как свая с каждым ударом уходил в топкий берег.

Бывали первую сваю для набережного крепления маленького острова Яннисаари, — по-фински — Заячий остров. Три недели тому назад русские войска взяли на аккорд, — верстах в двух выше по Неве, — земляную крепость Ниеншанц. Шведы, оставив невиские берега, ушли на Сестру-реку. Шведский флот из боязни мелей темнел парусами за солнечной зыбью вдали залива. Два небольших корабля отважились войти в устье Невы — до острова Хиврисаари, где в лесной засеке скрывалась батарея капитана Васильева, — но их облепили галеры и взяли на абордаж.

Кровавыми усилиями проход из Ладоги в открытое море был открыт. С востока потянулись бесчисленные обозы, толпы рабочих и колодников. (Петр писал Ромодановскому: «...в людях зело нужда есть, вели по всем городам, приказам и ратушам собрать воров, — слать их сюда».) Тысячи рабочих людей, пришедших за тысячи верст, перевозились на плотках и челнах на правый берег Невы, на остров Койбусаари, где на берегу стояли шалаши и землянки, дымили костры, стучали топоры, визжали пилы. Сюда, на край земли, шли и шли рабочие люди без возврата. Перед Койбусаари — на Неве — на болотистом острове Яннисаари, в обережение дорого добытого устья всех торговых дорог русской земли, — начали строить

крепость в шесть бастионов. («...Строить их шести начальникам: первый бастион строит бомбардир Петр Алексеев, второй — Меньшиков, третий — князь Трубецкой, четвертый — князь-папа Зотов...») После закладки, — на большом шумстве в землянке у Петра, при заздравных стаканах и пушечной пальбе, крепость придумано было назвать Питербурх.

Открытое море отсюда было — подать рукой. Ветер покрывал его веселой зыбью. На западе, за парусами шведских кораблей, стояли высокие морские облака, — будто дымы другого мира. Смотрели на эти нерусские облака, на водные просторы, на страшные пожары вечерней зари лишь дозорные солдаты на пустынном Котлин-острове. Не хватало хлеба. Из разоренной Ингрии, где начиналась чума, не было подвоза. Ели корни и толкли древесную кору. Петр писал князю-кесарю, прося слать еще людей, — «зело здесь болеют, а многие и померли». Шли и шли обозы, рабочие, колодники...

Федька Умойся Грязью, бросая волосы на воспаленный мокрый лоб, бил и бил дубовой кувалдой в сваи...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Скучно стало в Москве. В обеденную пору — в июльский зной — одни бездомные собаки бродили по кривым улицам, опустив хвосты, приняхивая всякую дрянь, которую люди выбрасывали за ненадобностью за ворота. Не было прежней толкотни и крика на площадях, когда у иного почтенного человека полы оторвут, зазывая к палаткам, или вывернут карманы, раньше чем он что-нибудь купит на таком вертячем месте. Бывало, еще до зари ото всех слобод, — арбатских, сухаревских и замоскворецких, — везли полные телеги красного, скобяного и кожевенного товара, — горшки, чашки, плошки, кренделя, решета с ягодой и всякие овощи, несли шесты с лаптями, лотки с пирогами, торопясь, становили телеги и палатки на площадях. Опустели стрелецкие слободы, дворы на них позападали, поросли глухой крапивой. Много народу работало теперь на новозаведенных мануфактурах вместе с колодниками и кабальными. Полотно и сукно оттуда шло прямо в Преображенский приказ. Во всех московских кузницах ковали шпаги, копыя, стремени и шпоры. Конопляный веревочки нельзя было купить на Москве, — вся конопля взята в казну.

И колокольного звона прежнего уже не было — от света до света, — во многих церквях большие колокола сняты и отвезены на Литейный двор, перелиты в пушки. Пономарь от Старого Пимена, когда пропахшие табачищем драгуны сволокли у него с колокольни великий колокол, напился пьян и хотел повеситься на перекладине, а потом, лежа связанный на сундуке, в иступлении ума закричал, что славна была Москва малиновым звоном, а теперь на Москве станет тъмно.

Прежде у каждого боярского двора, у ворот, зубоскалили наглые дворовые холопы в шапках, сбитых на ухо, играли в свайку, метали деньгу или просто — не давали проходу ни конному, ни пешему, — хохот, баловство, хватанье руками. Нынче ворота закрыты наглухо, на широком дворе — тихо, людишки взяты на войну, боярские сыновья и зятья либо в полках унтер-офицерами, либо посланы за море, недоросли отданы в школы — учиться навигации, математике и фортификации, сам боярин сидит без дела у раскрытого окошечка, — рад, что хоть на малое время царь Петр, за отъездом, не неволит его курить табак, скоблить бороду или в белых чулках по колену, в парике из бабьих волос — до пупа — вертеть и дергать ногами.

Не весело, томно думается боярину у окошечка... «Все равно маво Мишку математике не научишь, поставлена Москва без математики, жили, слава богу, пятьсот лет без математики — лучше нынешнего; от этой войны само собой ждать нечего, кроме конечного разорения, сколько ни таскай по Москве в золоченых телегах богопротивных Нептунов и Венерок во имя преславной виктории на Неве... Как пить дать, швед побьет наше войско, и еще татары, давно этого дожидаясь, выйдут ордой из Крыма, полезут через Оку... О, хо-хо!»

Боярин тянулся толстым пальцем к тарелке с малиной, — осы, проклятые, облепили всю тарелку и подоконник! Лениво перебирая четки из маслиновых косточек — с Афона, — боярин глядел на двор. Запустение! Который год за царскими затеями да забавами и подумать некогда о своем-та... Клеті покривились, на погребях дерновые крыши просели, повсюду бурьян безобразный... «И куры, гляди-ко, какие-то голенастые, и утка мелкая нынче, горбатые поросята идут гуськом за свиньей — грязные да тощие. О, хо-хо!..» Умом боярин понимал, что надо бы крикнуть скотницу и птичницу да тут же их под окошком и похлестать лозой, вздев юбки. В такой зной кричать да сердиться — себе дороже.

Боярин перевел глаза повыше — за тын, за липы, покрытые бело-желтым цветом и гудящими пчелами. Не так далеко виднелась обветшавшая кремлевская стена, на которой между зубцами росли кусты. И смех и грех, — доцарствовался Петр Алексеевич! Крепостной ров от самых Троицких ворот, где лежали кучи мусора, заболотился совсем, курица перейдет, и вонища же от него!.. И речка Неглинная обмелела, с правой стороны по ней — Лоскутный базар, где прямо с рук торгуют всяким краденым, а по левому берегу под стеной сидят с удочками мальчишки в запачканных рубашках, и никто их оттуда не гонит...

В рядах на Красной площади купцы запирают лавки, собрались идти обедать, все равно торговлишка тихая, вешают на дверях пудовые замки. И пономарь прикрыл двери, затряс козлиной бородой на нищих, тоже пошел потихоньку домой — хлебать квас с луком, с вяленой рыбой, потом — посапывать носом в холодок под бузину. И нищие, убогие, всякие уроды сползли с паперти, побрели под полуденным зноем — кто куда...

В самом деле, пора бы собирать обедать, а то истома совсем одолела, такая скучища. Боярин всмотрелся, вытянул шею и губы, даже приподнялся с табурета и прикрыл ладонью сверху глаза свои, — по кирпичному мосту, что перекинут от Троицких ворот через Неглинную на Лоскутный базар, ехала, отсвечивая солнцем, стеклянная карета четверней — цугом серых коней, с малиновым гайдуком на выносной. Это царевна Наталья, любимая сестра царя Петра, с таким же беспокойным нравом, как у брата, вышла в поход. Куда же она поехала-то, ба-

тюшки? Боярин, еердито отмахиваясь платком от ос, высунулся в окошечко.

— Гришутка,— закричал он небольшому пареньку в длинной холщовой рубашке с красными подмышками, мочившему босые ноги в луже около колодца,— беги что есть духу, вот я тебе!.. Увидишь на Тверской золотую карету — беги за ней, не отставая, вернешься — скажешь, куда она поехала...

2

Четверня серых лошадей, с красными султанами под ушами, с медными бляхами и бубенцами на сбруе, тяжелым скоком пронесла карету по широкому лугу и остановилась у старого измайловского дворца. Его поставил еще царь Алексей Михайлович, любивший всякие затеи у себя в сельце Измайлове, где до сих пор с коровьим стадом паслись ручные лосихи, в ямах сидели медведи, на птичьем дворе ходили павлины, забиравшиеся летом спать на деревья. Не перечесть, сколько на бревенчатом, потемневшем от времени дворце было пестрых и луженых крыш над светлицами, переходами и крыльцами: и крутых, с гребешком, как у ерша, и бочкой, и кокошником. Над ними в полуденной тишине резали воздух злые стрижи. Все окошечки во дворе заперты. На крыльце дремал на одной ноге старый петух,— когда подъехала карета, он спохватился, вскрикнул, побежал, и, как на пожар, подо всеми крылечками закричали куры. Тогда из подклети открылась низенькая дверца, и высунулся сторож, тоже старый. Увидав карету, он, не торопясь, стал на колени и поклонился лбом в землю.

Царевна Наталья, высунув голову из кареты, спросила нетерпеливо:

— Где боярышни, дедушка?

Дед поднялся, выставил сивую бороду, вытянул губы:

— Здравствуй, матушка, здравствуй, красавица царевна Наталья Алексеевна,— и ласково глядел на нее из-под бровей, застывших ему глаза,— ах ты, богоданная, ах ты, любезная... Где боярышни, спрашиваешь? А боярышни не знаю где, не видал.

Наталья выпрыгнула из кареты, стащила с головы тяжелый, жемчужный, рогатый венец, с плеч сбросила парчовый летник,— надевала она старомосковское платье только для выезда,— ближняя боярыня, Василиса Мясная, подхватила вещи в карету. Наталья, высокая, худощавая, быстрая, в легком голландском платье, пошла по лугу к роще. Там — в прохладе — зажмурилась,— до того был силен и сладок дух цветущей липы.

— Ау! — крикнула Наталья. Невдалеке, в той стороне, где за ветвями нестерпимо в воде блестело солнце, откликнулся ленивый женский голос. На берегу пруда, близ воды, у песочка, у мостков, стоял пестрый шатер, в тени его на подушках, изнывая,

лежали четыре молодые женщины. Они торопливо поднялись навстречу Наталье, разморенные, с развитыми косами. Та, что постарше, низенькая, длинноносая, Анисья Толстая, первая подбежала к ней и всплеснулась, вертя проворными глазами:

— Свет наш, Натальюшка, государыня-царевна, ах, ах, туалет заграничный! Ах, ах, божество!

Две другие,— сестры Александра Даниловича Меншикова, недавно взятые приказом Петра из отцовского дома в измайловский дворец под присмотр Анисьи Толстой для обучения политесу и грамоте,— юные девы Марфа и Анна, обе пышные, еще мало обтесанные, приразинули припухшие рты и распахнули ресницы, прозрачно глядя на царевну. Платье на ней было голландское,— красная, тонкой шерсти широкая юбка с тройной золотой каймой по подолу и невиданная узкая душегрейка,— шея, плечи — голые, руки по локоть — голые. Наталья и сама понимала, что только с богиней можно сравнить ее, ну — с Дианой, кругловатое лицо ее, с приподнятым коротким, как у брата, носом, маленькие ушки, ротик,— все было ясное, юное, надменное.

— Туалет вчера мне привезли, прислала из Гааги Санька, Александра Ивановна Волкова... Красиво и — телу вольно... Конечно — не для большого выхода, а для рощи, для луга, для забав.

Наталья поворачивалась, давая себя разглядеть хорошенько. Четвертая молодая женщина стояла поодаль, скромно сложив наперед опущенные руки, улыбаясь свежим, как вишня, лукавым ртом, и глаза у нее были вишневые, легко вспыхивающие, женские. Круглые щеки — румяны от зноя, темные кудрявые волосы — тоже влажные. Наталья, поворачиваясь под ахи и всплески рук, несколько раз взглянула на нее, строптиво выпятила нижнюю губу,— еще не понимала сама: любезна или неприятна ей эта мариенбургская полонянка, взятая в солдатском кафтане из-под телеги в шатер к фельдмаршалу Шереметьеву, выторгованная у него Меншиковым и покорно — однажды ночью, у горящего очага, за стаканом вина,— отданная им Петру Алексеевичу.

Наталья была девственница, не в пример своим единокровным сестрам, родным сестрам заточенной в монастыре правительницы Софьи, царевнам Катьке и Машке, над которыми потешалась вся Москва. Нрав у Натальи был пылкий и непримиримый. Катьку и Машку она не раз ругивала потаскушками и коровами, разгораясь, и била их по щекам. Старые теремные обычаи, жаркие скоромные шепоты разных бабок-задворенок она изгнала у себя из дворца. Она и брату, Петру Алексеевичу, выговаривала, когда он одно время, навсегда отослав от себя бесстыжую фаворитку Анну Монс, стал уж очень неразборчив и прост с женщинами. Вначале Наталья думала, что и эта — солдатская полонянка — также ему лишь на полчаса: встряхнется и забудет. Нет,

Петр Алексеевич не забыл того вечера у Меншикова, когда бушевал ветер и Екатерина, взяв свечу, посветила царю в спальне. Для меньшиковской экономки велено было купить небольшой домишко на Арбате, куда Александр Данилович сам отвез ее постелю, узлы и коробья, а через небольшое время оттуда ее перевезли в измайловский дворец под присмотр Анисьи Толстой.

Здесь Катерина жила без печали, всегда веселая, простодушная, свежая, хоть и валялась в свое время под солдатской телегой. Петр Алексеевич часто ей присылал с оказией коротенькие смешливые письма, — то со Свири, где он начал строить флот для Балтийского моря, то из нового города Питербурга, то из Воронежа. Он скучал по ней. Она, разбирая по складам его записочки, только пуще расцветала. У Натальи растревлялось любопытство: чем она все-таки его приворожила?

— Хочешь, сошью тебе такой же туалет к приезду государя? — сказала Наталья, строго глядя на Катерину. Та присела, смутясь, выговорила:

— Хочу очень... Спасибо...

— Робеет она тебя, свет Натальюшка, — зашептала Анисья Толстая, — не пепели ее взором, будь с ней послабже... Я ей — и так и сяк — про твою доброту, она знай свое: «Царевна безгрешная, я — грешная, ее, говорит, доброту ничем не заслужила... Что меня, говорит, государь полюбил — мне и то удивительно, как гром с ясного неба, опомниться не могу...» Да и эти две мои дурищи все к ней лезут с расспросами, — что с ней было да как? Я им настрою про это и думать и говорить заказала. Вот вам, говорю, греческие боги да амуры, про их похождения и думайте и говорите... Нет и нет, въелась в них эта деревенщина — щебетать про все пошлое... С утра до ночи им одно повторяю: были вы рабынями, стали богинями.

От зноя растрещались кузнечики в скошенной траве так, что в ушах было сухо. Далеко, на той стороне пруда, черный сосновый бор, казалось, источался вершинами в мареве. Стрекозы сидели на осоке, паучки стояли на бледной воде. Наталья вошла под тень шатра, сбросила душегрейку, окрутила темнорусые косы вокруг головы, расстегнула, уронила юбку, вышла из нее, спустила тонкую рубашку и, совсем как на печатанных голландских листах, которые время от времени вместе с книгами присылались из Дворцового приказа, — не стыдясь наготы, — пошла на мостки.

— Купаться всем! — крикнула Наталья, оборачиваясь к шатру и все еще подкручивая косы. Марфа и Анна жеманились, раздеваясь, покуда Анисья Толстая не прикрикнула на них: «Чего приседаете, толстомясые, никто ваши прелести не похитит». Катерина тоже смущалась, замечая, что царевна пристально разглядывает ее. Наталья как будто и брезговала и любовалась

ею. Когда Катерина, опустив кудрявую голову, осторожно пошла по скошенной траве, и зной озолотил ее, круглоплечую, тугобедрую, налитую здоровьем и силой, Наталье подумалось, что братец, строя на севере корабли, конечно, должен скучать по этой женщине, ему, наверно, видится сквозь табачный дым, как вот она — красивыми руками поднесет младенца к высокой груди... Наталья выдохнула полную грудь воздуха и, закрыв глаза, бросилась в холодную воду... В этом месте со дна били ключи...

Катерина степенно слезла бочком с мостков, окунаясь все смелее, от радости рассмеялась, и тут только Наталья окончательно поняла, что, кажется, готова любить ее. Она подплыла и положила ей руки на смуглые плечи.

— Красивая ты, Катерина, я рада, что братец тебя любит.

— Спасибо, государыня...

— Можешь звать меня Наташей...

Она поцеловала Катерину в холодноватую, круглую, мокрую щеку, заглянула в ее вишневые глаза.

— Будь умна, Катерина, буду тебе другом...

Марфа и Анна, окуная то одну, то другую ногу, все еще боялись и повизгивали на мостках, — Анисья Толстая, рассердясь, силой спихнула обеих пышных дев в воду. Все паучки разбежались, все стрекозы, сорвавшись с осоки, летали, толклись над купающимися богинями.

3

В тени шатра, закрутив мокрые волосы, Наталья пила только что принесенные с погребя ягодные водички, грушевые медки и кисленькие кваски. Кладя в рот маленький кусочек сахарного пряника, говорила:

— Обидно видеть наше невежество. Слава богу — мы других народов не глупее, девы наши статны и красивы, как никакие другие, — это все иностранцы говорят, — способны к учению и политесу. Братец который год бьется, — силой тащит людей из теремов, из затхлости... Упираются, да не девки, — отцы с матерями. Братец, уезжая на войну, уж как меня просил: «Наташа, не давай, пожалуйста, им покоя — старозаветным-то бородачам... Досаждай им, если добром не хотят... Засосет нас это болото...» Я бьюсь, я — одна... Спасибо царице Прасковье, в последнее время она мне помогает, — хоть и трудно ей старину ломать — все-таки завела для дочерей новые порядки: по воскресеньям у нее после обеда бывают во французском платье, пьют кофей, слушают музыкальный ящик и говорят о мирском... А вот у меня в Кремле осенью будет новинка, так новинка.

— Что же за новинка будет у тебя, свет наш? — спросила Анисья Толстая, вытирая сладкие губы.

— Новинка будет изрядная... Тياتр... Не совсем, конечно, как

при французском дворе... Там, в Версале, во всем свете пре-
славные актеры, и танцоры, и живописцы, и музыканты...
А здесь — я одна, я и трагедии перекладывай с французского на
русский, я и сочиняй — чего недостает, я и с комедиантами
возись...

Когда Наталья выговорила «тиатр», обе девы Меншиковы,
и Анисья Толстая, и Катерина, слушавшая ее, впившись темным
взором, переглянулись, всплеснули руками...

— Для начала, чтобы не очень напугать, будет представ-
лено «Пешное действо», с пением виршей... А к новому году,
когда государь приедет на праздники и из Питербурга съедутся,
представим «Нравоучительное действо о распутном сластолюбце
Дон-Жуане, или как его земля поглотила...» Уж я велю в
тиатре бывать всем, упираться начнут — драгунов буду посылать
за публикой... Жалко, нет в Москве Александры Ивановны
Волковой, — она бы очень помогла... Вот она, к примеру, из
черной мужицкой семьи, отец ее лычком подпоясывался, сама гра-
моте начала учиться, когда уж замуж вышла... Говорит бойко на
трех языках, сочиняет вирши, сейчас она в Гааге при нашем
после Андрее Артамоновиче Матвееве. Кавалеры из-за нее на
шпагах бьются, и есть убитые... И она собирается в Париж, ко
двору Людовика Четырнадцатого — блистать... Понятна вам
ученья польза?

Анисья Толстая тут же ткнула жесткой щепотью под бок
Марфу и Анну.

— Дождались вопроса? А вот приедет государь, да — слу-
чится ему — подведет к тебе или к тебе галантного кавалера,
а сам будет слушать, как ты станешь срамиться...

— Оставь их, Анисья, жарко, — сказала Наталья, — ну, про-
щайте. Мне еще в Немецкую слободу нужно заехать. Опять
жалобы на сестриц. Боюсь, до государя дойдет. Хочу с ними по-
говорить крутенько.

4

Царевны Екатерина и Марья уже давно, — по заключении Софьи
в Новодевичий монастырь, — выселены были из Кремля — с глаз
долой — на Покровку. Дворцовый приказ выдавал им кормление
и всякое удовольствие, платил жалованье их певчим, конюхам и
всем дворовым людям, но денег на руки царевнам не давал, во-
первых, было незачем, к тому же и опасно, зная их дурость.

Катке было под сорок, Машка на год моложе. Вся Москва
знала, что они на Покровке бесятся с жиру. Встают поздно,
полдня нечесанные сидят у окошечек да зевают до слез.
А как смеркнется — к ним в горницу приходят певчие с домрами
и дудками; царевны, нарумянившись, как яблоки, подведя сажей
брови, разнаряженные, слушают песни, пьют сладкие наливки
и скачут, пляшут до поздней ночи так, что старый бревен-

чатый дом весь трясется. С певчими будто бы царевны живут, и рожают от них ребят, и отдают тех ребят в город Кимры на воспитание.

Певчие эти до того избаловались,— в будни ходят в малиновых шелковых рубашках, в кунных высоких шапках и в сафьяновых сапогах, постоянно вымогают у царевен деньги и пропивают их в кружале у Покровских ворот. Царевны, чтобы достать денег, посылают на Лоскутный базар бабу-кимрянку, Домну Вахрамееву, которая живет у них в чулане, под лестницей, и баба продает всякое их ношеное платье; но этих денег им мало, и царевна Екатерина мечтает найти клады, для этого она велит Домне Вахрамеевой видеть сны про клады. Домна такие сны видит, и царевна надеется быть с деньгами.

Наталя давно собиралась поговорить с сестрами крутенюко, но было недосуг,— либо проливной дождь с громом, либо что-нибудь другое мешало. Вчера ей рассказали про их новые похождения: царевны повадились ездить в Немецкую слободу. Отправились в открытой карете на двор к голландскому посланнику; покуда он, удивясь, надевал парик, и кафтан, и шпагу, Катя и Машка, сидя у него в горнице на стульях, шептались и пересмеивались. Когда он стал им кланяться, как полагается перед высокими особами — метя пол шляпой, они ответить не сумели, только приподняли зады над стульями и опять плюхнулись, и тут же спросили: «Где живет здесь немка-сахарница, которая продает сахар и конфеты?» — за этим они-де и заехали к нему.

Голландский посланник любезно проводил царевен к сахарнице, до самой ее лавки. Там они, хватаясь руками за то и за это, выбрали сахару, конфет, пирожков, марципановых яблочек и яичек — на девять рублей. Марья сказала:

— Скорее несите это в карету.

Сахарница ответила:

— Без денег не отнесу.

Царевны сердито пошептались и сказали ей:

— Заверни да запечатай, мы после пришьлем.

От сахарницы они, совсем потеряв стыд, поехали к бывшей фаворитке, Анне Монс, которая жила все в том же доме, построенном для нее Петром Алексеевичем. К ней не сразу пустили, пришлось долго стучать, и были цепные кобели. Бывшая фаворитка приняла их в постели, должно быть, нарочно улеглась. Они ей сказали:

— Здравствуй на много лет, любезная Анна Ивановна, мы знаем, что ты даешь деньги в рост, дай нам хоть сто рублей, а хотелось бы двести.

Монсиха ответила со всей жесточью:

— Без заклада не дам.

Екатерина даже заплакала:

— Лихо нам, закладу нет, думали так выпросить.

И царевны пошли с фавориткиного двора прочь.

В ту пору захотелось им кушать. Они велели карете остановиться у одного дома, где им было видно через открытые окошки, как веселятся гости, — там жена сержанта Данилы Юдина, бывшего в ту пору в Ливонии, на войне, родила двойню, и у нее крестили. Царевны вошли в дом и напросились кушать, и им был оказан почет.

Часа через три, когда они отъехали от сержантовой жены, шедший по дороге аглицкий купец Вильям Пиль узнал их в карете, они остановились и спросили его, — не хочет ли он угостить их обедом? Вильям Пиль подбросил вверх шляпу и сказал весело: «Со всем отменным удовольствием». Царевны поехали к нему, кушали и пили аглицкую водку и пиво. А за час до вечера, отъехав от Пили, стали кататься по слободе, заглядывая в освещенные окошки. Екатерина желала еще куда-нибудь напроситься поужинать, а Марья ее удерживала. Так они прохладиться дотемна.

5

Карета Натальи вскачь неслась по Немецкой слободе мимо деревянных домиков, искусно выкрашенных под кирпич, приземистых, длинных купеческих амбаров с воротами, окованными железом, мимо забавно подстриженных деревьев в палисадниках; повсюду — поперек к улице — висели размалеванные вывески, в лавочках распахнуты двери, увешанные всяким товаром. Наталья сидела, поджав губы, ни на кого не глядя, как кукла, — в рогатом венце, в накинутом на плечи летнике. Ей кланялись толстяки, в подтяжках и вязаных колпаках; степенные женщины в соломенных шляпах указывали детям на ее карету; с дороги отскакивал какой-нибудь щеголь в растопыренном на боках кафтане и прикрывался шляпой от пыли; Наталья чуть не плакала от стыда, хорошо понимая, как Машка и Катька насмешили всю слободу и все, конечно, — голландки, швейцарки, англичанки, немки, — судачат про то, что у царя Петра сестры — варварки, голодные попрошайки.

Открытую карету сестер она увидела в кривом переулке около полосатых — красных с желтым — ворот двора прусского посланника Кейзерлинга, про которого говорили, что он хочет жениться на Анне Монс и только все еще побаивается Петра Алексеевича. Наталья застучала перстнями в переднее стекло, кучер обернул смоляную бороду, надрываяще закричал: «Тпрррру, голуби!» Серые лошади остановились, тяжело поводя боками. Наталья сказала ближайшей боярыне:

— Ступай, Василиса Матвеевна, скажи немецкому посланнику, что, мол, Екатерина Алексеевна и Марья Алексеевна мне весьма надобны... Да им не давай куска проглотить, уводи хоть силой!..

Василиса Мясная, тихо охая, полезла из кареты. Наталья

откинулась, стала ждать, хрустя пальцами. Скоро с крыльца сбежал посланник Кейзерлинг, худенький, маленький, с телячьими ресницами; прижимая наспех схваченную шляпу и трость к груди, кланялся на каждой ступеньке, вывертывая ноги в красных чулках, умильно вытягивал острый носик, молил царевну пожаловать зайти к нему, испить холодного пива.

— Недосуг! — жестко ответила Наталья. — Да и не стану я у тебя пиво пить... Стыдными делами занимаешься, батюшка... (И не давая ему раскрыть рта.) Ступай, ступай, вышли мне царевен поскорее...

Екатерина Алексеевна и Марья Алексеевна вышли наконец из дома, как две копы — в широких платьях с подхватами и оборками, круглые лица у обеих — испуганные, глупые, нарумяненные, вместо своих волос — воронные, высоко вскрученные парики, увешанные бусами (Наталья даже застонала сквозь зубы). Царевны жмурили на солнце заплывшие глаза, позади боярыня Мясная шипела: «Не срамитесь вы, скорее садитесь к ней в карету». Кейзерлинг с поклонами открыл дверцу. Царевны, забыв и проститься с ним, полезли и едва уместились на скамейке, напротив Натальи. Карета, пыля красными колесами и поваливаясь на стороны, помчалась через пустырь на Покровку.

Всю дорогу Наталья молчала, царевны удивленно обмахивались платочками. И только войдя к ним наверх в горницу и приказав запереть двери, Наталья высказалась:

— Вы что же, бесстыжие, с ума совсем попятитесь или в монастырское заточение захотели? Мало вам славы по Москве? Понадобилось вам еще передо всем светом срамиться! Да кто вас научил к посланникам ездить? В зеркало поглядитесь, — от сытости щеки лопаются, еще им голландских да немецких разносолов захотелось! Да как у вас ума хватило пойти кланяться в двухстах рублях к скверной женке Анне Монсовой? Она-то довольна, что выгнала вас, попрошаек. Кейзерлинг об этом непременно письмо настроичит прусскому королю, а король по всей Европе растрезвонит! Сахарницу хотели обворовать, — хотели, не отпирайтесь! Хорошо она догадалась, вам без денег не отдала. Господи, да что же теперь государь-то скажет? Как ему теперь поступить с вами, коровищами? Остричь, да на реку на Печору, в Пустозерск...

Не снимая венца и летника, Наталья ходила по горнице, сжимая в волнении руки, меча горящие взоры на Катю и Машку, — они сначала стояли, потом, не владея ногами, сели: носы у них покраснели, толстые лица тряслись, надувались воплем, но голоса подавать им было страшно.

— Государь сверх сил из пучины нас тянет, — говорила Наталья. — Недоспит, недоест, сам доски пилит, сам гвозди вбивает, под пулями, ядрами ходит, только чтоб из нас людей сделать... Враги его того и ждут — обесславить да погубить. А эти! Да ни один лютый враг того не догадается, что вы сделали...

Да никогда я не поверю, я дознаюсь — кто вас надоумил в Немецкую слободу ездить... Вы — девки старые, неповоротливые...

Тут Катька и Машка, распустив вспухшие губы, залились слезами.

— Никто нас не надоумил, — провыла Катька, — провалиться нам сквозь землю...

Наталья ей крикнула:

— Врешь! А кто вам про сахарницу рассказал? А кто сказал, что Монсиха дает деньги в рост?..

Марья тоже провыла:

— Сказала нам про это баба-кимрянка, Домна Вахрамеева. Она эту сахарницу во сне видела, мы ей верим, нам марципану захотелось...

Наталья кинулась, распахнула дверь, — за ней отскочил старичок — комнатный шалун в женском платье, попятнулись бабки-задворенки, бабки-уродки, бабки-шутихи с набитыми репьями в волосах. Наталья схватила за руку опрятную мягкую женщину в черном платке.

— Ты — баба-кимрянка?

Женщина молча махнула всем туловищем истовый поклон:

— Государыня-царевна, точно, я из Кимр, скудная вдова Домна Вахрамеева...

— Ты царевен подговаривала ездить в Немецкую слободу? Отвечай...

Белое лицо Вахрамеевой задрожало, длинные губы перекривились:

— Я — женка порченная, государыня моя, говорю нелепые слова в ума иступлении, благодетельницы-царевны моими глупыми словами тешатся, а мне то и радость... По ночам sny вижу несказанные. А уж верят ли моим снам благодетельницы-царевны, нет ли — того не ведаю... В Немецкой слободе отродясь не бывала, никакой сахарницы и в глаза не видала. — Опять махнув Наталье поклон, вдова Вахрамеева стала, сложа руки на животе под платком, закаменела, — хоть огнем пытай...

Наталья мрачно взглянула на сестер, — Катька и Машка только негромко охали, маясь от жары. В дверь просунулся старичок-шалун с одними ноздрями вместо носа, — усы, бороденка взъерошены, губы выворочены.

— Ай рассмешить надо? — Марья досадливо махнула на него платком. Но уже с десятков рук вцепились с той стороны в дверь, и шутихи, уродки в лохмотьях, простоволосые, иные в дурацких сарафанах, в лубяных кокошниках, толкая старичка-шалуна, ввалились в горницу. Проворные, бесстыжие, начали сигать, вскрикивать, драться между собой, таскаясь за волосы, хлеща по щекам. Старичок-шалун влез верхом на горбатую бабку, выставив лапти из-под лоскутной юбки, закричал гнусаво: «А вот немец на немке верхом поехал пиво пить...» В сенях подоспевшие певчие с присвистом грянули плясовую. Домна Вах-

рамеева отошла и стала за печку, опустив платок на брови.

В досаде, в гнев Наталья затопала красными башмачками, — «прочь!» — закричала на эту кувыркающуюся рвань и дрянь, — «прочь!». Но дураки и шутихи только громче завизжали. Что она могла сделать одна с этой бесовской толщей! Вся Москва полна ею, в каждом доме боярском, вокруг каждой паперти крутился этот мрак крошечный... Наталья брезгливо подобрала подол, — поняла, что на том и кончится ее разговор с сестрами. И уйти было бы глупо сейчас, — Катька с Машкой, высунувшись в окошки, так-то бы посмеялись вслед ее карете...

Вдруг, среди шума и возни, послышался на дворе конский топот и грохот колес. Певчие в сенях замолкли. Старичок-шалун крикнул, оскалая зубы: «Разбегайся!» — дурки и шутихи, как крысы, кинулись в двери. В доме сразу будто все умерло. Деревянная лестница начала скрипеть под грузными шагами.

В светлицу, отдуваясь, вошел тучный человек, держа в руке посох, кованный серебром, и шапку. Одет он был по-старомосковски в длинный — до полу — клюквенный просторный армяк; широкое смуглое лицо обрито, черные усы закручены попольски, светловатые — со слезой — глаза выпучены, как у рака. Он молча поклонился — шапкой до полу — Наталье Алексеевне, тяжело повернулся и так же поклонился царевнам Катерине и Марье, задохнувшимся от страха. Потом сел на скамью, положил около себя шапку и посох.

— Ух, — сказал он, — ну вот, я и пришел. — Вытащил из-за пазухи цветной большой платок, вытер лицо, шею, мокрые волосы, начесанные на лоб.

Это был самый страшный на Москве человек — князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский.

— Слышали мы, слышали, — неладные здесь дела начались. Ай, ай, ай! — Сунув платок за пазуху армяка, князь-кесарь перекатил глаза на царевен Катерину и Марью. — Марципану захотелось? Так, так, так... А глупость-то хуже воровства... Шум вышел большой. — Он повернул, как идол, широкое лицо к Наталье. — За деньгами их посылали в Немецкую слободу, — вот что. Значит, у кого-то в деньгах нужда. Ты уж на меня не гневайся, — придется около дома сестриц твоих караул поставить. В чулане у них живет баба-кимрянка и носит тайно еду в горшочке на пустырь за огородом, в брошенную баньку. В той баньке живет беглый распоп Гришка. (Тут Катерина и Марья побелели, схватились за щеки.) Который распоп Гришка варит будто бы в баньке любовное зелье, и зелье от зачатия, и чтобы плод сбрасывать. Ладно. Нам известно, что распоп Гришка, кроме того, в баньке пишет подметные воровские письма, и по ночам ходит в Немецкую слободу на дворы к некоторым посланникам, и заходит к женщине-черноряске, которая, черноряска, бывает в Новодевичьем монастыре, моет там полы, и моет пол в келье у бывшей правительницы Софьи Алек-

сеевны... (Князь-кесарь говорил негромко, медленно, в светлице никто не дышал.) Так я здесь останусь небольшое время, любезная Наталья Алексеевна, а ты уж не марайся в эти дела, ступай домой по вечерней прохладе...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

За столом сидели три брата Бровкины — Алексей, Яков и Гаврила. Случай был редкий по теперешним временам, чтобы так свидеться, душевно поговорить за чаркой вина. Нынче все — спех, все — недосуг, сегодня ты здесь, завтра уже мчишься за тысячу верст в саях, закопавшись в сено под тулупом... Оказалось, что людей мало, людей не хватает.

Яков приехал из Воронежа, Гаврила — из Москвы. Обоим было указано ставить на левом берегу Невы, повыше устья Фонтанки, амбары, или цейхгаузы, у воды — причалы, на воде — бóны и крепить весь берег сваями — в ожидании первых кораблей балтийского флота, который со всем поспешением строился близ Лодейного Поля на Свири. Туда в прошлом году ездил Александр Данилович Меньшиков, велел валить мачтовый лес и как раз на святую неделю заложил первую верфь. Туда привезены были знаменитые плотники из Олонецкого уезда и кузнецы из Устюжины Железопольской. Молодые мастера-навигаторы, научившиеся этим делам в Амстердаме, старые мастера из Воронежа и Архангельска, славные мастера из Голландии и Англии строили на Свири двадцатипушечные фрегаты, шнявы, галиоты, бригантины, буера, галеры и шмаки. Петр Алексеевич прискакал туда же еще по санному пути, и скоро ожидали его здесь, в Питербурге.

Алексей, без кафтана, в одной рубашке голландского полотна, свежей по случаю воскресенья, подвернув кружевные манжеты, крошил ножом солонину на дощечке. Перед братьями стояла глиняная чашка с горячими щами, штоф с водкой, три оловянных стаканчика, перед каждым лежал ломоть ржаного черствого хлеба.

— Шти с солониной в Москве не диковинка, — говорил братьям Алексей, румяный, чисто выбритый, со светлыми подкрученными усами и стриженной головой (парик его висел на стене, на деревянном гвозде), — здесь только по праздникам солонинкой скоромимся. А капуста квашеная — у Александра Даниловича на погребе, у Брюса, да — пожалуй — у меня и — только... И то ведь оттого, что летось догадались — сами на огороде посадили. Трудно, трудно живем. И дорого все, и достать нечего.

Алексей бросил с доски накрошенную солонину в чашку со щами, налил по чарке. Братья, поклонясь друг другу, вздохнув, выпили и степенно принялись хлебать.

— Ехать сюда бояться, женок здесь, почитай что, совсем нет, живем, как в пустыне, ей-ей... Зимой еще — туда-сюда — бураны преужасные, тьма, да и дел этой зимой было много... А вот, как сегодня, завернет весенний ветер, — и лезет в голову неудобь сказуемое... А ведь здесь с тебя, брат, спрашивают строго...

Яков, разгрызая хрящ, сказал:

— Да, места у вас невеселые.

Яков, не в пример братьям, за собой не смотрел, — коричневый кафтан на нем был в пятнах, пуговицы оторваны, черный галстук засален на волосатой шее, весь пропах табаком-канупером. Волосы носил свои — до плеч — плохо чесанные.

— Что ты, брат, — ответил Алексей, — места у нас даже очень веселые: пониже, по взморью, и в стороне, где Дудергофская мыза. Травы — по пояс, рощи березовые — шапка валится, и рожь, и всякая овощь родится, и ягода... В самом невском устье, конечно, — топь, дичь. Но государь почему-то именно тут облюбовал город. Место военное, удобное. Одна беда — швед очень беспокоит. В прошлом году так он на нас навалился от Сестры-реки и флотом с моря, — душа у нас в носе была. Но отбили. Теперь-то уж он с моря не сунется. В январе около Котлина острова опустили мы под лед ряжи с камнями и всю зиму возили и сыпали камень. Реке еще не вскрыться — будет готов круглый бастион о пятидесяти пушек. Петр Алексеевич к тому чертежи прислал из Воронежа и саморучную модель и велел назвать бастион — Кроншлотом.

— Как же, дело известное, — сказал Яков, — об этой модели с Петром Алексеевичем мы поспорили. Я говорю: бастион низок, в волну будет пушки заливать, надо его возвысить на двадцать вершков. Он меня и погладил дубинкой. Утрась позвал: «Ты, говорит, Яков, прав, а я не прав». И, значит, мне подносит чарку и крендель. Помирились. Вот эту трубку подарил.

Яков вытащил из набитого всякой чепухой кармана обгорелую трубочку с вишневым, изгрызанным на конце чубуком. Набил и, сопя, стал высекать искру на трут. Младший, Гаврила, ростом выше братьев и крепче всеми членами, с юношескими щеками, с темными усиками, большеглазый, похожий на сестру Саньку, начал вдруг трясти ложку со щами и сказал — ни к селу ни к городу:

— Алеша, ведь я таракана поймал.

— Что ты, глупый, это уголек. — Алексей взял у него черненькое с ложки и бросил на стол. Гаврила закинул голову и рассмеялся, открывая напоказ сахарные зубы.

— Ни дать ни взять покойная маманя. Бывало, батя ложку бросит: «Безобразие, говорит, таракан». А маманя: «Уголек, родимый». И смех и грех. Ты, Алеша, постарше был, а Яков помнит, как мы на печке без штанов всю зиму жили. Санька нам страшные сказки рассказывала. Да, было...

Братья положили ложки, облокотились, на минуту задумались, будто повеяло на каждого издалека печалью. Алексей налил в стаканчики, и опять пошел неспешный разговор. Алексей стал жаловаться: наблюдал он за работами в крепости, где пилили доски для строящегося собора Петра и Павла, — не хватало пил и топоров, все труднее было доставать хлеб, пшено и соль для рабочих; от бескормицы падали лошади, на которых по зимнему пути возили камень и лес с финского берега. Сейчас на санях уж не проедешь, телеги нужны, — колес нет...

Потом, налив по стаканчику, братья начали перебирать европейский политик. Удивлялись и осуждали. Кажется, просвященные государства, — трудились бы да торговали честно. Так — нет. Французский король воюет на суше и на море с англичанами, голландцами и императором, и конца этой войне не видно; турки, не поделив Средиземного моря с Венецией и Испанией, жгут друг у друга флоты; один Фридрих, прусский король, покуда сидит смирно да вертит носом, принохивая — где можно легче урвать; Саксония, Силезия и Польша с Литвой из края в край пылают войной и междоусобицей; в позапрошлом месяце король Карл велел полякам избрать нового короля, и теперь в Польше стало два короля — Август Саксонский и Станислав Лещинский, — польские паны одни стали за Августа, другие — за Станислава, горячатся, рубятся саблями на сеймиках, ополчась шляхтой, жгут друг у друга деревеньки и поместья, а король Карл бродит с войсками по Польше, кормится, грабит, разоряет города и грозит, когда пригнет всю Польшу, повернуть на царя Петра и сжечь Москву, запустошить русское государство; тогда он провозгласит себя новым Александром Македонским. Можно сказать: весь мир сошел с ума...

Со звоном вдруг упала большая сосулька за глубоким — в мазаной стене — окошечком в четыре стеклышка. Братья обернулись и увидели бездонное, синее — какое бывает только здесь на взморье — влажное небо, услышали частую капель с крыши и воробьиное хлопотанье на голом кусте. Тогда они заговорили о насущном.

— Вот нас три брата, — проговорил Алексей задумчиво, — три горьких бобыля. Рубашки у меня денщик стирает и пуговицу пришьет, когда надо, а все не то... Не женская рука... Да и не в том дело, бог с ними, с рубашками... Хочется, чтобы она меня у окошка ждала, на улицу глядела. А ведь придешь усталый, озябший, упадешь на жесткую постель, носом в подушку, как пес, один на свете... А где ее найти?..

— Вот то-то — где? — сказал Яков, положив локти на стол, и выпустил из трубки три клуба дыма один за другим. — Я брат, отпетый. На дуре какой-нибудь неграмотной не женюсь, мне с такой разговаривать не о чем. А с белыми ручками боярышня, которую вертишь на ассамблее да ей кумплименты говоришь по приказу Петра Алексеевича, сама за меня не пойдет...

Вот и пробавляюсь кое-чем, когда нуждишка-то... Скверно это, конечно, грязь. Да мне одна математика дороже всех баб на свете...

Алексей — ему — тихо:

— Одно другому не помеха...

— Стало быть, помеха, если я говорю. Вон — на кусту воробей, другого занятия ему нет, — прыгай через воробыху... А бог человека создал, чтобы тот думал. — Яков взглянул на меньшого и захрипел трубкой. — Разве вот Гаврюшка-то наш проворен по этой части.

От самой шеи все лицо Гаврилы залилось румянцем; он усмехнулся медленно, глаза подернулись влагой, не знал — в смущении — куда их отвести.

Яков пхнул его локтем:

— Рассказывай. Я люблю эти разговоры-то.

— Да ну вас, право... И нечего рассказывать... Молодой я еще... — Но Яков, а за ним Алексей привязались: «Свои же, дурень, чего заробел...» Гаврила долго упирался, потом начал вздыхать, и вот что под конец он рассказал братьям.

Перед самым рождеством, под вечер, прибежал на двор Ивана Артемича дворцовый скороход и сказал, что-де «Гавриле Иванову Бровкину велено тотчас быть во дворце». Гаврила вначале заупрямился, — хотя был молод, но — персоне, у царя на виду, к тому же он обводил китайской тушью законченный чертеж двухпалубного корабля для воронежской верфи и хотел этот чертеж показать своим ученикам в Навигационной школе, что в Сухаревой башне, где по приказу Петра Алексеевича, преподавал дворянским недорослям корабельное искусство. Иван Артемич строго выговорил сыну: «Надевай, Гаврюшка, французский кафтан, ступай, куда тебе приказано, с такими делами не шутят».

Гаврила надел шелковый белый кафтан, перепоясался шарфом, выпустил кружева из-за подбородка, надушил мускусом вороной парик, накинул плащ, длиной до шпор, и на отцовской тройке, которой завидовала вся Москва, поехал в Кремль.

Скороход провел его узенькими лестницами, темными переходами наверх в старинные каменные терема, уцелевшие от большого пожара. Там все покои были низенькие, сводчатые, расписанные всякими травами-цветами по золотому, по алому, по зеленому полю; пахло воском, старым ладаном, было жарко от изразцовых печей, где на каждой лежанке дремал ленивый ангорский кот, за слюдяными дверцами поставцов поблескивали ендовы и кувшины, из которых, может быть, пивал Иван Грозный, но нынче их уже не употребляли. Гаврила со всем презрением к этой старине бил шпорами по резным каменным плитам. В последней двери нагнулся, шагнул, и его, как жаром, охватила прелесть.

Под тускло-золотым сводом стоял на крылатых грифонах стол, на нем горели свечи, перед ними, положив голые локти на разбросанные листы, сидела молодая женщина в наброшенной

на обнаженные плечи меховой душегрейке: мягкий свет лился на ее нежное кругловатое лицо; она писала; бросила лебединое перо, поднесла руку с перстнями к русой голове, поправляя окрученную толстую косу, и подняла на Гаврилу бархатные глаза. Это была царевна Наталья Алексеевна.

Гаврила не стал валиться в ноги, как бы, кажется, полагалось ему варварским обычаем, но по всему французскому политесу ударил перед собой левой ногой и низко помахал шляпой, закрываясь куделями вороного парика. Царевна улыбнулась ему уголками маленького рта, вышла из-за стола, приподняла с боков широкую жемчужного атласа юбку и присела низко.

«Ты — Гаврила, сын Ивана Артемича? — спросила царевна, глядя на него блестящими от свечей глазами снизу вверх, так как был он высок — едва не под самый свод париком. — Здравствуй. Садись. Твоя сестра, Александра Ивановна, прислала мне письмо из Гааги, она пишет, что ты для моих дел можешь быть весьма полезен. Ты в Париже был? Театры в Париже видел?»

Гавриле пришлось рассказывать про то, как в позапрошлом году он с двумя навигаторами на масленицу ездил из Гааги в Париж и какие там видел чудеса — театры и уличные карнавалы. Наталья Алексеевна хотела все знать подробно, нетерпеливо постукивала каблучком, когда он мямля — не мог толково объяснить; в восхищении близко придвигалась, глядя расширенными зрачками, даже приоткрывала рот, дивясь французским обычаям.

«Вот, — говорила, — не сидят же люди, как бирюки, по своим дворам, умеют веселиться и других веселить, и на улицах пляшут, и комедии слушают охотно... Такое и у нас нужно завести. Ты инженер, говорят? Тебе-то я и велю перестроить одну палату, — ее присмотрела под театр. Возьми свечу, пойдем...»

Гаврила взял тяжелый подсвечник с горящей свечой. Наталья Алексеевна летучей походкой, шурша платьем пошла впереди него через сводчатые палаты, где на горячих лежанках просыпались, выгибали спины ангорские коты и снова ложились нежась; где со сводов — то там, то там — черствые лики царей московских непримиримо сурово глядели вслед царевне Наталье, увлекающей в тартарары и себя, и этого юношу в рогатом, как у черта, парике, и всю заветную старину московскую.

На крутой, узкой лестнице, спускающейся в тьму, Наталья Алексеевна заробела, просунула голую руку под локоть Гавриле; он ощутил теплоту ее плеча, запах волос, меха ее душегрейки; она выставляла из-под подола юбки сафьяновый башмачок с тупым носиком, нагибаясь в темноту — спускалась все осторожнее; Гаврилу начало мелко знобить внутри, и голос стал глухой; когда сошла вниз, она быстро, внимательно взглянула ему в глаза.

«Отвори вот эту дверь», — сказала, указывая на низенькую дверцу, обитую изъеденным молью сукном. Наталья Алексеевна первая шагнула через высокий порог туда — в теплую тем-

ноту, где пахло мышами и пылью. Высоко подняв свечу, Гаврила увидел большую сводчатую палату о четырех приземистых столпах. Здесь в давние времена была столовая изба, где смиренный царь Михаил Федорович обедал с Земским Собором. Росписи на сводах и столпах облупились, дощатые полы скрипели. В глубине на гвоздях висели мочальные парики, бумажные мантрии и другое комедиантское отребье, в углу свалены жестяные короны и латы, скипетры, деревянные мечи, сломанные стулья — все, что осталось от недавно упраздненного — по причине дурости и великой непристойности — немецкого театра Иоганна Куншта, бывшего на Красной площади.

«Здесь будет мой театр,— сказала Наталья,— с этой стороны поставишь для комедиантов помост с занавесом и площадками, а здесь — для зрителей — скамьи. Своды надо расписать нарядно, чтобы уж забава была — так забава...»

Тем же порядком Гаврила провел царевну Наталью наверх, и она его отпустила, — пожаловав поцеловать ручку. Он вернулся домой за полночь и, как был в парике и кафтане, повалился на постель и глядел в потолок, будто при неясном свете оплывшей свечи все еще виделись ему кругловатое лицо с бархатно-пристальными глазами, маленький рот, произносивший слова, нежные плечи, полуприкрытые пахучим мехом, и все шумели, улетая перед ним в горячую темноту, тяжелые складки жемчужной юбки...

На другой вечер царевна Наталья опять велела ему быть у себя и прочла «Пещное действо» — свою не оконченную еще комедию о трех отроках в огненной печи. Гаврила допоздна слушал, как она выговаривала, помахивая лебединым пером, складные вирши, и казалось ему, — не один ли он из трех отроков, готовый неистово голосить от счастья, стоя наг в огненной печи...

За перестройку старой палаты он взялся со всей горячностью, хотя сразу же подьячие Дворцового приказа начали чинить ему преткновения и всякую приказную волокиту из-за лесу, извести, гвоздей и прочего. Иван Артемич помалкивал, хотя и видел, что Гаврила забросил чертежи и не ездит в Навигационную школу, за обедом, не прикасаясь к ложке, уставляется глупыми глазами в пустое место, и ночью, когда люди спят, сжигает целую свечу ценой в алтын. Только раз Иван Артемич, вертя пальцами за спиной, пожевав губами, выговорил сыну: «Одно скажу, одно, Гаврюшка, — близко огня ходишь, поостерегись...»

Великим постом из Воронежа через Москву на Свирь промчался царь Петр и приказал Гавриле ехать с братом Яковом в Питербурх — строить гавань. На том и окончились его дела с театром... На том Гаврила и окончил свой рассказ. Вылез из-за стола, растегнул множество пуговиц на голландской куртке, раскинул ее на груди и, засунув руки в широкие, как пузыри, короткие штаны, зашагал по мазаной избушке — от двери до окна.

Алексей сказал:

— И забыть ее не можешь?

— Нет... И не хочу такое забывать, хоть мне плахой грози...

Яков сказал, стуча по столу ногтями:

— Это маманя сердцем-то нас неистовым наградила... И Санька такая же... Тут ничего не поделаешь, — сию болезнь лечить нечем. Давайте, братки, нальем и выпьем — память родительницы нашей, Авдотьи Евдокимовны...

В это время в санях, околавшая грязь, застучали сапогами, шпорами, рванули дверь, и вошел в черном плаще, закиданном грязью, в черной шляпе с серебряным галуном бомбардир-поручик Преображенского полку, генерал-губернатор Ингрии, Карелии и Эстляндии, губернатор Шлиссельбурга Александр Данилович Меньшиков.

2

— Батюшки, закурили, как в берлоге! Да сидите, сидите, будьте без чинов. Здорово! — грубо-весело сказал Александр Данилович. — На реку, что ли, сходим? А? — И он, сбросив плащ, стащив шляпу вместе с огромным париком, присел к столу, поглядел на валяющиеся обглоданные мослы, заглянул в пустую чашку. — Со скуки рано пообедал, спать лег на часок, а — просыпаюсь — в доме нет никого, ни гостей, ни челяди. Бросили генерал-губернатора... Мог я во сне умереть, и никто бы не знал. — Он глазом мигнул Алексею. — Господин подполковник, перцовочки поднеси да расстарайся капустки, — голова что-то болит... Ну, а у вас как дела, братья-корабельщики? Надо, надо поторапливаться. Завтра схожу, посмотрю.

Алексей принес из сеней капусту и штоф. Александр Данилович, отставляя холеный мизинец с большим бриллиантовым перстнем, осторожно налил одному себе, захватил с тарелки щепоть капусты с ледком, прищурясь, вытянул из чарки и, раскрыв глаза, начал хрустко жевать капусту.

— Хуже нет воскресенья, так я скучаю по воскресеньям, ужас. Или весна, что ли, здешняя такая вредная?.. Все тело разломило и тянет... Баб нет, — вот причина!.. Вот тебе и завоеватели! Довоевались! Построили городок, — баб нет! Ей-богу, отпрошусь у Петра Алексеевича, не надо и не надо мне генерал-губернаторства... Лучше я в Москве в рядах буду чем-нибудь торговать, перебиваться... Да девки-то какие в Москве! Венусы! Глаза лукавые, щеки горячие, сами нежные да смешливые... Ну, пойдемте, пойдемте на реку, здесь что-то душно...

Александр Данилович не мог долго сидеть на одном месте, времени ему никогда не хватало, как и всем, кто работал с царем Петром; говорил он одно, сам думал другое и разное. Приспособиться к нему было очень трудно, и человек он был опасный. Встать — натащил парик и шляпу, накинул плащ на собольи мехах и вышел из мазанки вместе с братьями Бров-

киными. Сразу в лицо задул сильный, сырой весенний ветер. По всему Фомину острову, как называли его в старину, — а теперь Питербурхской стороной, — шумели сосны так мягко и могуче, будто из бездны бездн голубого неба лилась река... Кричали грачи, кружась над голыми редкими березами.

Алексеева мазанка стояла в глубине очищенной от леса и выкорчеванной Троицкой площади, неподалеку от только что построенных деревянных гостиных рядов; лавки были накрест забиты досками, купцы еще не приехали; направо виднелись оголенные от снега земляные валы и бастионы крепости; пока только один из бастионов — бомбардира Петра Алексеева — был до половины одет камнем, там на мачте плескался белый с андреевским крестом морской флаг — в предвестии ожидаемого флота.

По всей площади ветром рябило воду; Александр Данилович, не разбирая, шлепал ботфортами, шел — наискосок — к Неве. Главная площадь Питербурха была только в разговорах да на планах, которые Петр Алексеевич чертил в своей записной книжке; а всего-то здесь стояла бревенчатая, проконопаченная мохом церковка — Троицкий собор, да неподалеку от него — ближе к реке — дом Петра Алексеевича, — чисто рубленая изба в две горницы, снаружи обшитая тесом и выкрашенная под кирпич, на крыше, на коньке, подставлены деревянные — крашеные — мортира и две бомбы, как бы с горящими фитилями.

По другой стороне площади находился низенький голландский дом, весьма располагающий к тому, чтобы туда зайти, — из трубы его постоянно курился дымок, за окном, сквозь мутные стеклышки, виднелась оловянная посуда и висящие колбасы, на входной двери намалеван преужасный штурман с пиратской бородой, в одной руке он держит пивную кружку, в другой — чем играют в кости, над входом скрипела на шесте вывеска: «Аустерия четырех фрегатов».

Когда вышли на реку, ветер подхватил плащи, взметнул парики. Лед на Неве был синий, с большими полыньями, с высокими уже навозными дорогами, Александр Данилович вдруг рассердился:

— Две тысячи рублей отпустили им на все работы! Ах, чернильные души, ах, постники, грибоеды! Да наплевал я на дьяков, на подъячих, на все Приказы, — в Москве над полушкой трясутся, бумагу переводят! Я здесь хозяин! У меня есть деньги, есть лошади, мужиков добрых могу достать, сколько надобно, где я их найду — это мое дело... Вы запомните, братья Бровкины, сюда не дремать приехали... Не доспать, не доесть — к концу мая должны быть готовы все причалы, и боны, и амбары... Да не только на левом берегу, где вам указано... Здесь, на Питербурхской стороне, должны быть удобства, чтобы подойти, пришвартоваться большому кораблю... — Александр Данилович быстро шел по берегу, указывая — где начинать бить сваи, где ставить причалы. — После морской виктории подплывет флаг-

ман, с пальбой, с продырявленными парусами, — что же ему в устье Фонтанки швартоваться? Нет — здесь! — он топал ботфортом в лужу. — А случится — приплывает из Англии, из Голландии богатый гость, — вот — дом Петра Алексеевича, вот — мой дом — милости просим...

Дом Александра Даниловича, или генерал-губернаторский дворец, — в ста саженьях от царской избышки — вверх по реке, — построен был наспех, глинобитный, штукатуренный, с высокой голландской крышей, видно издали по реке; как раз посреди фасада было устроено крыльцо на двух плоских колоннах, с портиком, на котором — на правом скате — лежал деревянный золоченый Нептун с трезубцем, на левом скате — Наяда, с большими грудями, локтем опиралась на опрокинутый горшок; в треугольнике портика — шифр «А. М.», обвитый змеей; на крыше — на мачте — собственный флаг генерал-губернатора; перед крыльцом стояли две пушки.

— Домишко не стыдно иностранным показывать... Хороши, ах, хороши боги морские! Вот, кажется, вышли из моря и легли у меня над крыльцом... А как флот-то со Свири здесь мимо проплывет, да из пушек мы надымим... Красиво, ах, красиво!..

Александр Данилович любовался на свой дом, прищуривал сильные глаза. Потом повернулся и крикнул с досады, глядя на далекий левый берег, где ветер качал одинокие сосны среди пней и плешин.

— Ах, обидно!.. Малость тут испортили сгоряча... — Он указал тростью на то место, где Фонтанка вытекала из Невы. — Какая была перспектива перед моими окнами, — бор стоял стеной, там бы плезир поставить для летнего удовольствия... Вырубили! Вот, черт, всегда так... Ну, что ж, пойдемте ко мне, чего-нибудь соберем, выпьем...

— Господин генерал-губернатор, — сказал Алексей, — взгляните — сверху по Неве что-то много саней идет... Уж не государь ли?

Александр Данилович только взглянул: «Он!» — и — спохватился. Братья Бровкины тотчас побежали в разные стороны с приказами, сам он поспешил к дому, громким голосом зовя людей. И через небольшое время опять стоял на берегу, на мостках, — в одном преображенском мундире, с огромными — шитыми золотом — красными обшлагами, с шелковым шарфом через плечо, при шпаге — той самой, с которой в позапрошлом году лез на abordаж, на борт шведского фрегата в невском устье. По вздувшемуся льду Невы, на которую и смотреть-то было страшно, приближался далеко растянувшийся обоз. Полсотни драгун начали бодрить заморенных лошадей и поскакали к берегу, — в опасные полыньи. За ними по сплошной воде повернул тяжелый кожаный возок и остановился у мостков. Едва только из глубины возка, из-за медвежьих одеял, высунулась длинная нога

в ботфорте, — около генерал-губернаторского дома ударили две пушки. Вслед за ботфортом протянулись два тулупных рукава, из них выпростались пальцы с крепкими ногтями, ухватились за кожаный фартук возка, и оттуда был низковатый голос:

— Данилыч, помоги, вот, черт, — не вылезу...

Александр Данилович прыгнул с мостков по колена в воду и потащил Петра Алексеевича. В это время все бастионы Петропавловской крепости блеснули огнями, окутались дымом, покатились грохот по Неве. У царского домика на мачту пополз штандарт.

Петр Алексеевич вылез на мостки, потянулся, распрямился, сдвинул на затылок меховой колпак и — первое — взглянул на Данилыча, на его покрасневшее от радости длинное лицо, прыгающие брови. Взял его рукой за щеки, сжал:

— Здравствуй, камрад... Не изволил ко мне приехать, а я ждал... Ну, вот — сам приехал... Тащи с меня тулуп. Дорога дрянная, пониже Шлиссельбурга едва не потонули, всего увалило на ухабах, в ноге — мурашки...

Петр Алексеевич остался в суконном кафтанчике на беличем меху; подставляя ветру круглое небритое лицо со взъерошенными усами, начал глядеть на крутящиеся весенние облака, на быстрые тени, пролетающие по лужам и поляньям, на яростно — сквозь прорывы облаков — бездремное солнце за Васильевским островом; у него раздулись ноздри, с боков маленького рта появились ямочки.

— Парадиз! — сказал. — Ей-ей, Данилыч, парадиз, земной рай... Морем пахнет...

По площади, разбрызгивая лужи, бежали люди. Позади бегущих тяжело ударяли башмаками, шли в линию преображенцы и семеновцы в зеленых узких кафтанах, в белых гетрах, — держали ружья с багинетами перед собой.

3

— ...в Варшаве у кардинала Радзеевского за столом он говорил: в Неву ни единой скорлупы не пропущу, пусть москвиты и не надеются сидеть у моря... А покончу с Августом — мне Санктпетербурх, как вишневую косточку разгрызть и выплюнуть...

— Ну и дурак же он, бодлива мать! — Александр Данилович голый сидел на лавке и мылил голову. — Съехаться мне с ним на поле — я бы этому ерою показал вишневую косточку...

— И еще говорил: в Архангельск ни единого аглицкого корабля не пропущу, у московских купцов товар пускай гниет в амбарах.

— А товар-то у нас не гниет, мин хери, а?

— Тридцать два аглицких корабля, собравшись в караван, с четырьмя охранными фрегатами, с божьей помощью без потерь, приплыли в Архангельск, привезли железо, и сталь, и

пушечную медь, и табак в бочках, и многое другое, чего нам ненадобно, а купить пришлось.

— Ну что ж, мин херц, в убытке не останемся... Им тоже надо иметь удовольствие,— с отвагой плыли... Квасом хочешь поддать? Нартов! — закричал Александр Данилович, шлепая по мокрому свежеструганому полу к низенькой двери в предбанник.— Что ты там — угорел, Нартов? Возьми кувшин с квасом, поддай хорошенько...

Петр Алексеевич лежал на полке под самым потолком, подняв худые колени — помахивал на себя веником. Денщик Нартов уже два раза его парил и обливал ледяной водой, и сейчас он нежился. В баню пошел сразу же по приезде, чтобы потом со всем вкусом поужинать. Банька была из липового леса, легкая. Петру Алексеевичу не хотелось отсюда уходить, хотя вот уже два часа в столовой генерал-губернатора томились гости в ожидании царского выхода и стола.

Нартов открыл медную дверцу в печи, отскочив в сторону, плеснул ковш квасу глубоко на каленые камни. Вылетел сильный мягкий дух, жаром ударило по телу, запахло хлебом. Петр Алексеевич крикнул, помавая себе на грудь листьями березового веника.

— Мин херц, а вот Гаврила Бровкин рассказывает — в Париже, например, париться да еще квасом — ничего этого не понимают и народ мелкий.

— Там другое понимают — чего нам не мешает понять,— сказал Петр Алексеевич.— Купцы наши — чистые варвары,— сколько я бился с ними в Архангельске. Первым делом ему нужно гнилой товар продать,— три года будет врать, божиться, плакать — подсовывать гнилье, покуда и свежее у него не сгниет... Рыбы в Северной Двине столько — весло в воду сунь, и весло стоит — такие там косяки сельди... А мимо амбаров пройти нельзя — вонища... Поговорил я с ними в Бурмистерской палате — сначала лаской,— ну, потом пришлось рассердиться...

Александр Данилович сокрушенно вздохнул.

— Это есть у нас, мин херц... Темнота жа... Им, купчишкам, дьяволам, дай воли — в конфузию все государство приведет... Нартов, подай пива холодного...

Петр Алексеевич, спустив длинные ноги, сел на полке, нагнул голову, с кудрявых темных волос его лил пот...

— Хорошо,— сказал он.— Очень хорошо. Так-то, камрад любезный... Без Питербурха нам — как телу без души.

4

Здесь, на краю русской земли, у отвоеванного морского залива, за столом у Меньшикова сидели люди новые,— те, что по указанию царя Петра: «отныне знатность по годности считать» — одним талантом своим выбились из курной избы, переобули лапти на юфтевые тупоносые башмаки с пряжками и вместо горь-

ких дум: «За что обрекаешь меня, господи, выть с голоду на холодном дворе?» — стали, так вот, как сейчас, за полными блюдами, хочешь не хочешь, думать и говорить о государственном. Здесь были братья Бровкины, Федосей Скляев и Гаврила Авдеевич Меньшиков — знаменитые корабельные мастера, сопровождавшие Петра Алексеевича из Воронежа на Свирь, подрядчик — новгородец — Ермолай Негоморский, поблескивающий глазами, как кот ночью, Терентий Буда, якорный мастер, да Ефрем Тараканов — преславный резчик по дереву и золотильщик.

За столом были и не одни худородные: по левую руку Петра Алексеевича сидел Роман Брюс — рыжий шотландец, королевского рода, с костлявым лицом и тонкими губами, сложенными свирепо, — математик и читатель книг, так же как и брат его Яков; братья родились в Москве, в Немецкой слободе, находились при Петре Алексеевиче еще от юных его лет и его дело считали своим делом; сидел соколиноголазый, томный, надменный, с усиками, пробритыми в черту под тонким носом, — полковник гвардии князь Михаила Михайлович Голицын, прославивший себя штурмом и взятием Шлиссельбурга, — как и все, он пил не мало, бледнел и позвякивал шпорой под столом; сидел вице-адмирал ожидаемого балтийского флота — Корнелий Крейс, морской бродяга, с глубокими, суровыми морщинами на дубленом лице, с водянистым взором, столь же странным, как холодная пучина морская; сидел генерал-майор Чамберс, плотный, крепколицый, крючконосый, тоже — бродяга, из тех, кто, поверя в счастье царя Петра, отдал ему все свое достояние — шпагу, храбрость и солдатскую честь; сидел тихий Гаврила Иванович Головкин, царский спальник, человек дальнего и хитрого ума, помощник Меньшикова, по строительству города и крепости.

Гости говорили уже все враз, шумно, — иной нарочно начинал кричать, чтобы государь его услышал. В высокой комнате пахло сырой штукатуркой, на белых стенах горели свечи в трехсвечниках с медными зеркалами, горело много свечей и на пестрой скатерти, воткнутых в пустые штофы — среди оловянных и глиняных блюд, на которых обильно лежало все, чем мог попотчевать гостей генерал-губернатор: ветчина и языки, копченые колбасы, гуси и зайцы, капуста, редька, соленые огурцы, — все привезенное Александру Даниловичу в дар подрядчиком Негоморским.

Больше всего споров и крику было из-за выдачи провианта и фуража, — кто у кого больше перетянул. Довольствие сюда шло из Новгорода, из главного провиантского приказа, — летом на стругах по Волхову и Ладожскому озеру, зимой по новопросеченной в дремучих лесах дороге, — на склады в Шлиссельбург, под охрану его могучих крепостных стен; там, в амбарах, сидели комиссарами земские целовальники из лучших людей и по требованию отпускали товар в Питербурх для войска, стоявшего в земляном городе на Выборгской стороне, для разных приказов, занимавшихся стройкой, для земских мужиков-строителей, приходивших сюда в

три смены — с апреля месяца по сентябрь, — землекопов, лесорубов, плотников, каменщиков, кровельщиков. Путь из Новгорода был труден, здешний край разорен войной, поблизости достать нечего, запасов постоянно не хватало, и Брюс, и Чамберс, и Крейс, и другие — помельче люди, рвали каждый себе, и сейчас за столом, разгорячась, сводили счета.

Петру Алексеевичу было подано горячее — лапша. Посланным в разные концы солдатам удалось для этой лапши найти петуха на одном хуторке на берегу Фонтанки, у рыбака-чухонца, содравшего ради такого случая пять алтын за старую птицу. Поев, Петр Алексеевич положил на стол длинные руки с большими кистями: на них после бани надулись жилы. Он говорил мало, слушал внимательно, выпуклые глаза его были строгие, страшноватые; когда же, — набивая трубку или по какой иной причине, — он опускал их — круглощекое лицо его с коротким носом, с улыбающимся небольшим ртом казалось добродушным, — подходи смело, стучись чаркой о его чарку: «Твое здоровье, господин бомбардир!» И он, смотря, конечно, по человеку, одному и не отвечал, другому кивал снизу вверх головой, — темные, тонкие завивающиеся волосы его встряхивались. «Во имя Бахуса», — говорил баском и пил, как научили его в Голландии штурмана и матрозы, — не прикасаясь губами к чарке — через зубы прямо в глотку.

Петр Алексеевич был сегодня доволен и тем, что Данилыч поставил назло шведам такой хороший дом, с Нептуном и морской девой на крыше, и тем, что за столом сидят все свои люди и спорят и горячатся о большом деле, не задумываясь, — сколь оно опасно и удастся ли оно, и в особенности радовалось сердце то, что здесь, где сходились далекие замыслы и трудные начинания, все то, что для памяти он неразборчиво заносил в толстенькую записную книжку, лежавшую в кармане вместе с изгрызенным кусочком карандаша, трубкой и кисетом, — все это стало въяве, — ветер рвет флаг на крепостном бастионе, из топких берегов торчат сваи, повсюду ходят люди в трудах и заботах, и уже стоит город как город, еще невелик, но уже во всей обыкновенности.

Петр Алексеевич, покусывая янтарь трубки, слушал и не слушал, что ему бубнил про гнилое сено сердитый Брюс, что кричал, сисясь дотянуться чаркой, пьяный Чамберс... Желанное, возлюбленное здесь было место. Хорошо, конечно, на Азовском море, белесом и теплом, добытом с великими трудами, хорошо на Белом море, колышущем студёные волны над нависшим туманом, но не равняться им с морем Балтийским — широкой дорогой к дивным городам, к богатым странам. Здесь и сердце бьется по-особенному, и у мыслей распахиваются крылья, и сил прибывает вдвое...

Александр Данилович нет-нет да и поглядывал, как у мин херца все шире раздувались ноздри, гуще валил дым из трубки.

— Да будет вам! — крикнул он вдруг гостям. — Заладили —

овес, пшено, овес, пшено! Господин бомбардир не за тем сюда ехал — слушать про овес, пшено. — Меньшиков всей щекой мигнул толстенькому, сладко улыбающемуся человеку, в коротеньком, растопыренном кафтане. — Фельтен, налей ренского, того самого, — и выжидающе повернулся к Петру Алексеевичу. Как всегда, Меньшиков угадал, прочел в потемневших глазах его, что — вот, вот — настала минута, когда все, что давно бродило, клубилось, мучило, прилаживалось и так и этак у него в голове — отчетливо и уже непоколебимо становилось волей... И тут не спорь, не становись поперек его воли.

За столом замолчали. Только булькало вино, лиясь из пузатой бутылки в чарки. Петр Алексеевич, не снимая рук со стола, откинулся на спинку золоченого стула.

— Король Карл отважен, но не умен, весьма лишь высокомерен, — заговорил он, с медленностью, — по-московски, — произноса слова. — В семисотом году фортуна свою упустил. А мог быть с фортуной, мы бы здесь ренское не пили. Конфузия под Нарвой пошла нам на великую пользу. От битья железо крепнет, человек мужает. Научились мы многому, чему и не чаяли. Наши генералы, вкупе с Борисом Петровичем Шереметьевым, Аникитой Ивановичем Репниным, показали всему миру, что шведы — не чудо и побить их можно и в чистом поле и на стенах. Вы, дети сердца моего, добыли и устроили сие священное место. Бог Нептун, колебатель пучин морских, лег на крыше дома сего вельможи, в ожидании кораблей, над коими мы все трудились даже до мозолей. Но разумно ли, утвердась в Питербурхе, вечно отбиваться от шведов на Сестре-реке да на Котлине острове? Ждать, когда Карл, наскуча воевать с одними своими мечтами да сновидениями, повернет из Европы на нас свои войска? Тогда нас здесь, пожалуй, и бог Нептун не спасет. Здесь сердце наше, а встречать Карла надо на дальних окраинах, в тяжелых крепостях. Надобно нам отважиться — наступать самим. Как только пройдет лед — идти на Кексгольм, брать его у шведов, чтобы Ладожское озеро, как в древние времена, опять стало нашим, флоту нашему ходить с севера без опасения. Надобно идти за реку Нарову, брать Нарву на сей раз без конфузии. Готовиться к походу тотчас, камрады. Промедление — смерти подобно.

5

Петр Алексеевич увидел сквозь табачный дым, сквозь частый переплет окна, что месяц со срезанным бочком, все время мчавшийся сквозь разорванные туманы, остановился и повис.

— Сиди, сиди, Данилыч, провожать не надо, схожу — подышу, вернусь.

Он встал из-за стола и вышел на крыльцо под Нептуна и гру-

дастую деву с золотым горшком. Влетел в ноздри остро пахучий, мягкий ветер. Петр Алексеевич сунул трубку в карман. От стены дома — из-за колонны — отделился какой-то человек без шапки, в армяке, в лаптях, опустился на колени и поднял над головой лист бумаги.

— Тебе чего? — спросил Петр Алексеевич. — Ты кто? Встань, — указа не знаешь?

— Великий государь, — сказал человек тихим, проникающим голосом, — бьет тебе челом детинишка скудный и бедный, беззаступный и должный, Андрюшка Голиков... Погибаю, государь, смилуйся...

Петр Алексеевич сердито потянул носом, сердито взял грамоту, приказал еще раз — встать:

— От работы бегаешь? Болен? Водку на сосновых шишках вам выдают, как я велел?

— Здоров я, государь, от работы не бегаю, вожу камень и землю копаю, бревна пилю... Государь, сила чудная во мне пропадает... Живописец есмь от рода Голиковых — богомазов из Палехи. Могу парсуны писать, как бы живые лица человечьи, не стареющие и не умирающие, но дух живет в них вечно... могу писать морские волны и корабли на них под парусами и в пушечном дыму, — весьма искусно...

Петр Алексеевич в другой раз фыркнул, но уже не сердито: — Корабли умеешь писать? А — как тебе поверить, что не врешь?

— Мог бы сбежать, принести, показать, да — на стене написано, на штукатурке, и не красками — углем... Красок-то, кистей — нет. Во сне их вижу... За краски, хоть в горшочках с наперсток, да за кисточек несколько, государь, так бы тебе отслужил — в огонь бы кинулся...

В третий раз Петр Алексеевич фыркнул коротким носом: «Пойдем!» — и, подняв лицо к месяцу, что светил на тонкий ледок луж, хрустевших под ботфортами, пошел, как всегда, стремительно. Андрей Голиков рысцой поспевал за ним, косясь на необыкновенно длинную тень от царя Петра, стараясь не наступить на нее.

Миновали площадь, свернули под редкие сосны, дошли до Большой Невки, где по берегу стояли, крытые дерном, низенькие землянки строительных рабочих. У одной из них Голиков — вне себя — кланяясь и причитая шепотом, отворил горбыльную дверь. Петр Алексеевич нагнулся, шагнул туда. Человек двадцать спало на нарах, — из-под полушубков, из-под рогож торчали босые ноги. Голый по пояс, большебродый человек сидел на низенькой скамеечке около светца с горящей лучиной, — латал рубаху.

Он не удивился, увидя царя Петра, воткнул иглу, положил рубаху, встал и медленно поклонился, как в церкви — черному лику.

— Жалуйся! — отрывисто сказал Петр. — Еда плохая?

— Плохая, государь,— ответил человек просто, ясно.
— Одеты худо?
— Осенью выдали одежонку,— за зиму — вишь — сносили.
— Хвораете?
— Многие хворают, государь,— место очень тяжелое.
— Аптека вас пользует?
— Про аптеку слыхали, точно.
— Не верите в аптеку?
— Да как тебе сказать, сами собой будто бы поправляемся.
— Ты откуда? По какому наряду пришел?
— Из города Керенска пришел, по-третьему, по осеннему наряду... Мы — посадские. Тут, в землянке, мы все — вольные...

— Почему остался зимовать?
— Не хотелось на зиму домой возвращаться,— все равно с голоду выть на печи. Остался по найму, на казенном хлебе,— возим лес. А ты посмотри — какой хлеб дают.— Мужик вытащил из-под полушубка кусок черного хлеба, помял, поломал его в негнущихся пальцах.— Плесень. Разве тут аптека поможет?

Андрей Голиков тихонько переменял лучину в светце,— в низенькой, обмазанной глиной, местами лишь побеленной землянке стало светлее. Кое-кто из-за рогожи поднял голову. Петр Алексеевич присел на нары, обхватил коленку, пронзительно,— в глаза,— глядел на бородатого мужика:

— А дома, в Керенске, что делаешь?
— Мы — сбитничики. Да ныне мало сбитню стали пить, денег ни у кого нет.

— Я виноват, всех обобрал? Так?

Бородатый поднял, опустил голые плечи, поднялся, опустил медный крест на его тощей груди,— с усмешкой качнул головой:

— Пытаешь правду?.. Что ж, правду говорить не боимся, мы ломаные... Конечно, в старопрежние годы народ жил много легче. Даней и поборов таких не было... А ныне — все деньги да деньги давай... Платили прежде с дыму, с сохи, большей частью — круговой порукой, можно было договориться, поослобонить,— удобство было... Ныне ты велел платить всем подушно, все души переписал,— около каждой души комиссар крутится, земский целовальник, плати. А последние года еще,— сюда, в Питербург, тебе ставь в лето три смены, сорок тысяч земских людей... Легко это? У нас с каждого десятого двора берут человека,— с топором, с долотом или с лопатой, с поперечной пилой. С остальных девяти дворов собирают ему кормовые деньги — с каждого двора по тринадцати алтын и две денежки... А их надо найти... Вот и дери на базаре глотку: «Вот он, сбитень горячий!» Другой бы добрый человек и выпил,— в кармане ничего нет, кроме «спасиба». Сыновей моих ты взял в драгуны, дома — старуха да четыре девчонки — мал мала меньше. Конечно, государь, тебе виднее — что к чему...

— Это верно, что мне виднее! — жестко проговорил Петр Алексеевич. — Дай-ка этот хлеб-то. — Он взял заплесневелый кусок, разломил, понюхал, сунул в карман. — Пройдет Нева, привезут новую одежду, лапти. Муку привезут, хлеб будем печь здесь. — Он пошел было к двери, забыв про Голикова, но тот до того умоляюще метнулся, взглянул на него, Петр Алексеевич с усмешкой сказал:

— Ну, богомаз? Показывай...

Часть стены между нарами, тщательно затертая и побеленная, была прикрыта рогожей. Голиков осторожно снял рогожу, подтащил тяжелый светец, зажег еще и другую лучину и, держа ее в дрожащей руке, возгласил высоким голосом:

— Вельми преславная морская виктория в усть Неве мая пятого дня, тысячу семьсот третьего года: неприятельская шнява «Астрель» о четырнадцати пушек и адмиральский бот «Гедан» о десяти пушек сдаются господину бомбардиру Петру Алексеевичу и поручику Меньшикову.

На штукатуренной стене искусно, тонким углем, были изображены на завитых пеной волнах два шведских корабля, в пушечном дыму, окруженные лодками, с которых русские солдаты лезли на бордаж. Над кораблями из облака высовывались две руки, держащие длинный вымпел со сказанной надписью. Петр Алексеевич присел на корточки. «Ну и ну!» — проговорил. Все было правильно, — и оснастка судов, и надутые пузырями паруса, и флаги. Он даже разобрал Алексашку с пистолетом и шпагой, лезущего по штурмовому трапу, и узнал себя, — принаряженного слишком, но — действительно — он стоял тогда под самой неприятельской кормой, на носу лодки, кричал и кидал гранаты.

— Ну и ну! Откуда же ты знаешь про сию викторию?

— Я тогда на твоей лодке был, гребцом...

Петр Алексеевич потрогал пальцем рисунок, — и верно, что уголь. (Голиков за спиной его тихо застонал.)

— Этак я тебя, пожалуй, в Голландию пошлю — учиться. Не сопьешься? А то я вас знаю, дьяволов...

...Петр Алексеевич вернулся к генерал-губернатору, опять сел на золоченый стул. Свечи догорали. Гости сильно уже подвыпили. На другом конце стола корабельщики, склоняясь головами, пели жалобную песню. Один Александр Данилович был ясен. Он сразу заметил, что у мин херца подергивается уголок рта, и быстро соображал — с чего бы это?

— На, закуси! — вдруг крикнул ему Петр Алексеевич, выхватывая из кармана кусок заплесневелого хлеба. — Закуси вот этим, господин генерал-губернатор!..

— Мин херц, тут не я виноват, хлебными выдачами ведает Головкин, ему подавиться этим куском... Ах, вор, ах, бесстыдник!

— Ешь! — у Петра Алексеевича бешено расширились глаза. — Дерьмом людей кормишь — ешь сам, Нептун! Ты здесь за все отвечаешь! За каждую душу человечью...

Александр Данилович повел на мин херца томным, раскаянным взором и стал жевать эту корку, глотая нарочно с трудом, будто через слезы...

6

Петр Алексеевич пошел спать к себе в домик, потому что у генерал-губернатора комнаты были высокие, а он любил потолки низенькие и помещения уютные. В бытность свою в Саардаме спал в домишке у кузнеца Киста в шкафу, где и ног нельзя было вытянуть, и все-таки ему там нравилось.

Денщик Нартов тепло натопил печь, на столе перед длинным окошечком, в которое глядеть нужно было нагнувшись, разложил книги и тетради, бумагу и все — чем писать, готовальни — чертежные, столярные и медицинские — в толстых кожаных сумках, подозрные трубы, компасы, табак и трубки. Горница была обита морской парусиной. В углу стоял — в полроста человека — медный фонарь, привезенный для маячной мачты Петропавловской крепости; лежало несколько якорей для ботигов и буеров, смоляные концы, бокаутвые блоки.

Тут бы Петру Алексеевичу — после бани и хорошего ужина — и заснуть сладко на деревянной постели с крашенинным пологом на четырех витых столбиках, натянув на голову холщовый колпак. Но ему не спалось. Шумел ветер по крыше — порывами, взывал в печной трубе, тряс ставней. На полу, на кошме, поставив около себя круглый фонарь с дырочками, сидел друг сердечный — Алексашка и рассказывал про денежные трудности короля Августа, о которых постоянно доносил — письменно и через нарочных — посол при его дворе князь Григорий Федорович Долгорукий.

Короля Августа вконец разорили фаворитки, а денег нет: в Саксонии подданные его отдали все, что могли, — говорят, там ста талеров не найти взаимы; поляки на сейме в Сандомире в деньгах отказали; Август продал прусскому королю свой замок за полцены, и опять — не то черт ему подсунул, не то король Карл — одну особу — первую красавицу в Европе, графиню Аврору Кенигсмарк, и он эти деньги ухлопал на фейерверки да на балы в ее честь; когда же графиня убедилась, что карманы у него вывернуты, сказала ему кумплимент и отъехала от него, увозя полную карету бархатов, шелков и серебряной посуды. Ему стало и есть нечего. Прибыл он ко князю Григорию Федоровичу Долгорукому, разбудил его, упал в кресло и давай плакать: «Мои, говорят, саксонские войска другую неделю грызут одни сухари, польские войска, не получая жалованья, занялись грабежом... Поляки совсем сошли с ума — такого пьянства, такой междоусобицы в Польше и не запомнят, паны со шляхтой штурмом берут друг у друга города и замки, жгут деревнишки, безобразничают хуже татар; до Речи Посполитой им и горя мало... О, я несчастный

король! О, лучше мне вынуть шпагу, да и напороться на нее!»

Князь Долгорукий, человек добрый, послушал-послушал, прослезился над таким несчастьем и дал ему без расписки из своих денег десять тысяч ефимков. Король тут же залился домой, где у него бесилась новая фаворитка — графиня Козельская, и давай с ней пировать...

Александр Данилович пододвинул железный фонарь, вынул письмо и, поднеся его к светящимся дырочкам, прочел с запинками, так как еще не слишком был силен в грамоте:

— Мин херц, вот, — к примеру, — что нам отписывает из Сандомира князь Григорий Федорович: «Польское войско хорошо воюет в шинках за кружкой, а в поле противу неприятеля вывести его трудно... Саксонское войско короля Августа изрядно, только сердца против шведов не имеет. Половина Польши разорена шведом вконец, не пощажены ни костелы, ни гробы. Но польские паны ни на что не глядят: думают только каждый о себе. Не знаю — как может стоять такое государство! Нам оно никакой помощи не принесет, — разве только отвлекать неприятеля...»

— На бóльшую пользу и не рассчитываю, — сказал Петр Алексеевич, — а Долгорукому я писал, что как хочет — так сам и взыскивает с короля десять тысяч ефимков, я в них не ответчик... Фрегат можно построить на эти деньги. — Он зевнул, стукнув зубами. — Евины дочки! Что делают с нашим братом! В Амстердаме ко мне ходила одна, из трактира, — врунья, прыткая, но — ничего... Тоже — не дешево обошлась...

— Мин херц, разве тебе равняться по этой части с Августом. Ему одна Аврора Кенигсмарк стоила полмиллиона. А трактирщице, — я хорошо помню, — ты подарил не то триста, не то пятьсот рублей, — только...

— Неужто — пятьсот рублей? Ай-ай-ай... Бить некому было... Август нам не указка, мы люди казенные, денег у нас своих нет. Поостерегись, Алексашка, с этим «только», — полегче рассуждай насчет казенных денег... — Он помолчал. — У тебя тут человек один есть, лес возит... Вот бог дал таланту...

— Это Андрюшка Голиков, что ли?

— Здесь он — зря, не при своем деле... Надо его послать в Москву... Пусть напишет парсуну с одной особы. — Петр Алексеевич покосился. Алексашка, — не разобрать, — кажется, начал скалить зубы. — А вот — встану — так отвожу тебя дубинкой, куманек, будешь знать — как смеяться... Скучаю я по Катерине, вот и все... Закрою глаза — и вижу ее, живую, открою глаза — ноздрями ее слышу... Все ей прощаю, всех ее мужиков, с тобой вместе... Евина дочка, — и сказать больше нечего...

Петр Алексеевич вдруг замолк и обернулся к длинному, серому в рассвете окошку. Александр Данилович легко приподнялся с кошмы. За окном — в шуме ветра — начинался другой, тяжелый шум лопающегося, ломающегося, грозящегося льда.

— Нева тронулась, мин херц!..

Петр Алексеевич вытащил ноги из-под медвежьего одеяла:
— Да ну! Теперь нам — не спать!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Поход на Кексгольм был прерван в самом начале. Выступившие заранее пехотные полки и воинские обозы не дошли и полпути до Шлиссельбурга, конница едва только переправилась через речку Охту, тяжелые гребные лодки с преображенцами и семеновцами не отплыли и пяти верст вверх по Неве, — на берегу, из поломанного ельника, выскочил всадник и отчаянно замахал шляпой. Петр Алексеевич крейсировал на боте позади гребной флотилии; услышав, как кричит этот человек: «Э-эй, лодошники, где государь? к нему грамота!» — он перекинул парус и подплыл к берегу. Всадник спрыгнул с коня, подскочил к самой воде, ударил двумя пальцами по тулье войлочной офицерской шляпы, выкинув вперед румяное лицо с готовно-испуганными глазами, проговорил осипшим голосом:

— От ближнего стольника Петра Матвеевича Апраксина, господин бомбардир.

Он выхватил из-за красного грязного обшлага письмо, прошитое нитью, запечатанное воском, подал, отступил. Это был прапорщик Пашка Ягужинский.

Петр Алексеевич зубами перекусил нитку, пробежал письмо, прочел еще раз внимательно, нахмурился. Прищурясь, стал глядеть туда, где по солнечной зыби плыли тяжело груженные лодки, враз взмахивая веслами.

— Отдай лошадь матрозу, садись в лодку, — сказал он Ягужинскому и вдруг закричал на него: — Зайди в воду, видишь мы — на мели, отпихни лодку, потом прыгай.

Он молчал весь путь до Питербурхской стороны, куда пришлось плыть, лавируя против ветра. Он ловко подвел бот к мосткам, два матроса торопливо опустили большой парус, кинулись, стуча башмаками, на нос лодки, где на заевшем кливерштоке хлопало полотнище. Петр Алексеевич молча посверкивал зрачками, покуда они в порядке, по регламенту, не свернули паруса и не убрали все снасти. Только тогда он зашагал к своему домику. Тотчас туда собрались встревоженные Меньшиков, Головкин, Брюс и вице-адмирал Крейс. Петр Алексеевич приоткрыл окно, впуская ветер в душную комнатку, сел к столу и прочел им письмо Петра Матвеевича Апраксина, начальствующего гарнизоном в крепости Ямбурге, расположенной в двадцати верстах к северу от Нарвы:

«Как ты приказал, государь, вышел я в начале весны из Ямбурга с тремя пехотными полками и пятью ротами конницы

к устью Наровы и стал там на месте, где впадает ручей Россонь. Вскороости пришло пять шведских кораблей, и еще были видны вымпелы далеко в море. В малый ветер два боевых корабля вошли в устье и стали бить из пушек по нашему обозу. Слава богу, мы отвечали из полевых пушек изрядно, один корабль у шведов разбили ядрами и неприятеля из усть-Наровы выбили.

После этого боя шведы вторую неделю стоят на якорях на взморье, — пять военных кораблей и одиннадцать шхун грузовых, чем приводят меня в немалое сомнение. Я посылаю непрерывно разбеды по всему морскому берегу, не давая шведам выгрузить ничего на сухой берег. А также посылаю драгун по ревельской дороге и к самой Нарве и разбиваю неприятельские караулы. Языки говорят, что в Нарве всем нуждаются и очень тужат, что твоим премудрым повелением мы заняли наровское устье.

Охотники наши, подобравшись к самым воротам Нарвы, ночью захватили посланца от ревельского губернатора к наревскому коменданту Горну с цифирным письмом. Оный нарочный объявился презнатной фамилии капитаном гвардии Сталь фон Гольштейновым, любимой персоной у короля Карла. Сначала он ничего не хотел отвечать, а как я покричал на него маленько, он рассказал, что скоро в Нарве ждут самого Шлиппенбаха с большим войском и шведы уже отправили туда караван в тридцать пять судов с хлебом, солодом, сельдями, копченой рыбой и солониной. Караваном командует вице-адмирал де Пру, француз, у которого левая рука оторвана и вместо нее приделана серебряная. У него на кораблях — свыше двухсот пушек и морская пехота.

Я не знал, верить ли мне капитану Гольштейнову в таком превеликом и преужасном деле, но — вот, государь, сегодня рано поутру развеяло над морем мглу, и мы узрели весь горизонт в парусах и насчитали свыше сорока вымпелов. Силы мои слабы, конницы — самое малое число, пушек — только девять и то одну на днях разорвало при стрельбе... Кроме конечно погибели, ничего не жду... Помоги, государь...»

— Ну? Что скажете? — спросил Петр Алексеевич, окончив чтение.

Брюс свирепо уткнулся подбородком в черный галстух. Корнелий Крейс не выразил ничего на дубленом лице своем, только сузил зрачки, будто отсюда увидал полсотни шведских вымпелов в Нарвском заливе; Александр Данилович, всегда быстрый на ответ, сегодня тоже молчал, насупясь.

— Спрашиваю, господа военный совет, считать ли нам, что в сей хитрой игре король Карл выиграл у меня фигуру: одним ловким ходом на Нарву оборонил Кексгольм? Иль продолжать нам быть упрямыми и вести гвардию на Кексгольм, отдавая Нарву Шлиппенбаху?

Корнелий Крейс затряс лицом, — противно адмиральскому положению вынул из табакерки кусочек матросского табаку, вареного с кайенским перцем и ромом, и сунул за щеку.

— Нет! — сказал он.

— Нет! — сказал Брюс твердо.

— Нет! — сказал Александр Данилович, стукнув себя по коленке.

— Кексгольм нам не трудно будет взять, — проговорил Гаврила Иванович Головкин смиренным голосом, — но как бы король Карл в это время у нас вторую фигуру не отыграл, на сей раз — ферзя.

— Так! — сказал Петр Алексеевич.

И без слов было понятно, что пропустить корпус Шлиппенбаха в Нарву — значило отказаться от овладения главными крепостями — Нарвой и Юрьевым, — без которых оставались открытыми подступы к Петербургу. Медлить нельзя было ни часу. Через небольшое время нарочные поскакали по шлиссельбургской дороге и вдоль Невы с приказом — повернуть обратно в Петербург войска и гребной флот.

Поручик Пашка Ягужинский, не слезавший с седла трое суток, только и успел выпросить у денщика Нартова ковшичек царской перцовки и ломоть хлеба с солью и отправился обратно в лагерь к Петру Матвеевичу Апраксину, которому было велено — без сомнения положить печать свою на господа бога и стоять с войском крепко против шведского флота даже до последнего издыхания. Отпуская Ягужинского, Петр Алексеевич взял его за руку, притянул, поцеловал в лоб:

— На словах передашь ему: через неделю всеми войсками буду под Нарвой...

2

Короля Карла разбудило залиvistое пенье петуха; открыв глаза в полусвете палатки, он слушал, как петух с придыханием прилежно надрывает глотку; его возили в обозе и на ночь ставили в клетке у королевского шатра. Потом протяжно заиграл рожок зорю, — королю вспомнилось туманное ущелье, рога, собачий лай и нетерпение — пролить кровь зверя... У самого шатра затыкала собачонка, по голосу — дрянь, из тех, что дамы возят с собой в карете... Кто-то шикнул на нее, собачонка жалобно взвизгнула. Король отметил: «Узнать — откуда собачонка». Неподалеку у коновязи забили лошади, одна дико закричала. Король отметил: «Жаль, но, видимо, «Нептуна» придется охолостить». Протопади мерные, тяжелые шаги. Король насторожил ухо, чтобы услышать команду при смене караула. Над палаткой пронеслись птицы, разрезая со свистом воздух. Отметил: «Будет погожий день». Звуки и голоса становились все отчетливее. Слаще всех виол, арф, клавесин была эта бодрая, мужественная музыка пробуждающегося лагеря.

Король чувствовал себя отлично после короткого сна на походной постели, под шинелью, пахнущей дорожной пылью

и конским потом. О да, было бы в тысячу раз приятнее проснуться от петушиного крика, когда по другую сторону поля стоит неприятель и в сыром тумане оттуда тянет дымком его костров... Тогда — одним прыжком с постели — в ботфорты, и — на коня... И спокойным, шагом, сдерживая блеск глаз, — выехать к своим войскам, которые уже построились перед боем и стоят, усаые, суровые...

Черт возьми! После роковой битвы при Клиссове король Август, потеряв все пушки и знамена, только отступает, вот уже целый год отступает, петляет, как заяц, по необъятной Польше... О трус, о лгун, интриган, предатель, развратник! Он боится открытой встречи, он принуждает своего противника разменивать прогремевшую славу побед при Нарве, Риге и Клиссове на бесплодную погоню за голодными саксонскими фузилерами и пьяными польскими гусарами... Он принуждает своего врага валяться, подобно куртизанке, все утро в постели!..

Король Карл приложил два пальца к губам, свистнул. Тотчас откинулся край парусины, и в палатку вошли камер-юнкер барон Беркенгельм, с бородавочкой на приподнятом носике, и вестовой — телохранитель — ростом под самый верх палатки; он внес вычищенные ботфорты и темно-зеленый сюртук, на котором в нескольких местах были заштопанные следы от пуль и ядерных осколков.

Король Карл вышел из шатра и подставил ладони, — вестовой осторожно стал лить воду из серебряного кувшина. К летящим ядрам король Карл приучил себя легко, но холодной воды боялся, когда она попадала на шею и за ушами... Бросив полотенце вестовому, он причесал коротко стриженные волосы, — не глядя в зеркальце, поднесенное ему бароном Беркенгельмом. Он оправил застегнутый до шеи сюртук и оглянул ровные ряды палаток — на зеленом склоне, спускающемся к ручью. Позади палаток шла обычная суета у коновязей; пушкарки начищали тряпками медные стволы пушек. Карл презрительно отметил: «Сколь великолепно — брызги грязи на лафетах и медь, закопченная порохом!» Внизу, у берега ручья, солдаты мыли рубахи, развешивали их на ветвях низеньких ракут. По другую сторону ручья — по болоту — важно расхаживали аисты, похожие на профессоров богословия. Дальше — торчали голые трубы сожженной деревни, за ней — на бугре — из-за вековых деревьев желтели две облупленные башни костела.

Королю Карлу до оскомины надоел такой, столько раз повторявшийся, скучный пейзаж! Три года колесить по проклятой Польше! Три года, которые могли бы отдать ему полмира — от Вислы до Урала!

— Ваше королевское величество изволят принять завтрак, — сказал барон Беркенгельм, изящно холеной рукой указывая на откинутые полотнища шатра. Там, на пустой пороховой бочке, покрытой белоснежным полотном, лежал на серебряной тарелке хлеб, нарезанный тоненькими кусочками, стояла миска с вареной

яйцо... Добрые поляки, которые вылезли из каких-то нор, только воздевали руки к богу... Сир, я хочу завтракать... Я хочу вознаградить себя за все ужасы путешествия, взываю к вашей доброте, вашему великодушию — позвольте мне завтракать в вашем присутствии!

Говоря без умолку на таком изысканном французском языке, будто она всю жизнь провела в Версале, графиня успела в это время поправить волосы, подкрасить губы, припудриться, надуться и переменить ночной чепец на испанские кружева... Король Карл тщетно пытался вставить слово, — графиня выпорхнула из кареты и взяла его под руку:

— О мой король, от вас — без ума вся Европа, больше не говорят о принце Евгении Савойском, о герцоге Мальборо, — Евгений и Мальбрук принуждены уступить венок славы королю шведов... Можно извинить мое волнение, — за минуту видеть вас, героя наших сновидений, я безрассудно готова отдать жизнь... Обвиняйте меня в чем хотите, сир, я наконец слышу ваш голос, я счастлива...

Графиня подхватила вертевшуюся под ногами курносую косматую собачонку и так крепко вцепилась королю под локоть, что ему пришлось бы оказаться смешным, отдирая от себя эту даму.

— Я ем овощи и пью только воду, — отрывисто сказал он, — сомневаюсь, что этим вы могли бы удовлетвориться после излишеств короля Августа... Идите в мою палатку...

Весь шведский лагерь немало был удивлен, увидя своего короля, вытаскивающего из орешника пышную красавицу в разлетающихся на утреннем ветерке легких юбках и кружевах. Король вел ее, зло подняв нос. У палатки ожидали — барон Беркенгельм в изящной позиции, с золотым лорнетом, в преогромном парике, и мужиковатый, громоздкий спокойно-насмешливый граф Пипер.

Пропустив графиню в палатку, король Карл сказал ему сквозь зубы:

— Этого я вам долго не прощу. — И Беркенгельму: — Найдите, черт возьми, какой-нибудь говядины для этой особы...

Король сел на барабан напротив графини, она — на подушки, подsunутые ей бароном. Завтрак, накрытый на пороховой бочке, превзошел все ожидания, — здесь был паштет, гусиные потроха, холодная дичь, и в кубке работы Бенвенуто Челлини оказалось вино. Король отметил, поджав губы: «Отлично! Я знаю теперь, чем питается этот негодяй Беркенгельм у себя в палатке...» Графиня со вкусом уписывала завтрак, бросая косточки собачонке и продолжая щебетать:

— Ах, Иезус-Мария, зачем ненужное притворство!.. Сир, вы читаете мои мысли... Я приехала сюда с одной надеждой — спасти Речь Посполитую... Это моя миссия, внушенная сердцем... Я хочу вернуть Польше ее беспечность, ее веселье, ее славные пиры, ее роскошные охоты... Польша — в развалинах. Сир, не

хмурьте брови, — во всем виновато легкомыслие короля Августа. О, как он раскаивается теперь, что в злой час послушал этого демона, Иоганна Паткуля, и стал вашим врагом... Не злая воля Августа, верьте мне, но лишь Паткуль, достойный четвертования, начал несчастную войну за Ливонию. Паткуль, только Паткуль создал противоестественный союз короля Августа с датским королем и диким чудовищем — царем Петром... Но разве ошибки несправимы? Разве не выше всех добродетелей — великодушные... О сир, вы — великий человек, вы — великодушны...

Славянские глаза графини сделались похожими на влажные изумруды. Но аппетита она не потеряла. Ее мысли мчались таким галопом, что король Карл с трудом догонял их, и едва только намеревался произвести ответную резкость, как нужно было возражать на новую фразу. Беркенгельм сдерживал вздохи. Пипер, расставя в углу палатки тяжелые ноги, с портфелем, прижатым к животу, тонко улыбался.

— Мира, только мира хочет король Август, готовый с облегчением разорвать позорный договор с царем Петром. Но громче всех молим вас о мире мы — женщины... Три года войны и смуты, — это слишком много для наших коротких лет...

— Не мир — капитуляция, — проговорил наконец король Карл, уставясь на графиню желтоватыми глазами. — Разговаривать я намерен не здесь, в Польше, более уже не принадлежащей Августу, а в Саксонии, в его столице. Вы насытились, сударыня? Вам более не в чем упрекнуть меня?..

— Сир, я совсем сошла с ума, — торопливо сказала графиня, облизывая розовые пальчики, после того как расправилась с отлично зажаренным бекасом. — Я забыла сообщить самое важное, — для чего я мчалась к вам сломя голову. — Она открыла золотую коробочку, висящую у нее на браслете, вынула бумажную трубочку и развернула ее. — Сир, вот депеша голубиной почты, полученной вчера утром. Царь Петр с большими силами двинулся на Нарву. Мой долг предупредить вас об этом опасном марше московского тирана...

Граф Пипер перестал улыбаться, подошел к королю, и они вместе стали разбирать мелкий почерк голубиной депеши. Графиня перевела прекрасные глаза на Беркенгельма, легко вздохнула и, подняв кубок Бенвенуто Челлини, отпила из него.

3

Великолепный король Август, казалось, созданный природой для роскошных празднеств, для покровительства искусствам, для любовных утех с красивейшими женщинами Европы, для тешения Речи Посполитой, желающей иметь короля не хуже, чем в Вене, в Мадриде или в Версале, — находился сейчас в крайне подавленном состоянии духа. Его двор расположился в полуразрушенном замке дрянного городишка Сокаль, — Львовского вое-

водства, — и терпел лишения. Здесь не было даже воскресного базара, потому что украинское население из ближайших деревень либо попряталось по лесам, ожидая конца войны, либо ушло черт знает куда, вернее всего в Приднепровье, откуда шли темные слухи о начавшейся гайдаматчине...

Чтобы не ложиться спать на пустой желудок, королю Августу приходилось принимать приглашения на ужины от местных помещиков, говорить французские комплименты захолустным дамам и пить сквернейшее вино. Любой польский пан, закрутив пышные усы и гордо поглядывая на дальний — «серый» конец стола, где стучала саблями и кружками беспутная загоновая шляхта, — чувствовал себя больше королем, чем король Август. Варшавским сеймом он был декоронирован. Правда, половина польских воеводств не признала этого, но все же в Варшаве, в его дворце, сидел второй польский король, Станислав Лещинский, писал оскорбительные универсалы и дарил его — Августа — парчовые кафтаны и парижские чулки своей челяди. Весь восток — правобережье Днепра — от Винницы до Подолии — пылал мужицким восстанием, не менее кровавым, чем при Богдане Хмельницком. И, замыкая окружение, не так далеко отсюда, где-то между Львовом и Ярославом, стоял король Карл с отборным тридцатипяти тысячным войском, отрезая Августу отступление в его родную Саксонию.

Август терял самоуверенность от омерзительного страха перед королем Карлом — этим свирепым мальчишкой в пыльном сюртуке и порыжелых ботфортах, с лицом скопца и глазами тигра. Карла нельзя было ни купить, ни соблазнить, — он ничего не желал от жизни, кроме грохота и дыма пушек, лязга скрещенного железа, воплей раненых солдат и зрелища истоптанного поля, пахнувшего гарью и кровью, по которому осторожно — через трупы — ступает его вислозадый конь. Единственная книжка, которую Карл держал у себя под тощей подушкой, были комментарии Цезаря. Он любил войну со страстью средневекового норманна. Он предпочел бы получить в голову двадцатифунтовую бомбу, чем заключить мир, хотя бы самый выгодный для его королевства.

Сегодня король Август весь день ожидал возвращения графини. Он не надеялся, чтобы она, при всей женской ловкости, могла склонить Карла на мир. Но известия, доставленные из Литвы по голубиной почте, о выступлении царя Петра были столь важными и угрожающими, что Карл мог и не понадеяться на один корпус генерала Шлиппенбаха и поколебаться, — продолжать ли бессмысленную погоню за Августом, или повернуть войска в Прибалтику, куда для схватки с царем Петром толкали его решительно все: и австрийский император, смертельно боявшийся, как бы Карл не заключил союза с французским королем и не двинул свои войска на Вену, и французский король, опасавшийся, как бы венские дипломаты не перетянули Карла на сторону императора и не предложили бы ему военную прогулку к французским

границам, и прусский король, боявшийся решительно всех и больше других — сумасбродного Карла, которому ничего не стоило вторгнуться в Бранденбургскую Пруссию, захватить Кенигсберг и отделать его — короля — так, что он не повернет ни рукой, ни ногой.

Затем пришел злой, как черт, Иоганн Паткуль, казавшийся еще толще от плохо сшитого зеленого, с красными обшлагами, русского генеральского мундира. Он хрипел, собирал морщинами высокий лоб, слишком узкий для его жирного и надменного лица, и на скверном французском языке жаловался на трусость царя Петра, уклоняющегося от решительной схватки с королем Карлом.

«У царя две большие армии. Он должен вторгнуться в Польшу и, соединясь с вами, разбить Карла, каких бы жертв это не стоило,— говорил Паткуль, вздрагивая багровыми щеками.— Это был бы смелый и умный шаг. Царь алчен, как все русские. Его пустили к Финскому заливу, где он с мальчишеской торопливостью строит свой городишко; он получил Ингрию и две прекрасные крепости — Ям и Копорье; будь доволен и выполняй свой долг перед Европой! Но у него разыгрывается аппетит на Нарву и Юрьев, он раскрывает рот на Ревель. После ему захочется Ливонии и Риги! Царя нужно удержать в границах... Но разговаривать об этом с его министрами бесполезно... Это неотесанные мужики в париках из крашеной кудели,— Европа для них то же, что чистая постель для грязной свиньи... Я выражаюсь слишком резко и откровенно, ваше величество, но мне больно... Я хочу одного,— чтобы моя Ливония вернулась под скипетр вашего королевского величества... Но повсюду — в Вене, в Берлине и здесь у вас — я встречаю полное равнодушие... Я теряюсь,— кто же в конце концов бóльший враг для Ливонии: король Карл, угрожающий лично мне четвертованием, или царь Петр, оказавший мне столь лестное доверие — вплоть до чина генерал-лейтенанта? Да, я надел русский мундир и честно доведу эту игру до конца... Но мои чувства остаются моими чувствами... Боль моего сердца усугубляется оцепенением и бездействием вашего величества... Возвысьте голос, требуйте войск от царя, настаивайте на решительной схватке с Карлом...»

В другое время король Август просто вышвырнул бы за дверь этого наглеца. Сейчас ему приходилось молчать, вертя в пальцах табакерку. Паткуль наконец ушел. Король кликнул дежурного — ротмистра Тарновского — и сказал, что пожалует сто червонцев (которых у него не было) тому, кто первый донесет о возвращении графини Козельской. Внесли свечи в прозеленевшем трехсвечнике, взятом, должно быть, из синагоги. Король подошел к зеркалу и задумчиво стал разглядывать свое — несколько осунувшееся — лицо. Оно никогда ему не надоедало, потому что он живо представлял себе, как должны любить женщины этот очерченный, как у античной статуи, несколько чувственный рот с крепкими зубами, большой породистый нос, веселый блеск красивых глаз —

фонарей души... Король приподнял парик,— так и есть,— седина! От глаза к виску бегут морщинки... Проклятый Карл!

— Позвольте напомнить, ваше величество,— сказал ротмистр, стоявший у дверей,— пан Собещанский в третий раз присылает шляхтича — сказать, что пан и пани не садятся за стол в ожидании вашего величества... У них блюда такие, что могут перепреть...

Из кармана шелкового камзола, крепко пахнущего мускусом, король вынул пудреницу, лебяжьей пуховкой провел по лицу, отряхнул с груди, с кружев пудру и табак,— спросил небрежно:

— Что же у них будет особенное к ужину?

— Я допросил шляхтича,— он говорит, со вчерашнего дня на панском дворе колют поросят, режут птицу, набивают колбасы и фарш. Зная утонченный вкус вашего величества, сама пани приготовила жареные пиявки с гусиной кровью...

— Очень мило... Дай шпагу, я еду...

Именье пана Собещанского было недалеко от города. Грозовая туча прикрыла тускнеющую полосу заката, сильно пахло дорожной пылью и еще не начавшимся дождем, когда Август в кожаной карете, изрядно потрепанной за все невзгоды, подъезжал к усадьбе. О его прибытии оповестил прискакавший вперед него шляхтич. Под темными ветвями вековой аллеи навстречу карете бежали люди с факелами. Карета обогнула куртину и под завыванье собак остановилась у длинного одноэтажного дома, прикрытого камышовой крышей. Здесь тоже метались с факелами босые, в рваных рубахах панские холопы, с дико растрепанными волосами. У самого крыльца толпилось с полсотни загоновкой шляхты, кормившейся при дворе пана Собещанского,— седые ветераны панских драк с ужасающими сабельными рубцами на лице; толстобрюхие обжоры, гордившиеся напояженными, жесткими, как шипы, усами — без малого по четверти в длину; юнцы в потрепанных кафтанах с чужого плеча, но от того не менее задорные. Все они стояли подбоченясь, положив руки на рукоятки сабель,— в доказательство своей шляхетской вольности,— когда же король Август, нагнувшись большим телом, полез из кареты, они разом — по-латыни — закричали ему приветствие. С крыльца сходил, разводя руками, пожилой пан Собещанский, готовый в эту минуту — от широкого польского гостеприимства — подарить гостю все, чего бы он ни пожелал: гончих собак, коней из конюшни, всю челядь свою, если она ему нужна, василькового сукна, отороченный мехом кунтуш с самого себя. Пожалуй, не отдал бы только молодую пани Собещанскую... Пани Анна стояла позади супруга, такая хорошенькая, беленькая, с приподнятым носиком, удивленными глазами, в испанской шапочке с высокой тульей и пером,— у короля Августа отхлынула от сердца вся меланхолия.

С низким поклоном он взял пани Анну за кончики пальцев и, несколько приподняв ее руку,— как бы в фигуре полонеза,— повел в столовую. За ними шел пан с увлажненными от умиления

глазами, за паном — духовник, — пахнувший козлом сизовыбранный босоногий монах, подпоясанный веревкой; далее — по чину — вся шляхта.

Стол, на котором под скатертью расстелено было сено, а поверху разбросаны цветы, вызвал крики восхищения; один длинный шляхтич в кунтуше, надетом на голое тело, даже схватился за голову, мыча и раскачиваясь, чем вызвал общий смех. На серебряных, оловянных, расписных блюдах были навалены груды колбас, жареной птицы, телячьих и свиных окорока, копченые полотки, языки, соленья, моченья, варенья, хлебцы, бублики, пышки, лепешки, стояли украинские — зеленого стекла — медведи с водками, бочонки с венгерским, кувшины с пивом... Горели свечи, и помимо них в окна светили дымящими факелами дворовые холопы, глядевшие сквозь мутноватые стекла, как славно пирует их пан.

Король Август надеялся, что его присутствие заставит хозяина отказаться от обычая напивать гостей так, чтобы ни один не мог уйти на своих ногах. Но пан Собещанский твердо стоял за старинный польский чин. Сколько сидело за столом гостей — столько раз он поднимался, расправля горстью седые усы, громко произносил имя, начиная от короля, кончая последним на конце — тем длинным шляхтичем, оказавшимся также и без сапог, — и пил во здравие кубок венгерского. Весь стол вставал, кричал «виват!». Хозяин протягивал полный кубок гостю, и тот пил ответный за здравие пана и пани... Когда же за всех было выпито, пан Собещанский снова пошел по кругу, провозглашая здравицу сначала Речи Посполитой, затем всемилостивейшему королю Польши Августу, — «единственному, кому отдадим наши сабли и нашу кровь»... «Виват! Долой Станислава Лещинского!» — в иступлении кричала шляхта... Затем была витиеватая здравица нерушимой шляхетской вольности. Тут уже разгоряченные головы совсем потеряли разум, — гости выхватили сабли, стол зашатался, свечи повалились. Один плотный, одноглазый шляхтич, вскрикнув: «Так погибнут наши враги — схизматики и москали!» — лихо разрубил саблей огромное блюдо с колбасами.

По левую руку короля Августа, со стороны сердца, сидела раскрасневшаяся, как роза, пани Собещанская. Она дивно успевала расспрашивать короля об увлекательных обычаях Версаля, о его там похождениях, мелко-мелко смеясь, касалась его то локтем, то плечом и в то же время следила за гостями, особенно за «серым» концом, где иной шляхтич, придя в изумление от выпитого, засовывал копченый язык или гусиный полоток в карман своих холщовых шаровар, — и быстрыми, колющими взглядами подзывала слуг, отдавая приказания.

Король уже не один раз пытался обхватить нежную талию хозяйки, но каждый раз пан Собещанский протягивал ему для вивата полный кубок: «Вам в руки, всемилостивейший король». Август пытался недопивать или незаметно выплескивал под

стол, — ничто не помогало, — кубок тотчас доливался холопом, стоявшим за стулом, либо другим холопом, который сидел с бутылкой под столом. Наконец дорогому гостю было подано знаменитое блюдо поджаренных пивовок, — хозяйка своими руками положила их полную тарелку.

— Право же, мне стыдно, когда вы хвалите такое деревенское кушанье, — говорила она простеньким голосом, а в глазах ее он читал совсем иное, — делать их немудрено, лишь бы гусь был молодой и не особенно жирный... Когда они напьются крови, их вместе с гусем всовывают в духовую печь, они отваливаются от гусяной грудки и кладутся на сковородку...

— Бедный гусь, — говорил король, беря двумя пальцами пивавку и с хрустом укусывая ее. — Чего только не придумают хорошенькие женщины, чтобы полакомиться.

Пани Анна смеялась, перо на ее шапочке с высокой тульей, надетой набок, задорно вздрагивало. Король видел, что дело идет на лад. Он ждал лишь начала танцев, чтобы объясниться без помехи. В это время, расталкивая в дверях пьяных шляхтичей, ворвался черный от пыли, потный, перепуганный человек в изодранном кунтуше.

— Пан, пан, беда! — закричал он, бросаясь на колени перед панским стулом. — Ты послал меня в монастырь за бочкой старого меда... Я все достал исправно... Да черт меня понес обратно околицей — по большому шляху... Все я потерял — и бочку с медом, и лошадь, и саблю, и шапку... Едва душу свою спас... Разбили меня! Неисчислимое войско подходит к Сокалю.

Король Август нахмурился. Пани Анна впилась ногтями в его руку. Какое иное войско могло сейчас входить в Сокаль, — только король Карл в упрямой погоне... Шляхта закричала дикими голосами: «Шведы! Ратуйте!» Пан Собещанский ударил по столу кулаком так, что подскочили кубки:

— Тихо, паны, ваша милость! Каждому — у кого хмель сейчас же не выскочит из башки — прикажу отпустить пятьдесят плетей, разложу на ковре... Слушать меня, собачьи дети... Король мой гость, — я не покрою вечным позором свою седую голову... Пусть шведы приходят сюда хоть всем войском, — моего гостя им не отдадим...

— Не отдадим! — закричала шляхта, с лязгом выхватывая сабли из ножен.

— Седлайте коней... Зарядите пистолы... Умрем, не посрамим польской славы...

— Не посрамим... Виват!..

Королю Августу было ясно, что единственное благоразумное решение — немедленно вскочить в седло и бежать, благо ночь темна... Но бежать ему, Августу Великолепному, как жалкому трусу, покинув веселый ужин и прелестную женщину, все еще не отпускающую его руки? К такому унижению Карл его не принудит!.. К черту благоразумие.

— Велю вам, милостивые государи, вернуться к столу. Продолжим пир,— сказал он и сел, откинув от разгоряченных щек букли парика. В конце концов, если сюда явятся шведы — его куда-нибудь спрячут, увезут,— с королями плохого не случается... Он налил вина, поднял кубок,— большая, красивая рука его была тверда... Пани Анна взглянула на него с восхищением — за такой взгляд действительно можно было отдать королевство...

— Добро! Король нам велит пировать! — Пан Собещанский хлопнул в ладоши и приказал тому шляхтичу, что разрубил блюдо с колбасой, ехать с товарищами к большому шляху и стать там дозором; всему столу — вплоть до «серого» конца — наливать лучшего венгерского и пить, покуда в последней бочке не высохнет дно, из погребов и чуланов нести все, что есть еще доброго в доме, да звать музыкантов...

Пир загремел с новым воодушевлением. Пани Анна пошла танцевать с королем. Она танцевала так, будто соблазняла самого апостола Петра, чтобы отворил ей двери в райский сад. Шапочка ее сбилась набок, в кудрях вились звуки мазурки, короткая юбка крутилась и ластилась вокруг стройных ног, башмачки с красными каблукками то притоптывали, то летели, будто не касаясь пола... Великолепен был и король, танцевавший с нею,— огромный, пышный, бледный от вина и желания...

— Я теряю голову, пани Анна, я теряю голову, ради всех святых — пощадите,— говорил он ей сквозь зубы, и она взглядом отвечала, что пощады нет и двери рая уже раскрыты...

...За окнами в темноте слышались испуганные голоса челядинцев, захрапели лошади... Музыка оборвалась... Никто даже не успел схватиться за саблю или взвести курок пистолета... Только король, у которого в глазах все плыло кругом, крепко обхватил пани Анну и потянул шпагу...

В пиршественную залу вошли двое: один — огромный, кривой на один глаз, в высокой бараньей шапке с золотой кистью, с висящими светлыми усами под большим носом, другой — пониже его — барственный, с приятной мягкостью лица, одетый в запятанный мундир с генеральским шарфом через плечо.

— Здесь ли находится его королевское величество король Август? — спросил он и, увидев Августа, стоящего со шпагой в угрожающей позиции, снял шляпу, низко поклонился: — Всемиловитейший король, примите рапорт: повелением государя Петра Алексеевича я прибыл в ваше распоряжение, с одиннадцатью полками пехоты и пятью конными казачьими полками.

Это был киевский губернатор, командующий вспомогательным войском, Дмитрий Михайлович Голицын, старший брат шлиссельбургского героя Михайлы Михайловича. Другой — высокий, в клюквенном кафтане и в епанче до пят — был наказной казачий атаман Данила Апостол. У шляхты угрожающе зашевелились усы при виде этого казака. Он стоял на пороге, небрежно подбоченясь, играя булавой, на красивых губах — усмешка, брови

как стрелы, в едином глазу — ночь, озаряемая пожарами гайдамацких набегов.

Король Август рассмеялся, бросил шпагу в ножны, обнял Голицына и атаману протянул руку для целования. В третий раз был накрыт стол. По рукам пошел кубок, вмещавший полкварты венгерского. Пили за царя Петра, сдержавшего обещание — прислать из Украины помощь, пили за все пришедшие полки и за гибель шведов. Задорным шляхтичам в особенности хотелось напоить допьяна атамана Данилу Апостола, но он спокойно вытягивал кубок за кубком, только поднимал брови, — увалить его было невозможно.

На рассвете, когда уже немало шляхтичей пришлось унести волоком на двор и положить около колодца, король Август сказал пани Анне:

— У меня нет сокровищ, чтобы бросить их к вашим ногам. Я — изгнанник, питающийся подаянием. Но сегодня я снова силен и богат... Пани Анна, я хочу, чтобы вы сели в карету и следовали за моим войском. Выступать надо тотчас, ни часу промедления!.. Я проведу за нос, как мальчишку, короля Карла... Божественная пани Анна, я хочу поднести вам на блюде мою Варшаву... — И, поднявшись, великолепно взмахнув рукой, он обратился к тем за столом, кто еще таращил глаза и напояженные усы: — Господа, предлагаю вам и повелеваю — седлайте коней, вас всех беру в мою личную свиту.

Сколько ни пытался князь Дмитрий Михайлович Голицын — вежливо и весьма человечно — доказать ему, что войскам нужно денька три отдохнуть, покормить коней и подтянуть обозы, — король Август был неукротим. Еще солнце не высушило росы — он вернулся в Сокаль, сопровождаемый Голицыным и атаманом. Повсюду на городских улицах стояли возы, кони, пушки, на кудрявой травке спали усталые русские солдаты. Дымились костры. Король глядел в окно кареты на спящих пехотинцев, на казаков, живописно развалившихся на возах.

— Какие солдаты! — повторял он. — Какие солдаты, богатыри!

В дверях замка его встретил ротмистр Тарновский испуганным шепотом:

— Графиня вернулась, не желает ложиться почивать, весьма гневна...

— Ах, какие мелочи! — король весело вошел в сводчатую, сырую спальню, где, оплывая сосульками, догорали свечи в прозеленевшем подсвечнике из синагоги. Графиня встретила его стоя, молча глядя в лицо, лишь ожидая его первого слова, чтобы ответить как нужно.

— Софи, наконец-то! — сказал он с большей, чем хотелось бы, торопливостью. — Ну как? Вы видели короля Карла?

— Да, я видела короля Карла, благодарю вас... — Ее лицо было будто обсыпано мукой и казалось обрюзгшим, некраси-

вым.— Король Карл ничего так не желает, как повесить вас на первой попавшейся осине, ваше величество... Если вам нужны подробности моей беседы с королем — я расскажу... Но сейчас мне хочется спросить: какое вы сами дадите качество вашему поведению? Вы посылаете меня, как последнюю судомойку, обдирать ваши грязные делишки... Я подвергаюсь оскорблениям, в дороге я тысячу раз подвергаюсь опасности быть изнасилованной, зарезанной, ограбленной... А вы тем временем развлекаетесь в объятиях пани Собошанской... Этой маленькой шляхтинки, которую я постеснялась бы взять к себе в камеристки...

— Какие мелочи, Софи!

Это восклицание было неосторожным со стороны короля Августа. Графиня придвинулась к нему и — ловко, как кошка лапой, — влепила ему пощечину...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

На бугре, где была поставлена сторожевая вышка, Петр Алексеевич соскочил с коня и полез по крутым перекадинам на площадку. За ним — Чамберс, Меньшиков, Аникита Иванович Репнин и — последним — Апраксин Петр Матвеевич, — этому весьма мешала тучность и верчение головы: шутка ли влезать на такую страсть — сажень на десять над землей. Петр Алексеевич, привыкший взбираться на мачты, даже не задыхнулся, вынул из кармана подзорную трубу, расставя ноги, — стал глядеть.

Нарва была видна, будто на зеленом блюде, — все ее приземистые башни, с воротами и подъемными мостами, на заворотах стен — выступы бастioned, сложенных из тесаного камня, громада старого замка с круглой пороховой башней, извилистые улицы города, острые кровли кирок, вздетые, как гвозди, к небу. На другой стороне реки поднимались восемь мрачных башен, покрытых свинцовыми шапками, и высокие стены, пробитые ядрами, крепости Иван-города, построенной еще Иваном Грозным.

— Наш будет город! — сказал Меньшиков, тоже глядевший в трубу.

Петр Алексеевич ему — сквозь зубы:

— А ты не раздувайся раньше времени.

Ниже города, по реке, в том месте, где на ручье Россонь стояла земляная крепость Петра Матвеевича Апраксина, медленно двигались обозы и войска, плохо различимые сквозь поднятую ими пыль. Они переходили плавучий мост, и конные и пешие полки располагались на левом берегу, верстах в пяти от города. Там уже белелись палатки, в безветрии поднимались дымы, по луговинам бродили расседланные кони... Доносился стук топоров, — вздрагивали вершинами, валились вековые сосны.

— Огородились мы только телегами да рогатками, не прикажешь ли еще для бережения и рвы копать, ставить палисады? — спросил князь Аникита Иванович Репнин. Человек он был осторожный, разумный и бывалый в военном деле, отважный без задору, но готовый — если надо для великого дела — и умереть, не птясь. Не вышел он только лицом и дородством, хотя род свой считал древнее царя Петра, — был плюгав и подслеповат, однако же маленькие глаза его за прищуренными веками поглядывали весьма умненько.

— Рвы да палисады не спасут. Не для того сюда пришли — за палисадами сидеть, — буркнул Петр Алексеевич, поворачивая трубу дальше на запад.

Чамберс, имевший привычку с утра выпивать для бодрости духа добрый стакан водки, просипел горлом:

— Можно велеть солдатам спать не разуваясь, при ружье... Пустое! Если достоверно, что генерал Шлиппенбах стоит в Везенберге — раньше, как через неделю, нельзя ожидать его сикурса...

— Я уж так-то здесь один раз поджидал шведского сикурса... Спасибо, научены! — странным голосом ответил Петр Алексеевич. Меньшиков коротко, грубо засмеялся.

На западе, куда с жадностью глядел Петр Алексеевич, растялалось море, ни малейший ветерок не рябил его сероватой пелены, дремлющей в потоках света. Там, на отчетливой черте края моря, можно было различить, напрягая зрение, много корабельных мачт с убранными парусами. Это стоял в мертвом штиле флот адмирала де Пру с серебряной рукой.

Апраксин, вцепясь в перильца зыбкой площадки, сказал:

— Господин бомбардир, как же мне не испугаться было эдакой силы — полсотни кораблей и адмирал такой отважный... Истинно — бог меня выручил, — не дал ему, проклятому, ветра с моря...

— Сколько добра пропадает, ах! — Меньшиков ногтем считал мачты на горизонте. — Трюмы у него доверху, чай, забиты угрями копчеными, рыбой камбалой, салакой, ветчиной ревельской... Ветчина у них, батюшки! Уж где едят — так это в Ревеле! Все протухнет у него в такую жару, все покидает за борт, черт однорукий... Апраксин, Апраксин, а еще у моря сидишь, задница сухопутная! Почему у тебя лодок нет? В такой штиль — посадить grenадеров в лодки, — де Пру и деваться некуда...

— Чайка на песок садится! — крикнул вдруг Петр Алексеевич. — Ей-ей, садится! — лицо у него было задорное, глаза круглые. — Бьюсь о заклад на десять ефимков, — жди шторма... Кто хочет биться? Эх вы, моряки! Не стони, Данилыч, — весьма возможно, и попробуем адмиральской ветчины.

И он, сунув трубку за пазуху, бегом стал спускаться с вышки. Полковнику Рену, подскочившему к нему, чтобы помочь спрыгнуть на землю, сказал: «Один эскадрон пошли вперед, с другим следуй за мной». Он перевалился в седло и повернул в сторону

Нарвы. Его верховой,— рослый гнедой мерин, с большими ушами, подарок фельдмаршала Шереметьева, взявшего этого коня в битве при Эрестфере, будто бы из-под самого Шлиппенбаха,— шел крупной рысью. Петр Алексеевич не очень любил верховую езду и на рыси высоко подскакивал. Зато Александр Данилович горячил своего белого, как сметана, жеребца, тоже отбитого у шведов,— и конь с веселыми глазами и всадник точно играли, то проходя бочком, коротким галопом по свежему лугу,— то конь осаживал, садясь на хвост, бил черными копытами по воздуху и взвивался, и махал, и мчался,— алого сукна короткий плащ, накинутый на одно плечо, взвивался за спиной Александра Даниловича, вились перья на шляпе, концы шелкового шарфа. Хоть жарок, но хорош был день,— в небольших рощах, в покинутых сейчас садах распустились, раскричались птицы.

Аникита Иванович Репнин, привыкший с малых лет ездить по-татарски, спокойно,— бочком,— трясся в высоком седле на мелкой ухודистой лошадке. Апраксин обливался потом под огромным париком, в котором для русского человека не было ни удобства, ни красоты. Далеко впереди шнырял между зарослями рассыпавшийся эскадрон драгун. Позади — в строю — шел второй эскадрон,— перед ним поскакивал полковник Рен, красавец и запивоха,— так же, как генерал Чамберс,— в поисках счастья по свету отдавший царю Петру честь и шпагу.

Петр Алексеевич указывал ехавшему рядом с ним Чамберсу на рвы и ямы, на высокие валы, заросшие бурьяном и кустарником, на полусгнившие колья, торчавшие повсюду из земли.

— Здесь погибла моя армия,— сказал он просто.— На этих местах король Карл нашел великую славу, а мы — силу. Здесь мы научились — с какого конца надо редьку есть, да похоронили навек закорюченную старину, от коей едва не восприняли конечную гибель...

Он отвернулся от Чамберса. Оглядываясь, заметил невдалеке заброшенный домишко под провалившейся крышей. Стал придерживать коня. Круглое лицо его сделалось злым. Меньшиков, подъехав, сказал весело:

— Тот самый домишко, мин херц. Помнишь?

— Помню...

Насупись, Петр Алексеевич ударил коня и опять запрыгал в седле. Как было не помнить той бессонной ночи перед разгромом. Он сидел тогда в этом домишке, глядя на оплывшую свечу; Алексашка лежал на кошке, молча плакал. Трудно было побороть в себе отчаяние, и срам, и бессильную злобу и принять то, что завтра Карл неминуемо должен побить его... Трудно было решиться на неслыханное, непереносимое,— оставить в такой час армию, сесть в возок и скакать в Новгород, чтобы там начинать все сначала... Добывать деньги, хлеб, железо... Исхитряться продавать иноземным купцам исподнюю рубашку, чтобы купить оружие. Лить пушки, ядра... И самое важное,— люди, люди, люди!

Вытаскивать людей из векового болота, разлеплять им глаза, расталкивать их под микитки... Дратся, обламывать, учить. Скакать тысячи верст по снегу, по грязи... Ломать, строить... Вывертываться из тысячи бед в европейской политике. Оглядываясь,— ужасаться: «Экая громада какая еще не провороче-на...»

Передовые драгуны выскочили из горячей тени сосен на широкий луг перед стены Нарвы, поднимавшиеся по ту сторону рва, полного воды. Испуганные жители, бегая и крича, торопливо загоняли скот в город. Луг опустел, цепной мост загремел, тяжело поднялся и захлопнул ворота. Петр Алексеевич шагом въехал на холм. Опять все вынули подзорные трубы и оглядывали высокие крепкие стены, поросшие травой в трещинах между камнями.

Наверху воротной башни стояли шведы, в железных касках, в кожаных панцирях. Один держал — отставя на вытянутой руке — желтое знамя. Другой человек, весьма высокий ростом, подошел к краю башни, упер локоть на каменный зубец и тоже стал глядеть в трубу, сначала водя ее по всадникам на холме, потом прямо уставил на Петра Алексеевича.

— Люди какие все здоровые, на башне-то их увидишь — ужаснешься,— негромко говорил Апраксин Аниките Ивановичу Репнину, обмахиваясь шляпой.— Сам теперь видишь, что я вытерпел в усть-Нарове один-то, с девятью пушками, когда на меня флот навалился... А этот, длинный,— в трубу глядит,— ох — какой вредный человек... Перед самым вашим прибытием я с ним встретился в поле, хотел его добыть... Ну, где же...

— Кто этот высокий на башне? — хрипло спросил Петр Алексеевич.

— Государь, он самый и есть, генерал Горн, нарвский комендант...

Едва Апраксин выговорил это имя — Александр Данилович толкнул коня и поскакал по лугу к башне... «Дурак!» — бешено крикнул вслед ему Петр Алексеевич, но он за свистом ветра в ушах не слышал. Почти у самых ворот осадил, сорвал с себя шляпу и, помахивая ею, заголосил протязно:

— Эй, там, на башне... Эй, господин комендант... Выпустим вас из города с честью, со знамена, ружья и музыкой... Уходи полюбовно...

Генерал Горн опустил трубу, вслушиваясь, что кричит ему этот беснующийся на белом коне русский, разряженный, как петух. Обернулся к одному из шведов, должно быть, чтобы ему перевели. Суровое, стариковское лицо сморщилось, как от кислого, он перегнулся через край башни и плюнул в сторону Меньшикова...

— Вот тебе мой ответ, глупец! — крикнул.— Сейчас получишь кое-что покрепче.

На башне обидно захохотали шведы. Блеснул огонь, взлетело белое облачко,— ядро, нажимая воздух, с шипом пронеслось над головой Александра Даниловича.

— Э-э-э-й! — закричал с холма Аникита Иванович Репнин тонким голосом. — Плохо стреляете, шведы, пришлите нам пушкарей, мы их научим...

На холме тоже враз рассмеялись.

Александр Данилович, который знал, что ему все равно не миновать плетки от Петра Алексеевича, вертелся и прыгал на коне, махал шляпой и скалил зубы шведам, покуда второе ядро не разорвалось совсем рядом и конь, шарахнувшись, не унес его прочь от башни.

Окончив объезд крепости, сосчитав на стенах по крайней мере до трехсот пушек, Петр Алексеевич на обратном пути свернул к памяtnому домику, слез с лошади и велел всем ждать, позвал Меньшикова в ту самую комнату, где четыре года тому назад он пожертвовал стыдом и позором ради спасения государства русского. Здесь тогда была хорошая печь, сейчас валялась куча обгорелого кирпича, на полу — грязная солома, — видимо, сюда загоняли овец и коз на ночь. Сел на подоконник разбитого окошечка. Алексашка виновато стоял перед ним.

— Запомни, Данилыч, истинный бог — увижу еще твое дурацкое щегольство, шкуру спущу плеткой, — сказал Петр Алексеевич. — Молчи, не отвечай... Сегодня ты сам себе выбрал долю... Я думал: кому дать начало над осадным войском, — тебе или фельдмаршалу Огильви? Хотелось в таком деле предпочесть своего перед иностранцем... Сам все испортил, друг сердешный, — плясал, как скоморох, на коне перед генералом Горном! Срамота! Все еще не можешь забыть базары московские! Все шутить хочешь, как у меня за столом! А на тебя Европа смотрит, дурак! Молчи, не отвечай. — Он посопел, набивая трубочку. — И еще — второе: посмотрел я опять на эти стены, — смутился я, Данилыч... Второй раз отступить от Нарвы нельзя... Нарва — ключ ко всей войне... Если Карл этого еще не понимает, — я понимаю... Завтра мы обложим город всем войском, чтобы птица оттуда не пролетела... Через две недели придут осадные пушки... А дальше как быть? Стены крепки, генерал Горн упрям, Шлиппенбах висит за плечами. Будем здесь топтаться — накличем и Карла из Польши со всей своей армией... Город брать нужно быстро, и крови нашей много лить не хочется... Что скажешь, Данилыч?

— Можно, конечно, придумать хитрость... Это — дело десятое... Но раз фельдмаршал Огильви здесь голова, пусть он уж по книгам и разбирает, — что к чему... А что я скажу? Опять глупость какую-нибудь — тят да ляп — по-мужицки. — Меньшиков топтался, мялся и поднял глаза, — у Петра Алексеевича лицо было спокойное и печальное, таким он его редко видел... Алексашку, как ножом по сердцу, полоснула жалость. — Мин херц, — зашептал он, перекося брови, — мин херц, ну — что ты? Дай срок до вечера, приду в палатку, чего-нибудь придумаю... Людей наших, что ли, не знаешь... Ведь нынче — не семисотый год... Не кручинься, ей-ей...

В просторном полотняном шатре заботами Нартова, так же как и в петербургском домике, были разложены на походном столе готовальни, инструменты, бумаги, военные карты. Через поднятые полотнища, как из печи, дышало жаром земли, и — хоть уши затыкай просмоленной пенькой — остро, сухо трещали в траве сверчки.

Петр Алексеевич работал в одной рубашке, распахнутой на груди, в голландских штанах — по колено, в туфлях на босу ногу. Время от времени он вставал из-за стола и в углу шатра Нартов выливал ему на голову ковш ключевой воды. За эти дни нарвского похода, — как и всегда, впрочем, — накопилось великое множество неотложных дел.

Секретарь Алексей Васильевич Макаров, незаметный молодой человек, недавно взятый на эту службу, стоя у края стола, у стопки бумаг, подавал дела, внятно шелестя губами, — настолько громко, чтобы заглушать трещание сверчков. «Указ Алексею Сидоровичу Синявину ведать торговыми банями в Москве и других городах», — он тихо клал перед государем лист со столбцами указа на левой стороне. Петр Алексеевич, скача зрачками по строкам, прочитывал, совал гусиное перо в чернильницу и крупно, криво, неразборчиво, пропуская за торопливостью буквы, писал с правой стороны листа: «Где можно при банях завести цирюльни, дабы людей приохотить к бритью бороды, также держать мозольных мастеров добрых».

Макаров клал перед ним новый лист: «Указ Петру Васильевичу Кикину ведать рыбные ловли и водяные мельницы во всем государстве...» Рука Петра Алексеевича с кляксой на кончике пера повисла над бумагой:

— Указ кем заготовлен?

— Указ прислан из Москвы от князя-кесаря на вашу, милостивый государь, своеручную подпись...

— Дармеев полна Москва, сидят по окошечкам, крыжовник кислый жрут со скуки, а для дела людей не найти... Ладно, поиспытаем Кикина, заворуется — обдеру кнутом, — так ты и отпиши князю-кесарю, что я в сумнении...

— Из Питербурга с нарочным от подполковника Алексея Бровкина донесение, — продолжал Макаров. — Прибыли из Москвы от Тихона Ивановича Стрешнева для вашего, милостивый государь, огорода на Питербургской стороне шесть кустов пионов, в целости, да только садовник Леонов, не успев их посадить, помер.

— Как — помер? — спросил Петр Алексеевич. — Что за вздор!..

— Купаясь в Неве, — утонул...

— Ну, пьяный, конечно... Вот ведь — хорошие люди не живут... а гораздо был искусный садовник, жалко... Пиши...

Петр Алексеевич пошел в угол палатки — обливать голову и, отфыркиваясь, говорил Макарову, который, стоя, ловко писал на углу стола.

— «Стрешневу... Пионы ваши получены в исправности, только жалеем, что мало прислал. Изволь не пропустить времени — прислать из Измайлова всяких цветов и больше таких, кои пахнут: канупера, мяты да резеды... Пришли садовника доброго, с семьей, чтобы не скучал... Да отпиши, для бога, как здравствует в Измайлове Катерина Василефская с Анисьей Толстой и другие с ними... Не забывай об сем писать чаще... Также изволь уведомить, как у вас с набором солдат в драгунские полки, — один полк возможно скорее набрать — из людей получше — и прислать сюда...»

Он вернулся к столу, прочел написанное Макаровым, усмехнувшись про себя — подписал.

— Еще что? Да ты мне не по порядку подкладывай, давай важнейшее...

— Письмо Григория Долгорукова, из Сокаля, о благополучном прибытии наших войск.

— Читай! — Петр Алексеевич закрыл глаза, вытянул шею, большие, в царапинах, сильные руки его легли на столе. Долгорукий писал о том, что с прибытием русских войск в Сокаль король Август опять воспринял чрезмерную отвагу и хочет встречи на бранном поле с королем Карлом, дабы с божьей помощью генеральной баталией взять реванш за конфузию при Клиссове. На это безумство особенно подговаривают его фаворитки, — их теперь у него две, и его бытие сделалось весьма беспокойное. Дмитрию Михайловичу Голицыну с великими трудами удалось отклонить его от немедленной встречи с Карлом (который, как хищный волчец, только того и ждет) и указать ему путь на Варшаву, оставленную Карлом с малой защитой. Что из сего может произойти — одному богу известно...

Петр Алексеевич терпеливо слушал длинное письмо, губа его с полоской усиков поднималась, открывая зубы. Дернув шеей, пробормотал: «Союзничек!» Пододвинул чистый лист, скребнул ногтями в затылке и, едва поспевая пером за мыслями, начал писать — ответ Долгорукому:

«...Еще напоминаю вашей милости, чтобы не уставал отводить его величество короля Августа от жестокого и пагубного намерения. Он спешит искать генерального боя, надеясь на фортуна — сиречь счастье, но сие точно в ведении одного всевышнего... Нам же, человекам, разумно на ближнее смотреть, что — суть на земле... Короче сказать, — искание генерального боя весьма для него опасно, ибо в один час можно все потерять... Не удастся генеральный бой, — от чего, боже, боже сохрани и его, да и нас всех — его величество Август не только от неприятеля будет ввергнут в меланхолию, но и от бешеных поляков, лишенных добра отечеству своему, будет со срамом выгнан и престола своего

лишен... Для чего же ввергать себя в такое бедство? Что же ваша милость пишет о фаворитках,— истинно, сию горячку лечить нечем... Одно — старайся с сими мадамками делать симпатию и альянс...»

Дышать уже было нечем в слоях табачного дыма. Петр Алексеевич с брызгами подписал — «Птръ» и вышел из шатра в нестерпимый зной. Отсюда, с холма, была видна в стороне Нарвы пыльная туча, поднятая обозами и войсками, передвигавшимися из лагеря на боевые позиции перед крепостью. Петр Алексеевич провел ладонью по груди, по белой коже,— медленно, сильно стучало сердце. Тогда он стал глядеть туда, где в необъятном стеклянном море, отсюда неразличимые, дремали корабли адмирала де Пру, набитые добром, которого хватило бы на всю русскую армию. Земля, и небо, и море были в томлении, в ожидании, будто остановилось само время. Вдруг много черных птиц беспорядочно пронеслось мимо холма к лесу. Петр Алексеевич задрал голову,— так и есть! С юго-запада высоко в раскаленное, как жель, небо быстро поднимались прозрачные пленки облаков.

— Макаров! — позвал он.— Спорить хочешь на десять ефимков?

Макаров сейчас же вышел из шатра,— востроносый, пергаментный от усталости и бессонницы, с прямым ртом без улыбки, и потащил из кармана кошель:

— Как прикажешь, милостивый государь...

Петр Алексеевич махнул на него рукой:

— Поди скажи Нартову, чтоб подал мне матросскую куртку, да зюйдвестку, да ботфорты... Да крепили бы хорошенько шатер, не то унесет... Шторм будет знатный.

Море всегда завораживало, всегда тянуло его к себе. В кожаной шапке, спущенной на затылок, в широкой куртке, он ехал крупной рысью в сопровождении полуэскадрона драгун к морскому берегу. (В лагерь к Апраксину было послано за двумя пушками и гренадерами.) Солнце жгло, как скорпион перед гибелью. Вертелись пыльные столбы на дорогах. По морской пелене, полосами пробегали ветры. Черная туча выползала из-за помраченного горизонта. И море наконец дыхнуло в лицо запахом водорослей и рыбной чешуи. Ветер, усиливаясь, засвистал, заревел во все Нептуновы губы...

Придерживая зюйдвестку, Петр Алексеевич весело скалился. Он соскочил с коня на песчаный берег,— солнце в последний раз блеснуло из закружившегося края тучи, стеклянный свет побежал по завивающимся волнам. Сразу все потемнело. Валы катились выше и выше, обдавая водяной пылью. Громяхающая туча из конца в конец озарялась мутными вспышками, будто ее поджигали. Ослепила извилистая молния, упала близко в воду. Рвануло так, что люди на берегу присели,— обрушилось небо...

Около Петра Алексеевича очутился Меньшиков, тоже в зюйдвестке, в куртке.

— Вот это шторм! Вот это — лю-лю! — прокричал ему Петр Алексеевич.

— Мин херц, до чего же ты догадлив...

— А ты сейчас только понял это?

— С добычей будем?

— Подожди, подожди...

Ждать пришлось не так долго. При вспышках молний стали видны совсем недалеко военные и купеческие корабли адмирала де Пру, — буря гнала их к берегу, на мели. Они будто плясали, — раскачивались голые мачты, развевались обрывки парусов, вздымались резные высокие кормы с Нептунами и морскими девами. Казалось — еще немного и весь разметанный караван прибьет к берегу.

— Молодец! Молодец! — закричал Петр Алексеевич. — Гляди, что делает! Вот это адмирал! Бом-кливера ставит! Форстенг-стакселя, фока-стакселя ставит! Триселя ставит! Эх, черт! Учись, Данилыч!

— Ох, уйдет, ох, уйдет! — стонал Меньшиков.

Изменился ли ветер немного или в борьбе с морем взяло верх искусство адмирала — корабли его, лавируя на штормовых парусах, понемногу стали опять удаляться за горизонт. Только три тяжело груженные баржи продолжало нести на песчаные отмели. Треща, громохвая реями, хлеща клочьями парусины, они сели на мель шагах в трехстах от берега. Огромные волны начали валить их, — перекатываясь, смывали с палуб лодки, бочки, ломали мачты.

— А ну, давай по ним огонь, с недолетом, для испуга! — крикнул Меньшиков пушкарям.

Пушки рывкнули, и бомбы вскинули воду близ борта одной из барж. В ответ оттуда раздались пистолетные выстрелы. Петр Алексеевич влез на лошадь и погнал ее в море. За ним с криками побежали гренадеры. Меньшикову пришлось спешиться, — жеребец заупрямился, и он тоже зашагал в мутных волнах, отплываясь и крича:

— Эй, на барках! Прыгай в воду! Сдавайся!

Шведов, должно быть, сильно испугал вид всадника среди волн и огромные усатые гренадеры, идущие на abordаж по грудь в воде, ругаясь и грозя дымящимися гранатами. С барок стали прыгать матросы и солдаты. Они протягивали пистолеты и abordажные сабли: «Москов, москов, друг», — и брели к берегу, где их окружали конные драгуны. Меньшиков с гренадерами в свой черед забрался на барку, на резную корму, взял на аккорд капитана, тут же снисходительно похлопав его по спине и вернув ему кортик, и закричал оттуда:

— Господин бомбардир, из трюмов пованивает, но капитан обнадежил, что сельди и солонину есть можно.

Войска обложили Нарву подковой, упираясь в реку выше и ниже города. На другой стороне реки точно так же был окружен Иван-город. Рыли шанцы, обставлялись частоколами и рогатками. Русский лагерь был шумный, дымный, пыльный. Шведы с высоких стен угрюмо поглядывали. После шторма, разметавшего флот де Пру, они были очень злы и стреляли из пушек даже по отдельным всадникам, скакавшим короткой дорогой через луг мимо грязных бастионов.

По приказу Петра бочки с сельдями и солониной, выгруженные с барок, были на виду шведов привезены в лагерь, — за телегами, украшенными ветвями, солдаты несли толстого голого мужика, обмотанного водорослями, и горланили скоромную песню про адмирала де Пру и генерала Горна. Бочки роздали по ротам и батареям. Солдаты, помахивая вздетой на штык селедкой или куском сала, кричали: «Эй, швед, закуска есть!» Тогда шведы не выдержали. Затрубили в рожки, забили в барабаны, мост опустился, и, теснясь большими конями в воротах, выехал эскадрон кирасир, — нагнув головы в ребрастых шлемах, уставя широкие шпаги меж конскими ушами, они тяжело поскакали на русские шанцы. Пришлось, побросав добро, отбиваться чем попало, — кольями, банниками, лопатами. Началась свалка, поднялся крик. Кирасиры увидели драгун, мчавшихся на них с тыла, увидели лезущих через частокол страшных grenадеров и повернули коней обратно, — лишь несколько человек осталось на луку, да еще долго скакали испуганные лошади без всадников и бегали за ними русские солдаты.

Помимо таких вылазок, шведы не выказывали особенного беспокойства. Генерал Горн — как передавали языки, — будто бы сказал: «Русских я не боюсь, пускай с помощью своего Георгия-победоносца осмелятся на штурм — угощу их лучше, чем в семисотом году...» Хлеба, пороха и ядер у него было достаточно, но больше всего он надеялся на Шлиппенбаха, ожидавшего подкреплений, чтобы сделать русским жестокий сикурс. Стоял он на ревельской дороге, в городке Везенберге. Это установил Александр Данилович, сам ездивший в разведку.

Бездействовали и русские войска: вся осадная артиллерия — огромные стенобитные пушки и мортиры для зажигания города — все еще тащилась из Новгорода по непролазным дорогам. Без тяжелого наряда нельзя было и думать о штурме.

От фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева вести были тоже не слишком бойкие: Юрьев он осадил, окопался, огородился, повел подкоп для пролома стены и начал метать бомбы в город. «Зело нам докучают шведы, — писал он в нарвский лагерь Александру Даниловичу, — по сие время не могу отбить пушечной и мортирной стрельбы неприятеля; палат из многих пушек залпами, проклятые, сажают враз по десяти бомбов в наши батареи,

а пуще всего стреляют по обозам. Так же — бьемся — не можем достать языка из города, только вышло к нам два человека — чухны, ничего подлинно не знают, одно бредят, что Шлиппенбах обнадеживает город скорым сикурсом...»

Шлиппенбах был истинно занозой, которую надобилось вытащить как можно скорее. Об этом были все мысли Петра Алексеевича. Тогда ночью Меньшиков не обманул, — придя в шатер и выслав всех, даже Нартова, он рассказал — какую придумал хитрость, чтобы отбить охоту у генерала Горна — надеяться на Шлиппенбаха. Петр Алексеевич сперва даже рассердился: «Спьяну, что ли, придумал?..» Но — походил по шатру, попыхивая трубочкой, и вдруг рассмеялся:

— А неплохо было бы одурачить старика.

— Мин херц, одурачим, ей-ей...

— Это твое — «ей-ей» — дешево стоит... А не выйдет ничего? Не в шутку ответишь, куманек.

— Что же, и отвечу... Не в первый раз... На одном ответе всю жизнь живу...

— Делай!

В ту ночь поручик Пашка Ягужинский, выпив стремянную, поскакал в Псков, где находились войсковые склады. С необыкновенной расторопностью он привез оттуда на тройках все, что было надобно, для задуманного дела. Ротные и эскадронные швальни две ночи перешивали и прилаживали кафтаны, епанчи, офицерские шарфы, знамена, обшивали солдатские треухи белой каймой по краю. В эти короткие ночи тайно — эскадрон за эскадроном — два драгунских полка Асафьева и Горбова, и два полка — Семеновский и Ингерманландский — с пушками, у которых лафеты были перекрашены из зеленых в желтые, ушли по ревельской дороге и расположились в лесном урочище Тервиэги, в десяти верстах от Нарвы. Туда же — в урочище — было отвезено все платье, перешитое в швальнях. Шведы ничего не заметили.

В ясное утро — восьмого июня — под нарвскими стенами в русском лагере вдруг началась суета. Тревожно забили барабаны, забухали огромные литавры, поскакали офицеры, надрывая глотки. Из шалашей, из палаток выскакивали солдаты, — застегивая кафтаны и пуговицы на гетрах, закладывая за уши длинные волосы, висевшие из-под треухов, — строились в две линии. Пушкари с криками вытаскивали пушки и поворачивали их в сторону ревельской дороги. Верховые гнали табуны обозных лошадей с лугов в лагерь, за телеги.

Шведы со стен с изумлением смотрели на отчаянный беспорядок в русском лагере. По наружной каменной лестнице на воротную башню поднялся генерал Горн с непокрытой головой и уставил подзорную трубу на ревельскую дорогу. Оттуда донеслись два пушечных выстрела, через минуту — снова два выстрела и так до шести раз. Тогда шведы поняли, что это сигналы прибли-

жающегося Шлиппенбаха, и сейчас же с бастиона Глория они отвели королевским паролем из двадцати одной пушки. На всех кирках города празднично задребезжали колокола.

За много дней осады суровый генерал Горн в первый раз сморщил усмешкой губы свои, увидя, как по ту сторону шанцев перед строящимися в две линии московскими войсками по-козлиному поскакивает на белом коне разнаряженный Меньшиков, нахальнейший из всех русских. Будто и на самом деле опытный полководец, он взмахом шпаги приказывает задней линии солдат повернуться лицом к крепости, и они бегом, как стадо, побежали и заняли места в шанцах за частоколами. Вот он поднял коня на дыбы и поскакал вдоль передней линии солдат, стоящих лицом к ревельской дороге. Все было понятно умудренному годами и славными битвами генералу Горну: этот петух в красном плаще и страусовых перьях сейчас сделает непоправимую глупость, — поведет растянувшуюся редкую линию своей пехоты навстречу железным кирасирам Шлиппенбаха, который засыплет ее ядрами, разрежет, растопчет и уничтожит. Генерал Горн потянул волосатыми ноздрями воздух. Двенадцать эскадронов конницы и четыре батальона пехоты стояли у него у запертых ворот, чтобы при появлении Шлиппенбаха кинуться с тылу на русских.

Меньшиков, будто торопясь навстречу смерти, безо всякой надобности сорвал с себя шляпу и, махая ею, заставил все батальоны, идущие беглым шагом — в хвост за его красующейся лошадкой, кричать «ура». Крик долетел до нарвских стен, и опять старик Горн усмехнулся. Из соснового леса, куда двигались батальоны Меньшикова, начали выскакивать русские всадники, подгоняемые ружейными выстрелами. И, наконец, повсюду из-за сосен, во всей красе, плечо к плечу как на параде, уставя перед собой ружья со всунутыми в дуло багинетами, вышли гвардейские роты Шлиппенбаха. Второй ряд их бегло, с ходу, стрелял через головы первого ряда, в третьем ряду заряжали ружья и подавали стреляющим. Плескались высоко поднятые желтые королевские знамена. Старик Горн на минуту оторвался от подозрной трубы, вынул из лядунки полотняный платок, встряхнул его и провел по глазам. «Боги войны!» — пробормотал он...

Меньшиков, придерживая шляпу, помчался перед фронтом и остановил свои батальоны. На фланги к нему скакали — в упряжках по шести коней — пушки и двуконные зарядные ящики. Русские артиллеристы были расторопны, — кое-чему научились за эти годы. До блеска начищенные пушки — по восьми на каждом фланге — ловко завернули жерлами на шведов (упряжки были отцеплены и ускакали в сторону) и враз выбросили плотные белые дымы, — что указывало на доброе качество пороха. Шведы не успели пройти двух десятков шагов, как пушки снова рывкнули по ним. Старик Горн начал мять в руке платок, — такая скорострельность была удивительна. Шведы остановились. Что за черт! Непохоже на Шлиппенбаха — смутиться

пушечной стрельбой! Или он хочет пропустить вперед кирасир для атаки, или поджидает свою артиллерию? Горн водил зрительной трубой, ища Шлиппенбаха, но мешал дым, все гуще застилавший поле битвы. Ему даже показалось, что шведы заколебались под градом картечи... Но он выжидал... Наконец-то! — из лесу выдвинулись шведские пушки с желтыми лафетами и начали могучий разговор... Тогда, — это он увидел ясно, — смешались ряды Меньшикова... Пора!.. Горн отвернул от трубы сморщенное лицо и, показывая до десен желтые зубы, сказал своему помощнику полковнику Маркварту:

— Приказываю: отворить ворота и атаковать правое крыло русских.

Загромыхали мосты, разом из четырех ворот выехали эскадроны кирасир, за ними бегом — пехота. Полковник Маркварт вел построенный клином нарвский гарнизон так, чтобы — с налету перескочив через русские частоколы и рогатки — ударить Меньшикова с тылу во фланг, прижать его к Шлиппенбаху и раздавить в железных объятиях.

То, что увидел Горн в подзорную трубу, вначале порадовало его, затем — смутило. Отряд полковника Маркварта быстро, без больших потерь, разметав русские рогатки, перелез через частоколы и оказался по ту сторону шанцев. Вслед за ним из ворот вышли — пешие и на телегах — нарвские жители, чтобы грабить русский лагерь. Беспорядочно палящие из ружей батальоны Меньшикова неожиданно начали делать малопонятное передвижение: их правый фланг, на который устремился Маркварт, со всей поспешностью начал отступать к своим палисадам и рогаткам, левый же — дальний — с такой же поспешностью кинулся к шведам Шлиппенбаха, как бы намереваясь сдаваться в плен. Пушки с обеих сторон внезапно замолкли. Блестяще атакующий Маркварт оказался в чистом поле, в развилке между войсками Меньшикова и Шлиппенбаха. Отсвечивающие панцирями эскадроны его кирасир начали сдерживать коней, разворачиваться в полудугу и остановились в нерешимости. Остановилась и подбегавшая к ним пехота...

— Ничего не понимаю! Что случилось, черт бы взял этого Маркварта! — закричал Горн. Стоящий около адъютант Бистрем ответил:

— Я также не совсем понимаю, господин генерал.

Затем, все более торопливо водя трубой, Горн увидел Меньшикова, — этот петух во весь конский мах скакал к шведам. Зачем? В плен? Узнав его, наперерез ему припустился Маркварт с двумя кирасирами. Но Меньшиков опередил и на травянистом пригорке соскочил с коня около кучки офицеров, — судя по их епанчам и по желтому — со вздыбленным львом — знамени, это был штаб Шлиппенбаха... Но где же сам Шлиппенбах? Еще движение трубой, и Горн увидел, как Маркварт, подскакавший в погоне за Меньшиковым к той же кучке офицеров, странно замахал

рукой, будто защищаясь от призрака, и попытался повернуть, но к нему подбежали и стащили с седла... На бугор поднимался всадник на большой вислоухой лошади,— знамя склонилось к нему. Это мог быть только Шлиппенбах... Слеза замутила глаз старику Горну, он сердито согнал ее и вжал медный окуляр в глазницу. Всадник на вислоухой лошади не был похож на Шлиппенбаха... Он походил больше всего...

— Господин генерал, измена! — шепотом проговорил адъютант Бистрем.

— Вижу и без вас, что это царь Петр, наряженный в шведский мундир... Меня изрядно провели за нос, понимаю и без вашей помощи... Прикажите подать мне кирасу и шпагу...— Генерал Горн оставил теперь уже бесполезную подзорную трубу и, как молодой, побежал по лестнице с воротной башни.

Там на поле машкерадного боя началось то, что и должно было случиться, когда военачальника проводят за нос. Наряженные шведами семеновцы и ингерманландцы, драгуны Асафьева и Горбова, скрывавшиеся до времени в лесу, с другой стороны батальоны Меньшикова кинулись со всей фурией с двух сторон на шведов несчастного Маркварта,— который, отдав царю Петру шпагу, бросив каску на траву, стоял на бугре среди русских офицеров, в стыде и отчаянии опустив голову, чтобы не видеть, как гибнет его блестящий отряд, составлявший по крайней мере треть нарвского гарнизона.

Кирасиры его, прикрывавшие пехоту, некоторое время отступали, не теряя строя, огрызаясь короткими наездами. Но когда на них с тылу, из березовой рощи, помчался с драгунскими эскадронами полковник Рен, сидевший там в засаде,— началась свалка. Стрельба прекратилась. Только слышались яростные взвизги русских, рубящих сплеча, хриплые вскрики гибнущих шведов, лязг шпаг о кирасы и шлемы. Взывались грызущиеся кони. Упало королевское знамя. Выскочившие из свалки отдельные всадники скакали, как ослепшие, по лугу, сшибались, размахнув руки, валялись... Все русское войско вылезло на шанцы, как на масленицу, когда народ сбегается глядеть на травлю медведя... Солдаты улюлюкали, приплясывали, кидали вверх трюхи.

Только небольшой части шведского отряда удалось пробиться к Нарве. Все, что мог сделать генерал Горн,— это отстоять ворота, чтобы русские с налету не ворвались в город. Выехавшие грабить жители метались на телегах перед рвом. Солдаты перескакивали через палисад и сгоряча, не боясь стрельбы со стен, похватывали немало нарвских жителей с телегами и лошадьми, привели их в лагерь для продажи господам офицерам.

Вечером в большом шатре у Меньшикова был веселый ужин. Пили огненный ром адмирала де Пру, ели ревельскую ветчину — и мало кем еще виденную — копченную камбалу. Рыбка поваживала, но была хороша. Александру Даниловичу отбили всю

спину, выпивая за его хитроумие. «Поставил премудрому Горну изрядный нос! Истинно ты именинник сегодня!» — басил, подсакивая плечами от смеха, сильно выпивший Петр Алексеевич — и кулаком, как молотом, бухал его между лопаток. «Бьюсь об заклад — ты бы мог перехитрить самого царя Одиссея! — кричал Чемберс и тоже ударял в спину генерал-губернатора. — Трудно представить себе людей, более хитрых, чем русские!»

Перебивая друг друга, гости несколько раз принимались сочинять послание генералу Горну с пожалованием ему ордена «Большого Носа». Начало было складное: «Тебе, нарвскому сидельцу, замочившему штаны, старому дурню, холощеному коту, аки лев рыкающему...» Далее от пьяной неразберихи шли такие крепкие слова, что секретарь Макаров не знал даже, как и нанести их на бумагу.

Аникита Иванович Репнин, отсмеявшись козлиным голоском сколько нужно, сказал под конец:

— Петр Алексеевич, а стоит ли срамить-то старика? Ведь дело еще не кончено...

На него застучали кулаками, закричали. Петр Алексеевич взял у Макарова недописанное письмо, смял, сунул в карман:

— Посмеялись, — будет...

Он поднялся, покачнулся, вцепился Макарову в плечо, распутившиеся черты круглого лица его с усилием отвердели, — вильнув длинной шеей, он, как всегда, овладел собой:

— Кончай гулять!

И вышел из шатра. Рассветало. От обильной росы трава казалась седой, по ней тянуло лагерным дымком. Петр Алексеевич глубоко вдохнул утреннюю свежесть:

— Ну, в добрый час... Пора! — И сейчас же к нему придвинулись из кучки военных, стоявших за спиной его, Аникита Иванович Репнин и полковник Рен. — Еще раз повторяю обоим, — пышные реляции о победе мне не нужны. Не жду их. Дело предстоит тяжелое. Его нужно так побить, чтоб он не мог уже более собраться с силами. На такое дело должны ожесточиться сердцем... Ступайте...

Аникита Иванович Репнин и полковник Рен, низко поклонившись ему, пошли от шатра по колена в густой траве к темному лесу, где, снова переодетые в свое платье, ожидали выступления драгунские полки и пехота, посаженная на телеги, — все участники вчерашнего машкерадного боя. Сегодня их ждало нешуточное дело: окружить под Везенбергом и уничтожить корпус Шлиппенбаха.

4

— Итак, господа, бывший король Август, которого мы считали приведенным в ничтожество, получил помощь от русских и быстро движется к Варшаве, — сказал молодой король Станислав Ле-

щинский, открывая военный совет. Король был утомлен навязанными ему государственными делами, тонкое, надменное, недоброе лицо его было бледно до синевы под опущенными ресницами, — он не поднимал глаз потому, что ему до отвращения надоели напыщенные лица придворных, все разговоры о войне, деньгах, займах... Слабой рукой он перебирал четки. Он был одет в польское платье, которое терпеть не мог, но с тех пор, как в Варшаве стоял шведский гарнизон под командой полковника Арведа Горна — племянника нарвского героя, — польские магнаты и знатные паны повесили свои парики на подставки, пересыпали французские кафтаны табаком и ходили в жупанах с откидными рукавами, в бобровых шапках, в мягких сапожках с многозвонными шпорами, вместо шпаг — опоясывались тяжелыми дедовскими саблями.

В Варшаве жили весело и беспечно под надежной охраной Арведа Горна, простив ему невежество, когда он заставил сейм избрать в короли этого малознатного, но изящно воспитанного молодого человека. Шведские офицеры были грубоваты и высокомерны, но зато в питье вин и медов не выдерживали боя с поляками, а в танцах и совсем уступали роскошным мазурищикам — Вишневецкому или Потоцкому. Была одна беда, — все меньше поступало денег из разоренных войною имений, но и это обстоятельство казалось так же скоропреходящим: не вечно Карлу хозяйничать в Польше, когда-нибудь да уйдет же он отсюда на восток — расправляться с царем Петром.

И вот неожиданно-негаданно на Варшаву надвинулась черная туча. Август без боя захватил богатый Люблин и стремительно двигался с шумным польским конным войском по левому берегу Вислы на Варшаву; одноглазое страшилище, атаман Данила Апостол с днепровскими казаками перебравшись на правый берег Вислы и приблизившись к Праге — варшавскому предместью; одиннадцать русских пехотных полков очищали прибугские городки от приверженцев короля Станислава, уже заняли Брест и также поворачивали к Варшаве; а с запада к ней быстро шел саксонский корпус фельдмаршала Шуленбурга, обманувшего ловким маневром короля Карла, который искал его на другой дороге.

— Видит бог и пресвятая дева, я не стремился надевать на себя польскую корону, такова была воля сейма, — не поднимая глаз, говорил король Станислав с презрительной медленностью. На ковре у ног его лежала — мордой в лапы — белая борзая сука благороднейших кровей. — Кроме затруднений и неприятностей, я покуда еще ничего не испытал в моем высоком сане. Я готов сложить с себя корону, если сейм из чувства осторожности и благоразумия пожелает этого, чтобы не подвергать Варшаву злобе Августа. Несомненно, у него много оснований — испортить себе печень. Он честолюбив и упрям. Его союзник — царь Петр — еще более упрям и хитер, они будут драться,

покуда не добьются своего, покуда мы все не будем вконец разорены.— Он положил ногу в сафьяновом сапожке на спину собаки, она повела лиловыми глазами на короля.— Право же, я ни на чем не настаиваю, я с восторгом удалюсь в Италию... Упражнения в Болонском университете восхищают меня...

Румяный, с бешено холодными глазами, плотный в своем зеленом поношенном сюртуке, полковник Арвед Горн проворчал, сидя напротив короля на раскладном стуле:

— Это не военный совет,— позорная капитуляция...

Король Станислав медленно pokrивил рот. Кардинал примас Радзиевский, лютый враг Августа, не слыша неприличного замечания шведа, сказал тем вкрадчивым, смиренно повелительным голосом, какому прилежно учат в иезуитских коллегиях со времен Игнатия Лайолы. Он сказал:

— Желание вашего королевского величества уклониться от борьбы — не более чем минутная слабость... Цветы вашей души поникли под суровым ветром,— мы умиляемся... Но корона католического короля, в отличие от шляпы, снимается только вместе с головой. Будем со всем мужеством говорить о сопротивлении узурпатору и врагу церкви, каков есть курфюрст саксонский Август, дурной католик. Мы слушаем, что скажет полковник Горн.

Кардинал примас, шурша шелком пышной пурпуровой рясы, отражавшейся в навошенном полу, грузно повернулся к шведу и повел рукой столь изысканно, будто предлагал ему сладчайшее кушанье. Полковник Горн толкнул стул, расставил крепкие ноги в смазных ботфортах (поношенный сюртук и грубые ботфорты с раструбами он носил, как все шведы, в подражание королю Карлу), сухо кашлянул, прочищая горло:

— Я повторяю: военный совет должен быть военным советом, а не разговором о цветочках. Я буду оборонять Варшаву до последнего солдата,— такова воля моего короля. Я приказал,— с наступлением темноты моим фузилерам стрелять в каждого, кто выходит за ворота. Ни одного труса не выпущу из Варшавы,— у меня и трусы будут драться! Мне смешно,— у нас не меньше войска, чем у Августа. Об этом лучше меня знает великий гетман князь Любомирский... Мне смешно,— Август нас окружает! Это лишь значит, что он дает нам возможность разбить себя по частям: на юге — его пьяную шляхетскую конницу, на восток от Варшавы — атамана Данилу Апостола, казаки которого легко вооружены и не выдержат удара панцирных гусар... Фельдмаршал Шуленбург найдет свою могилу, не доходя до Варшавы,— за ним, несомненно, гонится мой король. Единственная значительная опасность — это одиннадцать русских полков князя Голицына, но покуда они тащатся пешком от Бреста, мы уже уничтожим Августа, им придется или отступать, или умирать. Я предлагаю князю Любомирскому нынче же ночью собрать в Варшаву все конные полки. Я предлагаю вашему величеству сейчас,

покуда не догорели эти свечи, объявить посполитое рушение!¹... Пускай возьмет меня черт, если мы не выдернем у Августа все перья из хвоста...

Раздувая белокурые усы, Арвед Горн засмеялся и сел. Теперь даже король поднял глаза на великого гетмана Любомирского, командующего всеми польскими и литовскими войсками. Во все время разговора он сидел по левую руку от короля в золоченом кресле, опустив лоб в ладони, так что была видна только его остриженная чуприной круглая голова, точно посыпанная перцем, да висячие, жидкие, длинные усы.

Когда настала тишина, он будто очнулся, вздохнул, выпрямился, — был он велик, костист, широкоплеч, — медленно положил руку на осыпанную алмазами булаву, засунутую за тканый драгоценный пояс. Горбоносое лицо его, тронутое оспой, со впавшими щеками, с натянутой на скулах воспаленной кожей, было так нелюдимо и гордо мрачно, что у короля затрепетали веки, и он, нагнувшись, стал гладить собаку. Великий гетман медленно поднялся. Для него настал долгожданный час расплаты.

Он был знатнейшим магнатом Польши, более властительным в своих обширных владениях, чем любой король. Когда он отправлялся на сейм или в Ченстохов на богомолье — впереди его кареты и позади ехало верхами, в бричках и на телегах не менее пяти тысяч шляхтичей, одетых — один как один — в малиновые жупаны с лазоревыми отворотами на откидных рукавах. На посполитое рушение, — походы против бунтующей Украины или против татар, — он выводил свои три полка гусар в стальных кирасах с крыльями за плечами. Как Пяст по крови, он считал себя первым претендентом на польский престол после низвержения Августа. Тогда — в прошлом году — уже две трети делегатов сейма, стуча саблями, прокричали: «Хотим Любомирского!» Но этого не захотел король Карл, которому нужна была кукла. Полковник Горн окружил бушующий сейм своими фузилерами, — они запалили фитили и оскорбили торжественность треском барабанов. Горн, как бы вбивая каблуками гвозди, прошел к пустому тронному месту и крикнул: «Предлагаю Станислава Лещинского!»

Великий гетман затаил злобу. Никто и никогда не осмеливался затрагивать его честь. Это сделал король Карл, у которого пахотной земли и золотой посуды, наверно, было меньше, чем у Любомирских. Поводя диким, темным взором, скребя ногтями яблоко булавы, он заговорил, с яростью, как змий, шипя согласными звуками:

— Ослышался я или почудилось: мне, великому гетману, мне, князю Любомирскому, осмелился приказывать комендант гарнизона! Шутка? Или нахальство? (Король поднял руку с чет-

¹ Народное ополчение, созываемое польским королем с согласия сейма на случай войны.

ками, кардинал подался вперед на стуле, затряс совиным обрюзгшим лицом, но гетман лишь угрожающе повысил голос.) Здесь ждут моего совета. Я слушал вас, господа, я беседовал с моей совестью... Вот мой ответ. Наши войска ненадежны. Чтобы заставить их пролить свою и братскую кровь, нужно, чтобы сердце каждого шляхтича запело от восторга, а голова закружилась от гнева... Может быть, король Станислав знает такой боевой клич? Я не знаю его... «Во имя бога, вперед, на смерть за славу Лещинских!» Не пойдут. «Во имя бога, вперед, за славу короля шведов»? Побросают сабли. Вести войска я не могу! Я более не гетман!

До косматых бровей побагровело искаженное лицо гетмана. Не в силах сдерживать себя, он вытащил из-за пояса булаву и швырнул ее под ноги мальчишке королю. Белая сука жалобно взвизгнула...

— Измена! — бешено крикнул Горн.

5

Слово «берсеркиер», — или одержимый бешенством, — идет из глубокой древности, от обычая северных людей опьяняться грибом мухомором. Впоследствии, в средние века, берсеркиерами норманнов назывались воины, одержимые бешенством в бою, — они сражались без кольчуги, щита и шлема, в одних холщовых рубахах и были так страшны, что, по преданию, например, двенадцать берсеркиеров, сыновей конунга Канута, — плавали на отдельном корабле, так как сами норманны боялись их.

Припадок бешенства, случившийся с королем Карлом, можно было только назвать берсеркиерством, до такой степени все придворные, бывшие в это время в его шатре, были испуганы и подавлены, а граф Пипер даже не чаял остаться живым... Тогда, получив от графини Козельской голубиную депешу, Карл, наперекор мнению Пипера, фельдмаршала Рёншельда и других генералов, остался непоколебим в мстительном желании теперь же dokonать Августа, привести всю Польшу к покорности Станиславу Лещинскому, дать хороший отдых войскам и на будущий год, в одну летнюю кампанию, завершить восточную войну блестящим разгромом всех петровских полчищ. За судьбу Нарвы и Юрьева он не тревожился, — там были надежные гарнизоны и крепкие стены — не по зубам москвитам, там был отважнейший Шлиппенбах. А помимо всего, пострадала бы гордость его, наследника славы Александра Македонского и Цезаря, смешавшего свои великие планы из-за какой-то голубиной депешы, да еще переданной распутной куртизанкой...

Весть о приходе в Сокаль русского вспомогательного войска и о неожиданном марше Августа на Варшаву из-под самого носа Карла (который, как сытый лев, лениво не торопился вонзить клыки в обреченного польского короля) привез тот самый шлях-

тич, что на пиру у пана Собещанского разрубил саблей блюдо с колбасой. Граф Пипер в смущении пошел будить короля,— было это на рассвете. Карл тихо спал на походной постели, положив на грудь скрещенные руки. Слабый огонек медной светильни озарял его большой нос с горбинкой, аскетическую впалину щеки, плотно сжатые губы,— даже и во сне он хотел быть необыкновенным. Он походил на каменное изваяние рыцаря на саркофаге.

Вначале граф Пипер положил надежду на королевского петуха, которому как раз приспело время загорланить во всю глотку. Но петуху приходилось разделять монашеское житие вместе с королем, он только повозился в клетке за парусиной шатра и хрипло выдавил из горла что-то вроде — э-хе-хе...

— Ваше величество, проснитесь,— как можно мягче произнес граф Пипер, прибавляя огонек в светильне,— ваше величество, неприятное известие (Карл, не шевелясь, открыл глаза)... Август ушел от нас...

Карл тотчас сбросил на коврик ноги в холщовых исподних и шерстяных чулках, опираясь на кулаки, глядел на Пипера. Тот со всей придворной осторожностью рассказал о счастливой перемене судьбы Августа.

— Мои ботфорты, штаны! — медленно произнес Карл, еще ужаснее раскрывая немигающие глаза,— они даже начали мерцать, или то было отражение в них огонька светильни, начавшего коптить. Пипер кинулся из шатра и тотчас вернулся с Беркенгельмом в нахлобученном кое-как парике. В палатку входили генералы. Карл надел штаны, задирая ноги, натянул ботфорты, застегнул сюртук, обломав два ногтя, и тогда только дал волю своей ярости.

— Вы проводите время с грязными девками, вы разжирили, как католический монах! — лающим голосом (потому что скулы у него сводило и зубы лязгали) кричал он ни в чем не виновному генералу Розену.— Сегодня день вашего позора,— повернувшись точно для удара шпагой, кричал он генералу Левенгаупту,— вам уместно тащиться нижним чином в обозе моей армии! Где ваша разведка? Я узнаю новости позже всех!.. Я узнаю важнейшие новости, от которых зависит судьба Европы, от какого-то пьяного шляхтича! Я узнаю их от куртизанок! Я смешон! Я еще удивляюсь, почему меня сонного не утащили из шатра казаки и с веревкой на шее не отвезли в Москву! А вам, господин Пипер, советую заменить дурацким колпаком графскую корону на вашем гербе! Вы пожиратель бекасов, куропаток и прочей дичи, пьяница и осел! Не смейте изображать оскорбления! Я с удовольствием вас колесую и четвертую! Где ваши шпионы, я спрашиваю? Где ваши курьеры, которые должны сообщать мне о событиях за сутки раньше, чем они случаются? К черту! Я бросаю армию, я становлюсь частным лицом! Мне противно быть вашим королем!

Затем Карл оторвал все пуговицы на своем сюртуке. Ударом

ботфортов проткнул барабан. В клочья истрепал парик, ставив его с головы барона Беркенгельма. Ему никто не возражал, — он метался по шатру среди пятащихся придворных. Когда припадок берсеркиерства стал утихать, Карл завел руки за спину, нагнул голову и проговорил:

— Приказываю немедленно по тревоге поднять армию. Даю вам, господа, три часа на сборы. Я выступаю. Вы узнаете все из моего приказа. Оставьте мой шатер. Беркенгельм, перо, бумагу и чернила.

6

— Это несносно... Стоим, стоим целую вечность... Побольше решительности, хорошая атака — и сегодняшнюю ночь могли бы ночевать в Варшаве, — ворчливо говорила графиня Козельская, глядя в окно кареты на бесчисленные огни костров, раскинувшиеся широкой дугой перед невидимым в ночной темноте городом. Графиня устала до потери сознания. Ее изящная карета с золотым купидоном сломалась на переправе через речонку, и пришлось пересест в неудобный, трясучий, безобразный экипаж пани Анны Собещанской. Графиня была так зла, пани Анна казалась ей столь презренным существом, что она была даже любезна с этой захолустной полячкой.

— Карета короля стоит впереди нас, но его там нет... О чем он думает — самому богу неизвестно... Никаких приготовлений к ужину и отдыха...

Графиня с трудом, дергая за ремень, опустила окно кареты. Потянуло теплым запахом конского пота и сытным дымком солдатских кухонь. Ночь была полна лагерного шума, — перекликались голоса, трещали сцепившиеся телеги, — крики, брань, хохот, конский топот, отдаленные выстрелы. Графине осточертели эти походные удовольствия, она подняла стекло. Откинувшись в угол кареты. Ей все мешало — и сбившееся платье, и бурнус, и углы шкатулок, она бы с наслаждением кого-нибудь укусила до крови...

— Боюсь, что королевский дворец мы найдем в полнейшем беспорядке, ограбленным... Семья Лещинских славится алчностью, и я слишком хорошо знаю Станислава, — ханжа, скуп и мелочен... Он бежал из Варшавы не с одним молитвенником в кармане. Советую вам, милая моя, иметь в запасе чей-нибудь партикулярный дом, если, конечно, у вас в Варшаве есть приличные знакомые... На короля Августа вы не очень-то рассчитывайте... Боже, какой это негодяй!

Пани Анна наслаждалась беседами с графиней, — это была высшая школа светского воспитания. Пани Анна с юного детства, едва только под сорочкой у нее стали заметны прелестные выпуклости, мечтала о необыкновенной жизни. Для этого стоило только поглядеться в зеркало: хороша, да не просто

хорошенькая, а с перчиком, умна, остра, резва и неугомонна. Родительский дом был беден. Отец — разорившийся шляхтич — промышлял по ярмаркам да за карточными столами у богатых панов. Он редко бывал дома. В затрапезном кафтанчике, усталый, присмирелый, с помятым лицом, сидел у окошка и тихо глядел на бедное свое хозяйство. Анна — единственная и любимая дочь — приставала к нему, чтобы рассказывал про свои похождения. Отец, бывало, с неохотой, потом — разгорячась, начинал хвастать подвигами и сильными знакомствами. Как волшебную сказку, слушала Анна были и небылицы про чудеса и роскошь князей Вишневецких, Потоцких, Любомирских, Чарторыйских... Когда отец, продав за карточный долг последнюю клячу со двора и съев последнего куренка, просватал дочь за пожилого пана Собещанского, — Анна не противилась, понимая, что этот брак лишь надежная ступень к будущему. Огорчало ее только то, что муж уж слишком пылко, не по годам влюбился. Сердце у нее было доброе, впрочем, в полном подчинении у рассудка.

И вот, — случай вознес ее сразу на самый верх лестницы счастья. Король попал в ее сети. У пани Анны не закружилась голова, как у дурочки; острый ум ее стал шнырять, как мышь в темном закроме; все надо было обдумать и предвидеть. Пану Собещанскому, который обыкновенно, как влюбленный муж, ничего не понимал и не видел, она заявила ласково: «Хватит с меня деревенской глуши! Вы сами, Иозеф, должны быть за меня счастливы: теперь я хочу быть первой дамой в Варшаве. Ни о чем не заботьтесь, пируйте себе и обожайте меня».

Сложно было другое: перехитрить графиню Козельскую и безмятежно утопить ее, и самое, наконец, щепетильное, — не для минутной прихоти послужить королю, но привязать его прочно...

Для этого мало одной женской прелести, для этого нужен опыт. Пани Анна, не теряя времени, выводывала у графини тайны обольщений.

— Ах, нет, любезная графиня, в Варшаве я готова жить в лачуге, лишь — вблизи вас, как серая пчелка близ розы, — говорила пани Анна, сидя с поджатыми ногами в другом углу кареты и мельком поглядывая на лицо графини с закрытыми глазами; оно то розовело от отблесков костров, то погружалось в тень (будто луна в облаках). — Ведь я еще совсем дитя. Я до сих пор дрожу, когда король заговаривает со мной, — не хочется ответить что-нибудь глупое и неприличное.

Графиня заговорила, будто отвечая на свои мысли, кислые, как уксус:

— Когда король голоден — он пожирает с одинаковым удовольствием ржаной хлеб и страсбургские пироги. В одном придорожном шинке он увязался за рябой казачкой, бегавшей, как молния, через двор на погреб и опять в шинок с кувшинами... Она ему показалась женщиной... Только одно это имеет для

него значение... О, чудовище! Графиня Кенигсмарк взяла его тем, что во время танца показывала подвязки, — черные бархатные ленточки, завязанные бантиком на розовых чулках...

— Иезус-Мария, и это так действует? — прошептала пани Анна.

— Он, как скотина, влюбился в русскую боярыню Волкову; она во время бала несколько раз меняла платье и рубашку; он вбежал в комнату, схватил ее сорочку и вытер потное лицо... Такая же история была в прошлом столетии с Филиппом Вторым — королем Франции. Но там это кончилось долгой привязанностью, а боярыня Волкова, ко всеобщему удовольствию, улизнула у него из-под носа...

— Я ужасно глупа! — воскликнула пани Анна, — я не понимаю, при чем же тут сорочка той особы?

— Не сорочка, важна кожа той особы, ей присущий запах... Кожа женщины то же, что аромат для цветка, об этом знают все девчонки в школах при женских монастырях... Для такого развратника, как наш возлюбленный король, его нос решает его симпатии...

— О пресвятая дева!

— Вы присматривались к его огромному носу, которым он очень гордится, находя, что это придает ему сходство с Генрихом Четвертым... Он все время раздувает ноздри, как легавая собака, почуявшая куропатку...

— Значит, особенно важны духи, амбрные пудры, ароматические притирания? Так я поняла, любезная графиня?

— Если вы читали Одиссею, должны помнить, что волшебница Цирцея превращала мужчин в свиней... Не притворяйтесь наивной, милая моя... А впрочем, все это достаточно противно, скучно и унизительно...

Графиня замолчала. Пани Анна принялась размышлять, — кто кого, собственно, сейчас перехитрил? За окном кареты показалась конская морда, роняющая пену с черных губ. Подъехал король. Он соскочил с седла, раскрыл дверцу, — ноздри его были раздуты, крупное, оживленное лицо ослепительно улыбалось. При свете факела, которым светил верховой, он был так великолепен в легком золоченом шлеме, с закинутым наверх забралом, в пышно перекинутой через плечо пурпуровой мантии, что пани Анна сказала себе: «Нет, нет, никаких глупостей...» Король воскликнул весело:

— Выходите, сударыни, вы будете присутствовать при историческом зрелище...

Пани Анна тотчас, тоненько вскрикнув, выпорхнула из кареты. Графиня сказала:

— У меня переломлена поясница, чего вы, несомненно, добились, ваше величество. Я не одета и останусь здесь дремать на голодный желудок.

Король ответил резко:

— Если вам нужны носилки, я пришлю...

Носилки, мне? — От удара зеленого света ее распахнувшихся глаз Август несколько попятился. Графиня, будто с зажженным фитилем, вылетела из кареты, — в персиковом бурнусе, в огоньках драгоценных камней, дрожащих в ушах, на шее, на пальцах, с куфюрой потрепанной, но оттого не менее прелестной. — Всегда к вашим услугам! — и сунула голую руку под его локоть. Еще раз пани Анна поняла, как велико искусство этой женщины...

Втроем они пошли к королевской карете, где при свете факелов стоял на конях эскадрон отборной шляхетской конницы, — в кирасах с белыми лебедиными перьями, прикрепленными за плечами на железных ободах. Август и дамы — по сторонам его и несколько позади — сели в кресла на ковре. У пани Анны билось сердце: ей представилось, что обступившие их высокие всадники с крыльями, с бликами огней на кирасах и шлемах, — божьи ангелы, сошедшие на землю, чтобы вернуть Августу его варшавский дворец, славу и деньги... Она закрыла глаза и прочла короткую молитву:

— Да будет король в руках моих, как ягненок...

Послышался конский топот. Эскадрон расступился. Из темноты приближался великий гетман Любомирский со своим конвоем, также с крыльями за плечами, но лишь из черных перьев. Подъехав вплотную к королю, великий гетман рванул поводья, раздув спанчу, прянул с храпящего коня и на ковре преклонил колено перед Августом:

— Если можешь, король, прости мою измену...

Горячие темные глаза его глядели твердо, воспаленное лицо было мрачно, голос срывался. Он ломал свою гордость. Он не снял меховой шапки с алмазной гирляндой, лишь сухие руки его дрожали...

— Моя измена тебе — мое безумие, потемнение разума... Верь, — я все же ни часу не признавал королем Станислава... Обида терзала мои внутренности. Я дождался... Я бросил ему под ноги мою булаву... Я плюнул и вышел от него... На королевском дворе на меня напали солдаты коменданта... Слава богу, рука моя еще крепко держит саблю, — кровью проклятых я скрепил разрыв с Лещинским... Я предлагаю тебе мою жизнь.

Слушая его, Август медленно стаскивал железные перчатки. Уронил их на ковер, лицо его прояснилось. Он поднялся, протянул руки, потряс ими:

— Верю тебе, великий гетман... От всего сердца прощаю и обнимаю тебя...

И он со всей силой прижал его лицо к груди, к чеканным кентаврам и нимфам, изображенным на его панцире итальянской работы. Продержав его так, прижатым, несколько дольше, чем следовало, Август приказал подать еще один стул. Но стул уже был подан. Великий гетман, трогая помятую щеку, стал расска-

зывать о варшавских событиях, происшедших после его отказа выступить против Августа и русских.

В Варшаве начался переполох. Кардинал примас Радзиевский, который в прошлом году на люблинском сейме публично, на коленях перед распятием, клялся в верности Августу и свободе Речи Посполитой, а через месяц в Варшаве поцеловал лютеранское евангелие на верность королю Карлу и потребовал, — даже с пеной на губах, — декорации Августа и выдвинул кандидатом на престол князя Любомирского и тут же, по требованию Арведа Горна, предал и его, — этот трижды предатель первым бежал из Варшавы, ухитрись при этом увезти несколько сундуков церковной казны.

Король Станислав три дня бродил по пустому дворцу, — с каждым утром все меньше придворных являлось к королевскому выходу. Арвед Горн не спускал его с глаз, — он поклялся ему удержать Варшаву с одним своим гарнизоном. Так как по правилам этикета он не мог присутствовать за королевским столом, поэтому в обед и ужин сидел рядом в комнате и позванивал шпорами. Станислав, чтобы не слышать досадливого позванивания, читал сам себе вслух по-латыни, между блюдами, стихи Апулея. На четвертую ночь он все же улизнул из дворца, — вместе со своим парикмахером и лакеем, — переодетый в деревенское платье, с наклеенной бородой. Он выехал за городские ворота на телеге с двумя бочками дегтя, где находилась вся королевская казна. Арвед Горн слишком поздно догадался, что король Станислав, — истинный Лещинский, — помимо чтения Апулея и скучливого шагания вместе со своей собакой по пустым залам, занимался в эти дни и еще кое-чем... Арвед Горн сорвал и растоптал занавеси с королевской постели, проткнул шпагой дворцового маршалка и расстрелял начальника ночной стражи. Но теперь уже ничто не могло остановить бегства из Варшавы знатных панов, так или иначе связанных с Лещинским.

Август хохотал над этими рассказами, стучал кулаками по ручкам кресла, обращившись к дамам. Глаза графини Козельской выражали только холодное презрение, зато пани Анна заливалась смехом, как серебряный колокольчик.

— Какой же совет ты мне дашь, великий гетман? Осада или немедленный штурм?

— Только — штурм, милостивый король. Гарнизон Арведа Горна невелик. Варшаву нужно взять до подхода короля Карла.

— Немедленный штурм, черт возьми! Мудрый совет. — Август воинственно громыхал железными наплечниками. — Чтобы штурм был удачен — нужно хорошо накормить войско, хотя бы вареной гусятиной... По скромному счету пять тысяч гусей!.. Гм! — Он сморщил нос. — Неплохо также заплатить жалованье... Князь Дмитрий Михайлович Голицын смог выделить мне только двадцать тысяч ефимков... Гроши! Что касается денег — царь Петр не широк, нет — не широк! Я рассчитывал на кардиналь-

скую и дворцовую казну... Украдена! — закричал он, багровея. — Не могу же я обложить контрибуцией мою же столицу!

Князь Любомирский все это выслушал, глядя себе под ноги, и сказал тихо:

Мой войсковой сундук еще не пуст... Прикажи только...

Благодарю, охотно воспользуюсь, — несколько слишком торопливо, но с чисто версальской грацией ответил Август. — Мне нужно тысяч сто ефимков... возвращу после штурма... — Просияв, он поднялся и снова обнял гетмана, коснувшись щекой его щеки. — Иди, князь, и отдохни. И мы хотим отдохнуть.

Гетман вскочил на коня, не оборачиваясь, усакал в темноту. Август повернулся к дамам.

— Сударыни, итак, ваше утомительное путешествие будет вознаграждено... Скажите мне лишь ваши желания... Первое из них и самое скромное, — я догадываюсь, — ужинать... Не подумайте, что я забыл о ваших удобствах и развлечениях... Таков долг короля, — никогда и ничего не забывать... Прошу в мою карету...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Гаврила Бровкин без отдыха скакал в Москву, — с царской подорожной, на перекладной тройке, в короткой телеге на железном ходу. Он вез государеву почту и поручение князю-кесарю — торопить доставки в Питербург всякого железного изделия. С ним ехал Андрей Голиков. Велено было в дороге не мешкать. Какое там мешкать! На сто сажен впереди тройки летело Гаврилино нетерпеливое сердце. Доскакивая до очередного яма, — или, как иначе говорить, почтового двора, — Гаврила, весь в пылище, вбегал на крыльцо и колотил в дверь рукоятью плетки: «Комиссар! — кричал, вращая глазами, — сей час — тройку!» — и надвигался на заспанного земского целовальника, у которого одна лишь шляпа с галунами была признаком комиссарства, — за жарким временем бывал он бос, в одних исподних и в длинной рубахе распояской. «Ковш квасу, и, покуда допью, чтоб заложена была...»

Андрей Голиков также находился в восторженном восприятии. Стиснув зубы, вцепясь в обод телеги, чтобы не свалиться, не убиться, с волосами, отдутыми за спину, с носом, выставленным, как у кулика, он будто в первый раз раскрыл глаза и глядел на плывущие навстречу леса, дышащие смолистым теплом, на окаймленные ядовито яркой зеленью круглые болотные озера, отражающие небо и летние тучки, на извилистые речонки, откуда — с черной воды — поднимались стаи всякой дичи, когда колеса

громыхали по мосту. О дальнем, нескончаемом пути тоскливо заливался колокольчик под качающейся дугой. Ямщик гнал и гнал тройку, чувствуя суголою спиной бешеного седока с плеткой.

Редко попадались деревни, ветхие, малолюдные, с убогими избами, где вместо окошек — дыра в две ладони, затянутая пузырем, да закопченная дымом щель над низенькой дверью, да под расщепленной ивой — голубок с иконкой, чтобы было все-таки перед чем хоть бога-то помянуть в такой глуши. В иной деревеньке осталось два, три двора жилых, — в остальных просели худые крыши, завалились ворота, кругом заросло крапивой. А людей — поди ищи в непролазных лесах, на чертовых кулижках на севере по Двине или Выгу, или — убежали за Урал или на нижний Дон.

— Ах, деревни-то какие бедные, ах, живут как бедно, — шептал Голиков и от сострадания прикладывал узкую ладонь к щеке. Гаврила отвечал рассудительно:

— Людей мало, а царство — проехать по краю — десяти лет не хватит, оттого и беднота: с каждого спрашивают много. Вот, был я во Франции... Батюшки! — мужиков ветром шатает, едят траву с кислым вином и то не все... А выезжает на охоту маркиз или сам дельфин французский, дичь бьют возами... Вот там — беднота. Но там причина другая...

Голиков не спросил, какая причина тому, что французских мужиков шатает ветром... Ум его не был просвещен, в причинах не разбирался: через глаза свои, через уши, через ноздри он пил сладкое и горькое вино жизни, и радовался, и мучился чрезмерно...

На Валдайских горах стало веселее, — пошли поляны с прошлогодними стогами, с сидящим коршуном наверху, лесные дорожки, пропадающие в лиственной чаще, куда бы так и уйти, беря ягоду, и шум лесов стал другой, — мягкий, в полную грудь. И деревни — богаче, с крепкими воротами, с изукрашенными резьбой крыльцами. Остановились у колодца поить, — увидели деву лет шестнадцати с толстой косой, в берестяном кокошнике, убранном голубой бусинкой на каждом зубчике, до того миловидную — только вылезти из телеги и поцеловать в губы. Голиков начал сдержанно вздыхать. Гаврила же, не обращая внимания на такую чепуху, как деревенская девка, сказал ей:

— Ну, чего стоишь, вытаращилась? Видишь, у нас обод лопнул, сбегай позови кузнеца.

— Да, ой, — тихо вскрикнула она, бросила ведра и коромысло и побежала по мураве, мелькая розовыми пятками из-под вышитого подола холщовой рубахи. Впрочем, она кому-то чего-то сказала, и скоро пришел кузнец. Глядя на такого мужика, всякий бы удовлетворенно крикнул: ну и дюж человек! Лицо с кудрявой бородкой крепко слажено, на губах усмешка, будто он из одного снисхождения подошел к приезжим дурачкам, в грудь можно без вреда бить двухпудовой гирей, могучие руки заложены за кожаный нагрудник.

— Оббѣ, что ли, лопнул? — насмешливо спросил он певучим баском. — Оно видно — работа московская. — Покачивая головой, он обошел кругом телеги, заглянул под нее, взялся за задок и легко трихнул ее вместе с седоками. — Она вся развалилась. На этой телеге только чертям дрова возить.

Гаврила, сердясь, заспорил. Голиков восторженно глядел на кузнеца, — изо всех чудес это было, пожалуй, самое удивительное. Ну как же было ему не тосковать по кистям и краскам, по дубовым пахучим доскам! Все, все летит мимо глаз, уходит без возврата в туманное забвение. Лишь один живописец искусством своим на белом левкасе доски останавливает безумное уничтожение.

— Ну, а долго ты будешь с ней возиться? — спросил Гаврила. — У меня час дорог, скачу по царскому наказу.

— Можно и долго возиться, а можно и коротко, — ответил кузнец. Гаврила строго посмотрел на свою плетку, потом покосился на него:

— Ладно... Сколько просишь?

— Сколько спрошу? — кузнец засмеялся. — Моя работа дорогая. Спросить с тебя как следует — у тебя и деньжонок не хватит. А ведь я тебя знаю, Гаврила Иванович, ты с братом весной здесь проезжал, у меня же и ночевал. Забыл? А вот брат у тебя толковый мужик. Я и царя Пётру хорошо знаю, и он меня знает, — каждый раз в кузню заворачивает. И он тоже — толков. Ну, что ж, поворачивайте к кузнице, чего-нибудь сделаем.

Кузница стояла на косогоре у большой дороги, низенькая, из огромных бревен, с земляной крышей, с тремя станами дляковки лошадей; кругом валялись колеса, сохи, бороны. У дверей стояли, в кожаных фартуках с перевязанными ремешком кудрями, два его младших брата, и — старший — угрюмый, бородатый верзила, молотобоец. Не спеша, но споро, играючись, кузнец принялся за дело. Сам отпруг лошадей, перевернул телегу, снял колеса, вытащил железные оси. «Гляди — обе с трещиной, — этой бы осью этого бы московского кузнеца по темечку...» Оси он сунул в горн, высыпал туда куль угля, крикнул младшему брату: «Ванюша, дуй бодрей. Эх, лес сечь — не жалеть плеч!..» И пошла у братьев работа. Гаврила, сопя трубочкой, прислонился в дверях. Голиков сел на высоком пороге. Они было спросили, не помочь ли для скорости? Кузнец махнул рукой: «Сидите спокойно, хоть раз поглядите, какие есть валдайские кузнецы...»

Ванюша раздувал мехи, — искры, треща бураном, неслись под крышу. Озаренный ими, бородатый старший брат стоял, как идол, положив руки на длинную рукоять пудового молота. Кузнец пошевеливал ось в жарко дышащем горне:

— А зовут нас, чтоб вы знали, кличут нас Воробьевы, — говорил он, все так же посмеиваясь в кудреватые усы. — Мы — кузнецы, оружейники, колокольщики... Под дугой-то у вас — нашего литья малиновый звон... В прошлом году царь Пётра

так же вот здесь сидел на пороге и все спрашивал: «Погоди, говорит, Кондратий Воробьев, стучать, ответь мне сначала,— почему у твоих колокольчиков малиновый звон? Почему работы твоей шпажный клинок гнется, не ломается? Почему воробьевский пистолет бьет на двадцать шагов дальше и бьет без осечки?» Я ему отвечаю,— ваше царское величество, Петр Алексеевич, потому у наших колокольчиков такой звон, что медь и олово мы взвешиваем на весах, как нас учили знающие люди, и льем без пузырей. А шпага наша потому гнется, не ломается, что калим ее до малинового цвета и закаливаем в конопляном масле. А пистолеты потому далеко бьют и без осечки, что родитель наш, Степан Степанович, царствие ему небесное, бивал нас, маленьких, лозой больно за каждую оплошку и приговаривал: худая работа хуже воровства... Так-то...

Клещами Кондратий выхватил ось из горна на наковальню, обмел вспыхнувшим веничком окалину с нее и кивнул бородой старшему брату. Тот отступил на шаг и, откидываясь и падая вперед, описывая молотом круг, стал бить,— каленые брызги летели в стены. Кондратий кивнул среднему брату: «А ну, Степа...» Тот с молотом поменьше встал с другой стороны; и пошел у них стук, как в пасхальный перезвон,— старший бухал молотом один раз, Степа угрожал два раза, Кондратий, поворачивая железо и так и сяк, наигрывал молотком. «Стой!» — прикрикнул он и бросил скованную ось на земляной пол. «Ванюша, поддай жару...»

— Вот он мне, значит, и говорит,— вытерев пот тылом ладони, продолжал кузнец: — «Слышал ли ты, Кондратий Воробьев, про тульского кузнеца Никиту Демидова? У него сегодня на Урале и заводы свои, и рудники свои, и мужики к нему приписаны, и хоромы у него богаче моих, а ведь начал вроде тебя с пустяков... Пора бы и тебе подумать о большом деле, не век у проезжей дороги лошадей ковать... Денег нет на устройство,— хоть и у меня туго с деньжонками,— дам. Ставь оружейный завод в Москве, а лучше — ставь в Питербурге... Там — рай...» И так он мне все хорошо рассказал,— смотрю — смущает меня, смущает... Ох, отвечаю ему, ваше величество, Петр Алексеевич, живем мы у проезжей дороги знатно как весело... Родитель наш говаривал: «Блин — не клин, брюхо не расколется, — ешь сытно, спи крепко, работай дружно...» По его завету мы и поступаем... Всего у нас вдоволь. Осенью наварим браги, такой крепкой — обруча на бочках трещат, да и выпьем твое, государь, здоровье. Нарядные рукавицы наденем, выдем на улицу — на кулачки и позабавимся... Не хочется отсюда уходить. Так я ему ответил. А он как осерчает. «Хуже, говорит, не мог ты мне ответить, Кондратий Воробьев. Кто всем доволен, да не хочет хорошее на лучшее менять, тому — все потерять. Ах, говорит, когда же вы, дьяволы ленивые, это поймете?...» Загадал мне загадку...

Кузнец замолчал, нахмурился, потупился. Младшие братья глядели на него, им тоже, конечно, хотелось кое-что сказать

по этому случаю, но — не смели. Он покачал головой, усмехнулся про себя:

— Так-то он всех и мутит... Ишь ты, это мы-то ленивые? А выходит, что — ленивые.— Он быстро обернулся к горну, где калилась вторая ось, схватил клещи и — братьям: — Становись!

Часа через полтора телега была готова, собрана, крепка, легка. Дева в лубяном кокошнике все время вертелась около кузницы. Кондратий наконец заметил ее:

— Машутка! — Она метнула косой и стала как вкопанная.— Сбегай принеси боярам молока холодного — испить в дорогу.

Гаврила, прищурясь на то, как она мелькает пятками, спросил:

— Сестра? Девка завидная...

— А — ну ее, — сказал кузнец.— Замуж ее отдать — как будто еще жалко. Дома она — ни к чему, ни ткать, ни коров доить, ни гусей пасти. Одной — ей, — намять синей глины и — баловаться, — сделает кошку верхом на собаке или старуху с клюкой, как живую, это истинно... Налепит птиц, зверей, каких не бывает. Полна светелка этой чепухи. Пробовали выкидывать — крик, вопли. Рукой махнули...

— Боже мой, боже мой, — тихо проговорил Голиков, — надо же поскорее посмотреть это! — И, будто в священном ужасе, раскрыл глаза на кузнеца. Тот хлопнул себя по бокам, засмеялся. Ванюша и Степа сдержанно улынулись, хотя оба не прочь были также приснуть со смеху. Дева в лубяном кокошнике принесла горшок топленого молока. Кондратий сказал ей:

— Машка, этот человек хочет посмотреть твоих болванчиков, для чего — не ведомо. Покажи...

Дева помертвела, горшок с молоком задрожал у нее в руках.

— Ой, не надо, не покажу! — поставила горшок на траву, повернулась и пошла, как сонная, — скрылась за кузницей. Тут уже все братья начали хвататься за бока, трясти волосами... Не смеялся один Голиков, — выставив нос, он глядел туда, где за углом кузницы скрылась дева. Гаврила сказал:

— Ну, как же, Кондратий Степанович, все-таки будем расплачиваться?

— Как расплачиваться? — Кузнец вытер мокрые глаза, расправил усы и уже задумчиво погладил бородку: — Увидишь царя Пётру — передай ему поклон... Прибавь там от себя — чего полагается. И скажи, — Кондратий Воробьев просит-де на него не гневаться, глупее людей Кондратию Воробьеву не бывать... Государь ответ мой поймет...

2

За волнистыми полями, за березовыми рощами, за ржаными полосами, далеко за синим лесом стояла радуга, одна ее нога пропадала в уходящей дождевой туче, а там, где она упиралась в землю другой ногой, сверкали и мигали золотые искры.

— Видишь, Андрюшка?
— Вижу...
— Москва...
— Гаврила Иванович — это вроде — как знаменье... Радуга-то нам ее осветила...

— Сам не понимаю — с чего Москва так играет... А ты, чай, рад, что — в Москву-то?

— А то как же... И рад, и страшно...

— Приедем, — прямо в баню... Утречком сбегаю к князю-кесарю... Потом сведу тебя к царевне Наталье Алексеевне...

— Вот то-то и страшно...

— Слушай, ямщик, — сказал Гаврила на этот раз даже вкрадчиво, — погоняй, соколик, человечно прошу тебя, погоняй...

После дождя дорога была угонистая. Летели комья с копыт. Блестела листва на берегах. Ветерок стал пахучий. Навстречу тянулись пустые телеги с мужиками, с непроданной коровенкой или хромой лошастью, привязанной к задку. Проплывал верстовой столб с орлом и цифирью: до Москвы 34 версты... Опять у дороги — плохонькие избенки, стоявшие, которая — бочком, которая — задом, и за седыми ветлами на кладбище — облупленный шатер церквенки. И опять поперек улицы перед самой тройкой бежит голопузый мальчишка, закидывая волосы, будто он конь. Ямщик перегнулся, обжигая его кнутом по изъеденному комарами месту, откуда растут ноги, но тот — хоть бы что — только шмыгнул, провожая круглыми глазами тройку.

И опять — с горки на горку. Взглянешь направо, где сквозь кусты блестит речка, — бородатые мужики в длинных рубахах, один впереди другого, широко расставляя ноги, идут по лугу, враз взблескивают косами. Взглянешь налево — на лесной опушке, на краю тени, лежит стадо, и пастушонок бегаёт с кнутом за пегим бычком, а за ним, взмахивая из травы ушами, скачет умная собачка... Опять полосатый верстовой столб, — 31 верста... Гаврила застонал:

— Ямщик, ведь только три версты проехали...

Ямщик обернул к нему веселое лицо с беспечно вздернутым носом, который, казалось, только для того и пристроился между румяных щек, чтобы смотреться в рюмку:

— Ты, боярин, версты не по столбам считай, по кабакам их считай, в столбах верности нет... Гляди, — сейчас припустим...

Он вдруг вскрикнул протяжно: «Ой-ой-ой, лошадушки!» — откинулся, бросил вожжи, большеголовые разномастные лошаденки помчались вскачь, круто свернули и стали у кабака, у старой длинной избы с высокой вехой, торчавшей над воротами, и с вывеской, — для грамотных, — выведенной киноварью по лазоревому полю над дверью: «Къобакъ»...

— Боярин, что хочешь делай, кони зарезались, — весело сказал ямщик и снял с головы высокую войлочную шапку, — хочешь... до смерти бей, а лучше прикажи поднести зелененького.

Целовальник, одетый по-старинному, в клюквенном кафтане с воротником — выше лысины, уже вышел на гнилое крылечко, умильный, свежий, и держал на подносе три рюмки зеленого вина и три кренделя с маком для закуски... Делать нечего, пришлось вылезти из телеги, размяться...

К Москве стали подъезжать в сырые сумерки. Конца не было усадьбам, деревенькам, рощам, церковкам, заборам. Иногда дуга задевала за ветвь липы, и на седоков сыпались дождевые капли... Повсюду теплился свет сквозь пузырчатые стекла или слюдяные окошечки; на папертях еще сидели нищие; кричали галки в пролетах колоколен. Колеса загромыхали по деревянной мостовой... Гаврила, схватив ямщика за плечо, указывал — в какие сворачивать кривые переулки... «Вон, где человек у забора лежит, так напротив — в тупик... Стой, стой, приехали!» Он выскочил из телеги и застучал в ворота, окованные, как сундук, полосами луженого железа. В ответ грохнули бешеным лаем, загревели цепями знаменитые бровкинские волкодавы.

Хорошо после долгого небывания приехать в родительский дом. Войдешь — все привычно, все по-новому знакомо. В холодных снях на подоконнике горит свеча, здесь у стен — резные скамьи для просителей, чтобы сидели и ждали спокойно, когда позовут к хозяину; далее — пустые зимние сени с двумя печами, здесь свеча, отдуваемая сквозняком, стоит на полу, отсюда — налево — обитая сукном дверь в нежилые голландские горницы — для именитых гостей, дверь направо — в теплые низенькие покои, а — пойти прямо — начнешь блуждать по переходам, крутым лестницам вверх и вниз, где — клетки, подклеты, светлицы, чуланы, кладовые... И пахнет в родительском доме по-особенному, приятно, уютно... Люди — рады приезду, говорят и смотрят любовно, ждут исполнить желания...

Родителя, Ивана Артемича, дома не случилось, был в отъезде по своим мануфактурам. Гаврилу встретили ключница, дородная (как и полагалось ей быть), степенная женщина с тяжелой рукой и певучим голосом, старший приказчик, про которого Иван Артемич сам говорил, что это сатана, и, недавно нанятый за границей, мажордом Карла, фамилии его никто не мог выговорить, длинный и угрюмый мужчина со щекастым лицом, опухшим от безделья и русской нищи, с могучим подбородком, с нависшим лбом, оказывающим великий ум в этом человеке, лишь был у него изъян, — из-за него он и попал в Москву за сходное жалование, — вместо носа носил он бархатный черный колпачок и был несколько гнусав.

— Ничего не хочу, только в баню, — сказал им Гаврила. — К ужину чтоб студень был, да пирог с говядиной, да гусь, да еще чего-нибудь посытнее. В Питербурге на одной вошочей солонине да сухарях совсем отошдали...

Ключница развела пухлые кисти рук, сложила их: «Исусе Христе, да как же ты сухари-то кушал!» Сатана-приказчик —

ай, ай, ай — сокрушенно замотал козлячьей бороденкой. Мажордом, ни слова не понимавший по-русски, стоял, как идол, с презрительной важностью отставя огромную плоскую ступню, заложив руки за спину. Ключница стала собирать чистое белье для бани и певуче рассказывала:

— В баньке попарим, напоим, накормим и на лебяжью перинку уложим, батюшка, в родительском доме сон сладок... У нас все слава богу, лихо-беда идут мимо двора... Голландские коровы все до одной отелились телушками, аглицкие свиньи по шестнадцати поросят каждая пометала, — сам князь-кесарь приезжал дивиться... Ягоды, вишни в огороде невиданные... Рай, рай — родительский дом... Только что пусто, — ах, ах... Родитель твой, Иван Артемич, походит, походит, бедный, по горницам: «Скушно мне, говорит, Агаповна, не съездить ли опять на мануфактуры...» Денег у родителя столько стало, со счету сбился, кабы не Сенька, — она мигнула на сатану-приказчика, — сроду ему не сосчитать... Одна у нас досада, с этим вот черноносым... Конечно, нашему дому без такой персоны нельзя теперича, по Москве говорят — как бы Ивану Артемичу титла не дали... Ну, этот шляпу с красными перьями на башку взденет, булавой в пол стукнет, ножищей притопнет, — ничего не скажешь — знатно... У прусского короля был мажордом, куда нос ему, что ли, не откусили... Сначала мы его робели, ведь — иностранный, шутка ли! Игнашка, конюх, его на балалайке научил... С тех пор целый день тренькает, так-то всем надоел... И жрать здоров... Ходит за мной: «Матка, кушать...» Дурак, какого еще не выдывали. Хотя, может, это и надо в его звании. Был у нас на Иванов день большой стол, пожаловала царица Прасковья Федоровна, и без Карлы, конечно, было бы нам трудно. Надел он кафтан, голубчик, тесьмы, бахромы на нем фунтов с десять наверхено, надел лосиные рукавицы с пальцами; берет он золотое блюдо, ставит чашу в тысячу рублей и — колено преклоня — подает царице. Берет он другое блюдо, другую чашу лучше той и подает царевне Наталье Алексеевне...

Покуда ключница рассказывала, комнатный холоп, который с появлением в доме мажордома стал называться теперь камердинер, снял с Гаврилы пыльный кафтан, камзол, распутал галстух и, крихтя, начал стаскивать ботфорты. Гаврила вдруг дернул ногами, вскочил, вскрикнул:

— У нас в дому была царевна? Что ты мелешь?

— Была, была красавица, по левую руку от Ивана Артемича сидела, ненаглядная... Все-то на нее засмотрелися, пить-есть забыли... Ручки в перстнях, в запястьях, плечи — лебединые, над самой грудью родимое пятнышко в гречишное зернышко, — все заметили... Платье на ней, как лен цветет, легче воздуха, на боках взбито пышно, по подолу — все в шелковых розах, а на головке — жар-птицы хвост...

Гаврила далее не слушал... Накинув на плечи бараний

полушубок и шлепая татарскими туфлями, понесся по переходам и лестницам в мыльню. В сыром предбаннике он вдруг вспомнил:

— Агаповна, а где же человек, что со мной приехал?

Оказалось,— Андрюшку Голикова не пустил мажордом, и тот все еще сидел на дворе в отпряженной телеге. Впрочем, ему и там было хорошо со своими думами. Над черными крышами светили звезды, пахло поварней, сеновалом, хлевами,— весьма уютно, и — нет-нет — откуда-то тянуло сладчайшим духом цветущей липы. От этого особенно билось сердце. Андрюшка, облокотясь, глядел на звезды. Что это были за огоньки, рассыпанные густо по темно-лиловой тверди, очень ли они далеко и зачем они там горят — он не знал и не думал об этом. Но оттуда лился в душу ему покой. И до чего же он, Андрей, был маленьким в этой телеге! Но — между прочим — маленьким, но не таким, как его когда-то учил старец Нектарий,— не смиренным червем, жалкой плотью чувствовал он себя... Казалось бы — животному не вынести того, что за короткую жизнь вытерпел Андрюшка,— унижали, били, мучили, казнили его голодной и студеной смертью, а он вот, как царь царей, обратя глаза к вселенским огням, слушает в себе тайный голос: «Иди, Андрей, не падай духом, не сворачивай, скоро, скоро возвеселится, разыграет твоя чудная сила, будет ей все возможно: из безобразного сотворишь мир прекрасный в твоём преображении...»

Ох, ох! За такой бы голос бесовский ему бы — в его бытность у старца — сидеть на цепи сорок дней на одном ковшике воды, тайно мазать лампадным маслом кровавые рубцы. Подумав про это, Андрей беззлобно усмехнулся. В памяти скользнуло — вспомнилось, как его один раз — царя-то царей — на Варварке в чадном кабаке били с особенной яростью какие-то посадские люди, выволокли за ноги на крыльцо и бросили в навозный снег. За что били? — не вспомнить. Было это в ту страшную зиму, когда на китайгородских, на кремлевских стенах качались повешенные стрелы. Андрей тогда, голодный, в изодранном армячишке на голое тело, босой, в отчаянии, в тоске ходил по кабакам, выпрашивая у гуляющих стаканчик зеленого вина и тайно надеясь, что его в конце концов убьют,— этого он хотел тогда мучительно, до слез жалел себя... Там же в кабаке встретил пьяненького пономаря от Варвары-великомученицы, с прищуренными глазками, раздвоенным носом, торчащей косицей. Он и уговорил тогда Андрея искать райской тишины, идти на львиное терзание плоти к старцу Нектарию... «Чудаки! — прошептал Андрей.— Плоть терзать! А плоть — ах — бывает хороша...» И еще скользнуло в памяти: тихий вечер на селе на Палехе, стоит золотая пыль, мычат коровы, заворачивая к своим заборам. Мать — тощая, с мужичьими плечами — идет к воротам, а их давно бы надо чинить, и двор — худой, заброшенный. Андрей и братья,— все погодки,— сидят на перевернутой телеге без колес. Ждут, терпят,— с эдакой мамкой потерпишь!.. Она приотво-

Федоровна — родная сестра царицы Прасковьи — молчали за столом, тихо клали ложки, шепотно брали пальцами куски из блюд. В клетках, на окнах, начинали подавать голоса перепела и ученые скворцы, один даже выговаривал явственно: «Дядя, водочки...»

Князь-кесарь, испив ковш квасу, помедлив несколько, поднимался, шел, скрипя полами досками, в сени, ему подавали просторный суконый кафтан, посох, шапку. Когда его тень, видная сквозь мутноватые стекла крытого крыльца, медленно спускалась по лестнице, все люди, случившиеся поблизости на дворе, кидались кто куда. Он один шел через двор по дорожке, вымощенной кирпичом. Шея у него была толстая, и головой поворачивать было ему трудно, все-таки углом выпученного глаза он все замечал: кто куда побежал, куда спрятался, где какие мелкие непорядки. Все запоминал. Но дел у него было чрезмерно много больших, государских, и до мелочей часто и руки не добирались. Через железную калитку в заборе он переходил на соседний двор Преображенского приказа. Там в полутемных длинных переходах перед ним молча рвали с себя шапки дьяки и приказные, вытягивались — на караул — солдаты.

Дьяк Преображенского приказа Прохор Чичерин встречал его в дверях канцелярии и, когда князь-кесарь садился у стола под заплесневелым сводом, под окошком, сразу начинал говорить о делах по порядку: за вчерашний день привезено из Тулы изготовленных пушек медных четыре, да столько же чугунных доброго литья. Посылать их тотчас и куда — под Нарву или под Юрьев? Да за вчерашний день, окончательно одета первая рота новобранного полка, только солдаты еще босые, башмаки без пряжек будут на той неделе, в Бурмистерской палате купцы сапожного ряда Сопляков и Смуров готовы крест целовать, что не обманут. Как быть? Пороха, фитилей, пуль в мешочках, кремней рассыпанных в кулях послано под Нарву по указу. Гранат ручных не удалось послать, затем, что кладовщик Ерошка Максимов другой день пьян, ключи от кладовой никому не отдает, хотели взять силой, он во исступлении ума замахивался на людей сечкой — чем калусту рубят... Как быть? Много таких дел было сказано дьяком Чичериным, под конец он, ближе придвинувшись под свод к окошку, взял столбцы тайных дел (записи подьячих с допросов без рукоприкладства и с допросов под пытками) и начал читать их. Князь-кесарь, тяжело положив на стол руку, непонятно — внимал ли, дремал ли, хотя Чичерин хорошо знал, что самую суть он непременно услышит...

— В брошенной баньке, где скрывался распол Гришка, на дворе у царевен Екатерины Алексеевны и Марьи Алексеевны, под полом найдена тетрадь в четверть листа, толщиной в полпальца, — читал по столбцам дьяк Чичерин таким однообразным голосом, будто сыпал сухие горошины на темя. — На тетради на первом листе написано: «Досмотр ко всякой мудрости». Да на

первом же листе ниже писано: «Во имя отца и сына и святого духа... Есть трава именем железека, растет на падах и палих, собой мала, по сторонам девять листочков, наверху три цвета — червлен, багров, синь, та трава вельми сильна, — рвать ее, когда молодой месяц, столочь, сварить и пить трижды, — узришь при себе водных и воздушных демонов... Скажи им зачатое слово «нсдтчндси» — и желаемое исполнится...»

Князь-кесарь глубоко вздохнул, приподнял полуопустившиеся веки:

— Слово-то это повтори-ка явственно.

Чичерин, почесав лоб, сморщась, со злобой едва выговорил: нсдтчндси... Взглянул на князя-кесаря, тот кивнул. Дьяк продолжал читать.

— «О князья, вельможи, о слезы и воздыхания! Что желаемое есть? Желаем укротить нынешнее время, ярость его, да настали бы опять будничные времена...»

— Вот, вот, вот! — Князь-кесарь пошевелился на стуле, в выпученных глазах его появилась и пропала насмешка, догадка. — Понятна трава железека. А что — распоп Гришка признал тетрадь?

— Гришка сегодня в третьем часу после пытки признал тетрадь. Купил-де ее на Кисловке у незнаемого человека за четыре копейки, а зачем прятал в баньке под половицей? — сказал, что по скудоумию.

— А ты спрашивал у него — как понимать: «Опять бы настали будничные времена?»

— Спрашивал. Дадено ему пять кнутов, — ответил: тетрадь-де купил для ради бумаги — просфоры на ней печь, а что в ней написано — не читал, не знает.

— Ах, вор, ах, вор! — Князь-кесарь медленно муслил палец, переворачивал потрепанные листы тетради. Кое-что прочитывал вполголоса: «Трава «вахария», цвет рудожелт, если человека смертно окормят — дай пить, скоро пронесет верхом и низом...» Полезная травка, — сказал князь-кесарь. И — далее — вел ногтем по строкам: — «В Кириллиной книге сказано: придет лysteц и соблазнит. Знамения пришествия его: трава никоциана, сиречь табак, повелят жечь ее и дым глотать, и тереть в порошок, и нюхать, и вместо пения псалмов будут непрестанно тот порошок нюхать и чихать. Знамение другое: брадобритие...» Ну что ж, — князь-кесарь закрыл тетрадь, — пойдем, дьяк, поспрошаем его — кто же это желает укротить нынешнее время? Распоп человек пряткий и тертый, про эту тетрадь я давно знаю, он с ней пол-Москвы обегал.

Спускаясь по узкой, изъеденной сыростью кирпичной лестнице в подполье, в застенок, Чичерин, как всегда, проговорил сокрушенно:

— Из-под земли эта моча проступает, кирпич сгнил, то и гляди убьешься, надо бы новую лесенку скласть...

— Да, надо бы,— отвечал князь-кесарь.

Впереди со свечой шел подьячий-писец, так же, как и дьяк, одетый в иноземное платье, но сильно затертое, на шее висела медная чернильница, из полуоторванного кармана торчал сверток бумаги. Он поставил свечу на дубовый стол в низком подполье, где, как тени, кинулось несколько крыс по норам в углах.

— И крыс же нынче у нас развелось,— сказал дьяк,— все хочу попросить в аптеке мышьяку.

— Да, надо бы...

Два зверовидных мужика, нагибаясь под сводами, приволокли распоя Гришку, с закаченными глазами, с бороденкой, сбитой, как шерсть,— лицо у него было зеленоватое, с отвислой губой. Подлинно ли, что он уж и не мог владеть ногами? Поставленный под крюк с висящей веревкой, он мягко повалился, уткнулся, как неживой. Дьяк сказал тихо: «Допрашивали без вредительства членов, и ушел он на своих ногах...»

Князь-кесарь некоторое время глядел Гришке на плешь меж всклокоченных волос.

— Узнано,— заговорил он сонным голосом,— в позапрошлом году ты в Звенигороде у Ильи-пророка сорвал серебряные бармы с икон, да у Благовещенья взломал церковную кружку с деньгами, да там же из алтаря украл поповский тулуп и валенки. Вещи продал, деньги пропил, взят под стражу и от караула бежал в Москву, где по сей день скрывался по разным боярским дворам, а позже — у царевен на дворе в баньке... Признаешь? Отвечать будешь? Нет... Ну, ладно. Эти дела для тебя еще полбеды...

Князь-кесарь помолчал. Позади зверовидных мужиков неслышно появился кат — палач — благообразный, испитой, бледновосковой, с большим ртом, краснеющим меж плоско прижатых усов и кудрявой бородки.

— Узнано,— опять заговорил князь-кесарь,— хаживал ты в Немецкую слободу к бабе-черноряске, Ульяне, передавал ей письма и деньги от некоторых особ. Которая баба Ульяна относила письма в Новодевичье к известной персоне... От ней брала письма же и посылки, и ты их относил к вышеупомянутым особам... Было это? Признаешь?

Дьяк перегнулся через стол, шепнул князю-кесарю, указывая глазами на Гришку:

— Насторожился, ей, ей, по ушам вижу...

— Не признаешь?.. Так... Упрямисься... А — напрасно... И нам с тобой лишние хлопоты, и тебе — лишние муки телесные... Ну, ладно... Теперь вот что мне расскажи... В чьи именно дома ты ходил? Кому именно ты читал из сей тетради про желание укротить нынешнее время, ярость его, и о желании вернуть буднишние времена?..

Князь-кесарь, будто просыпаясь, приподнял брови, лицо его вздулось. Палач мягко подошел к лежащему ниц Гришке, потрогал его, покачал головой...

— Князь Федор Юрьевич, нет, сегодня он говорить не станет. Зря только будем его беспокоить. С дыбы да пяти кнутов он окостенел... Надо отложить до завтра.

Князь-кесарь застучал ногтями по столу. Но Силантий, палач, был опытен,— если человек окостенел, его — хоть перешиби пополам — правды от него не добьешься. А дело было весьма важное: со взятием распопа Гришки князь-кесарь напал на след — если не прямого заговора — во всяком случае злобного ворчания и упрямства среди московских особ, все еще сожалеющих о боярских вольностях при царевне Софье, что по сей день томится в Новодевичьем под черным клобуком. Но — делать нечего — князь-кесарь поднялся и пошел наверх по гнилой лестнице. Дьяк Чичерин остался хлопотать около Гришки.

4

Утро было сырое, теплое, мглистое. В переулках пахло мокрыми заборами и дымками из печных труб. Лошадь шлепала по лужам. Гаврила слез с верха у ворот Преображенского приказа и долго не мог добиться караульного офицера.

«Куда же он, сатана, провалился?» — крикнул он усатому солдату, стоявшему у ворот. «А кто его знает, все время тут был, куда-то ушел...» — «Так — сбегай, найди его...» — «Никак не могу отлучиться...» — «Ну пусти меня за ворота...» — «Никого не велено пускать...» — «Так я сам пройду», — Гаврила толкнул его, чтобы шагнуть за калитку, солдат сказал: «А вот — отвори калитку, я тебя, по артикулу, штыком буду пороть...»

Тогда на шум вышел наконец караульный офицер, скучавший до этого в будке по ту сторону ворот, — конопатый, с маленьким лицом и никуда не смотревшими глазами. Гаврила кинулся к нему, объясняя, что привез из Питербурга почту и должен передать ее в собственные руки князю Федору Юрьевичу.

— Где я могу видеть князя-кесаря? Он в приказе сейчас?

— Ничего не известно, — ответил караульный офицер, глядя на полосатого большого кота, брезгливо переходившего мокрую улицу. — Кот — с княжеского двора, — сказал он солдату, — а сколько крику было, что пропал, а он — вон он, паскуда...

Ворота вдруг завизжали на петлях, распахнулись и размашисто вылетела четверня — цугом — вороных в бирюзовой сбруе. Гаврила едва отскочил, сквозь окошко огромной облезлой, золоченой колымаги на низких колесах взглянул на него Ромодановский рачьими глазами. Гаврила поспешно влез на лошадь, чтобы догнать карету, караульный офицер схватился за узду, — черт его знает — то ли от природы был такой вредный человек, то ли действительно по уставу нельзя было догонять выезд князя-кесаря...

— Пусти! — бешено крикнул Гаврила, перехватил узду, ударил шпорами, вздернул коня, — офицер повис на узде и упал... «Караул! Лови вора!» — уже издалека услышал Гаврила, выскакивая на Лубянскую площадь.

Кареты он не догнал, плюнул с досады и через Неглинный мост повернул в Кремль, в Сибирский приказ.

Низенький, длинный, со ржавой крышей дом приказа, построенный еще при Борисе Годунове, стоял на обрыве, выше крепостной стены, задом к Москве-реке. В сенях и переходах толпились люди, сидели и лежали у стен на полу, из скрипучих дверей выбегали подьячие, в долгополых кафтанах с заплатанными локтями (от постоянного ерзанья ими по столу), с гусиными перьями за ухом, — размахивая бумагами — сердито кричали на угрюмых сибиряков, приехавших за тысячи верст добиться правды на воеводу ли озорника-взяточника, какого не бывало от сотворения мира, или по разным льготам насчет рудных, золотых, пушных, рыбных промыслов. Бывалый человек, претерпев такую брань, прищуривался ласково, говорил подьячему: «Кормилец, милостивец, ай бы нам сойтись, потолковать душа в душу в обжорном ряду, что ли, или где укажешь...» Неопытный так и уходил, повесив голову, чтобы завтра и еще много дней, проедаясь на подворье, приходиться сюда, ждать, надоедать...

Князь-кесарь был в разряде оружейных дел. Гаврила не стал спрашивать — можно ли к нему, протолкался к двери, кто-то его потянул за кафтан: «Куда, куда, нельзя!..» — Он отмахнулся локтем, вошел. Князь-кесарь сидел один в душевой, низенькой палате с полуприкрытым ставнею окошком, вытирал пестрым платком шею. Стопа грамот, прошений, жалоб лежала на столе около него. Увидев Гаврилу, он укоризненно покачал головой:

— А ты — смелый, Иван Артемича сынок! Ишь ты! Черная кость нынче сама двери открывает!.. Чего тебе?

Гаврила передал почту. Сказал — что ему велено было передать на словах насчет скорейшей доставки в Петербург всякого скобяного товара, — особенно гвоздей... Князь-кесарь, сломав восковую печать, толстыми пальцами развернул письмо государя и, далеко отнеся его от глаз, стал шевелить губами... Петр писал:

«Sir! Извещаю ваше величество, что у нас под Нарвою учинилось удивительное дело, — как умных дураки обманули. У шведов перед очами гора гордости стояла, через которую не увидели нашего подлога... Об сем машкерадном бое, где было нами побито и взято в плен треть нарвского гарнизона, услышите вы от самовидца оного, от гвардии поручика Ягужинского, он скоро у вас будет... Что до посылки в Петербург лекарственных трав для аптеки — до сих пор сюда ни золотника не послано... О чем я многожды писал Андрею Виниусу, который каждый раз отподчивал меня московским тотчасом... О чем извольте его допросить: почему делается такое главное дело с таким небрежением, которое тысячи его голов дороже... Птръ...»

Прочтя, князь-кесарь поднес к губам то место письма, где была подпись. Тяжко вздохнул.

— Душно, — сказал он. — Жара, мгла... Дел много. А за день

и половины не переделаешь... Помощники, ах, помощнички мои!.. Трудиться мало кто хочет, все норовят — скользь. Да ухватить побольше... А ты чего нарядился, парик надел?.. К царевне, что ли, едешь? Ее нет во дворце, в Измайловском она... Ты — увидишь ее — не забудь: на Петровке, в кружале, в кабаке, на окне стоит дорогой скворец, так хорошо говорит по-русски — все люди, которые мимо идут, останавливаются и слушают. Я сам давеча из кареты слушал. Его можно купить, ежели царевна пожелает... Ступай... По пути скажи дьяку Нестерову, чтоб послал за Андреем Виниусом, — привести его ко мне тотчас... На, целуй руку...

5

После полудня стало накрапывать. Анисья Толстая, страшась приуныния, придумала играть в мяч в пустой тронной палате, где уже много лет никто не бывал.

Анне и Марфе — девам Меньшиковым — лишь бы играть во что-нибудь, — развежая лентами, протянув голые по локоть пухлые руки, они с визгом носились за мячиком по скрипучим половицам. Наталье Алексеевне сегодня было почему-то слезливо, игра не веселила... Когда она была совсем маленькой, в этой палате во всех окошках, высоко от пола, всегда горело солнце сквозь красные, желтые, синие стеклышки и блестела золоченая кожа на стенах. Кожу ободрали, и стены стояли бревенчатые, с висевшей паклей. По крыше стучал дождь. Она сказала Катерине:

— Не люблю измайловского дворца, большой, пустой, чисто покойник... Пойдем куда-нибудь, сядем тихонечко.

Она положила руку на плечо Катерине и повела ее вниз в маленькую, тоже брошенную и забытую, спальню покойной матери, Натальи Кирилловны. Сколько прошло времени, а здесь — хотя слабо — пахло не то ладаном, не то мускусом. Наталья Кирилловна до последних дней любила восточные ароматы.

Наталья взглянула на голую кровать с витыми столбиками, без полога, на четырехугольное тусклое зеркальце на стене, отвернулась и толкнула ветхую раму. В комнату вошел запах дождя, шелестившего по листьям сирени под окошком, по лопухам, по крапиве...

— Сядем, Катя. — И они сели у раскрытого окошка. — Да! — вздохнула Наталья. — Вот уж и лето кончается, не успеешь оглянуться — осень... Тебе что? В девятнадцать лет на дни не оглядываются, пускай летят, как птицы... А мне, знаешь сколько? Я ведь на пять лет только моложе брата Петруши... Сочти-ка... Матушка вышла замуж семнадцати лет, отцу было под сорок... Он был толстый, от бороды всегда пахло мятой, и все хворал... Я его мало помню... Умер от водяной болезни... Анисья Толстая один раз выпила наливочки и давай мне рассказывать заветное... У матушки в молодости нрав был веселый, беспечный, пылкий... Понимаешь? (Наталья затуманенно взглянула в глаза

Катерине.) Про нее чего только не плели Софьины-то приспешники да блюдолизы... А разве можно ее винить? По-старозаветному — все грех, что ты женщина — и то грех, — сосуд дьявола, адовы врата... А по-нашему, по-новому: амур прелестный прилетел и пронзил стрелой... Что же — после этого в пруд осенней ночью кидаться с камнем на шее? Не женщина — амур виноват!.. Анисья рассказывает, — жил в те времена в Москве боярский сын Мусин-Пушкин, ангельской, а — лучше сказать — бесовской красоты человек, смелый, горячий наездник, гуляка... На масленой неделе на льду, на Москве-реке, вызывал любого биться на кулачках... Всех побивал... Матушка туда ездила тайно, в простом возке, и глядела на его отвагу... Потом взяла его к себе ко двору кравчим... (Наталья Алексеевна повернула красивую голову к разоренной кровати, меж бровей у нее легла морщинка.) Вдруг его послали воеводой в Пустозерск... И больше она его никогда не видела... А у меня, Катерина, и этого нет.

Ленивый дождь продолжал моросить... Было душно. За туманами неясно поднимались огромные деревья, не похожие на измайловские сосны. Птицы все попрятались под крышу, не чирикали, не пели. Только одна растрепанная ворона летела низко над седым лугом. Катерина беспечальным взором следила за ней, — ей очень хотелось сказать царевне, что ворона-воровка летит на птичник и опять, как вчера, наверное, унесет желтенького цыпленка. Наталья Алексеевна положила локти на подоконник, голова ее склонилась, тяжелая от окрученных кос. Тогда Катерина, глядя на ее шею и на волосы на затылке, подумала: «Неужели никто этого не целовал? Вот горько-то!» — и едва слышно вздохнула.

Наталья все же услышала этот вздох, строптиво повела плечом, сказала, подпирая рукой подбородок:

— А теперь ты расскажи про себя... Только правду говори... Сколько у тебя было амантов, Катерина?

Катерина отвернула голову, и — шепотом:

— Три аманта...

— Про Александра Даниловича нам известно. А до него? Шереметьев был?

— Нет, нет! — живо ответила Катерина, — Господину фельд-маршалу я успела только сварить суп, сладкий, эстонский, с молоком, и выстирала белье... Ах, он мне не понравился! Плакать я боялась, но я твердо сказала себе, истоплю печку и угорю, а жить с ним не буду... Александр Данилович отнял меня в тот же день... Его я очень полюбила... Он очень веселый и много со мной шутил, мы очень много смеялись... Его несколько не боялась...

— А брата моего боишься?

Катерина поджала губы, сдвинула бархатные брови, чтобы ответить честно:

— Да... Но мне кажется — я скоро перестану бояться...

— А второй кто был амант?

— О Наташа, второй был не амант, он был русский солдат, добрый человек, я любила его только одну ночь... Как можно было в чем-нибудь ему отказать, он отбил меня от страшных людей в лисьих шапках с кривыми саблями... Они тащили меня из горящего дома, рвали платье, били плеткой, чтобы я не царапалась, хотели посадить в седло... Он кинулся, толкнул одного, толкнул другого, да так сильно! «Ах, вы, говорит, кумысники! разве можно девчонку обижать!» Взял меня в охапку и понес в обоз... Ничем другим я не могла его поблагодарить. Было уже темно, мы лежали на соломе...

Наталя, трепеща ноздрями, спросила жестко:

— Под телегой?

— Да... Он мне сказал: «Как сама хочешь, девка... Ведь это тогда сладко, когда девка сама обнимет...» Поэтому я его считаю амантом...

— Третий кто был?

Катерина ответила степенно:

— Третий был муж, Иоганн Рабе, кирасир его величества короля Карла из мариенбургского гарнизона... Мне было шестнадцать лет, пастор Глюк сказал: «Я тебя воспитал, Элен Катерин, я хочу выполнить обещание, которое дал твоей покойной матери, и нашел тебе хорошего мужа...»

— Мать, отца хорошо помнишь? — спросила Наталя.

— Плохо... Отца звали Иван Скаврошук. Он еще молодой убежал из Литвы, из Минска, от пана Сапеги в Эстляндию и около Мариенбурга арендовал маленькую мызу. Там мы все родились, — четыре брата, две сестры и — я младшая... Пришла чума, родители и старший брат умерли. Меня взял пастор Глюк, — мне он второй отец. У него я выросла... Одна сестра живет в Ревеле, другая — в Риге, а где братья сейчас — не знаю. Всех разметала война...

— Ты любила мужа?

— Я не успела... Наша свадьба была на Иванов день... О, как мы веселились! Мы поехали на озеро, зажгли Иванов огонь и в венках танцевали, пастор Глюк играл на скрипке. Мы пили пиво и поджаривали маленькие колбаски с кардамоном... Через неделю фельдмаршал Шереметьев осадил Мариенбург... Когда русские взорвали стену, я сказала Иоганну: «Беги!..» Он бросился в озеро и поплыл, больше я его не видела...

— Забыть тебе надо про него...

— Мне многое нужно забыть, но я легко забываю, — сказала Катерина и робко улыбнулась, вишневые глаза ее были полны слез.

— Катерина, ты ничего не скрыла от меня?

— Разве посмею утаить от тебя что-нибудь? — горячо проговорила Катерина, и слезы потекли по ее персиковым щекам. — Вспомнила бы, ночь бы не спала, чуть свет прибежала бы, — рассказала.

— А все же ты — счастливая. — Наталья подперла щеку и опять стала глядеть в окошко, как птица из клетки. По нежному горлу покатился клубочек. — Нам, царевнам-девкам, сколько ни веселись — одна дорожка, в монастырь... Нас замуж не выдают, в жены не берут. Либо уж беситься без стыда, как Машка с Катькой... Недаром сестра Софья за власть боролась лютой тигрицей...

Катерина только было нагнулась, — поцеловать ее руку с глубокими жилками, сложенную от огорчения в кулачок, — на лугу показался высокий всадник на поджаром коне с мокрой гривой, у него плащ был мокрый, и со шляпы висели мокрые перья. Увидев Наталью Алексеевну, он соскочил с коня, бросив его — шагнул к окошку, снял шляпу, преклонил колено в траву и шляпу приложил к груди...

Наталья Алексеевна стремительно поднялась, толстая коса ее упала на шею, лицо вспыхнуло, все задрожало, засияли глаза, раскрылись губы...

— Гаврила! — сказала тихо. — Это ты? Здравствуй, батюшка мой... Так иди же в дом, чего на дожде-то стоишь...

Вслед за Гаврилой подъехала одноколка, рядом с кучером сидел востроносый испуганный человек, накрывшись от дождя мешком. Он тотчас снял шляпу, но не вылезал. Гаврила, не отрывая темных глаз от Натальи Алексеевны, приблизился к самой сирени.

— Здравствуй на множество лет, — сказал, будто задыхаясь. — Прибыл с поручением от государя... Привез тебе искусного живописца с наказом написать парсуну с некоторой любезной особы... Которого опосля надобно отослать за границу — учиться... Вон сидит в тележке... Дозволь с ним зайти...

6

Одного челядинца — верхом — Анисья Толстая послала в Кремль на сытный двор за всякими припасами к ужину и сладостями, — «да — свечей, свечей побольше!..» Другой поскакал в немецкую слободу за музыкантами. Из трубы поварни повалил густой дым, — стриженные поварята застучали ножами. Подоткнутые девчонки бегали за цыплятами в мокром бурьяне. Дворцовые рыбаки, разленившись от безделья, пошли с вершами и сетями на пруды — ловить не менее ленивых карпов, полеживавших на боку в тине.

С заросших прудов после дождя закурился туман, заволок большой сгнивший мост, по которому никто уже больше не ходил, пополз между деревьями на луг перед дворцом, и старый дворец понемногу стал погружаться в него по самые кровли.

Старые люди, дворовые еще царя Алексея Михайловича, сидя у дверей поварни, у людской избы, глядели, как в затуманенном дворце в окошечках — то там, то там — появится и пропадет расплывающееся сияние свечи, слышится топот ног и хохот...

Не дают старому дому покойно ветшать и догнивать, подставляя бревенчатые стены непогоде, худые крыши проливным дождям... И сюда ворвалась шалая молодость с новыми порядками... Бегают по лестницам от чердаков до подклетей... Ничего там не найдешь,— одни пауки в углах да мыши носы из нор повысунули...

В Наталью Алексеевну точно вселился бес,— с утра печалилась,— с приездом Гаврилы — раскраснелась, развеселилась, начала придумывать всякие забавы, чтобы никому ни минуты не посидеть покойно. Анисья Толстая не знала, как и поворачиваться. Царевна сказала ей:

«Сегодня быть Валтасарову пиру, ужинать будем ряжесные».

«Свет мой, да ведь до святков еще далеко... Да и не знаю я, не видела, как царь Валтасар пировал...»

«Обыщем дворец, что найдем почуднее — все несите в столовую палату... Сегодня не серди меня, не упрямся...»

Заскрипели старые лестницы, застонали ржавые петли давно не отворявшихся дверей... Началась беготня по всему дворцу,— впереди — Наталья Алексеевна, подбирая подол, за ней со свечой — Гаврила,— от испуга у него остановились глаза. Испуг начался еще давеча, когда он с верха увидел в окошке Наталью Алексеевну, подперевшую, пригорюнясь, щечку. Было это, как из сказки, что в детстве рассказывала на печи Санька — про царевну Несравненную Красоту... Иван-то царевич скакнул тогда на коне выше дерева стоячего, ниже облака ходячего, под самое косящее окошко и сорвал у Несравненной Красоты перстень с белой руки...

Верчение головы было и у Андрея Голикова (ему велели также идти со всеми). Со вчерашнего вечера, когда он увидел портрет Гаврилиной сестры, на дельфине, все казалось ему и не явь и не сон... До задыхания смущали его светло-русые, круглощечные девы Меньшиковы, столь прекрасные и пышные, что никакими складками платья невозможно было прикрыть соблазна их телосложения. И пахло от них яблоками, и не глядеть на них было невозможно.

В кладовых нашли немало всякой мягкой рухляди, платьев и уборов, какие и не помнили теперь, широченных шуб византийской парчи, епанчей, терликов, кафтанов, жемчужных венцов, по пуду весом,— все это охапками дворовые девки тащили в столовую палату. Высоко под самым потолком в одной подклети увидели небольшую дверцу. Наталья взяла свечу, приподнялась на цыпочки, закинула голову:

— А что, если он там?

Анна и Марфа — враз — с ужасом:

— Кто?

— Домовой,— проговорила Наталья. Девы схватились за щеки, но не побледнели, только раскрыли глаза — шире чего нельзя.

Всем стало страшно. Старик истопник принес лестницу, поставил к стене. Тотчас Гаврила кинулся на лестницу, — он бы и не туда сейчас кинулся... Открыл дверцу и скрылся там в темноте. Ждали, кажется, очень долго, — он не отвечал оттуда и не шевелился. Наталья страшным шепотом приказала: «Гаврила! Следуй!» Тогда показались подошвы его ботфуртов, растопыренные полы кафтана, он слез, весь был в паутине.

— Чего ты там видел?

— Да так, — сереется там чего-то, будто мохнатое, будто мягким меня чем-то по лицу погладило...

Все ахнули... На цыпочках заторопились из подклети и — уже бегом — по лестнице, и только наверху Марфа и Анна начали визжать. Наталья Алексеевна придумала играть в домового. Искали потайных дверей, осторожно открывали чуланы под лестницами, заглядывали во все подпечья — от страха не дышали... И добились, — в одном темном месте, затынутом паутиной, увидели два зеленых глаза, горевших адским огнем... Без памяти кинулись бежать... Наталья споткнулась и попала на руки Гавриле, — тот ее подхватил крепко, и она даже услышала, как у него стучит сердце, редко, глухо, по-мужски... Она двинула плечом, сказала тихо: «Пусти».

Тогда пошли устраивать Валтасаров пир. Старик истопник, — с желтой бородой, как у домового, с медным крестом поверх рубахи, в новых валенках, — опять принес лестницу. На бревенчатые, давно ободранные стены в столовой палате повесили траченные молью ковры. Стол унесли, ужин накрыли прямо на полу, на ковре, — всем велено ужинать, сидя по-вавилонски, царем Валтасаром быть Гавриле. На него надели парчовый кафтан, хоть ветхий, да красивый, алый с золотыми грифонами, на плечи — шубу, какие носили сто лет назад, на голову — жемчужный венец, кажется, — еще царицы-бабушки. Наталью Алексеевну стали одевать Семирамидой в золотые ризы, поверх тяжелых кос наvertели пестрых платков, послали дворовых девчонков — надергать у петухов из хвоста перьев покрасивее и эти перья воткнули ей в тюрбан...

Думали — кем быть Марфе и Анне? Наталья велела им пойти за дверь, распустить косы, снять платья, юбки, остаться в сорочках, — благо сорочки тонкого полотна, длинные и свежие. Опять дворовые девчонки слетали на пруд, принесли водяных кувшинок, ими обмотали девам Меньшиковым шею, руки, волосы, длинными стеблями они подпоясались, — стали русалками с Тигра и Евфрата. Катерину одеть было легко, — богиней овощей и фруктов, имя ей — по-вавилонски — Астарта, по-гречески — Флора. Девчонки сбегали — надергали моркови, петрушки, нарвали зеленого луку, гороху, принесли незрелых тыкв, яблоч. Катерина, разгоревшаяся, с влажным ртом, круглыми от счастья глазами и более не робевшая, — как всегда смеялась звонко всякому пустяку, — стала истинной Флорой, обмотанная горохом,

укропом, в венке из овощей, держала в руке корзину с крыжовником и красной смородиной...

— А живописцу кем быть? — спохватилась Наталья. — У нас Эфиопа нет, быть ему эфиопским царем.

Новое чудо началось для Андрюшки Голикова, женские руки, не то в яви, не то во сне, начали его тормошить, поворачивать, напутывать на него шелк и парчу, лицо ему измазали сажей, ущемили ноздрю медным кольцом, чтобы непременно сидел с кольцом в носу... Кажется — дай ему господь ангельские крылья — не был бы он столь блажен... Вошли, низко кланяясь, три музыканта из Немецкой слободы — скрипач, губной гармонист и флейтист. Их тоже кое-как одели.

— Теперь — ужинать! Сидеть на подушках, поджав ноги, пить мед и вино из раковин...

Как надо было играть в Валтасаров пир — точно никто не знал. Сели перед блюдами, перед свечами, переглядывались, улыбались, есть никому не хотелось... Тогда Наталья Алексеевна тряхнула петушиными перьями и, выпячивая губы, начала наизусть читать те самые вирши, которые Гаврила уже слышал от нее в зимнюю ночь, в жарко натопленном тереме, под золотым сводом:

На горе прелекой живут боги блаженны,
Стрелами Купидо паки они сраженны...
Сам Юпитер стонет, — увы мне, страдаю,
Спокоя лишился, ниже лекарства не знаю,
Огонь чрево гложет, жажду, ничем не напьюся,
Ах, напрасно я, бедный, с любовью борюсь...
Увы, даже боги бывают злым Купидо побиты,
У кого же людям искать от сего защиты?
Не лучше ли веселиться! Печаль оставим,
Стрелы отравлены сладким вином восславим...

Когда Наталья читала, лицо ее побледнело под огромным тюрбаном. Она отпила глоток вина и пошла плясать польку с Анисьей Толстой. Музыканты играли не громко, но так, что дрожала и пела каждая жилочка в теле!

— Иди с Катериной! — крикнула Наталья, сверкнула глазами на Гаврилу. Он вскочил, сбросив с плеч Валтасарову шубу, — плясать мог хоть круглые сутки. Спина у Катерины была горячая, податливая под рукой, ноги легкие, от кружения с ее головы и плеч летели стручки гороха, вишневые ягоды. Гаврила надавал, и музыканты надавали. Анна и Марфа также завертелись, взявшись за руки. На ковре перед свечами остался сидеть один Голиков, пить и есть он не мог из-за кольца в носу, но и это обстоятельство не мешало его блаженству, в ушах, под свист флейты, все еще звучали царевнины вирши про олимпийских богов... И плыла, плыла перед глазами нагая богиня на дельфине, с чашей, полной соблазна...

Гаврила был прост, сказано — танцевать польку с Катериной, он и плясал, не жалея каблуков. И хотя несколько раз показалось ему, будто у Натальи Алексеевны лицо улыбается по-иному, не-

весело, без прежнего сияния в глазах, он не понял, что давно ему пора посадить Катерину на место около тыкв и моркови... Еще раз мелькнуло царевнино лицо со сжатыми, как от боли, зубами... Вдруг она покачнулась, остановилась, схватилась за Анисью Толстую, с головы ее повалился тюрбан с петушиными перьями... Анисья испуганно вскрикнула:

— У государыни головка закружилась! — и замахала на музыкантов, чтоб перестали играть...

Натаалья Алексеевна вырвалась от нее, волоча мантию, вышла из палаты. На этом и окончился Валтасаров пир. Анне и Марфе сразу стало стыдно в одних рубашках, — перешепнулись и убежали за дверь. Катерина испуганно села на место, начала обирать с себя овощи. Гаврила помрачнел, раздвинув ноги, стоял над ковром с блюдами, насупясь, — моргал на огоньки свечей. Анисья вылетела вслед за царевной и скоро вернулась, схватила ногтями Гаврилу за руку:

— Иди к ней, — шепнула, — бейся лбом в пол, дурень...

Натаалья Алексеевна стояла тут же, только выйти из палаты, — в переходе, глядела в раскрытое окошко на туман, светившийся от невидимой луны. Гаврила приблизился. Было слышно, как с крыши на листья падают капли.

— Ты надолго приехал в Москву? — спросила она не поворачиваясь. Он не собрался ответить, только задохнулся. — В Москве тебе делать нечего. Завтра уезжай, откуда приехал...

Выговорила, и плечи у нее поднялись, Гаврила ответил:

— Чем я тебя прогневал? Да господи, знала бы ты... Знала бы ты!

Тогда она повернулась и лицо с начерченными сажей бровями придвинула вплоть:

— Не надо мне тебя, слышишь, иди, иди!..

Повторяя: «Иди, иди», — подняла руки оттолкнуть его, но то ли поняла, что эдакого верзилу не оттолкнешь, положила руки, звякнувшие Семирамидиными запястьями, ему на плечи и низко — все ниже стала клонить голову. Гаврила, также не понимая, что делает, принялся, чуть прикасаясь, целовать ее в теплый подбор. Она повторяла:

— Нет, нет, иди, иди...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Парусиновую куртку Петр Алексеевич сбросил, рукава рубахи закатал, пунцовый платок, вышитый по краю виноградными листочками, — подарок из Измайловского, — повязал на голову по примеру португальских пиратов, как научил его однажды контр-адмирал Памбург. В прежние годы он бы еще и разулся, чтобы

чувствовать под ногами тепло шершавой палубы. Легкий ветер наполнял паруса, двухмачтовая шнява «Катерина» скользила, будто по воздуху, послушно и податливо. В кильватере за ней плыла бригантина «Ульрика», и на краю воды и неба — в дыме — поставил все паруса фрегат «Вахтмейстер».

Корабли эти недавно были взяты у шведов, — виктория случилась неожиданная и весьма славная: русским досталось двенадцать бригантин и фрегатов — вся разбойничья эскадра командора Лешерта, который два года не пропускал в Чудское озеро ни малого суденышка, грабил прибрежные села и мызы и угрожал с тылу Шереметьеву, осаждавшему Юрьев. Командор был отважный моряк. Все же русские обманули его. Темной ночью, в грозу, то ли опасаясь шторма, то ли по иной какой причине, он ввел эскадру в устье реки Эмбаха и беспечно напился пьян на борту флагманской яхты «Каролус». Когда же на рассвете продрал глаза — сотни лодок, плотов и связанных бочек торопливо плыли от берегов к его кораблям... «Огонь с обоих бортов по русской пехоте!» — закричал командир. Шведы не успели подсыпать пороха в запалы пушек, не успели обрубить якорные канаты — русские кругом облепили корабли и с лодок, плотов и бочек, кидая гранаты, стреляя из пистолетов, полезли на abordаж... Срам получился немалый, — пехота взяла в плен эскадру! Командор Лешерт в ярости прыгнул в пороховой погреб и взорвал яхту, — пламя вырвалось из всех щелей и люков, — мачты, реи, бочки, люди и сам командор с преужасным грохотом и клубом дыма взлетели едва не под самые тучи...

Солнце жгло спину, ветерок ласкал лицо, за бортом полая волна слепила зайчиками, Петр Алексеевич жмурился. Для прохладения широко раздвинул ноги, стоя за штурвалом. Посвистывало, попевало в снастях, хрипло кричали чайки за кормой над водяным следом. Паруса, как белые груди, полны были силы.

Петр Алексеевич плыл к Нарве с победой, вез шведские знамена, сваленные под грот-мачтой, — третьего дня штурмом был взят Юрьев. У короля Карла выдернуто еще одно перо из хвоста. Императору, королям английскому и французскому посланы грамоты, что-де «божьем промыслом вернули мы нашу древнюю вотчину — городок Юрьев, поставленный семьсот лет тому назад великим князем Ярославом Владимировичем для обороны украин русской земли...»

Петру Алексеевичу хотя и в голову никогда не шло, — как, например, любезному брату королю Карлу, — равнять себя с Александром Македонским, и войну считал он делом тяжелым и трудным, будничной страдой кровавой, нуждой государственной, но под Юрьевом на этот раз он поверил в свой воинский талант, остался весьма собой доволен и горд: за десять дней (прибыв туда из-под Нарвы) сделал то, что фельдмаршалу Шереметьеву и его иноземцам-инженерам, ученикам прославленного маршала Вобана, казалось никак невозможным.

И еще было удовольствие: поглядывая на далекий лесной берег — знать, что берег — недавно шведский — теперь наш и Чудское озеро опять целиком наше. Но таков человек — много взял, хочется больше; уж, кажется, приятнее быть ничего не может: таким ясным утром плыть на красавице шняве, неся за высокой кормой, назло Карлу, огромный Андреевский флаг. Так нет! Именно сегодня, — жарко до дрожи, — раздумалось ему об его зазнобе... По-другому не назовешь ее — ни мадамка, ни девка, — зазноба, свет-Катерина... Пошевеливая под рубашкой лопатками, он тянул в ноздри влажный воздух... От воды и корабельного дерева пахло купальней, и мерещилось, как вот Катерина купается в такой-то жаркий день... То ли платок с виноградными листочками она нашептала, надушила женским, — ветер из-за спины отдувает концы его, то и дело щекочут нос и губы... Знала, чего делала, ведьмачка ливонская, кудрявая, веселая... В Юрьеве перепуганные до полусмерти горожанки куда как смазливы... а ведь ни одной не равняться с Катериной, ни на одной так задорно не колышется на тугих боках полосатая юбка... Ни одной не захотелось ему взять за щеки, через глаза глядеть внутрь, прижаться зубами к зубам.

Петр Алексеевич нетерпеливо топнул о палубу каблуком тупоносого башмака. Тотчас из кают-компания кто-то — должно быть, спросонок — сорвался, хлопнул дверью, Алексей Васильевич Макаров сбежал по трапу:

— Я здесь, милостивый государь...

Петр Алексеевич, стараясь не глядеть на его, неуместное здесь, на борту, тощее пергаментное лицо с красными веками, приказал сквозь зубы:

— Чем писать...

Макаров заторопился, уходя споткнулся на трапе. Петр Алексеевич, как кот, фыркнул ему вслед. Он живо вернулся со стульчиком, бумагой, чернильницей, за ухом торчали гусиные перья. Петр Алексеевич взял одно:

— Стань у штурвала, вцепись крепче, сухопутный, держи так. Заполощешь паруса — линьками попотчую...

Он подмигнул Макарову, сел на раскладной стульчик, положил лист бумаги на колено и, скривя голову, взглянул на клотик — яблоко на верхушке грот-мачты, где вился длинный вымпел, и стал писать.

На одной стороне листа пометил: «Госпожам Анисье Толстой и Екатерине Васильевской...» На обороте, — брызгая чернилами и пропуская буквы: «Тетка и matka, здравствуйте на множество лет... О здравии вашем слышать желаю... А мы живем в трудах и в нужде... Обмыть, обшить некому, а паче всего — без вас скушно... Только третьего дня станцевали мы со шведами изрядный танец, от коего у короля Карлуса темно в глазах станет... Ей-ей, что как я стал служить — такой славной игры не видел... Короче сказать: с божьей помощью взяли на шпагу Юрьев... Что

проснулся, когда царь сорвал у него с лица платок от мух.

— На покое за рогатками спишь,— крикнул и завращал сумасшедшими глазами.— Иди, показывай мне осадные работы!

От такого страха у фельдмаршала отнялся язык, не помнил, как попал ногами в штаны, поблизости не случилось ни парика, ни шпаги, так — простоволосый — и полез на лошадь. Подбежал военный инженер Коберт, спросонок также не на те пуговицы застегивая французский кафтан; за эту осаду он только и сделал доброго, что разъел щеки — поперек шире — на русских щах. Петр злобно кивнул ему сверхѣ. Втроем поехали на позиции.

Здесь все не понравилось Петру Алексеевичу... С восточной стороны, откуда вело осаду войско Шереметьева, стены были высоки, приземистые башни укреплены заново, рavelины звездой выдавались далеко в поле, и рвы перед ними были полны воды. С запада город надежно обороняла полноводная река Эмба, с юга — моховое болото. Шереметьев подобрался к городским стенам глубокими шанцами и апрошами — весьма осторожно и не близко, из опасения шведских пушек. Его батареи поставлены были и того глупее, — с них он бросил в город две тысячи бомб, зажег кое-где домишки, но стен и не поцарапал.

— Известно вам, господин фельдмаршал, во сколько алтын обходится мне каждая бомба? — угрюмо проговорил Петр Алексеевич. — С Урала везем их... А не хочешь ли ты за эти две тысячи напрасных бомбов заплатить из своего жалованья! — Он выхватил у него из подмышки подзорную трубу и водил ее, оглядывая стены. — Южная мур¹ ветха и низка. Я так и думал... — И быстро оглянулся на инженера Коберта. — Сюда надо кидать бомбы, здесь ломать стены и ворота. Отсюда надо брать город. Не с востока. Не удобства искать ради того, что там место сухо... Победы искать хоть по шею в болоте...

Шереметьев не посмел спорить, только проворчал толстым языком: «Само собой... Вам виднее, господин бомбардир... А мы вот думали, не додумали...» Инженер Коберт почтительно, с сожалешей усмешкой помотал щеками.

— Ваше величество, южная стена, также и башенные ворота, именуемые «Русскими воротами», — ветхи, но тем не менее неприступны, ибо к ним можно подойти только через болото... Болото непроходимо.

— Для кого болото непроходимо? — крикнул Петр Алексеевич, дернул длинной шеей, лягнул ногой, потерял стремя. — Для русского солдата все проходимо... Не в шахматы играем, в смертную игру...

Он соскочил с лошади, развернул на траве карту — план города, из кармана вытащил готовальню, из нее циркуль, ли-

¹ Мур а — стена.

нейку и карандаш. Начал мерить и отмечать. Фельдмаршал и Коберт присели на корточки около него.

— Вот где ставь все свои батареи! — он указал на край болота перед «Русскими воротами». — Да за рекой прибавь ломовых пушек... — Он ловко стал чертить линии, как должны лететь ядра с батарей к «Русским воротам». Опять померил циркулем. Шеретьев бормотал: «Само собой... дистанция доступная». Коберт тонко усмехался. — На перемену позиций даю три дня... Седьмого начинаю огненную потеху. — Петр уложил циркуль и линейку в готовальню и стал запихивать ее в карман кафтана, но там лежал пунцовый платок, вышитый по краю виноградными листочками, — он схватил платок и с досадой сунул его за пазуху.

Трое суток он не давал людям ни отдыха, ни сна. Днем все войско на глазах у шведов продолжало прежние осадные работы, рыли шанцы под пулями и ядрами, сколачивали лестницы. Ночью тайно, не зажигая огней, впрягали быков в пушки и мортиры и везли их на новые места, — на край болота и через плавучий мост — за реку, укрывали батареи за фашинами и валами.

Едва солнце показалось над лесом, осветились худые кровли на южной стене, выступили над болотным туманом каменные зубцы на башне «Русских ворот», и в городе в утренней тишине засинели печные дымы — шестьдесят ломовых пушек и тяжелых мортир сотрясли землю и небо, двухпудовые ядра, фитильные бомбы с шипением пронеслись через болото. Загрохотали батареи за рекой. Под прикрытием порохового дыма гренадеры полка Ивана Жидка побежали со связками хвороста гатить болото.

Петр Алексеевич был на южной батарее. Кричать, учить, сердиться ему не пришлось, — едва успевал вертеть головой, глядя на пушкарей, да приговаривал: «Ай-лю-лю, ай-лю-лю...» Едва только человеку скоро прочесть «Отче наш» — стволы уже очищены банниками, вложены картузы с порохом, вбиты ядра, подсыпана затравка, наведен прицел...

— Всеми батареями! — кричал, выпучивая налитые кровью глаза, низенький полковник Нечаев, с которого первым залпом сорвало шляпу и парик. — Дистанция старая. Приложь фитиль... Оооо-гонь! — Командиры батарей раскатисто повторяли за ним: «Оооо-гонь!»

Было видно, как ударяли ядра, валились башенные зубцы, задымила, запылала кровля на стене, подожженные бомбами начали гореть городские домишки. На островерхих кирках затренькали колокола. Шведские солдаты, в куцах серых мундирах, выбежали из ворот, — шарахаясь от разрывов, начали копать куртину, тащили бревна, бочки, мешки... Все же до конца дня воротная башня и стена стояли крепко. Петр Алексеевич приказал пододвинуть батареи ближе.

Шесть дней длилась огненная потеха. Гренадеры Ивана Жидка по колена, по пояс в болоте гатили трясину, прикрываясь от неприятельских бомб и пуль переносными фашинами — в виде

корзин с землей. Убитые тут же и тонули, раненых вытаскивали на плечах. Шведы поняли грозную опасность, перетаскивали сюда часть пушек с других башен и с каждым днем усиливали огонь. Город заволокло дымом. Сквозь летучие пороховые облака жгло красноватое солнце.

Петр Алексеевич не уходил с батареи, от пороха был черен, не умывался, ел на ходу — что придется, сам раздавал водку пушкарям. Спать ложился на часок под пушечный грохот, поблизости, под артиллерийской телегой. Инженера Коберта он отослал в большой обоз за то, что хотя и ученый был мужик, но зело смиренный, — «а смирных нам здесь не надо»...

В сумерки, в ночь на тринадцатое июля, он вызвал Шереметьева. В эти дни фельдмаршал со всем войском шумел с восточной стороны, как мог — пугал шведов. Снова сделался боек, не слезал с коня, дрался и ругался. Петра Алексеевича он нашел на затихшей батарее. Кругом него стояли усатые бомбардиры — все старые знакомые — из тех, кто в потешные времена под городом Прешбургом угощал не в шутку из деревянных пушек репой и глиняными бомбами кавалерию князя-кесаря. У некоторых тряпками были перевязаны головы, изодраны мундиры.

Петр Алексеевич сидел на лафете самой большой пушки «Саламандра» — медного тульского литья, — на нее для охлаждения пришлось вылить ведер двадцать уксусу, и она еще шипела. Он жевал хлеб и — торопливо проговаривая слова — разбирал сегодняшнюю работу. Южная стена была наконец пробита в трех местах, этих брешей неприятелю теперь не загородить. Бомбардир Игнат Курочкин посадил подряд несколько каленых ядер в левый угол воротной башни... — Как гвозди вбил! Не так разве? Что? — по-петушину крикнул Петр Алексеевич. Весь угол башни завалился, и вся она — вот-вот — готова рухнуть.

— Игнат, ты где, не вижу, подойди. — И он подал бомбардиру трубочку с изгрызенным мундштуком. — Не дарю... другой при себе нет, а — покури... Хвалю... Живы будем — не забуду.

Игнат Курочкин, степенный человек с пышными усами, снял треух, осторожно принял трубочку, поковырял в ней ногтем и весь пошел лукавыми морщинками...

— А табачку-то в ней, ваше величество, нетути...

Другие бомбардиры засмеялись. Петр Алексеевич вынул кисет, в нем — табаку ни крошки. В это как раз время и подошел фельдмаршал. Петр Алексеевич — обрадованно:

— Борис Петрович, покурить с собой есть? У нас на батарее — ни водки, ни табаку... (Бомбардиры опять засмеялись.) Сделай милость... (Шереметьев учтиво, с поклоном протянул ему вышитый бисером хороший кисет.) Ах, спасибо... да ты отдай кисет бомбардиру Курочкину... Дарю его тебе, Игнат, а трубочку мне верни, не забудь...

Он отослал бомбардиров и некоторое время с хрустом жевал

сухарь. Фельдмаршал, уперев в бок жезл, молча стоял перед ним.

— Борис Петрович, ждать более нельзя, — изменившимся голосом проговорил Петр. — Люди рассердились... Гренадеры который день лежат в болоте... Трудно! Я зажгу бочки со смолой, буду стрелять всю ночь... Ты, не мешкая, пришли мне в подкрепление батальон московских стрелков из полка Самохвалова — мужики угрюмые, отважные... Сам делай свое дело, для бога только не теряй людей напрасно... С рассветом пойду на приступ... (Шереметьев опустил руку с жезлом и перекрестился.) Ступай, голубчик.

Когда на краю болота и за рекой запылали смоляные бочки, — со всех батарей начался такой беглый огонь, какого шведы еще не слышали. Ворота рухнули. От куртины, частоколов и рогаток полетели щепы. Шведы ждали атаки в эту ночь, — сквозь проломы стены в мерцающем зареве смоляного огня были видны колеблющиеся щетины штыков, каски, знамена... По всему городу били в набат.

Петр Алексеевич, подогнув колени, глядел в подозрную трубу из канавы за фашинами. С ним стоял молодой полковник Иван Жидок — орловец, похожий на цыгана, — черные глаза у него сухо блестели, губы вздрагивали, от злости он, не замечая того, хрустел зубами. Ночь была коротка, за лесом уже зазеленел восток, и пропали звезды. Ждать дольше было невозможно. Но Петр Алексеевич все ещё медлил. Вдруг Иван Жидок с тоской из глубины утробы выдавил: «Оооох!» — и замотал опущенной головой. Петр Алексеевич схватил его за плечо:

— Ступай!

Иван Жидок перескочил через фашины и, нагибаясь, побежал по болоту. Тотчас зашипела, взвилась, лопнула, раскинулась зелеными огнями ракета, другая, третья. Пушки замолкли. В уши надавила тишина. Меж красно-черных кочек болота стали подниматься люди, — утопая в тине, тяжело пошли к воротам. Все болото зашевелилось, закишело солдатами. С берега им на подмогу, уставя штыки, шли роты московских стрелков... Петр Алексеевич опустил трубу, потянул воздух сквозь зубы, сморщился: «Ох, — сказал, — ох». Из развороченной куртины в упор по наступающим гренадерам Ивана Жидка изрыгнули огонь пять уцелевших пушек. Отчаянный одинокий голос на болоте закричал: «Урааа!» — Из пролома стены выскакивали шведы, будто в неистовой радости бежали навстречу русским. Началась свалка, поднялся крик, рев, лязг. До четырех тысяч людей сбилось у стен и ворот...

Петр Алексеевич вылез из канавы, пошел, чмокая во мху тяжелыми ботфортами, и все шарил по себе, ища оброненную трубку ли, оружие ли... Его догнал низенький полковник Нецаев.

— Государь, туда нельзя...

И оба стали глядеть туда...

Петр Алексеевич — ему:

— Пошли за подмогой...

— Государь, не надо...

— Говорю — пошли...

— Не надо... Наши уж отбивают у него пушки...

— Врешь...

— Вижу...

И точно — метнула огонь в сторону ворот одна, другая пушка... Огромная толпа дерущихся заколебалась и хлынула через проломы в город...

Нечаев, плача выкаченными глазами:

— Государь, теперь — пошла потеха!..

Гренадеры и московские стрелки в ярости, что так было трудно и столько их напрасно побито шведом, — кололи, рубили и гнали неприятеля по узким улочкам до городской площади. Там сгоряча убили четырех барабанщиков, высланных комендантом Юрьева бить шамад — сдачу. И только трубач с замковой башни, разрывая легкие хриплым ревом трубы, молившей о сдаче, с трудом и не сразу остановил побоище...

3

«Катерина» с опущенными парусами и повисшими на реях матросами скользила некоторое время вдоль берега в зеленой тени леса. После пушечного выстрела загрохотала якорная цепь. Тотчас подошла шлюпка. В ней стоял Меньшиков в длинном плаще, с высокими перьями на шляпе. На одни обшлага у красавца пошло, чай, не менее десяти аршин вишневого аглицкого сукна. Петр Алексеевич глядел на него сверху, облокотясь о фальшборт. Александр Данилович согнул руку коромыслом до правого уха, снял шляпу и, трижды отнеся ее вбок, крикнул:

— Виват! Господину бомбардиру — виват — с великой викторией...

— Погоди, я сейчас к тебе слезу, — тихим баском ответил Петр Алексеевич. — А у вас какие новинки?

— И у нас не без виктории.

— Это добро... А ты мне приготовил, чего я просил в письме? У нас там и пивиска кое-какого и того не было...

— Три бочонка ренского получены вчера! — гаркнул Меньшиков. — В нашем стане не как у Шереметьева — ни в чем ни задержки, ни отказу нет...

— Хвастай, хвастай, — Петр Алексеевич подозвал капитана Неплюева и приказал ему завтра, как только на кораблях будет поднят флаг, при пушечной пальбе с обоих бортов выкинуть сигнал: «Взяты отвагой» — и с барабанным боем выносить на берег к войску шведские знамена. Для молодого капитана такое приказание была честь, он покраснел, Петр Алексеевич, смущая его упорным взглядом, сказал еще:

— Хорошо поплавали, командор.

Неплюев побагровел до пота, колючие глаза его от напряжения увлажнились, — царь назначал его командором — флагманом эскадры... Петр Алексеевич ничего больше не прибавил — вытягивая длинные ноги и царапая башмаками по смолянному борту, стал спускаться в шлюпку. Сел рядом с Меньшиковым, ткнул его локтем.

— Рад, что встретил, спасибо... Значит, и вас — с викторией: Шлиппенбаха разбили?..

— Да еще как, мин херц... Аникита Репнин налетел на телегах на него около Вендена, а полковник Рен с кавалерией, как я ему тогда посоветовал, преградил дорогу в город... Шведу — хочешь не хочешь — принимай бой в чистом поле... Разбили Шлиппенбаха так — сей иерой едва ушел с десятком кирасир в Ревель.

— Все-таки и в этот раз ушел... Ах, черти!

— Уж очень увертлив... Пустое, — он теперь без пушек, без знамен, без войска... Аникита Иванович потом с полпына плакался: «Не так, говорит, мне жалко — я Шлиппенбаха не взял, жалко его коня не взял: птица!» Я ему выговорил за такие слова: «Ты, говорю, Аникита Иванович, не крымский татарин — коней арканить, ты — русский генерал, должен иметь государское размышление...» Так с ним поругались, страсть... И еще — новинка: из Варшавы прискакал передовой, — король Август посылает к тебе великого посла... Хорошо бы этого посла принять уж в самой Нарве, в замке... А? Мин херц?

Петр Алексеевич слушал его болтовню, шурился на зеленую воду, покусывая ноготь.

— Из Москвы были вести?

— Да опять тебе докука: был посланный от князя-кесаря, — писем, грамот приволок целый короб... Был проездом в Питербург Гаврила Бровкин, привез тебе из Измайловского письмецо. — Петр Алексеевич быстро взглянул на него. — Оно при мне, мин херц. Да еще — четыре дыни парниковых, вез их — завернуты в бараний тулуп, за ужином попробуем... Рассказывает — в Измайловском тебя ох как ждут, все глаза проплакали...

— Ну, уж это ты врешь! — Лодка подошла боком к песку. Петр Алексеевич выскочил и полез на берег, где над водой стоял шатер Меньшикова.

Ужинать сели в шатре — вдвоем. Петр Алексеевич, сутулясь на седельных подушках, ел много, — проголодался на шереметьевых харчах. Меньшиков шепотно-неохотно брал с блюд и больше пил, прикладывая ладонь к широкому шарфу, туго повязанному по животу, — любезный, румяный, с лукавыми огонечками свечей в ласковых синих глазах. Осторожно, чтобы не увидеть ни малейшего неудовольствия на похудевшем и спокойном лице Петра Алексеевича, он рассказывал про нового фельдмаршала Огильви.

— Муж ученый, слов нет. Книги в телячьих корешках привез

из Вены, целую телегу, свалены у него в шатре. Первым делом он нам отрезал, так-то гордо, что нашего ничего есть не станет... Нужно ему, как проснется,— вместо чарки с закуской, шеколад и кофей, и пшеничный хлеб белый, и в обед свежая рыба — и не всякая — именно налим ему нужен, и дичь, и телятина. Мы закручинились,— фельдмаршал приказал — надо доставать... Послал я в Ревель одного чухонца — лазутчика — за кофеем и шеколадом, своих дал пять червонцев... Корову привязали на прикол — только для него, девку нашли чистую,— доить, пахтать... Сколотили ему нужный чуланчик позади шатра и навесили замок... И ключа он от нужного чулана никому не дает...

Петр Алексеевич торопливо проглотил кусок, засмеялся:

— А за что же я ему плачу три тысячи ефимков, вот он вас, азиатов, и учит...

— Да, учит... На другой день вызвал полковников всех полков, не спросил имя, отчество, за руки ни с кем не поздоровался и давай важно рассказывать, как его любит император, да какие он водил войска, осаждал города, как ему маршал Вобан сказал: «Ты мой лучший ученик» — и подарил табакерку... Показал нам все ордена и эту табакерку,— на крышке — девка обнимает пушку, и нас отпустил... Шеколаду бы для приличия поднес,— нет... «Я, говорит, скоро напишу диспозицию, и вы тогда все поймете, как нужно брать Нарву...» По сей день пишет...

— Ну, ну...— Петр Алексеевич вытер салфеткой руки, взял за ножку магдебургский с золочеными божествами кубок из кокосового ореха, сказал, весело морща губы,— темные глаза его редко когда смеялись: — Как на Кукуе в мимопрошедшее время, восхвалим, сердешный друг, отца нашего Бахуса и мать нашу неугомонную Венус... Давай-ка письмецо-то...

Малюсенькое письмецо, запечатанное воском и пахнущее тем же сладким и женским, как и платок с виноградными листочками, было от Катерины Василефской (хотя и написанное рукой Анисьи Толстой, потому что Катерина писать не умела).

«Государю, свету, радости... Посылаю вам, государь, свет, радость, гостинец — дыни, что за стеклами в Измайловском созрели, так-то сладки... Кушайте, государь, свет, радость, во здравие... И еще, свет мой, видеть вас желаю...»

— Немного написала... А долго, чай, думала, брови морщила, передник перебирала,— насмешливо, тихо проговорил Петр Алексеевич. Выпил кубок. Ударив себя по коленкам, поднялся и пошел из шатра.— Данилыч, крикни Макарова, разбери с ним московскую почту, а я — разомнусь.

Вечер был душный, от черного бора пахло теплой смолой. Большой закат, не света, мрачно угасал. Как раз время кричать одиноко ночным птицам да беззвучно носиться летучим мышам над головой человека. На лугу кое-где еще краснели костры и звякали недоузками кони конвоя, прибывшего с Меньшиковым. До

колен омочив чулки в росе, Петр Алексеевич шел вдоль реки. Останавливался, чтобы глубже вздохнуть. На краю низинки, спускающейся к реке, опять остановился, — оттуда беспокойно тянуло прелью и медом, смутно курился не то дымок, не то варил пиво заяц, и явственно доносился голос, должно быть солдата-коновода, из балагуров, кто не даст людям спать — только бы слушали его были и небылицы. Петр Алексеевич повернул было назад, но донеслось:

— Чепуха это все, — ведьма, ведьма! Была она пошлая дворовая девка, чумахая, в затертой рубашонке... Такой ее и взяли. Не всякий бы мужик с ней и спать-то лег... Мишка, верно я говорю? А уж я увидел ее, когда она жила у фельдмаршала... Выскочит из шатра, помой выплеснет, вытрется передником и — в шатер, пожарами — тят, тят... Гладкая, проворная... Тогда еще подумал, — эта кукла не пропадет... Ох, проворна!

Придурковатый голос спросил:

— Дядя, так как же дальше-то с ней?

— А ты не знал? Истинно говорится — за дураками за море не ездят... Теперь она живет с нашим царем, ест пироги, пряниками заедает, полдня спит, полдня потягивается...

Придурковатый голос, удивленно:

— Дядя, какая-нибудь, значит, у нее устройства особенная?

— А ты у Мишки спроси, он тебе расскажет про ее устройство.

Густой сонный голос ответил:

— А ну вас к шуту, я ее и не помню совсем...

Петр Алексеевич дышал с трудом... Стыд жег лицо... Гнев призывал черной кровью... За такие речи о государевой чести князь-кесарь ковал в железо... Схватить их! Срам, срам! Смеху-то! Сам виноват, что уже все войско смеется... «Девку взял из-под Мишки...» И он — головой вниз — шагнул туда, к ленивому мужичище, отведавшему ее первую сладость... Но будто мягкая сила остановила, опутала все его члены. Переведя дух — положил руку на опущенный мокрый лоб... «Кукла распутная, Катерина...» И она ощутимо возникла перед ним... Смуглая, сладкая, жаркая, добрая, не виноватая ни в чем... «Черт, черт — ведь знал же все про нее, когда брал... И про солдата знал...»

Высоко поднимая ноги в мокром бурьяне, он важно спустился в низину. Из-за дыма поднялись трое... «Кто идет?» — крикнул один грубо. Петр Алексеевич проворчал: «Я иду...» Солдаты, хотя и оробели до цыганского пота, но проворно, — не успеть моргнуть, — подхватили ружья и стали без шевеления; фузея перед собой, нос поднят весело, глаза выкачены на царя — наготове в огонь и на смерть.

Петр Алексеевич, не глядя на них, сунул башмак в погасший костер:

— Уголька!

Средний солдат — рассказчик, балагур — кинулся на коленки, разгреб, подхватил уголек на ладонь, подкидывая, ждал, когда

господин бомбардир набьет трубочку. Раскуривая, Петр Алексеевич исподлобья покосился на крайнего солдата... «Этот...» Верзила, здоров, ладен... Лица его не мог разглядеть...

— Сколько вершков росту? Почему не в гвардии? Имя?

Солдат ответил точно по уставу, но с московским развалцем, — от этого наглого развальца у Петра Алексеевича ошетинились усы...

— Блудов Мишка, драгунского Невского полка, шестой роты коневод, поверстан в шестьсот девяносто девятом, роста без трех вершком три аршина, господин бомбардир...

— Воюешь с девяносто девятого, — чина не выслужил! Ленив? Глуп?

Солдат ответил неживым голосом:

— Так точно, господин бомбардир, — ленив, глуп...

— Дурак!

Петр Алексеевич сдунул огонек с разгоревшейся трубки. Знал, что не успеет он скрыться за туманом — солдаты понимающе переглянутся, засмеяться не посмеют, но уж переглянутся... Заведя худые руки за спину, высоко подняв лицо с трубкой, из которой прыскали искры, он зашагал из низинки. Придя в шатер, сел к столу, отставил от себя подальше свечу, — в горле было сухо, — жадно выпил вина. Заслоняясь трубочным дымом, сказал:

— Данилыч... В Невском полку, в шестой роте — солдат гвардейских статей... Не порядок...

У Меньшикова в синих глазах — ни удивления, ни лукавства, одно сердечное понимание...

— Мишка Блудов... А как же... Он мне давно известен... Награжден одним рублем за взятие Мариенбурга... Командир эскадрона не хочет его отпускать, — коней он любит, и кони его любят, таких веселых коней, как в шестом эскадроне, у нас во всей армии нет.

— Переведешь его в Преображенский в первую роту правофланговым.

4

Генерал Горн спустился с башни и пошел через базарную площадь — длинный, с худыми ногами в плоских башмаках. Как всегда, народу было много у лавок, но — увы — все меньше с каждым днем можно было купить что-либо съедобное: пучок редиски, ободранную кошку, вместо кролика, немного копченой конины. Сердитые горожанки уже не кланялись генералу с приветливым приседанием, а иные поворачивались к нему спиной. Не раз он слышал ропот: «Сдавайся русским, старый черт, чего напрасно людей моришь...» Но возмутить генерала было невозможно.

Когда на городских часах пробило девять — он подошел к своему чистенькому домику и стал вытирать подошвы о половичок,

лежавший на ступеньке. Чистоплотная горничная отворила дверь и, низко присев, взяла у него шлем и вынутую из перевязи тяжелую шпагу. Генерал вымыл руки и с достойной медлительностью пошел в столовую, где пузырчатые круглые стекла низкого окна — во всю стену — слабо пропускали зеленый и желтый свет.

У стола в ожидании генерала стояла его жена, урожденная графиня Шперлинг — особа с тяжелым нравом, три сутулые жидковолосые девочки с длинными, как у отца, носами и надутый маленький мальчик — любимец матери.

Генерал сел, и все сели, сложив руки, молча прочли молитву. Когда с оловянной миски сняли крышку, повалил пар, но соблазнительного в ней, кроме пара, ничего не было, — та же овсяная каша без молока и соли. Унылые девочки с трудом ее глотали, надутый мальчик, отталкивал тарелку, шептал матери: «Не буду и не буду...» На вторую перемену подали вчерашние кости старого барана и немного гороху. Вместо пива пили воду. Генерал, не возмущаясь, жевал мясо большими желтыми зубами.

Графиня Шперлинг заговорила быстро-быстро, кроша над тарелкой корочку хлеба:

— Сколько я ни пыталась за четырнадцать лет моего замужества, я никогда не могла вас понять. Карл... Есть ли в вас капля живой крови? Есть ли у вас сердце мужа и отца? Король посылает вам из Ревеля караван кораблей с ветчиной, сахаром, рыбой, копчениями и печениями... На вашем месте как должен поступить отец четырех детей? Со шпагой в руке пробиться к кораблям и привести их в город... Вы же предпочли невозмутимо поглядывать с башни, как русские солдаты пожирают ревельскую ветчину... А мои дети принуждены давиться овсянкой... Я не устану повторять: у вас камень вместо сердца! Вы — изверг! А злосчастный случай с фальшивой баталией!.. Теперь мне нельзя показаться в Европе... «Ах, вы супруга того самого генерала Горна, кого русские провели за нос, как дурочка на ярмарке?» — «Увы, увy», — отвечу я. Вы даже не знаете, что в городе каждая торговка называет вас старым журавлем на башне... Наконец, наша единственная надежда — генерал Шлиппенбах, желая нам помочь, гибнет под Венденом, — а вы, как ни в чем не бывало, сидите и невозмутимо жуеете бараньи жилы, будто сегодня самый счастливый день в вашей жизни... Нет — довольно! Вы должны отпустить меня с детьми в Стокгольм к королевскому двору...

— Поздно, сударыня, слишком поздно, — сказал Горн, и его белесые глаза, устремленные на окно, казалось, пропускали так же мало света, как эти пузырчатые стекла. — Мы прочно заперты в Нарве, как в мышеловке.

Графиня Шперлинг обеими руками схватилась за кружевной чепец и низко надвинула его.

— Теперь я понимаю — чего вы добиваетесь: чтобы я с моими несчастными детьми ела траву и крыс!

Надутый мальчик неожиданно засмеялся и посмотрел на мать;

девочки слезливо опустили носы в тарелки. Генерал Горн несколько удивился; это несправедливо — он не добивается, чтобы его дети ели траву и крысы! Но он столь же невозмутимо окончил завтрак...

За дверью давно уже позвякивали шпоры его адъютанта Бистрема. Видимо, что-то случилось. Горн взял с полки очага глиняную трубку, набил ее, высек огонь, от фитиля зажег бу-мажку, закурил и только тогда покинул столовую.

Бистрем держал в руках его шпагу и шлем и несколько за-дыхался:

— Ваше превосходительство, в русском лагере внезапно на-чалось движение, смысл которого мы не можем понять...

Генерал Горн опять пошел через площадь, полную встревожен-ного народа. Он высоко поднимал голову, не желая глядеть в глаза горожанам, которые называют его старым журавлем. По источенным ступеням он поднялся на башню. Действительно — в русском лагере происходило необыкновенное: по всей полудуге осадных укреплений, тесно сжимавших город, строились войска в две линии. С востока быстро приближалось пыльное облако. Вна-чале можно было разглядеть только скачущих на низкорослых лошадях драгун. На некотором расстоянии от них ехали царь Петр и Меншиков. Желтоватая пыль, поднятая копытами эскад-рона, была столь густа, что генерал Горн болезненно сморщился... За царем и Меншиковым скакали солдаты, высоко поднимая на древках восемнадцать желтых атласных знамен. На их складках извивались, в негодовании простирая лапы, восемнадцать коро-левских львов...

Эскадроны, царь, Меншиков, шведские знамена промчались вдоль всего осадного войска, оравшего: «Урра! Виктория!» — во все варварские глотки...

5

В русском лагере веселились. С бастиона Глория было хоро-шо видно, как вокруг царского шатра стреляли пушки, по их залпам можно было сосчитать, сколько выпито виватов. Генерал Горн, зная хвастовство русских, поджидал оттуда посланника с за-носчивыми словами. Так и случилось. Из царского шатра вдруг высыпало человек сорок, размахивающих кубками и кружками, один из них вскочил на коня и поскакал в сторону бастиона Глория и за ним, догоняя, трубач. Увертываясь с конем от выстрелов, этот посланник вынул платок, поднял его на конце выхваченной шпаги и остановился у подножия башни; трубач, завалившись в седле, изо всей силы затрубил, пугая летящих ворон.

— Пароль, пароль! — закричал посланник. — Говорит Преоб-раженского полка подполковник Карпов! — был он пьян, румян, с кудрями, растрепанными ветром. Генерал Горн, нагнувшись с башни, ответил:

— Говори, я слушаю. Убить тебя успеем.

— Извещаю! — задрав веселую голову, кричал подполковник. — В пятницу на прошлой неделе город Юрьев с божьей помощью фельдмаршалом Шереметьевым взят на шпагу. Снисходя на слезное прошение коменданта, ради мужественного сопротивления, офицерам оставлены шпаги, а трети солдат — ружья без зарядов... Знамен же и музыки лишены...

Громким голосом Бистрем переводил, офицеры, стоявшие позади Горна, негодуя переглядывались, один — вне себя — крикнул: «Врет, русская собака!» Подполковник Карпов широко размахнулся, указывая на далекий шатер, где еще стояли люди с кружками:

— Господа шведы, не лучше ли сей мир, чем Шлиссельбурга, Ниеншанца и Юрьева конфузные баталии?.. В разумении этого главнокомандующий фельдмаршал Огильви предлагает вам сдать Нарву на честный аккорд... Послам для переговоров немедленно прийти в шатер. Чаши налиты, и пушки для виватов заряжены...

Генерал Горн ответил глухим голосом:

— Нет! Я буду воевать! — Лицо его с ввалившимися щеками и могучим от старости носом было без кровинки, жиловатые руки трепетали. — Ступай! Через три минуты велю стрелять...

Карпов отсалютовал шпагой, крикнул трубачу: «Отъезжай!» — и сам, вместо того, чтобы ускакать, заехал на пляшущей лошади по другую сторону башни. Офицеры кинулись к зубцам, он крикнул им:

— Это кто из вас, вор, невежа, облаял меня, русского офицера, что я вру? Переводчик, переведи живее... А ну, выезжай-ка, если ты смел, сойдемся на поле один на один...

Офицеры закричали. Один, толстый, побагровел, затряс кулаками, вырываясь от товарищей... Защелкали курки ружей. Карпов, лежа на шее коня, помчался прочь от башни, — вдогонку выстрелы, посвист пуль. Шагах в двухстах он остановился и, горяча и сдерживая коня, стал ждать противника... Не слишком скоро завизжали на петлях ворота, упал мост, и толстый офицер поскакал по полю к Карпову. Был он выше ростом, и лошадь его крупнее, и шпага шведская на два вершка длиннее русской. Для поединка он надел железную кирасу, у Карпова из-под растянутого кафтана ветром раздувало кружева.

По обычаю, противники, прежде чем съехаться, начали браниться, один свирепо вылаивал угрюмые слова, другой застрочил московской матерной скороговоркой... Оба выхватили из чересседельных кобур пистолеты, вонзили шпоры и кинулись друг на друга. Враз выстрелили. Швед далеко вперед себя вытянул шпагу, Карпов по-татарски перед носом его коня увернулся, обскакал кругом его и выстрелил из второго пистолета. Швед стукнул зубами и заворчал и опять кинулся с такой злобой, — Карпов тем только и спасся, что загородился лошадью, шпага противника глубоко вонзилась ей в шею... «Эх, погубил коня, — подумал он, —

пеший не выстою...» Но швед, как сонный, выпустил рукоять шпаги, зашатался, шаря левой рукой пистолет в кобуре. Соскочив с падающей лошади, Карпов несколько раз ударил его лезвием в бок под кирасу и глядел, задыхаясь, как швед стал все сильнее раскачиваться в седле... «Черт, здоров, умирать не хочет!» — и, прихрамывая, побежал к своим...

...Ночная тень покрыла поле, упала роса, давно затихли выстрелы, задымились костры кашеваров, всякая тварь устраивалась на покой, но в русском лагере не успокоились. В западном его краю, где был построен мост, двигалось все больше огней и доносились крики команды и заунывный рев голосов. «Уууууухнем...» Костры, огни факелов и фонарей перекинулись далеко на правый берег Нарвы под самый Иван-город, и скоро этих неподвижных и двигающихся огней стало больше, чем величавых звезд на августовском небе.

На рассвете с башен Нарвы увидели, как по ямгородской дороге все еще тянутся на воловьях упряжках огромные стенобитные пушки и осадные мортиры. Часть их переправлялась по мосту, но большая часть заворачивала и останавливалась на правом берегу, среди скопления войск.

Генерал Горн в это утро поехал верхом в старый город на бастион Гонор, примыкавший к берегу реки. Там он взошел на высокий рavelин, сложенный из кирпича и считавшийся неприступным. Отсюда он мог простым глазом видеть медные страшилища на литых колесах, мог сосчитать их и без труда понял замысел царя Петра и свою ошибку. Русские еще раз перехитрили его, старого и опытного. Он проглядел в обороне два самых слабых места — считавшийся неприступным Гонор, который новыми стенобитными пушками русских будет разнесен в несколько дней, и бастион Виктория, прикрывающий город со стороны реки, — также кирпичный, ветхий, времен Ивана Грозного. Два месяца русские отвлекали внимание, будто бы приготавливаясь к штурму мощных укреплений нового города. Но штурм уже тогда, конечно, готовился отсюда. Генерал Горн глядел, как тысячи русских солдат со всей поспешностью копали землю и устанавливали ломовые батареи против Гонора, Виктории и Иван-города, защищавшего переправы через реку. Русские готовили штурм из-за реки по понтонным переправам...

«Очень хорошо, все ясно, глупые шуточки кончены, будем драться, — ворчал Горн, шагая по рavelину помолодевшей походкой. — С нашей стороны выставим шведское мужество... Этого не мало». Он обернулся к кучке офицеров:

— Ад будет здесь! — и топнул ботфортом. — Здесь мы подставим грудь русским ядрам! Русские спешат, нам нужно спешить. Приказываю собрать в городе всех, кто способен ворочать лопатой. Падут стены, будем драться на контр-апрошах, будем драться на улицах... Нарву русским я не отдам...

Поздно вечером генерал Горн приехал домой и, сидя за столом,

жевал большими зубами жиловатое мясо. Графиня Шперлинг была так испугана рыночными разговорами, что молчала, подавившись негодованием. Надутый мальчик сказал, ведя намусленным пальцем по краю тарелки:

— Мальчишки говорят — русские всех нас перебьют...

Генерал Горн выпил глоток воды, о свечу закурил трубку, положил ногу на ногу и ответил сыну:

— Ну что ж, сынок, человеку важно выполнить свой долг, а в остальном положишься на милосердие божие.

6

Всякую бы другую такую длинную и скучную грамоту Петр Алексеевич бросил бы через стол секретарю Макарову: «Прочти, изложи вразумительно», — но это была — диспозиция фельдмаршала Огильви. Если считать, что жалованье ему шло с первого мая и ничего другого он пока не сделал, диспозиция обошлась казне в семьсот золотых сфимков, не считая кормов и другого довольствия. Петр Алексеевич, посасывая хрипящую трубочку и побряхтывая в лад сй, терпеливо читал написанное по-немецки творение фельдмаршала.

Вокруг свечей кружилась зелененькая мошкара, налетали страшные карйморы, опалившись — падали навзничь на бумаги, разбросанные по столу, закружился было, задувая свечи, бражник — величиной с полворобья (Петр Алексеевич вздрогнул, он не любил страшных и бесполезных тварей, в особенности тараканов). Макаров сорвал с себя парик, подпрыгивая, выгнал бражника из шатра.

Близ Петра Алексеевича сидел, раздвинув короткие ляжки, Петр Павлович Шафиров, прибывший с фельдмаршалом из Москвы, — низенький, с влажными, улыбающимися глазами, готовыми все понять на лету. Петр давно присматривался к нему — достаточно ли умен, чтобы быть верным, по-большому ли хитер, не жаден ли чрезмерно? За последнее время Шафиров из простого переводчика при Посольском приказе стал там большой персоной, хотя и без чина.

— Опять напутал, напетлял! — сказал Петр Алексеевич морщась. Шафиров взмахнул маленькими руками в перстнях, сорвался, наклонился и скоро, точно перевел темное место.

— А, только-то всего, а я думал — премудрость, — Петр сунул гусяное перо в чернильницу и на полях рукописи нацарапал несколько слов. — По-нашему-то проще... А что, Петр Палыч, ты с фельдмаршалом пуд соли съел, — стоящий он человек?

Сизобритое лицо Шафирова расплылось вширь, хитро, как у дьявола. Он ничего не ответил, даже не из осторожности, но зная, что немигающие глаза Петра и без того насквозь прочтут его мысли.

— Наши жалуются, что уж больно горд. К солдату близко не подойдет — брезгует... Не знаю — чем у русского солдата можно брезговать, задери у любого рубаху — тело чистое, белое. А вши —

разве у обозных мужиков только... Ах, цезарцы! Зашел к нему нынче утром — он моется в маленьком тазике, — в одной воде и руки вымыл и лицо и нахаркал туда же... А нами брезгует. А в бане с приезда из Вены не был.

— Не был, не был... — Шафиров весь трясся — смеялся, прикрывая рот кончиками пальцев. — В Германии, — он рассказывал, — когда господину нужно вымыться — приносят чай с водой, в коем он по надобности моет те и или иные члены... А баня — обычай варваров... А больше всего господин фельдмаршал возмущается, что у нас едят много чесноку, и толченого, и рубленого, и просто так — равно, и холопы и бояре... В первые дни он затыкал нос платочком...

— Да ну? — удивился Петр. — Что ж ты раньше не сказал. А и верно, что много чесноку едим, впрочем, чеснок вещь полезная, пускай уж привыкает...

Он бросил на стол прочитанную диспозицию, потянулся, хрустнул суставами и — вдруг — Макарову:

— Варвар, смахни со стола эту пакость, мошкару... Вели подать вина и стул для фельдмаршала... И еще у тебя, Макаров, привычка: слушать, дыша чесноком в лицо... Дыши, отвернувшись...

В шатер вошел фельдмаршал Огильви, в желтом парике, в белом, обшитом золотым галуном военном кафтане, в спущенных ниже колен мягких ботфортах. Подняв в одной руке шляпу, в другой трость, он поклонился и тотчас выпрямился во весь большой рост. Петр Алексеевич, не вставая, указал ему всеми растопыренными пальцами на стул: «Садись. Как здоров?» — Шафиров, подкатившись — со сладкой улыбкой — перевел. Фельдмаршал, исполненный достоинства, сел, несколько развалясь и выпятя живот, далеко отнес руку с тростью. Лицо у него было желтоватое, полное, но постное, с тонкими губами, взгляд — ничего не скажешь — отважный.

— Прочел я твою диспозицию, — ничего, разумно, разумно. — Петр Алексеевич вытащил из-под стола план города, развернул — тотчас на него посыпалась мошкара и караморы. — Спорю только в одном: Нарву надо взять не в три месяца, а в три дня! (Он кивнул, поджав губы.)

Желтое лицо фельдмаршала вытянулось, будто некто, стоявший сзади, помог ему в этом, — рыжие брови полезли вверх под самый парик, углы рта опустились, глаза выказали негодование.

— Ну, ну! Про три дня сказал сгоряча... Поторгуюсь, сойдемся на одной недельке... Но больше времени тебе не отпущу. — Сердитыми щелчками Петр Алексеевич стал сбивать тварей с карты. — Места для батарей выбрал умно... Но — прости — давеча я сам приказал: все заречные батареи повернуть против бастионов Виктория и Гонор, ибо здесь и есть пята Ахиллесова у генерала Горна...

— Ваше величество, — вне себя воскликнул Огильви, — по дис-

позиции мы начинаем с бомбардировки Иван-города и штурма одного...

— Не надо... у генерала Горна как раз вся надежда, что мы провозимся до осени с Иван-городом. А он нам не помеха, — разве что постреляет маленько по нашим понтонам... Далее, — умно, умно, что ты опасаясь сикурса короля Карла... В семисотом году из-за его сикурса я погубил армию на этих самых позициях... Ты готовишь контрсикурс, да он — дорог и сложен, и времени на него много кладешь... А мой контрсикурс будет тот, чтобы скорее Нарву взять... В быстроте искать победы, а не в осторожности... Диспозиция твоя — многомудрый плод военной науки и Аристотелевой логики... А мне Нарва нужна сейчас, как голодному краюху хлеба... Голодный не ждет...

Огильви приложил к лицу шелковый платок. Ему трудно было гоняться мыслью за силлогизмами молодого варвара, но достоинство не позволяло согласиться без спора. Обильный пот смочил его платок.

— Ваше величество, фортуне было угодно даровать мне счастье при взятии одиннадцати крепостей и городов, — сказал он и бросил платок в шляпу, лежащую на ковре. — При штурме Намюра маршал Вобан, обняв, назвал меня своим лучшим учеником и тут же на поле, среди стонущих раненых, подарил мне табакерку. Составляя эту диспозицию, я ничего не упустил из моего военного опыта, в ней все взвешено и размерено. Со скромной уверенностью я утверждаю, что малейшее отклонение от моих выводов приведет к гибельным последствиям. Да, ваше величество, я удлинил срок осады, но единственно из того размышления, что русский солдат это пока еще не солдат, но мужик с ружьем. У него еще нет ни малейшего понятия о порядке и дисциплине. Нужно еще много обломать палок о его спину, чтобы заставить его повиноваться без рассуждения, как должно солдату. Тогда я могу быть уверен, что он, по мановению моего жезла, возьмет лестницу и под градом пуль ползет на стену...

Огильви с удовольствием слушал самого себя, как птица, прикрывая глаза веками. Шафиров переводил на разумную русскую речь его многосложные дидактические построения. Когда же Огильви, окончив, взглянул на Петра Алексеевича, то несоразмерно со своим достоинством быстро подобрал ноги под стул, убрал живот и опустил руку с тростью. Лицо Петра было страшное, — шея будто вдвое вытянулась, вздулись свирепые желваки с боков сжатого рта, из расширенных глаз готовы были — не дай боже, не дай боже — вырваться фурии... Он тяжело дышал. Большая жилистая рука с коротким рукавом, лежавшая среди дохлых карáмор, искала что-то... нащупала гушиное перо, сломала...

— Вот как, вот как, русский солдат — мужик с ружьем! — проговорил он сдавленным горлом. — Плохого не вижу... Русский мужик — умен, смышлен, смел... А с ружьем — страшен врагу... За все сие палкой не бьют! Порядка не знает? Знает он порядок.

А когда не знает — не он плох, офицер плох... А когда моего солдата надо палкой бить, — так бить его буду я, а ты его бить не будешь...

...В шатер вошли генерал Чамберс, генерал Репнин и Александр Данилович Меньшиков. Взяв по кубку вина из рук Макарова, сели где придется. Петр, поглядывая в рукопись фельдмаршала со своими пометками, карандашом отчеркивая и помечая на карте (стоя перед свечами и отмахиваясь от мошкеры), — прочел военному совету ту диспозицию, которая через несколько часов привела в движение все войска, батареи и обозы.

7

Простоволосые женщины кинулись к лошади генерала Горна. Схватили за узду, за стремяна, вцепились в полы его кожаного кафтана... Худые, черные от копоти пожаров, выкатывая глаза — кричали: «Сдавай город, сдавай город...» Мрачные кирасиры — его конвой, также схваченные, не могли к нему пробиться... Рев русских пушек сотрясал дома на площади, заброшенной обгорелыми балками, битой черепицей. Был седьмой день канонады. Вчера генерал сурово отверг разумное и вежливое предложение фельдмаршала Огильви — не подвергать город ужасам штурма и ярости ворвавшихся войск. Генерал — вместо ответа — швырнул скомканное письмо фельдмаршала в лицо парламентеру. Об этом узнал весь город.

Как бельма, тусклыми глазами генерал глядел на лица кричащих женщин, — они были исковерканы страхом и голодом, — таково лицо войны! Генерал вытащил из ножен шпагу и плашмя стал ударять ею по головам и понукать лошадей. Закричали: «Убей, убей! Топчи до смерти!..» Он покачнулся — его тащили с седла... Тогда раздался неслыханный грохот, содрогнулось даже его железное сердце. За черепичными крышами старого города взвился черно-желтый столб дымного пламени — взорвались пороховые погреба. Высокая башня старой ратуши зашаталась. Закричали истошные голоса, люди шарахнулись в переулки, площадь опустела. Генерал, держа шпагу поперек седла, поскакал в направлении бастиона Гонор. Из-за реки налетали крутым полетом быстро увеличивающиеся шары, с шипением падали на крыши домов, нависших фасадами над улицей, и на кривую улицу, крутились и разрывались... Генерал бил и бил огромными шпорами шарахающуюся лошадь в окровавленные бока...

Бастион Гонор был окутан пылью и дымом. Генерал различил груды кирпича, опрокинутые пушки, задранные ноги лошадей и — огромный пролом в сторону русских. Стены рухнули до основания. Подошел раненный в лицо, серый от пыли командир полка. Генерал сказал: «Приказываю — врага не пропустить...» Командир взглянул на него не то с упреком, не то с усмешкой... генерал отвернулся, толкнул лошадь и узкими переулками поскакал к бастиону Виктория. Несколько раз ему пришлось прикрываться кожаным

рукавом от пламени горящих домишек. Подъезжая, он услышал взывающий полет ядер. Русские стреляли метко. Полуразбитые стены бастиона вспучивались, взметывались и опадали. Генерал слез с лошади. Круглолицый, молочно-румяный солдат, взявший у него повод, упрямо не глядел в глаза. Генерал ударил его кулаком в перчатке снизу под подбородок и по рухнувшему кирпичу полез на уцелевшую часть стены. Отсюда он увидел, что штурм начался...

Меньшиков бежал через плавающий мост среди низкорослых стрелков — ингерманландцев, потрясая шпагой — кричал во весь рот. Все солдаты кричали во весь рот. По ним бухали чугунные пушки с высоких стен Иван-города, бомбы шлепались в воду, нжимая воздух, с шипеньем проносились над головами. Меньшиков добежал, соскочил на левый берег, обернувшись — топал ногой, махал краем плаща... «Вперед, вперед!..» Горбатые от ранцев стрелки густо бежали через осевший мост, — а ему казалось, что топчутся... «Живей, живей!..» — и он, как пьяный, раскатывался сотворенной тут же руганью.

Здесь, на левом берегу, на узкой полосе, между рекой и сырой крепостной стеной бастиона Виктория, было мало места, перебежавшие теснились, напирали, замедляли шаг, пахло едким потом. Меньшиков по колена в воде побежал, перегоняя колонну: «Барабанщики — вперед! Знамя — вперед!..» Пушки Иван-города били теперь через реку по колонне, ядра шлепались у берега, окатывая водой, разлетались о стены, обжигали осколками, мягко, липко ударяли в людей... Передние ряды, срываясь, взмахивая руками, уже карабкались по кирпичной осыпи пролома на гребень... Забили барабаны... Крепче, крепче покатылся крик по колонне стрелков, вползающих на гребень... Там, за гребнем, хрипло завопил голос по-шведски... Рванул залп... Заволокло дымом... Стрелки хлынули через гребень пролома в город.

Вторая штурмующая колонна проходила мимо генерала Чамберса. Он сидел на высокой лошади, мотавшей головой в лад барабанам. На нем была медная, вычищенная кирпичом кираса, которую он надевал лишь в особо торжественных случаях, тяжелый шлем он держал в руке, чтобы солдаты могли хорошо видеть его налитое крючконосое лицо, похожее на раскаленную бомбу. Он хрипло, бесчувственно повторил: «Храбрые русские — вперед... Храбрые русские — вперед...»

В голове колонны — через луг к бастиону Гонор — беглым шагом шел батальон преображенцев, — рослые на подбор, усатые, сытые, в маленьких треуголках, надвинутых на брови, штыки привинчены к ружьям, так как был приказ — не стреляя — колоть. Батальон вел подполковник Карпов. Он знал, что на него смотрят

и свои и шведы, притаившиеся в проломе. Шел, шегольски выкатив грудь, как голубь, вытянув нос, не оборачиваясь к батальону. Позади него четыре барабанщика, надрывая сердце, били в барабаны. Полсотни шагов оставалось до широкого пролома в толстой кирпичной стене, — Карпов не ускорил шага, только плечи его стали подниматься. Видя это, — солдаты, сбивая шаг, нажимали — задние на передних. «Рррра та, рррра та», — рокотали барабаны. В проломе медленно поднялись железные каски, ружейные дула... Карпов закричал: «Бросай оружие, сволочи, сдавайся!» И со шпагой и пистолетом побежал навстречу залпу... Блеснуло, грохнуло, ударило в лицо пороховым дымом... «Неужто — жив?» — обрадовался... И отвалил преодолимый страх, от которого у него поднимались плечи... Душа захотела драки... Но солдаты перегнали его, и он напрасно искал — на кого наскочить со шпагой... Видел только широкие спины преображенцев, работающих штыками, как вилами — по-мужицки...

Третья колонна — Аникиты Иваныча Репнина — с осадными лестницами бросилась на штурм полуразбитого бастиона Глория. Со стен бегло стреляли, бросали камни и бревна, зажгли бочки со смолой, чтобы лить ее на осаждающих. Аникита Иваныч в горячке топтался на низенькой лошади у подножья воротной башни, подсучив огромные обшлага — потрясал кулачками и кричал тонким голосом, подбадривал — из опасения, чтобы солдаты его не оплошали на лестницах. Один и другой и еще несколько, подшибленные и поколотые, сорвались с самого верха... Но — бог милывал — солдаты лезли на лестницы густо и зло. Шведы не успели опрокинуть огненные бочки — наши были уже на стенах...

Графиня Шперлинг хватала за руки детей, будто каждый раз пересчитывала их. Вскочив — прислушивалась, — все ближе раздавались выстрелы, бешеные крики дерущихся... Она вытягивала вывернутые руки, жарко шептала перекошенным ртом: «Ты этого хотел, изверг, ты, ты, упрямый, бессердечный человек...» Девочки с плачем кричали: «Мама, замолчи, не надо...» Мальчик засовывал в рот кулак, глядел как сестры плачут...

Близко загромыхали колеса, графиня кинулась к окошку, — ковыляющая лошадь со сломанной ногой тащила груженную всяким добром телегу, за ней бежали женщины с узлами... «В замок, в замок! Спасайтесь!» — кричали они... Четверо солдат пронесли носилки... И еще несли носилки, и еще носилки с восковыми лицами раненых... Потом она увидела сутулого старика с мешком, — известного богача, дававшего деньги под заклад, — торопливо шаркая туфлями, он нес под мышкой визжавшего поросенка... Вдруг бросил и поросенка и мешок и побежал... Совсем близко зазвенело разбитое стекло... «Оо-й», — затянул мучающийся голос... На дальнем конце площади она увидела генерала Горна... Он махал рукой и куда-то указывал... Мимо него тяжело проскакали кирасиры... Горн ударил шпагой несколько раз по ребрам шатающуюся лошадь, — на его почерневшем лице были видны все зубы, как у

волка, — и, высоко подпрыгивая, вскачь скрылся в переулке... «Карл! Карл! — графиня выбежала в сени, отворила дверь на улицу: — Карл! Карл!..» И тогда она увидела русских, — они пробирались вдоль домов по опустевшей площади и поглядывали на окна... У них были широкие лица, длинные волосы, на шапочках — медные орлы...

Графиня так испугалась, что стояла и глядела, как они подходят, указывая на нее и на комендантский флаг над дверью. Солдаты окружили ее, тыча пальцами — заговорили возбужденно и сердито... Один — плосколицый идол — толкнул ее и пошел в дом... Когда он толкнул ее, будто простую бабу на базаре, в ней взорвалась вся ненависть, столь долго душившая ее, — и к старому мужу, заевшему ее век, и к этим русским варварам, доставлявшим столько страданий и страха... Она вцепилась в плосколицего солдата, вытащила его из сеней, шипя и захлебываясь обрывками слов, царапала ему щеки, глаза, кусала его, била коленками... Солдат ошалело отбивался от взбесившейся бабы... Повалился вместе с ней на камни... Его товарищи, дивясь такой бабьей лютости, взялись ее оттащить, рассердились, навалились, разняли, а когда расступились — графиня лежала ничком, свернув голову, с дурным, синим лицом... Один солдат одернул юбку на ее заголившихся ногах, другой сердито обернулся к трем девочкам и мальчику в дверях... Мальчик, перебирая ногами, кричал без голоса, без плача... Солдат сказал: «Ну их к черту, выbleдков, идем отсюда, ребята!..»

В три четверти часа все было кончено. Как ураган, ворвались русские на площади и улицы старой Нарвы. Остановить, отбросить их было уже невозможно. Генерал Горн приказал войскам отступать к земляному валу, отделявшему старый город от нового. Вал был высок и широк, здесь он надеялся, что полкам царя Петра придется обильно смочить своей кровью крутые раскаты.

Генерал сидел на лошади, опутившей голову до самых копыт. Поднявшийся свежий ветер шелкал его личным — желто-черным — значком на высоком древке. Полсотни кирасир угрюмо и неподвижно стояли полукругом за его спиной. С высокого вала генералу видны были пролеты нескольких улиц. По ним должны отступать войска, но улицы продолжали быть безлюдными. Генерал глядел и ждал, жуя сморщенными губами. Вот на дальнем конце одной, потом и другой улицы стали перебегать человечки. Он не мог понять — что это за человечки и зачем они перебегают? Кирасиры за спиной его начали глухо ворчать. Появился отчаянно скачущий верховой, он прыгнул с лошади у подножья вала и, придерживая правой рукой окровавленную кисть левой руки, полез по крутому откосу. Это был адъютант Бистрем, без шпаги, без пистолета, без шляпы, с оторванной полой мундира...

— Генерал! — Он поднял к нему безумное лицо. — Генерал! О боже, боже мой!

— Я слушаю вас, поручик Бистрем, говорите спокойнее...

— Генерал, наши войска окружены. Русские свирепствуют... Я не видал такой резни... Генерал, бегите в замок...

Генерал Горн растерялся. Теперь он понял — что это были за человечки, перебегавшие вдаль через улицы. Медленные мысли его, всегда приводившие к твердому решению, — смешались... Он не мог ничего решить. Ноги его вылезли из стремян и повисли ниже брюха лошади. Он не очнулся даже от клекчущих, тревожных восклицаний его кирасир... С двух сторон по широкому валу во весь конский мах, с настигающим визгом, мчались бородатые казаки в устрашающих высоких, сбитых на ухо бараньих шапках. Они размахивали кривыми саблями и целились из длинных самопалов. Бистрем, чтобы не видеть этого ужаса, припал лицом к лошади генерала. Кирасиры, оглядываясь друг на друга, стали вынимать шпаги, бросали их на землю и слезали с коней.

Первым подскочил разгоряченный полковник Рен и схватил за узду лошадь генерала:

— Генерал Горн, вы мой пленник!

Тогда он, как сонный, приподнял руку со шпагой, и полковнику Рену, чтобы взять у него шпагу, пришлось с силой разжать пальцы генерала, вцепившиеся в рукоять...

Не будь здесь фельдмаршала Огильви, давно бы Петр Алексеевич поскакал к войскам, — за три четверти часа они сделали то, к чему он готовился четыре года, что томило и заботило его, как незаживаемая язва... Но — черт с ним! — приходилось вести себя, как прилично государю, согласно европейскому обычаю. Петр Алексеевич важно сидел на белой лошади, и был в преображенском кафтане, в шарфе, в новой мохнатой треугольной шляпе с кокардой, правую руку с подозрительной трубой упер в бок, — смотреть отсюда, с холма, было уже не на что, на лице выражал грозное величие... Дело было европейское: шутка ли — штурмом взять одну из неприступнейших крепостей в свете.

Подсказывали офицеры, — Петр Алексеевич кивком подбородка указывал на Огильви, — и рапортовали фельдмаршалу о ходе сражения... Занято столько-то улиц и площадей... Наши ломают стеной, враг повсюду в беспорядке отступает... Наконец, из разбитых ворот Глория выскочили и понеслись во весь лошадиный прыск три офицера... Огильви поднял палец и сказал:

— О! Хорошие вести, я догадываюсь...

Доскакавший первым казачий хорунжий с ходу слетел с седла и, задрав черную бороду к царю Петру, гаркнул:

— Комендант Нарвы генерал Горн отдал шпагу...

— Превосходно! — воскликнул Огильви и рукой в белой лосиной перчатке изящно указал Петру Алексеевичу: — Ваше величество, извольте проследовать, город ваш...

Петр стремительно вошел в сводчатую рыцарскую залу в замке... Он казался выше ростом, спина была вытянута, грудь

шумно дышала... В руке — обнаженная шпага... Взглянул бешено на Александра Даниловича, — у него на железной кирасе были вмятины от пуль, узкое лицо осунулось, волосы потные, губы запеклись; взглянул на маленького Репнина, сладко улыбающегося глазами-щелками; взглянул на румяного, уже успевшего хватить чарку вина полковника Рена; взглянул на генерала Чамберса, довольного собой, как именинник.

— Я хочу знать, — крикнул им Петр Алексеевич, — почему в старом городе до сих пор не остановлено побоище? Почему в городе идет грабеж? — Он вытянул руку со шпагой. — Я ударил нашего солдата... Был пьян и волок девку... — Он швырнул шпагу на стол. — Господин бомбардир поручик Меньшиков, тебя назначаю губернатором города... Времени даю час — остановить кровопролитие и грабеж... Ответишь не спиной, головой...

Меньшиков побледнел и тотчас вышел, влоча порванный плащ. Аникита Репнин мягким голосом сказал:

— Неприятель-то пардон весьма поздно закричал, того для наших солдат унять трудно, так рассердились — беда... Посланные мной офицеры их за волосы хватают, растаскивают... А грабят в городе свои жители...

— Хватать и вешать для страха!

Петр Алексеевич сел у стола, но тотчас поднялся. Вошел Огильви, за ним двое солдат с офицерами вели генерала Горна. Стало тихо, только медленно звякали звездчатки на шпорах Горна. Он подошел к царю Петру, поднял голову, глядя мимо мутными глазами, и губы его искривились усмешкой... Все видели, как сорвалась со стола, с красного сукна, сжалась в кулак рука Петра (Огильви испуганно шагнул к нему), как отвращением передернулись его плечи, он молчал столь долго, что все устали не дышать...

— Не будет тебе чести от меня, — негромко проговорил Петр. — Глупец! Старый волк! Упрямец хищный... — И метнул взор на полковника Рена. — Отведи его в тюрьму, пешим, через весь город, дабы увидел печальное дело рук своих...

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН И СОВРЕМЕННОСТЬ

«Петр» — первый в нашей литературе настоящий исторический роман, книга — надолго, — писал Алексею Толстому М. Горький в 1933 году. — Недавно прочитал отрывок из 2-й части, — хорошо! Вы можете делать великолепные вещи»¹.

Такой «великолепной вещью» и стало в целом историческое повествование А. Толстого о Петре Первом и его эпохе. Работа была начата в 1929 году и прервалась вместе с жизнью писателя, в 1945.

Деятнадцатое столетие — золотой век русского реализма. Вся литература пронизана страстным социальным анализом действительности. Гоголь, Лермонтов, Некрасов, Достоевский, Л. Толстой, Тургенев, Островский, Гончаров, Чехов... Окружавшая их действительность порождала проблемы столь огромной общечеловеческой значимости, что требовала всех сил для их осмысления. Исследование русского общества в многообразии и пестроте присущих ему психологических типов, порождаемых им кричащих противоречий — тех, что требовали разрешения и вели в конце концов к рождению нового вида социального общежития — все это было жизненной первоосновой побед русского реализма.

Основоположник новой русской литературы — Пушкин, и заложенные им традиции имели непреходящую эстетическую ценность. Но в силу отмеченных выше причин последующая литература не стала дальше торить одну из троп, которые обозначил Пушкин, отличавшийся невиданным творческим универсализмом. Речь идет об Истории. Известно, какое значение придавал ей Пушкин в своей работе. Собственно, он, пожалуй, единственный из русских писателей, который может быть назван как художником, так и историком в чисто профессиональном смысле слова (не только многоступенчатое развитие темы Петра и его эпохи в стихах и прозе («Капитанская дочка»), но и «История Пугачева»).

Если и нельзя сказать, что исторический роман как жанр в

¹ Горький М. Собр. соч. в 30 т. — Т. 30. — С. 280.

XIX в. отсутствует совсем, то все же примеры его единичны, а по своей эстетической весомости историческая проза не идет ни в какое сравнение с литературой о современности («Юрий Милославский» М. Загоскина, «Ледяной дом» И. Лажечникова).

Совершенно иначе стала развиваться литература после Октябрьской революции. Естественно, в первую очередь ее внимание было нацелено на воспроизведение того нового, что рождала действительность, ее противоречий после Октября (известные книги о событиях революции и гражданской войны и столь же приближенные к современности романы о великих индустриальных преобразованиях страны или переломе в деревне на рубеже 20 — 30-х годов). Но в высшей мере примечательно, что в те же самые годы, параллельно начинает стремительно развиваться исторический жанр. В середине 20-х годов появляются «Одеты камнем» О. Форш, «Разин Степан» А. Чапыгина, следом — «Повесть о Болотникове» Г. Шторма... А дальше — блистательный расцвет исторического романа, осененный именами А. Толстого, Ю. Тынянова, С. Бородина, В. Яна, И. Новикова, С. Сергеева-Ценского, А. Степанова... Определенных успехов достигают драматургия и кинодраматургия, поэзия.

Петровская тема проходит через всю русскую литературу с времен Ломоносова и Кантемира, через творчество декабристов и Пушкина, революционеров-демократов и славянофилов, Льва Толстого, через историческую живопись Н. Ге и В. Сурикова.

Новая волна интереса к Петру возникла на рубеже XIX — XX веков. К нему обращаются А. Блок («Петр») и В. Брюсов («К медному всаднику»), А. Ахматова («Стихи о Петербурге») и О. Мандельштам («Петербургские строфы» и «Адмиралтейство»). Большие романы посвящают ему Д. Мережковский и А. Белый. Но в полной мере великие пушкинские традиции удалось возродить и продолжить лишь А. Толстому.

Основной пафос своей «нацеленности» на Петра писатель передавал следующими словами: «Я не мог равнодушно пройти мимо творческого энтузиазма, которым охвачена вся наша страна, но писать о современности, побывав раз-другой на наших новостройках, я не мог... Я решил откликнуться на нашу эпоху так, как сумел. И снова обратился к прошлому, чтобы на этот раз рассказать о победе над стихией, косностью, азиатщиной»¹. Сказанные полвека назад, слова эти до сих пор не утратили своей злободневности.

Начало романа — свидетельство замечательного композиционного мастерства А. Толстого. Прежде чем на страницах романа появляется будущий царь, писатель вводит персонажей, очень разных по своей социальной природе. Однако всех их, во-

¹ Алпатов А. В. Алексей Толстой — мастер исторического романа. — М., 1958. — С. 60—61.

преки существующим различиям, объединяет одно. Служилый дворянин Василий Волков недоволен: царская казна пощады не дает. Что ни год — новый наказ, новые деньги... Иные заботы у Михайлы Тыртова, мелкопоместного дворянского сына: идти ему в отвод, на пустошь болотную, на совсем худое житье. Свои беды и у стрельцов, давно не получавших жалованья, купцов, потерявших оборот, гостинодворцев... Даже у бояр — и у тех своя печаль. Так постепенно складывается картина всеобщего — снизу доверху — недовольства. Но отправная точка всеобщего недовольства — в горестных рассуждениях *мужика* Ивашки Бровкина: «...Того подай,— этого подай... Тому заплати, этому заплати... Но прорва,— этакое государство? — разве ее напитаешь?»

Все эти различные образы решают одну задачу: выразить исторически назревшую потребность перемен.

Петр становится выдающимся реформатором по мере осознания им неизбежности преобразований, необходимость которых уже назрела в обществе, во всех его слоях. Вот так, через живую динамику человеческих судеб, не обращаясь к авторским отступлениям или прямому введению в текст документов, воссоздает художник насущную общественную необходимость появления в стране исторического деятеля, который дал бы выход объективно сформировавшимся экономическим и духовным потребностям. Таким образом, у А. Толстого Петр — не слепой подражатель Западу (хотя он многое перенимал оттуда), и это обстоятельно показано в книге), а деятель глубоко национальный. Суть в том, что само понятие Россия он стал воспринимать совершенно иначе, чем косное боярство, с которым повел решительную борьбу.

«Старики рассказывали,— хорошо было в старину: дешево, сытнее, благоденственнее. По деревням мужики с бабами водили хороводы. На посадах народ заплывал жиром от лени. О разбоях не слыхивали. Эх, были, да прошли времена!...» Действительно, эти времена ушли безвозвратно.

Передавая сложность и драматическое величие развернувшихся событий, А. Толстой как художник стремится объединить их в целостное сюжетное единство. Надо сказать, сам материал раскрывал перед писателем широкие возможности организации характеров и событий в единую систему. В противоположность недавней неподвижности и застою все пришло в движение, образуя множественность ситуаций выбора. Стрелецкий полковник Цыклер открыто встает на сторону Петра, а потом, изменяя ему, вновь переходит на сторону Софьи (заговор был раскрыт, а Цыклер — подвергнут самой жестокой публичной казни). Двоюродные братья Борис и Василий Голицыны оказываются в разных станах, причем первый спасает второго от верной гибели... Подобных примеров можно было бы привести много.

Еще более активную роль в построении сюжета выполняют персонажи вымышленные. Достаточно обратиться хотя бы к представителям семейства Бровкиных. Санька выходит замуж за дворянина Василия Волкова. Алексей становится офицером, приближенным к Петру, и совершает экспедицию на Север, в районы, где живут раскольники, там спасает от гибели Андрея Голикова. Артамон женится на Наталье Буйносовой, а Гаврила влюбляется в царевну Наталью.

Через взаимоотношения персонажей А. Толстой исследует дух эпохи, расстановку-ее движущих сил, те факторы, которые формировали развитие личности Петра.

Период, изображенный А. Толстым в романе, исполнен, пожалуй, наибольшего внутреннего драматизма. Прежде чем приступить к разрешению многообразных проблем, вставших перед Россией, предстояло сломить сопротивление внутренней оппозиции, а затем повести войну за выход к морю. Без этого ее нормальное развитие как великого государства было совершенно немыслимо. Образ моря весьма важен в эстетической системе повествования! «Море» всегда завораживало, всегда тянуло его к себе».

Характеризуя силы, сопротивлявшиеся начинаниям Петра, А. Толстой большое внимание уделяет фигурам властолюбивой Софьи и ее фаворита Василия Голицына, поддерживавших их стрельцов, рисует драматические эпизоды восшествия Петра на престол, борьбу за власть, последующие потешные игры как своего рода репетиции будущих военных действий великого полководца.

Старое ожесточенно сопротивляется новому, но, мастерски воссоздавая напряженность завязывавшихся коллизий, А. Толстой рисует жизнь во всем богатстве и с успехом использует самые разные краски, вплоть до комических. Разве можем мы представить роман без боярина Буйносова, огрызающегося на дочерей больше по привычке и вынужденного смириться с необходимостью пить ненавистный «кофей», от которого вонюша на весь дом...

В романе множество и исторически подлинных и вымышленных персонажей, но основные усилия А. Толстой, естественно, направляет на то, чтобы полно и многогранно нарисовать беспрецедентную — и, может быть, среди монархов не только России, но и всех времен и народов — фигуру Петра. Его герой — живое олицетворение протеста против рутины, против всего внешне-показного, мешающего реальному движению вперед. Стремительность, порыв, нетерпение — в этом весь Петр с его неумным желанием пробиться к новому сквозь многовековую толщу предрассудков. Создается впечатление, что сама подпись государя под указами отражает это своей конвульсивной скорописью: «ПТР».

С одинаковой одержимостью мог он брить боярские бороды

или меткой стрельбой из орудия сокрушать бойницы неприятельской крепости. Столяр, плотник, кузнец, мореход, — человек, изучивший четырнадцать ремесел, неутомимо жадный в познании нового, Петр, казалось, хотел все «пощупать» собственными руками.

На протяжении повествования образ Петра совершает огромную эволюцию. И дело, разумеется, не столько в различиях портретной характеристики (в начале перед нами несуразный «выюноша», который и головку-то держать не умеет, в конце — огромного роста мужчина с неизменной трубкой в зубах); особенно важны внутренние, качественные превращения в Петре как следствие извлечения исторического опыта.

С большой подробностью описывает, например, А. Толстой азовский поход, кончившийся «конфузией». Читателю становится ясно, что иным финал и не мог быть: успех дела решает далеко не только храбрость солдат, но прежде всего основательность всесторонней предварительной подготовки.

Примечательно, что, уделив столь большое внимание всем подробностям неудачной битвы под Азовом, А. Толстой ограничивается буквально несколькими строками, когда говорится о победе русских. Почему? Да потому, что для Петра «в первую голову это была победа над своими...» И — над самим собой. «От беды и позора под Азовом кукуйский кутилка сразу возмужал, неудача бешеными удилами взнуздала его. Даже близкие не узнавали — другой человек: зол, упрям, деловит».

И все-таки пришлось испытать всю горечь поражения еще и под Нарвой.

Сцены эти имеют в романе кардинальное значение. Поведение Петра в них неоднозначно. Он невольно восхищается смелостью своего любимца Алексашки Меншикова, устремляющегося с криком «ура!» и тонкой шпагой на штурм крепости и увлекającego за собой солдат. Но по мере развития событий в душе Петра все более закипают недовольство и даже гнев. «Начинать надо с тылу, с обозных телег... Скакать со шпагой — последнее дело... Дура... Опустить глаза! (Бешенство метнулось по лицу его). Не могли смотреть на меня».

Уроки Нарвы Петр подытоживает следующим афоризмом: «Чтоб здесь пушка выстрелила, ее надо в Москве зарядить...»

Коренным образом изменил Петр принципы подбора приближенных: «отныне знатность по годности считать», то есть, как мы говорим нынче, по деловым качествам. Вынужденный поначалу ориентироваться преимущественно на иностранцев, чем далее, тем все более заботится он о росте национальных кадров для промышленности, торговли, науки.

По мере развития действия Петр выступает уже не только как властный диктатор, стремящийся к достижению цели любой ценой, но, по временам, и как опытный педагог новой формации. Этот Петр «ставил в вину не столько то, что ты сделал, но то, что мог бы

сделать доброго, а не сделал... Приходилось пытаться счастье».

Здесь-то, возможно, и заключалось самое главное! Задача отныне вовсе не сводилась к беспрекословному выполнению государевых приказов; теперь стимулировалась собственная *инициатива*, а общество как организм может нормально функционировать только при этом условии. Петр всемерно стимулировал динамизм, самостоятельность мышления, пробуждение хорошей творческой неудовлетворенности сделанным в противоположность пресловутому «и так сойдет».

Примечателен эпизод из третьей книги романа, когда кузнец Воробьев, человек мастеровитый и многого добившийся, в ответ на вопрос государя говорит, что всем доволен. Воробьев по традиции полагал, что именно такой ответ более всего устроит государя, часто вынужденного обращаться с извечным вопросом «как жизнь?» к своим подчиненным и далеко не всегда желающего слышать о подлинном положении вещей, трудностях и недостатках.

На сей раз кузнец просчитался. «А он как осерчает, — рассказывает Воробьев. — «Хуже, говорит, ты не мог мне ответить, Кондратий Воробьев, кто всем доволен, да не хочет хорошее на лучшее менять, тому — все потерять. Ах, говорит, когда вы, дьяволы ленивые, это поймете?..» Загадал мне загадку...» Но такие загадки, собственно, в обилии загадывала сама жизнь.

Петр дан в романе не только во внутреннем самодвижении, но и в разветвленной композиционной связи с образами других исторических деятелей. Перед читателем проходят отчаянно смелый, никогда не теряющий присутствия духа баловень судьбы Александр Меншиков, наставник царя в науках и застолье Лефорт, почтенный фельдмаршал Борис Петрович Шереметьев...

По-своему дополняют друг друга даже столь не схожие с поверхностного взгляда Петр и Карл XII. Лидеры двух противоположных военно-политических лагерей не знают удержу в буйствах и веселых потехах. Для обоих не только достоинство, но и сама жизнь подчиненных порой становилась не слишком большой платой за веселье. Но сходство лишь сильнее оттеняет контраст в главном. Для Карла жизнь — непрерывное развлечение, какой-то опьяняющий спектакль, в котором главную роль играет он и только он. Для Петра вся жизнь — государственное дело, тяжелая и изнурительная работа, причем никакой границы между работой «престижной» и черной не проводилось. Скорее наоборот: своим примером Петр призывал не брезговать никаким делом, даже самым невыигрышным на первый взгляд.

Активно отражают психологию крутых социальных сдвигов и женские образы. Дочь бедного мужика, Александра Бровкина, становится женой дворянина, причем сватом ее является сам царь! Парадокс состоит в том, что замуж она выходит за того, от кого в кабальной зависимости находился совсем недавно ее батюшка.

Быстро усвоив черты дворянского политеса, красавица Александра Волкова уже вполне готова к тому, чтобы украшать придворные балы, быть предметом восторженного поклонения наиболее изысканных кавалеров Европы и конкурировать с самыми знаменитыми красавицами, такими, как графиня Десмонт.

Особое значение имеет выведенный в третьей книге поэтический образ любимой сестры Петра, царевны Натальи. В ней читателя пленяют не только обаяние расцветающей юности, чистота первого чувства к Гавриле Бровкину и вообще формирующееся нравственное самосознание женщины. Наталья стремится по-своему продолжать преобразовательную деятельность брата, пытаясь организовать национальный театр.

«Петр Первый» — глубоко новаторское произведение социалистического реализма. Для опоры, когда в критике широкое распространение имели вульгарно-социологические взгляды, само выдвижение на первый план фигуры монарха было делом весьма рискованным. К тому же и первые советские исторические романы, вполне естественно, ориентировались либо на изображение широких народных движений («Разин Степан», «Гулящие люди» А. Чапыгина, «Повесть о Болотникове» Г. Шторма), либо воссоздавали образы отдельных революционеров («Одеты камнем», «Радищев» О. Форш).

Делая композиционным центром повествования образ монарха — преобразователя России, А. Толстой много усилий прикладывает к тому, чтобы высветлить народную основу романа.

Разумеется, нелепо было бы утверждать, что образы представителей народной среды находятся на первом плане повествования: иным был замысел романа. Но нет оснований ударяться и в другую крайность, утверждая, будто А. Толстой образу народа уделил недостаточно внимания. Подобные заявления основываются обычно на неточном понимании природы художественного отражения действительности, особенностей творческого сознания художника и вольно или невольно отдают дань иллюстративности.

Не скрывая своего сочувственного отношения к преобразовательской деятельности Петра, А. Толстой ни на минуту не забывает, какой ценой давались России эти преобразования. В романе неоднократно возникают картины народной нужды, самой беспощадной эксплуатации, которой подвергался мужик. Не случайно столь большое место в сюжете занимает линия ушедших в разбой бунтарей Иуды, Овдокима, Цыгана, попавшего в их компанию Голикова.

Среди представителей низов чрезвычайно важное значение приобретает образ Голикова. Особенно интересно рисует А. Толстой духовный поединок Голикова и Нектария. Глава одной из раскольниковых сект, привыкший повелевать сотнями человеческих жизней, этот циничный фанатик борется, в сущности, не за веру, а за свое право распоряжаться чужими судьбами. Ясно, что для

беспрекословного подчинения нужно, чтоб народ жил в темноте. И прежде всего учил Нектарий «одолевать бесов». А их — тьма: «сколько мыслей — столько бесов».

«Остается одно, — размышляет Голиков, — ни о чем не думать, повесить голову, как побитому псу, и — верить, брюхом верить. А если не верится? Если думается? Мыслей не задавить, не угасить, — мигают зарницами. Это тоже, значит, от антихриста?»

Перед величием бездонного звездного неба Голиков чувствует свою ничтожность. Но мал он теперь не так, как внушал ему Нектарий. И в малости своей — перед огромностью и сложностью мира — на многое способен человек. «Иди, Андрей, не падай духом, не сворачивай, скоро, скоро возвеселится, выиграет твоя чудная сила, будет ей все возможно: из безобразного сотворишь мир прекрасный в твоём преображении...»

Талант Голикова одухотворен силой пробудившейся мысли, пытающейся постичь сущность жизни. И Алексей Бровкин, освободивший Голикова и спасший его и других от самосожжения, думает сходным образом: «Конечно, каждый из них молчит, а ведь думают... Ох, люди...»

И как бы подводя итог этим исканиям, Яков Бровкин в другом месте и по другому поводу говорит, прямо опровергая любые разновидности религиозных догматов, пропагандирующих слепую веру и основанное на ней подчинение: «А бог человека создал, чтоб тот думал...»

Эпоха преобразований на рубеже XVII—XVIII веков, приводивших к жестокой эксплуатации народа, была в то же время и порой определенных прогрессивных сдвигов в народном самосознании, приводивших к раскрытию дарований людей из низов общества. Братья Баженины построили мельницу без помощи заморских мастеров. Тульский кузнец Никита Демидов Антуфьев ружья делал не хуже аглицких. Кузнец Жемов с гордостью заявлял, что не нашелся еще такой, кто бы мог открыть сработанный им замок. В конце концов, разве не символично, что именно во времена, когда великий государь «Россию поднял на дыбы», кузнец Жемов совершил дерзновенную попытку подняться на крыльях в небо?!

Впрочем, действительность чаще всего жестоко наказывала таких новаторов. Большой обобщающей силы исполнен финал судьбы того же Жемова, вынужденного с веревкой на шее бродить по базарам, разыгрывая «трясучего».

Суровые картины русской истории нарисовал А. Толстой в своем романе. Но, как подчеркивали современники, не мраком и холодом веет от жестокой и грозной петровской эпохи, а предвосхищением новых дней и небывалого расцвета.

Работая над экранизацией первой части романа, кинорежиссер С. Герасимов подчеркивал: «Роман представляется нам прекрасным произведением, не стареющим вследствие своей

неумирающей актуальности. Фигура Петра при всей ее противоречивости, широко исследованная в русской исторической науке и художественной прозе, потому и привлекала во все времена исследователей и писателей, что в самой этой натуре, как в кристалле, отразилась вся гигантская перспектива национальной судьбы. И основное в характере Петра — его жажда преобразовать мир на лучших, разумных началах постоянно сопутствовала всей передовой общественности России»¹.

Представляется целесообразным хотя бы кратко остановиться на художественном новаторстве А. Толстого. «Я в 1917 году, — вспоминал писатель, — пережил литературный кризис. Я почувствовал, что, несмотря на знание огромного количества русских слов, я все же русского языка не знаю, так как, желая выразить данную мысль, могу ее выразить и так и этак и по-третьему и по-четвертому. Но каково ее единственное выражение — не знаю»².

Как раз в ту пору, в 1917 году, А. Толстой впервые приступил к теме Петра (роману предшествовали несколько произведений на историческую тему, среди которых особенно важны рассказы «День Петра» и «Повесть смутного времени»). Собирая материалы, он обратился за помощью к историку В. В. Каллашу. Тот порекомендовал ему книгу профессора Новомбергского «Слово и дело государево», где содержались пыточные записи XVII века. А. Толстой стал читать ее, и перед ним представали любопытнейшие подробности эпохи, ее быта, речи, нравов... Но по мере чтения писатель все отчетливее начинал различать, что не в этом секрет главной прелекательности записей. Дело в самом строе речи дьяков, стремившихся к предельно точной, бесхитростной, ни в чем не олитературенной передаче рассказа пытаемого. Перед ними стояла в своем роде задача художественная. Размышляя над записями, А. Толстой начинал понимать законы внутренней динамики языка, проистекающей из верности душевному движению человека.

Постепенно в его эстетической системе сложилось то, что принято называть «теорией жеста». Если, забежая вперед, говорить о ее практическом воплощении, то это и есть в первую очередь чудо «Петра Первого».

А. Толстой исходил из того, что «вся жизнь это есть движение»³. Он постоянно искал движения, чтобы персонажи говорили о себе языком жестов. Необходимо создать мир и впустить в него читателя, который бы общался с самими героями, как с живыми людьми, находящимися в постоянном развитии.

Писатель был твердо убежден, что «человека, равно как исторический отрезок времени, можно понять только диалектически —

¹ «Известия». — 1980. — 27 августа.

² Толстой А. Н. Собр. соч. в 10 т. — Т. 10. — 1986. — С. 98.

³ Толстой А. Н. Собр. соч. — Т. 10. — С. 404.

в движении, в борьбе, в противоречии»⁴. Отсюда принцип: «ни мгновения остановки, ни слова покоя, хотя бы для важной характеристики»⁵. Из глубины постижения внутреннего состояния героя, из интенсивности художнического сопереживания рождается точная внешняя характеристика, подсылающая нужное словесное решение. «Слово — есть искра, возникающая в конце жеста. Жест и слово почти неразделимы»¹.

Писатель, ориентирующийся на принципы зрительной изобразительности, не должен злоупотреблять назывными обозначениями тех или иных душевных или моральных качеств героя. Качество в действии — таков принцип А. Толстого.

Идет напряженнейшая борьба за престол между Софьей и Петром. Ночью Петру не спится. Он думает.

«...Сестрица, сестрица, бесстыдница, кровожажущая... Гранаты на дорогу велела подбросить... С ножом подсылает... В поварне вчера объявился бочонок с квасом, — хорошо, что дали сперва полакать собаке, — сдохла.

Петр отмахнулся от мыслей... Но гнев сам рвался в височные жилы... Лишить его жизни! Ни зверь, ни один человек, наверно, с такой жадностью не хотел жить, как Петр...

— Алексашка... Черт, спишь, дай квасу...

Алексашка обалдело выскочил из-под тулупа. Почесываясь, принес в ковшике квасу, наперед сам отхлебнув, подал. Зевнул. Поговорили немного. «Послушивай», — печально, бессонно доносилось издали.

— Давай спать, мин херц.

Всего лишь через одну деталь показана бесконечная преданность Алексашки государю, ставшая неотъемлемо органическим качеством Меншикова: подавая квас, он сначала отхлебнул сам. Смысл этого поступка проясняет уместно прозвучавшее несколько ранее упоминание о попытке отравления Петра.

Через действие, поступок, жест писатель имеет возможность рисовать не только более или менее устоявшиеся качества персонажей, но и самую динамику психологических процессов, переживаний. Перечитайте хотя бы сцену из первой главы (подглавка 4), где воспроизводится разговор между Василием Волковым и Михайлой Тыртовым о житье-бытье. Вот беседа как будто идет на убыль, а внутренняя напряженность сцены, напротив, все более нарастает, т. к. не сказано самого главного — где же искать выход из трудностей. И разговор постепенно переходит в своего рода психологический поединок. А ведь эту напряженность передают лишь подробности «внешнего» поведения героев: Михайла подбирает ноги под лавку, которая заходила под ним; потом долго пьет квас, поглядывая из-за края чаши на собеседника (не глядя, а именно поглядывая!).

¹ Толстой А. Н. Полн. собр. соч. — 1949. — Т. 13. — С. 586.

² Толстой А. Н. Собр. соч. — Т. 10. — С. 254.

³ Толстой А. Н. Собр. соч. — Т. 10. — С. 128.

В литературе не много найдется писателей, обладавших такой предметностью художественного мышления, как А. Толстой. Любая страница, любой абзац «Петра» — яркий тому пример. Искусство картинного видения жизни в романе произвело на современников впечатление ошеломляющее.

В «Петре Первом» А. Толстой действительно добился воистину удивительного искусства концентрированности и емкости художественного содержания. Исполнена огромного социально-исторического обобщения сцена казни полковника Цыклера, возглавившего заговор против Петра. Его не просто четвертуют. Кровь заговорщика сквозь щели помоста льется в раскрытый гроб Милославского, умершего три года назад, — гроб по приказу Петра был привезен из родового склепа на двенадцати длиннорылых свиньях... Происходит не только жестокая физическая расправа Петра над политическим врагом. Таким способом он стремится морально казнить самое дух измены, витающий где-то поблизости, дух умершего Милославского.

Федька Умойся Грязью, закованный в цепи и забивающий сваи для северной столицы; Голиков, поспешающий за Петром и боящийся наступить на его тень, — эти и некоторые подобные им образы более или менее откровенно символичны. Чаше же А. Толстой идет по пути максимального обобщения без выхода за рамки бытовой достоверности, сохраняя всю индивидуальную неповторимость характера и обстановки. Есть просто человек, эпизод из жизни... Как в сцене с боярином Буйносовым. «Мишка открыл обитую сукном дверцу, в крестовую палату. Роман Борисович, достойно крестясь, подошел к аналою. На бархате раскрыт закапанный воском часослов. Снял нагар со свечечки. Вздел круглые железные очки. Лизнул палец, перевернул страницу и задумался, глядя в угол, где едва поблескивали оклады на иконах: горел один только зеленый огонек перед Николаем-чудотворцем...»

Но из подобных эпизодов, исполненных огромной внутренней содержательности, постепенно рождается образ времени. Эпохи.

За простотой такой изобразительности скрывается часто все не такой уж простой подход художника к воссозданию жизни средствами искусства. Так многие описания природы, среды, места действия А. Толстой строит на принципе обратной характеристики явления. Можно длинно описывать тишину, как длинно описывал ночь чеховский Треплев из «Чайки»... У А. Толстого во время подкопа под стены Азовской крепости «Петр поджег шнур и побежал в глубь лагеря, за ним — Алексашка и Вареной Мадамкин. Турки бросились со стен за внутренние укрепления. Стало необыкновенно тихо». Многие бы поставили здесь точку. Мастер кладет на картину еще один, завершающий мазок. «Только каркали вороны, летя за Дон». Тихо стало именно тогда, когда раздался звук. Звук, которого не слышно обычно, потому

что его совокупно подавляют другие, земные звуки и который раздается именно тогда, когда они отсутствуют.

Искусство слова искало и находило все более тонкие средства художественной выразительности, все реже используя пространные описания предметов и явлений.

Обширные описания вызваны прежде всего установкой на рассказ. Автор, как бы впервые встретившись с теми или иными лицами, впервые попав в те или иные обстоятельства, рассказывает обо всем интересном, что он видит. На этой основе строятся, к примеру, развернутые описания в романах Бальзака.

Эпическое искусство, стремящееся к изображению характеров и обстоятельств через действие и поэтому приближающееся к драме, учитывающее ошеломляющие достижения научно-технической мысли XX в., неизбежно критически преодолевает эти приемы. О работе над сценарием фильма «Петр Первый» А. Толстой говорил: «...наши усилия направлялись к тому, чтобы в сценарии ничего не было «для показа», но все — от главных действующих лиц до среды, в которой они представлены, — все было введено в действие, подчинено основной теме в ее действии, в ее развитии»¹.

Обстоятельства становятся не только фоном, на котором разворачивается действие, не только материальной средой, внутри которой оно происходит, но даже как бы «частицей души» тех людей, которые действуют. Характеры и обстоятельства берутся не изолированно друг от друга, а в теснейшей органической связи. Принцип «точки зрения» персонажа помогает эстетическому установлению глубоких причинно-временных связей между определенными явлениями жизни, ставшими объектом изображения.

Вот как в романе «Петр Первый» дается описание усадьбы Василия Волкова:

«Ивашка и Цыган оставили коней около высоких ворот. Над ними под двухскатной крышей — образ честного креста господня. Далее тянулся кругом всей усадьбы непременный тын. Хоть татар встречай...

Мужики завели лошадей во двор. Стояли без шапок, косясь на слюдяные окошечки боярской избы. Туда, в хоромы, вело крыльцо с крутой лестницей. Красивое крыльцо резного дерева, крыша луковичей. Выше крыльца — кровля — шатром, с двумя полубочками, с золоченым гребнем. Нижнее жилье избы — подклеть — из могучих бревен. Готовил ее Василий Волков под кладовые для зимних и летних запасов — хлеба, солонины, солений, мочений разных. Но, — мужики знали, — в кладовых у него одни мыши. А крыльцо — дай бог иному князю: крыльцо богатое...»

¹ Толстой А. Н. Полн. собр. соч. — 1949. — Т. 13. — С. 471.

Приведенное описание никак нельзя назвать нейтральным, — таких вообще нет в романе. Читатель отчетливо чувствует, что оно дается со строго определенной точки зрения — с точки зрения мужика. Этим и порождена отчетливость интонации многих фраз («А крыльцо — дай бог иному князю: крыльцо богатое», тын — «хоть татар встречай» и т. д.).

В классическом искусстве тип фразы был бы иным. Место интонации «от героя» занимала бы спокойная авторская интонация: «Сидя (находясь) за таким тыном, можно было встречать даже татар».

В повествовательной манере А. Толстого одновременно решаются две задачи: объективное описание обстановки и субъективное ее восприятие со стороны персонажа. Достигается новая, более высокая художественная емкость изображения.

А. Толстой добился выдающегося в мировой литературе умения изображать характеры в их органическом единстве с социальной и физической средой. Примеров можно было бы привести десятки, особенно из романа «Петр Первый». С замечательной меткостью сказал Ромен Роллан: «Меня особенно поражает в Вашем искусстве, твердом и правдивом, то, как Вы лепите Ваши персонажи в окружающей их обстановке. Они составляют неотъемлемую часть воздуха, земли, света, которые их окружают и питают, и Вы умеете одним взмахом кисти выразить тончайшие оттенки среды»¹.

Пространные описания не соответствуют и эстетическим вкусам современного читателя, привыкшего при помощи кино и телевидения мгновенно воспринимать то, что потребует значительного времени для чтения.

Роман «Петр Первый», а также и другие произведения писателя на петровскую тему, вызвали самую заинтересованную реакцию современников не только в Советской России, но и за рубежом.

Обращенные к прошлому, такого рода произведения имели огромное значение для воспитания личности нового человека.

...Сколько лет Петру в конце романа? Чаще всего мы просто не задумываемся над этим.

Тридцать два...

Конечно, он еще очень молод. Но главное здесь — сколько и каких дел успел сделать этот человек, а, значит, сколь рано начал он, какие большие задачи он ставил перед собой *смолоду*.

И об этом тоже призывает подумать замечательный роман А. Толстого.

В. И. Баранов

¹ Алексей Толстой — кандидат в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР. — 1937. — С. 12.

КОММЕНТАРИИ

Стр. 16. **Матвеев Андрей Артамонович** (1666—1728) — первый постоянный представитель России в Европе, один из самых активных и талантливых петровских дипломатов.

Стр. 17. **Прасковья Федоровна** (1664—1723) — царица, жена царя Ивана V Алексеевича. Воспитанная в старинных правилах, сознавала необходимость преобразований и уступала современному духу в воспитании дочерей, чем заслужила уважение Петра I.

Стр. 18. **Григорий Отрепьев** (ум. в 1606) — беглый дьякон Чудова монастыря, самозванец, выдавший себя за царевича Дмитрия Ивановича и вошедший в историю под именем Лжедмитрия I. Русский царь в 1605—1606 гг.

Стр. 19. **Тушинский вор** — Лжедмитрий II (ум. в 1610) — авантюрист неизвестного происхождения, выдававший себя за царевича Дмитрия Ивановича. Прозвище получил от села Тушино, находясь в котором, он создал правительство из русских феодалов и приказных.

Стр. 37. **Скляев Федосей Моисеевич** (ум. в 1728) — талантливый русский кораблестроитель, которому Петр I поручал строительство самых значительных кораблей.

Стр. 52. **Украинцев Емельян Игнатьевич** (1641—1708) — известный русский дипломат.

Стр. 67. **Феб** — в античной мифологии одно из имен Аполлона — бога света, солнца, покровителя искусств, предводителя муз.

Стр. 69. **Паткуль Иоганн Рейнгольд фон** (1660—1707) — лифляндский дворянин, талантливый международный авантюрист, состоял некоторое время на дипломатической службе у Петра I, которую рассматривал как способ удовлетворения своего непомерного тщеславия.

Венус — Венера, в античной мифологии богиня любви и красоты.

Стр. 70. **Карл XII** (1682—1718) — шведский король, основная деятельность которого связана с руководством военными действиями шведов в Северной войне (1700—1721 гг.). Талантливый полководец, он отличался непомерным тщеславием, болезненной гордостью и самолюбованием.

Стр. 71. **Карл XI** (1655—1697) — шведский король, установивший абсолютистскую власть в стране.

Баторий Стефан (1533—1586) — польский король и полководец, участник Ливонской войны.

Стр. 75. **Пуффендорф Самуэль** (1632—1694) — представитель немецкого Просвещения XVII в. Выступая против вмешательства церкви в дела государства и богословия, в то же время оправдывал существование абсолютизма и крепостнических отношений. Автор многочисленных работ по юриспруденции и истории.

Стр. 78. **Ариадна** — в греческой мифологии дочь критского царя Миноса. Когда Тесей был заключен в лабиринт на Крите, где обитал чудовищный Минотавр, Ариадна дала ему клубок нити, разматывая который, он нашел выход из лабиринта («нить Ариадны»). Ариадна бежала с Тесеем, но он покинул ее, когда она спала на острове Наксос.

Стр. 86. **Расин Жан** (1639—1699) — драматург, сыгравший решающую роль в развитии трагедии периода французского классицизма; создал новый жанр любовно-психологической трагедии, выдвинув на первый план нравственную проблематику, проник в душевный мир страдающего человека.

Мольер (Жан Батист Поклен) (1622—1673) — один из величайших комедиографов мировой литературы, творивший в период французского классицизма.

Стр. 87. **Мальборо Джон Черчилл** (1650—1722) — герцог, английский полководец и государственный деятель. Командуя английскими войсками в войне за испанское наследство, одержал ряд блестящих побед.

Стр. 88. **«Андромаха»** — трагедия Ж. Расина. Андромаха — вдова убитого Ахиллом троянского героя Гектора, после разрушения Трои попавшая в плен к сыну Ахилла Пирру.

Пипер Карл (1647—1716) — шведский государственный деятель, правая рука в делах управления у Карла XI, пользовался таким же доверием у Карла XII.

Стр. 95. **Репнин Аникита Иванович** (1668—1726) — русский военачальник, генерал-фельдмаршал. С юношеских лет состоял при Петре I, начав службу поручиком потешной роты. Особенно отличился во время Северной войны.

Стр. 103. **«Великие Четы Минеи»** — составленный под руководством новгородского архиепископа Макария в XVII в. свод из 12 томов месячных чтений, в их состав входили жития святых, память которых отмечалась в текущем месяце, и другая литература, которая допускалась к чтению на Руси.

Стр. 112. **Курбатов Алексей Алексеевич** (ум. в 1721) — крепостной, дворецкий Б. П. Шереметьева. В 1699 г. подал Петру I проект о введении гербовой бумаги с целью увеличения доходов казны, за что был отпущен на волю и взят на государственную службу.

Стр. 114. **Карловицкий конгресс** (1698—1699) — конгресс для заключения мира между Австрией, Венецией, Польшей, Россией и Османской империей, которому предшествовал ряд поражений Турции. Он юридически оформил новую расстановку сил в Центральной и Восточной Европе, обусловленную прекращением продвижения Турции на Запад.

Минин Кузьма (ум. в сер. 1616), нижегородский посадский человек, и **Пожарский Дмитрий Михайлович** (1578—1642), князь, — герои второго ополчения в период польской и шведской интервенции нач. XVII в. К. Минин возглавил сбор средств для народного ополчения и движение за его организацию, а Д. М. Пожарский непосредственно руководил военными действиями.

Стр. 121. **Остерман Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих)** (1686—1747) — сын лютеранского пастора, при Петре I — на дипломатической службе. После его смерти, умело лавируя между политическими группировками при дворе и беззащитно интригуя, сумел добиться высших постов в правительстве; в 1731—1741 гг. был фактическим руководителем внешней и внутренней политики России.

Анна Ивановна (1693—1740) — дочь Ивана V Алексеевича. В 1730 г. была приглашена на русский престол членами Верховного тайного совета на условиях ограничения самодержавия в пользу феодальной аристократии; придя к власти, ликвидировала Верховный тайный совет. Недалекого ума, ленивая и необразованная, она уделяла главное внимание пирам и развлечениям. Господствующее положение в правительстве заняли немцы-дворяне.

Стр. 144. **Олимп** — в греческой мифологии гора в Фессалии, на которой обитают боги.

Парнас — в греческой мифологии гора, на которой обитал бог Аполлон и музы.

Стр. 145. **12 подвигов Геракла** — подвиги, которые совершил герой, находясь на службе у царя Эврисфея. Упоминаются: битва с лернейской гидрой, очищение скотного двора царя Авгия водами рек Алфея и Пеней, поход за золотыми яблоками Гесперид (в то время как Антей ходил за ними, Геракл держал вместо него небесный свод).

Стр. 146. **Левенгаупт Адам Людвиг** (1659—1719) — шведский генерал, участник Северной войны. Разгром его армии под Лесной Петр I считал матерью Полтавской битвы.

Шлиппенбах Вольмар Антон фон (1650—1739) — шведский генерал. Взятый в плен под Полтавой, в 1715 г. перешел на русскую службу и был произведен в генерал-лейтенанты.

Стр. 174. **Чохов Андрей** (ум. в 1629) — русский пушечный и колокольный мастер, создатель «Царь-пушки», более 60 лет проработавший на Пушечном дворе. Его орудия являлись выдающимися достижениями артиллерийской техники и применялись даже во время Северной войны.

Стр. 178. **Ягужинский Павел Иванович** (1683—1736) — дипломат, сын органиста, выходца из Литвы. В 1722—1726 гг. и 1730—1731 гг. — генерал-прокурор Сената, боролся с казнокрадством и другими должностными преступлениями.

Стр. 195. **Годунов Борис** (ок. 1552—1605) — русский царь с 1598 г. По отзывам современников, он обладал выдающимися способностями государственного деятеля. Политика Годунова выражала основные требования дворянства, на которое он опирался в своей деятельности, вызывая недовольство боярской аристократии. Не без ее участия была выдвинута версия о Годунове — вдохновителе убийства царевича Дмитрия.

Стр. 196. **Корб Иоанн Георг** (годы жизни неизвестны) — секретарь австрийского посла в России, находившийся там в 1699 г. В «Дневнике путешествия в Московию» описал свои впечатления, расправу над стрельцами. «Дневником» пользовались В. И. Суриков, А. Н. Толстой и др.

Герцог Вандомский, Луи Жозеф (1654—1712) — прославился в качестве полководца Людовика XIV в войне за испанское наследство.

Стр. 197. **Лещинский Станислав** (1677—1766) — польский король в 1704—1711 гг. и 1733—1734 гг. Избран королем под нажимом Швеции, но не признан большинством шляхты. Поражение Карла XII под Полтавой лишило С. Лещинского поддержки шведских войск, он был вынужден эмигрировать.

Стр. 203. **Екатерина I Алексеевна** (1684—1727) — российская императрица с 1725 г. Дочь ливонского крестьянина, с 1702 г. — жена Петра I; в 1714 г. состоялась ее коронация. После смерти Петра I была возведена на престол гвардейскими полками под управлением А. Д. Меншикова. Сама Екатерина I государственными делами не занималась, передав управление страной Верховному тайному совету.

Стр. 209. **Денисов Андрей** (1674—1730) — основатель богословия и церковной обрядности у раскольников. Под чужим именем окончил Киевскую академию, пользовался покровительством Ф. Прокоповича. Умело отстаивал свою общину от преследования властями. Перенесывался с царевной Софьей, был знаком с царицей Прасковьей. Петр I знал и уважал А. Денисова за его ум и знания.

Стр. 213. **Голицын Михаил Михайлович** (1675—1730) — генерал-фельдмаршал, начал военную службу барабанщиком Семеновского полка.

Стр. 230. **Диана** — в античной мифологии богиня охоты, покровительница зверей.

Стр. 233. **Пещное действо** — театрализованное представление, которое устраивалось в храмах в преджудейскую субботу. Сюжетной канвой служил эпизод библейского повествования о чудесном спасении ангелом трех отроков, брошенных в огненную печь за отказ поклоняться золотой статуе, воздвигнутой царем Вавилона Навуходоносором.

Стр. 249. **Нартов Андрей Константинович** (1693—1756) — русский ученый, механик, скульптор. Личный токарь Петра I, оставил книгу «Достоверные повествования и речи Петра Великого» (1727 г.). Научная и общественная деятельность Нартова была обширна и многогранна.

Стр. 250. **Головкин Гавриил Иванович** (1660—1734) — один из наиболее приближенных к Петру I с детства людей (постельничий). Сенатор, с 1718 г. — президент Коллегии иностранных дел.

Стр. 258. **Апраксин Петр Матвеевич** (1659—1728) — государственный деятель, с 1722 г. — президент Юстиц-коллегии.

Стр. 262. **Челлини Бенвенуто** (1500—1571) — итальянский скульптор, ювелир и писатель, один из известнейших мастеров маньеризма. Всемирную славу Б. Челлини как писателю принесли его мемуары.

Стр. 265. **Хмельницкий Богдан Михайлович** (ок. 1595—1657) — гетман Украины. Встал во главе Освободительной войны украинского народа против польского господства (1648—1654 гг.). После решения русского правительства о воссоединении Украины с Россией возглавил Переяславскую раду, торжественно подтвердившую этот акт (1654 г.).

Стр. 270. **Голицын Дмитрий Михайлович** (1655—1737) — государственный

деятель, сенатор. В 1701 г. — чрезвычайный посол в Константинополе. По его предложению была приглашена на престол Анна Ивановна и составлены условия, ограничивающие ее самодержавное правление.

Апостол Даниил Петрович (1654—1734) — гетман Левобережной Украины, участник походов против Турции и Крыма, Северной войны, Персидского похода. После его смерти выборы гетмана были запрещены.

Стр. 277. **Макаров Алексей Васильевич** (1674 или 1675—1750) — личный секретарь Петра I. Вел переписку царя (в том числе и секретную), принадлежал к числу самых доверенных лиц Петра I и был неперенным помощником во всех его преобразованиях.

Стр. 286. **Царь Одиссей** — главное действующее лицо поэмы Гомера «Одиссея» царь острова Итаки. Один из выдающихся героев Троянской войны, отличавшийся не только отвагой, но и изворотливым умом, за что получил прозвище «хитроумного». После победы греков над троянцами Одиссей вернулся на Итаку, чему предшествовали его десятилетние странствия, изобиловавшие приключениями.

Стр. 288. **Лойла Игнатий** (1491?—1556) — мелкий испанский дворянин, основатель ордена иезуитов. Целью иезуитского воспитания он ставил подавление индивидуальной воли человека и превращение его в послушное орудие церкви; считал допустимыми любые средства для «вящей славы божьей».

Стр. 294. **Филипп II Август** (1165—1223) — король Франции. Один из предводителей третьего крестового похода. В целях территориальных приобретений использовал браки. Существенно расширил королевские владения.

Генрих IV (1553—1610) — французский король. Во время религиозных войн — глава гугенотов. Его политика способствовала усилению абсолютизма в стране.

Цирцея — в греческой мифологии волшебница, живет на острове в роскошном дворце, превращая людей в диких животных. Прибывших к ней спутников Одиссея Цирцея превращает в свиней, но Одиссей разрушает злые чары и покоряет волшебницу.

Стр. 296. **Апулей** (ок. 124—180) — последний яркий писатель Рима периода упадка. Мировую славу создал ему роман-сказка «Метаморфозы» («Золотой осел»).

Стр. 317. **Валтасаров пир** — в Библии — пир, устроенный последним вавилонским царем Валтасаром в ночь взятия Вавилона персами; в разгар пира таинственная рука начертила на стене письмена, предвещавшие гибель царя и раздел Вавилонского царства. Предсказание сбылось в ту же ночь.

Стр. 318. **Семирамида (Шаммурамат)** (810—806 до н. э.) — царица Ассирии, с именем которой связывались «висячие сады» («сады Семирамиды») — одно из «семи чудес света». Этот образ подвергся мифологизации и превратился в таинственную вавилонскую царицу Семирамиду.

Астарта — в западносемитской мифологии олицетворение планеты Венеры, богиня любви и плодородия, богиня-воительница.

Флора — в римской мифологии богиня цветения колосьев, цветов, садов.

Стр. 319. **Юпитер** — в римской мифологии бог неба, дневного света, грозы, царь богов, отождествляющийся с греческим Зевсом.

Стр. 320. **Ярослав Владимирович (Ярослав Мудрый)** (ок. 978—1054) — киевский князь, соединивший под своей властью почти все древнерусские земли. Во время правления его шло интенсивное строительство, развивалось летописание, упрочился международный престиж Киевского государства.

Стр. 322. **Неплюев Иван Иванович** (1693—1773) — государственный деятель. Главный командир над строящимися морскими судами в Петербурге, успешно трудился в Адмиралтействе, часто непосредственно с Петром I. В 1721—1734 гг. — русский посланник в Константинополе.

Стр. 337. **Ахиллесова пята** — уязвимое место. В греческой мифологии Ахиллес — один из самых сильных и храбрых героев. Его мать, морская богиня Фетида, чтобы сделать тело сына неуязвимым, окунула его в священную реку Стикс; при этом она держала его за пятку, которой не коснулась вода, поэтому пятка осталась единственным уязвимым местом Ахиллеса, куда он был смертельно ранен стрелой Париса.

Стр. 338. **Аристотель** (384—322 до н. э.) — знаменитый древнегреческий философ и ученый, в 343—335 гг. до н. э. учитель Александра Македонского.

А. Н. ТОЛСТОЙ

Из краткой автобиографии

Я вырос на степном хуторе верстах в девяносто от Самары. Мой отец, Николай Александрович Толстой, — самарский помещик. Мать моя, Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева, двоюродная внучка Николая Ивановича Тургенева. <...> Ее второй муж, мой вотчим, Алексей Аполлонович Бостром, был в то время членом земской управы в г. Николаевске (ныне Пугачевск). <...>

Алексей Аполлонович... не мог ужиться со степными помещиками в Николаевске, не был переизбран в управу и вернулся с моей мамой и мною (двухлетним ребенком) на свой хутор Сосновку.

Там прошло мое детство. Сад. Пруды, окруженные ветлами и заросшие камышом. Степная речонка Чагра. Товарищи — деревенские ребята. Верховые лошади. Ковыльные степи, где лишь курганы нарушали однообразную линию горизонта... Смены времен года, как огромные и всегда новые события. Все это и в особенности то, что я рос один, развивало мою мечтательность.

Когда наступала зима и сад и дом заваливало снегами, по ночам раздавался волчий вой. Когда ветер заводил песни в печных трубах, в столовой, бедно обставленной штукатуренной комнате, зажигалась висячая лампа над круглым столом, и вотчим обычно читал вслух Некрасова, Льва Толстого, Тургенева или что-нибудь из свежей книжки «Вестника Европы»...

Моя мать, слушая, вязала чулок. Я рисовал или раскрашивал... Никакие случайности не могли потревожить тишину этих вечеров в старом деревянном доме, где пахло жаром штукатуренных печей, топившихся кизяком или соломой, и где по темным комнатам нужно было идти со свечой...

Детских книг я почти не читал, должно быть, у меня их и не было. Любимым писателем был Тургенев. Я начал его слушать в зимние вечера лет с семи. Потом — Лев Толстой, Некрасов, Пушкин. (К Достоевскому у нас относились с некоторым страхом, как «жестокому» писателю). <...>

Лет с десяти я начал много читать — все тех же классиков. А года через три, когда меня с трудом (так как на вступительных

экзаменах я получил почти круглую двойку) поместили в сызранское реальное училище, я добрался в городской библиотеке до Жюль Верна, Фенимора Купера, Майн Рида и глотал их с упоением, хотя матушка и вотчим неодобрительно называли эти книжки дребеденью.

До поступления в сызранское реальное училище я учился дома: вотчим из Самары привез учителя, семинариста Аркадия Ивановича Словоохотова, рябого, рыжего, как огонь, отличного человека, с которым мы жили душа в душу, но науками занимались без перегрузки. Словоохотов сменил один из высланных марксистов. Он прожил у нас зиму, скучал, занимаясь со мной алгеброй, глядел с тоской, как вертится жестяной вентилятор в окне, на принципиальные споры с вотчимом не слишком поддавался и весной уехал... <...>

До тринадцати лет, до поступления в реальное училище, я жил созерцательно-мечтательной жизнью. Конечно, это не мешало мне целыми днями пропадать на сенокосе, на жнивье, на молотбе, на реке с деревенскими мальчиками, зимой ходить к знакомым крестьянам слушать сказки, побасенки, песни, играть в карты: в носы, в короли, в свои козыри, играть в бабки, на сугробах драться стенка на стенку, наряжаться на святках, скакать на необъезженных лошадях без узды и седла и т. д.

Глубокое впечатление, живущее во мне и по сей день, оставили три голодных года, с 1891 по 1893. Земля тогда лежала расстрескавшаяся, зелень преждевременно увядала и облетала. Поля стояли желтыми, сожженными. На горизонте лежал тусклый вал мглы, сжигавшей все.

В деревнях крыши изб были оголены, солому с них скормили скотине, уцелевший истощенный скот подвязывался подпругами к перекладам (к поветам)... В эти годы имение вотчима едва уцелело... И все же через несколько лет ему пришлось его продать... Вся Самарская губерния отходила к земельному магнату Шехобалову, скупившему все дворянские земли и бравшему с крестьян цены за годовую аренду, какие ему заблагорассуживалось. <...>

В 1901 году я окончил реальное училище в Самаре и поехал в Петербург, чтобы готовиться к конкурсным экзаменам. Я поступил в подготовительную школу к С. Войтинскому (в Териоках). Сдал конкурсный экзамен в Технологический институт и поступил на механическое отделение. <...>

Как все, я участвовал в студенческих волнениях и забастовках, состоял в социал-демократической фракции и в столовой комиссии Технологического института. В 1903 году у Казанского собора во время демонстрации едва не был убит брошенным булыжником, — меня спасла книга, засунутая на груди за шинель. <...>

Летом 1906 года умерла от менингита моя мать Александра Леонтьевна. Я уехал в Петербург, чтобы продолжать учение в Технологическом институте.

Начиналась эпоха реакции: и с нею вместе на сцену к огням рампы выходят символисты...

С их творчеством — Вячеслав Иванов, Бальмонт, Белый — впервые меня познакомил чиновник министерства путей сообщения и яхтсмен Константин Петрович Фан дер Флит, чудака и фантазер. По ночам у себя в мансарде на Васильевском острове, при свете керосиновой лампы, он читал мне стихи символистов и говорил о них с неподражаемым жаром фантазии.

Тогда же — весной 1907 года — я написал первую книжку «декадентских стихов». Это была подражательная, наивная и плохая книжка. Но ею для самого себя я проложил путь к осознанию современной формы поэзии. Уже через год была написана вторая книжка стихов — «За синими реками». От нее я не отказываюсь и по сей день. «За синими реками» — это результат моего первого знакомства с русским фольклором, русским народным творчеством.

Тогда же я начал свои опыты прозы — «Сорочьи сказки». В них я пытался в сказочной форме выразить свои детские впечатления. Но более совершенно это удалось мне сделать много лет спустя в повести «Детство Никиты». (...)

Осенью 1909 года я написал первую повесть «Неделя в Тургеневе» — одну из тех, которые впоследствии вошли в книгу «Заволжье», а еще позднее — в расширенный том «Под старыми липами», книгу об эпигонах дворянского быта той части помещиков, которые перемалывались новыми земельными магнатами — Шехобаловыми. Крепко сидящее на земле дворянство, — перешедшее к интенсивным формам хозяйства, — в моей книжке не затронуто, я не знал его. Затем следует два романа: «Хромой барин» и «Чудаки», и на этом оканчивается мой первый период повествовательного искусства, связанный с той средой, которая окружала меня в юности.

Я исчерпал тему воспоминаний и вплотную подошел к современности. И тут я потерпел крах. Повести и рассказы о современности были неудачны, нетипичны. Теперь я понимаю причину этого. Я продолжал жить в кругу символистов, реакционное искусство которых не принимало современности, бурно и грозно закипавшей навстречу революции.

Символисты уходили в абстракцию, в мистику, рассаживались по «башням из слоновой кости», где намеревались переждать то, что надвигалось.

Я любил жизнь, всем своим темпераментом противился абстракции, идеалистическим мировоззрениям. То, что мне было полезно в 1910 году, вредило и тормозило в 1913.

Я отлично понимал, что так быть дальше нельзя. Я всегда много работал, теперь работал еще упорнее, но результаты были плачевны: я не видел подлинной жизни страны и народа.

Началась война. Как военный корреспондент («Русские ведомости»), я был на фронтах, был в Англии и Франции (1916 год).

Книгу очерков о войне я давно уже не переиздаю: царская цензура не позволила мне во всю силу сказать то, что я увидел и переживал. Лишь несколько рассказов того времени вошло в собрание моих сочинений.

Но я увидел подлинную жизнь, я принял в ней участие, содрал с себя застегнутый наглухо черный сюртук символистов. Я увидел русский народ.

С первых же месяцев февральской революции я обратился к теме Петра Великого. Должно быть, скорее инстинктом художника, чем сознательно, я искал в этой теме разгадки русского народа и русской государственности. В новой работе мне много помог покойный историк В. В. Каллаш. Он познакомил меня с архивами, с актами Тайной канцелярии и Преображенского приказа, так называемыми делами «Слова и Дела». Передо мной во всем блеске, во всей гениальной силе раскрылось сокровище русского языка. Я наконец понял тайну построения художественной фразы: ее форма обусловлена внутренним состоянием рассказчика, повествователя, за которым следует движение, жест и, наконец, — глагол, речь, где выбор слов и расстановка их адекватны жесту. {...}

С 1914 по 1917 годы я написал и поставил пять комедий: «Выстрел», «Нечистая сила», «Касатка», «Ракета» и «Горький цвет».

С Октябрьской революции я снова возвращаюсь к прозе и осуществляю первый набросок «День Петра», пишу повесть «Милосердия!», являющуюся первым опытом критики российской либеральной интеллигенции в свете октябрьского зарева.

Осенью восемнадцатого года я с семьей уезжаю на Украину, зимуя в Одессе, где пишу комедию «Любовь — книга золотая» и повесть «Калиостро». Из Одессы уезжаю вместе с семьей в Париж. И там, в июле 1919 года, начинаю эпопею «Хождение по мукам».

Жизнь в эмиграции была самым тяжелым периодом моей жизни. Там я понял, что значит быть парием, человеком, оторванным от родины, невесомым, бесплодным, не нужным никому, ни при каких обстоятельствах.

Я с жаром писал роман «Хождение по мукам» (первая часть «Сестры»), повесть «Детство Никиты», «Приключения Никиты Рощина» и начал большую работу, затянувшуюся на несколько лет: переработку заново всего ценного, что было мною до сих пор написано...

Осенью 1921 года я перекочевал в Берлин и вошел в сменевховскую группу «Накануне». Этим сразу же порвались все связи с писателями-эмигрантами. Бывшие друзья «надели по мне траур». В 1922 году весной в Берлин приехал из Советской России Алексей Максимович Пешков, и между нами установились дружеские отношения.

За берлинский период были написаны: роман «Аэлита», повести «Черная пятница», «Убийство Антуана Риво» и «Рукопись, найденная под кроватью» — наиболее из всех этих вещей значительная

по тематике. Там же я окончательно доработал повесть «Детство Никиты» и «Хождение по мукам».

Весной 1922 года в ответ на проклятия, сыпавшиеся из Парижа, я опубликовал «Письмо Чайковскому» (перепечатанное в «Известиях») и уехал с семьей в Советскую Россию.

Началом работы по возвращении на родину были две вещи: повесть «Ибикус» и небольшая повесть «Голубые города», написанная после поездки на Украину (не считая нескольких менее значительных рассказов). <...>

В 1930 году я написал первую часть романа «Петр I». Через полтора года — роман-памфлет «Черное золото», который в 1938 году был переработан мною и опубликован под названием «Эмигранты». Вторую часть «Петра I» я закончил в 1934 году.

Обе опубликованные части «Петра» — лишь вступление к третьему роману, к работе над которым я уже приступил (осень 1943 года).

Что привело меня к эпохе «Петр I»? Неверно, что я избрал ту эпоху для проекции современности. Меня увлекло ощущение полноты «непритесненной» и творческой силы той жизни, когда с особенной яркостью раскрывался русский характер.

Четыре эпохи влекут меня к изображению по тем же причинам: эпоха Ивана Грозного, Петра, гражданской войны 1918—1920 годов и наша — сегодняшняя — небывалая по размаху и значительности. Но о ней — дело впереди. Чтобы понять тайну русского народа, его величие, нужно хорошо и глубоко узнать его прошлое: нашу историю, коренные узлы ее, трагические творческие эпохи, в которых завязывался русский характер. <...>

В день начала войны — 22 июня 1941 года — я окончил роман «Хмурое утро». Готовя к печати всю трилогию, проредактировал первые две части этой эпопеи. Трилогия писалась на протяжении двадцати двух лет. Ее тема — возвращение домой, путь на родину. И то, что последние строки, последние страницы «Хмурого утра» дописывались в день, когда наша родина была в огне, убеждает меня в том, что путь этого романа — верный.

Оглядываясь сейчас на два страшных и опустошительных года войны и вижу, что только вера в неиссякаемые силы нашего народа, вера в правильность нашего исторического пути, тяжелого и трудного, справедливого и человеческого пути к великой жизни, только любовь к родине, жаркая боль к ее страданиям, ненависть к врагу — дали силы для борьбы и для победы. Я верил в нашу победу даже в самые трудные дни октября — ноября 1941 года. И тогда в Зименках (недалеко от г. Горького, на берегу Волги) начал драматическую повесть «Иван Грозный». Она была моим ответом на унижения, которым немцы подвергли мою родину.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книга вторая	3
Книга третья	227
Исторический роман и современность. <i>В. И. Баранов</i>	346
Комментарии. <i>Е. М. Кирюхина</i>	360
<i>А. Н. Толстой</i> . Из краткой автобиографии	364